

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

РУССКИЙ ЯЗЫК

В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

№ 2
(12)

2006

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

РУССКИЙ ЯЗЫК

В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

№ 2
(12)



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2006

Редакционная коллегия:

А. М. Молдован (главный редактор), *А. А. Алексеев*, *Х. Андерсен* (США), *Ю. Д. Апресян*, *А. Богуславский* (Польша), *И. М. Богуславский*, *Д. Вайс* (Швейцария), *Ж. Ж. Варбот*, *А. Вежбицкая* (Австралия), *А. А. Гиппиус*, *М. Ди Сальво* (Италия), *Д. О. Добровольский*, *В. М. Живов*, *А. Ф. Журавлев*, *А. А. Зализняк*, *Е. А. Земская*, *Х. Кайперт* (Германия), *Л. Л. Касаткин*, *Э. Кленин* (США), *А. Д. Кошелев*, *Л. П. Крысин*, *Р. Лясковский* (Швеция), *Х.-Р. Мелиг* (Германия), *И. Мельчук* (Канада), *Н. Б. Мечковская* (Беларусь), *Е. В. Падучева*, *А. А. Пичхадзе* (ответственный секретарь), *Т. В. Рождественская*, *А. Тимберлейк* (США), *Х. Томмола* (Финляндия), *М. Флайер* (США), *А. Я. Шайкевич*, *А. Д. Шмелев*

Адрес редакции:

121019, Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Редакция журнала «Русский язык в научном освещении».

Тел.: (095) 201-79-92, факс: (095) 291-23-17, e-mail rusyaz@yandex.ru.

Издательство: e-mail lrc@comtv.ru, сайт www.lrc-press.ru.

Зав. редакцией *Н. Н. Розанова*

Редакторы номера *А. А. Пичхадзе*, *Е. И. Державина*

Корректоры *Е. А. Дмитренко*, *М. Л. Тимофеева*

Издатель *А. Д. Кошелев*

Подписка на журнал оформляется в любом отделении связи по Объединенному каталогу «Пресса России», индекс 44088.

Подписано в печать 28.11.2006. Формат 70x100^{1/16}.

Бумага офсетная № 1, печать офсетная.

Усл. п. л. 19,5. Заказ №

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования

- В. И. Подлеская, А. А. Кибрик.*
Коррекция в устной русской монологической речи
по данным корпусного исследования 7
- Т. Б. Радбиль.*
Прагматические аномалии в среде языковых аномалий русской речи 56
- Г. Е. Крейдлин, А. Б. Летучий.*
Концептуализация частей тела в русском языке
и в невербальных семиотических кодах 80
- Д. В. Руднев.*
История становления связочного глагола *являться*
в современном русском языке 116
- Е. В. Огольцева.*
Опыт гнездового описания образной производной лексики
(На материале образных гнезд зоонимов) 139
- Н. Б. Мечковская.*
Естественный язык и метаязыковая рефлексия в век Интернета 165
- А. А. Гиппиус.*
Сочинения Владимира Мономаха:
опыт текстологической реконструкции. III 186
- И. Б. Иткин, Ю. К. Коган.*
Окончание дательного падежа *-ови* в древненовгородском диалекте 204
- А. А. Плетнева.*
К характеристике языковой ситуации в России XVIII—XIX вв. 213

Полемика

- М. Б. Попов.*
К вопросу о написаниях типа ТРОТ < *ТЪРТ в рукописях XIV—XV вв.:
слоговые плавные или второе полногласие? 230

Информационно-хроникальные материалы

- Международная научная конференция:
Язык и общество в синхронии и диахронии
(*О. И. Дмитриева, О. Ю. Крючкова*) 242

Международная научная конференция «Проблемы языковой нормы» (Седьмые Шмелевские чтения) (А. С. Киселева, Н. Н. Розанова)	249
---	-----

Из истории науки

Что такое научные школы и как они рождаются (Уральская топонимическая школа: к 80-летию ее основателя) (Е. Л. Березович, Ж. Ж. Варбот, Л. Г. Гусева, М. Э. Рут)	258
---	-----

Рецензии

Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII веков. Выпуск 1: А — Бязь / Под ред. О. С. Мжельской. СПб.: Наука, 2004. — 334 с. (В. Б. Крысько, Г. Я. Романова, М. И. Чернышева)	271
Н. А. Еськова. Лингвистический комментарий к «Орфоэпическому словарю русского языка». М., 2005. — 141 с. (М. А. Кронгауз)	288
Є. М. Степанов. Російське мовлення Одеси: Монографія / За ред. д-ра філол. наук, проф. Ю. О. Карпенка / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2004. — 496 с. (Н. Б. Мечковская)	291
В. В. Химик. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб.: Норинт, 2004. — 762 с. (Э. Г. Шимчук)	298

Обзоры

О. П. Ермакова. Ирония и ее роль в жизни языка. Калуга: Изд-во КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2005. — 204 с. (Н. Н. Розанова)	304
О. О. Потєбня й актуальні питання мови та культури: Зб. наук. праць / Відп. ред. В. Ю. Франчук. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. — 368 с. (Н. И. Зубов)	306
Л. Л. Касаткин. Современный русский язык. Фонетика: Учебн. пособие для студ. филол. фак. вузов. М.: Изд. центр «Академия», 2006. — 256 с. (О. В. Антонова)	308
В. Матвеевко, Л. Щеголева. Книги временные и образные Георгия Монаха. В 2 т. Т. 1. Ч. 1. Интерпретированный текст Троицкой рукописи. — 633 с. Ч. 2. Текстологический комментарий. — 261 с. М.: Наука, 2006. (Памятники религиозно-философской мысли Древней Руси) (А. А. Пичхадзе)	309

ИССЛЕДОВАНИЯ

В. И. ПОДЛЕССКАЯ, А. А. КИБРИК

КОРРЕКЦИЯ В УСТНОЙ РУССКОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ПО ДАННЫМ КОРПУСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ¹

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предложениями, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно того...», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что всё уже выговорил.

Н. В. Гоголь. «Шинель»

Ошибки, допущенные при исполнении, не меняют того факта, что это конкретное исполнение есть исполнение того же самого музыкального сочинения, точно также не меняют они и партитуру. (...) Сходным образом предложения с оговорками и аналогичными ошибками, употребленные в речи, обычно воспринимаются как образцы (экземпляры) предложений в их правильной форме, а не в той форме, в какой они реально встретились в речи. Однако (...) задача лингвиста труднее задачи музыкального критика: лингвист не начинает с партитуры, его задача как раз и состоит в создании лингвистического эквивалента партитуры, исходя из исполнений, составляющих корпус.

(...) В некоторых случаях требуется радикальная редакторская работа над корпусом. Запинки, повторения, (...) изменения конструкции в середине предложения (...) все эти явления не принимаются во внимание.

Дж. Гринберг. «Антропологическая лингвистика: Вводный курс»

1. Постановка задачи

1.1. Коррекция как феномен устной спонтанной речи

Характерной особенностью спонтанной устной речи являются нарушения плавного развертывания речевого потока — так называемые *речевые сбои*. В частности, в некоторой точке дискурса говорящий может решить, что определенный фрагмент порожденного им текста не соответствует изначально-

¹ Исследование поддержано грантом РГНФ (№ 04-04-00220а). Помимо авторов в работе над проектом участвуют Ю. В. Дараган (МГУ), З. В. Ефимова (РГГУ), Н. А. Коротчаев (РГГУ), А. О. Литвиненко (МГУ), В. Хуршудян (РГГУ), В. Л. Цуканова (РГГУ).

ной программе (например, выбрана неверная или неточная номинация или фрагмент артикулирован преждевременно и не может в нынешнем виде или в нынешнем окружении быть адекватно встроено в последующий дискурс) или артикуляция завершена прежде, чем подготовлено дальнейшее развертывание дискурса и требуется заполнить время, пока завершится подготовка следующей «порции», и т. д. Речевые сбои могут быть вызваны внутренними проблемами планирования и развертывания дискурса или нарушениями внешних условий коммуникации (посторонними вмешательствами).

Реагируя на речевой сбой, говорящий может следовать двум основным стратегиям — хезитации и коррекции. Эти две стратегии могут использоваться как независимо, так и совместно.

Хезитация — это «проспективная» реакция на речевой сбой, она представляет собой перерыв, который говорящий использует для планирования или перепланирования следующей порции и/или (при сочетании с коррекцией) — для обдумывания возможного способа исправления предшествующей порции. Перерывы могут воплощаться как собственно паузы и как заполненные паузы — «долексические» заполнения, «мэkanie». Сигнализировать о хезитации — одна из основных, но не единственная функция пауз: пауза может сигнализировать о физиологических трудностях речепорождения, являться языковым жестом («театральная пауза») и проч. Важнейшей функцией пауз является также сегментация потока речи — маркировка границ между последовательно артикулируемыми отрезками дискурса. Паузы на границах отрезков, образующих интонационное и семантическое единство, могут быть связаны как с членением потока речи, так и с хезитацией, а паузы внутри таких отрезков имеют, как правило, хезитационную природу.

Коррекция — это «ретроспективная» реакция на речевой сбой, она возникает при обнаружении несоответствия изначальной программе и состоит в «отбраковке» некоторого, уже артикулированного, фрагмента дискурса. Мы будем говорить только о случаях, когда коррекция инициируется самим говорящим, а не стимулируется собеседником — для такого вида коррекции используют также термин *самоисправление* (соответствующий английский термин — *self-initiated self-repair*).

Чаще всего при коррекциях в точке прерывания имеется просодический «шов» (который воплощается, например, в сломе интонационного контура), возможны также заполненная или незаполненная пауза. После прерывания говорящий заменяет забракованный фрагмент на другой или повторяет первоначально забракованный фрагмент и продолжает развертывать речь таким образом, чтобы забракованный фрагмент мог быть безболезненно «стерт» и материал до забракованного фрагмента и материал после него, сомкнувшись, образовали бы правильную, т. е. удовлетворяющую говорящего последовательность. Так, в примере (1)²

² О корпусе текстов, послужившем основой настоящей работы, и об используемой нами системе дискурсивной транскрипции пойдет речь ниже, в разделах 1.4 и 2.1.

(1) N42:13

..(0.1) /Ира куда-то уш= // \исчезла.

имеется забракованный фрагмент *уш=*, который после точки прерывания (отмеченной знаком //) заменен на откорректированный фрагмент *исчезла*. Удаление забракованного фрагмента дает текст, грамматически приемлемый и ситуационно уместный с точки зрения говорящего (*Ира куда-то исчезла*). В примере (2)

(2) N06:19

*так что я не \смогла-а ..(0.4) /посмотреть его точно черты ли= //
..(0.1) ээ(0.1) \лица.*

имеется забракованный фрагмент *ли=*, который после прерывания повторен в составе откорректированного коррелята. В отличие от примера (1) между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом в (2) имеется короткая пауза, первая часть которой (продолжительностью 0.1 сек) является незаполненной, а вторая (также продолжительностью 0.1 сек) имеет долексическое заполнение (*ээ*). Удаление забракованного фрагмента дает текст, грамматически приемлемый и ситуационно уместный с точки зрения говорящего (*так что я не смогла посмотреть его точно черты лица*).

Иногда факт обнаружения говорящим несоответствия изначальной программе может вербализоваться и сообщение об этом факте может становиться компонентом дискурса. В этих случаях в точке прерывания наряду с просодическими и «долексическими» сигналами могут использоваться лексические маркеры речевого сбоя — маркеры хезитации (*это, это самое, этот, так, такой, ну, вот, там, значит, вообще, в целом*) и/или маркеры коррекции (*ой, то есть, вернее, точнее*), однако употребление такого рода лексических маркеров далеко не всегда сопутствует речевым сбоям. Так, в примере (3)

(3) N09:08-10

*....(1.2) 'И й-я /чувство= // ну я /знала уже,
что ... (0.5) если они // ..(0.4) если их не-е /погасить,
..(0.3) то-о ..(0.2) /случится \пожар.*

представлены два случая коррекции: в первой строке между забракованным фрагментом *й-я /чувство=* и его откорректированным коррелятом *я /знала* имеется лексический маркер речевого сбоя *ну*, а во второй строке забракованный фрагмент *если они* и его откорректированный коррелят *если их* отделены только незаполненной паузой продолжительностью 0.4 сек.

В настоящей работе предпринимается попытка на основе корпусных данных систематизировать основные типы коррекций в спонтанной устной русской монологической речи.

1.2. Существующие подходы к изучению коррекции

Речевые сбои и способы их преодоления изучаются в лингвистике, главным образом, с социологических и психологических позиций, а также в рамках компьютерного моделирования порождения и понимания речи (см. обзор работ 1960—1970-х годов и подробную библиографию в работе [Николаева 1970] и краткий обзор американских работ 1970—1990-х годов и соответствующую библиографию в [Секерина 1997]).

Социолингвистические исследования речевых сбоев выполнены, в основном, в традиции анализа бытового диалога. Именно в рамках этой традиции были предложены первые систематические классификации основных типов речевых сбоев (см., например, основополагающую работу [Schegloff, Jefferson, Sacks 1977] и другие работы этих авторов, [Fox, Jaspersen 1995] и др.). В социолингвистическом аспекте исследуются такие факторы, влияющие на частоту и характер речевых сбоев, как возраст и пол говорящих, степень знакомства говорящих между собой, степень их вовлеченности в диалог, и т. д. (см., например, [Bortfeld et al. 2001]).

Речевые сбои в психолингвистических исследованиях рассматриваются, главным образом, как ключ к пониманию процессов порождения и понимания дискурса. Данные речевых сбоев используются как аргумент в холистических моделях порождения и анализа устной речи, см., например, классические работы В. Левелта (соответствующие разделы в [Levelt 1989], а также [Levelt 1983], [Levelt, Cutler 1993] и др., работы А. Постма [Postma 2000] и др., Г. Делла [Dell 1986] и др.). Активно развиваются экспериментальные исследования, посвященные влиянию речевых сбоев на процессы порождения и понимания (см., например, [Brennan, Schrober 2001], [Fox Tree 1995] и др.). В этом же ряду стоят современные экспериментальные исследования с использованием метода записи движения глаз (см., например, [Arnold, Fagnano, Tanenhaus 2003], где экспериментально доказывается, что наличие речевого сбоя облегчает разрешение референциального конфликта в пользу нового референта). Ряд исследований по речевым сбоям имеет выход в клиническую психолингвистику, в том числе в диагностику и лечение заикания (см., например, [Kolk, Postma 1997], [Howell 2002], [Howell, Au-Yeung 2002] и др.). Многочисленные исследования посвящены психолингвистической интерпретации отдельных типов речевых сбоев — повторов, заполненных пауз, и, в особенности, оговорок (см. [Fromkin 1973, 1980], [Dell 1995] и др.).

В исследованиях, выполненных в рамках компьютерной лингвистики, анализ речевых сбоев рассматривается, главным образом, как компонент моделей синтаксического анализа предложения в процессе понимания (*syntactic parsing*), см., например, [Ferreira, Bailey 2004], а также в системах автоматического распознавания звучащей речи, см., например, [Yang, Neeman, Strayer 2003]. В последнее десятилетие получили распространение корпусные исследования речевых сбоев: здесь следует выделить, прежде всего, работу [Shriberg 1994] — наиболее полное из существующих система-

тическое корпусное описание основных типов речевых сбоев в английском языке, а также работы [Oviatt 1995], [Clark, Fox Tree 2002] и ряд других.

Большинство имеющихся работ по речевым сбоям описывают материал английского языка. К числу редких исключений относятся исследования, в которых особенности речевых сбоев в конкретном языке увязываются с грамматической структурой этого языка: исследования речевых сбоев в немецком языке в сопоставлении с английским при англо-немецком двуязычии — [Rieger 2003], в японском языке в сопоставлении с английским — [Fox, Hayashi, Jaspersen 1996], [Hayashi 1994], в индонезийском языке в сравнении с английским, финским, японским и бикольским (Филиппины) — [Wouk 2005], и ряд других.

Речевые сбои и коррекция как один из способов их преодоления в русском языке изучены очень слабо — особенно в сравнении с обширной литературой, посвященной речевым ошибкам, т. е. обнаруженным в живой речи нарушениям грамматических и ситуативных норм. Из работ относительно недавнего времени, посвященных коррекции и хезитации в русском языке, назовем исследования Б. Я. Ладыженской [1985] и Ю. В. Дараган [2000, 2003] по функционированию долексических сигналов и лексических маркеров речевых сбоев, а также психолингвистические исследования — [Атлас 1998], [Гармаш 1999]. Последняя из перечисленных работ — диссертация Н. Г. Гармаш [1999] — является на сегодняшний день наиболее полным описанием речевых сбоев, и прежде всего, механизмов хезитации на русском материале. Некоторые важные результаты этой работы, особенно касающиеся интерпретации повторов как особого типа речевого сбоя, мы будем использовать в данной статье.

Практически все перечисленные работы, будь то социолингвистические или психолингвистические исследования, или исследования по автоматическому анализу текста, не выходят при анализе речевых сбоев за рамки предложения, а чаще — клаузы или даже слова, что, в принципе, объяснимо: все исследователи единодушно отмечают, что коррекция минимальных речевых отрезков значительно превосходит по частоте коррекцию более продолжительных отрезков. В большинстве работ возможность коррекции отрезков более крупных, чем предложение, вообще не обсуждается, реже — как, например, в [Shriberg 1994] — это явление эксплицитно исключается из сферы рассмотрения. Одной из немногих работ, в которых последовательно разграничиваются внутрифразовые коррекции, отражающие трудности в формировании и реализации отдельного высказывания, и текстовые коррекции, связанные с программированием более крупных речевых фрагментов, является упомянутая выше диссертация Н. Г. Гармаш [1999]. Однако и в этой работе систематизация текстовых коррекций заявляется только как возможная исследовательская программа на будущее.

В настоящей статье предпринимается попытка восполнить этот пробел: мы постараемся показать, что формат коррекции определяется прежде всего тем, насколько она затрагивает иерархическую структуру дискурса.

1.3. Задача работы — качественный и количественный анализ коррекций в русской устной спонтанной монологической речи.

Структура работы

В работе предлагается набор типологически релевантных критериев, позволяющих систематизировать основные типы коррекций, и дается количественная оценка частотности основных типов коррекций в устных рассказах на русском языке по данным корпусного исследования.

В качестве основных предлагаются следующие четыре классифицирующих признака:

- Структурный диапазон коррекции (взаимное расположение забракованного фрагмента и его откорректированного коррелята в иерархической структуре дискурса).
- Линейный диапазон коррекции (линейная дистанция между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом).
- Тип операции (степень формального и семантического сходства между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом).
- Объем забракованного фрагмента (сегментная протяженность и цельнооформленность забракованного фрагмента).

Эти четыре критерия последовательно обсуждаются в разделах 2, 3, 4 и 5. В них же обсуждается частотность коррекций соответствующих типов. Мы постараемся показать, что структурный диапазон коррекции (взаимное расположение забракованного фрагмента и его откорректированного коррелята в иерархической структуре дискурса) является ведущим критерием, а три других критерия обнаруживают с ним устойчивую качественную и количественную корреляцию. В разделе 6 приводятся сводные количественные данные о выделяемых типах коррекции и формулируются основные выводы. Раздел 7 содержательно и композиционно представляет собой постскрипtum к работе: здесь рассматриваются возможные дополнения к предложенной классификации и особые типы коррекции, не вошедшие в основной массив.

1.4. Материал работы — корпус устных рассказов.

Общая оценка частотности коррекций

Материалом исследования послужил корпус устных рассказов детей среднего и старшего школьного возраста о своих сновидениях, описанный в более ранних наших работах, см., например, [Кибрик, Подлесская 2003]. Все примеры, приводимые в работе, взяты из этого корпуса с сохранением разработанной нами транскрипции. Корпус включает 129 рассказов (в аудио-записи и в транскрипции) общим объемом около 17500 словоупотреблений. Всего в корпусе обнаружено 405 случаев коррекции. Таким образом, засвидетельствованная частота коррекций — 2,3 коррекции на 100 слов.

Этот результат хорошо согласуется с имеющимися в литературе данными о частоте коррекций в английском языке. Так, по корпусным данным

Е. Shriberg [1994] в диалоговых текстах засвидетельствованная частота речевых сбоев — от 5,9 до 6,3 на 100 слов. Однако ею при подсчетах учитывались не только коррекции, но и заполненные паузы хезитации, составляющие по ее данным от 30 до 60 % от общего числа речевых сбоев. Таким образом, доля коррекций в ее корпусе может быть оценена как 2—4 на 100 слов. Близкие значения для английского бытового диалога приводятся в работе [Bortfeld et al. 2001]: средняя частота речевых сбоев 5,97 на 100 слов складывается из средней частоты заполненных пауз — 2,56 и средней частоты коррекций — 3,41 на 100 слов. Частота речевых сбоев от 6 до 10 на 100 слов с учетом заполненных пауз приводится также в [Fox Tree 1995]. В работе [Rieger 2003] отмечена несколько более высокая частота речевых сбоев: в английских диалогах — 9,2 на 100 слов, в немецких — 11,33 на 100 слов (включая заполненные паузы).

В ряде исследований приводятся данные, показывающие зависимость доли речевых сбоев от канала коммуникации, формы и жанра дискурса. Так, согласно [Oviatt 1995], частота речевых сбоев в монологических текстах существенно ниже, чем в диалогических — 3,6 на 100 слов. Если учесть, что данный результат — частота речевых сбоев с учетом заполненных пауз, которые, как было сказано выше, могут составлять от 30 до 60 % от общего числа речевых сбоев, то приблизительная частота собственно коррекций в монологических текстах, по [Oviatt 1995], может быть оценена как 1,1—2,2 на 100 слов, что очень близко к результату, полученному нами.

Из обнаруженных нами 405 случаев коррекции системно классифицируются и служат основой количественных оценок — 375. Не вошедшие в основной массив редкие типы коррекции (30 случаев) обсуждаются особо в разделе 7.

2. Четыре классифицирующих признака: признак «структурный диапазон коррекции» (взаимное расположение забракованного фрагмента и его откорректированного коррелята в иерархической структуре дискурса)

2.1. Исходные представления о структуре дискурса

Мы исходим из принятого в дискурсивном анализе положения, что структура дискурса может быть представлена в виде иерархически организованной сети дискурсивных единиц, см. [Van Dijk 1981], [Halliday, Hasan 1976], [Mann, Thompson 1988], [Martin 1992], [Sanders, Spooren, Noordman 1993], [Bateman, Rondhuis 1997]. В качестве минимальных узлов сети мы рассматриваем элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ), в общем случае представляющие собой элементарные предикации, обладающие интонационной целостностью. При выделении ЭДЕ мы опираемся прежде все-

го на работы У. Чейфа (ср. понятие «интонационная единица» как оно определено в [Chafe 1994, 1998]). В российской лингвистике наиболее близкий подход к сегментации дискурса представлен в классических работах Л. В. Щербы, ср. определение синтагмы и фразы в [Щерба 1955: 87—88]: «фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли и могущее состоять как из одной ритмической группы, так и из целого ряда их, я называю синтагмой»... «Синтагмы... могут объединяться в группы высшего порядка с разными интонациями... и в конце концов образуют фразу — законченное целое».

В разработанном нами формате транскрипции (см. о ней подробнее в [Кибрик, Подлесская 2003]) каждая ЭДЕ записывается в отдельной строке. Транскрипция опирается на стандартную русскую орфографию. Обрыв слова отмечается одинарным знаком равенства (=). Пунктуационные знаки используются для обозначения иллокутивной функции и заключительности/незаклучительности ЭДЕ, в том числе: сообщение (.), вопрос (?), директив (j), «маркирование иллокуции отложено» (.), Транскрипт отражает длину всех пауз (в абсолютных единицах), характер заполнения пауз и центральные компоненты дискурсивной просодии — акценты и направленные движения тона в акцентах (иконические значки непосредственно перед словом).

Вслед за У. Чейфом и другими авторами его школы (см., например, [Du Bois et al. 1993]) мы разграничиваем цельные и фрагментарные ЭДЕ — те, которые говорящий обрывает, не доведя до конца. Мы выделяем три основных причины, приводящих к возникновению фрагментарных ЭДЕ.

Первая причина. ЭДЕ может быть незавершенной с просодической точки зрения и с точки зрения морфо-синтаксических требований к полноте предикации, но расцениваться говорящим как уместная и информационно достаточная и потому — не подлежать коррекции (в риторике такая фигура именуется «апозипезис»). В транскрипте фрагментарные ЭДЕ этого класса завершаются знаком тильда (~). Такова строка *где мы их можем* ~ в следующем примере:

(4) N41:3-11

....(3.7) *Иh*(1.0) *мы там увидели /кролика,*

и погнались за ним с \Димкой.

...(0.4) *Хотели \поймать.*

....(1.3) *И в \клетку посадить.*

У нас \дома.

...(0.6) *Там в доме была /клеточка,*

....(1.2) *где мы их можем ~*

...(0.8) *И вотh* ..(0.3) *мы ..(0.3) /-забежали в \лес,*

Вторая причина. Явление, которое мы условно называем «сплитом» — морфо-синтаксически целостная предикация может разрываться говоря-

щим для вынужденного отхода от линии изложения с последующим восстановлением целостности. В транскрипте первая часть разорванной предикации завершается знаком длинное тире (—), а вторая часть начинается с этого знака. Так, в примере:

(5) Z18:42-47

....(1.1) /Мы /оказались(1.0) на какой-то \пла-ане-ете.

...(0.9) Она была /очень \маленькая.

Так что —

...(0.6) ээ(0.3) (Как \шарик.)

— ..(0.1) было /видно,

ээ(0.2) с /-друзгой стороны что _

предикация *Так что было видно*, разорвана и внутрь вставлена другая ЭДЕ (*Как шарик.*), которая представляет собой уточнение к строке, предшествовавшей разорванной.

Третья причина. Собственно коррекция: фрагментарная ЭДЕ может возникнуть, если говорящий отказывается продолжить текущую ЭДЕ в связи с необходимостью заменить, удалить или повторить уже проартикулированный речевой отрезок и начинает строить новую ЭДЕ. В этих случаях оборванная строка в транскрипте завершается двойным знаком равенства (=). Так, в примере (6) цельной ЭДЕ (3-я строка) предшествуют две фрагментарных — они представляют собой две неудавшихся, т. е. не устроивших говорящего, попытки выразить нужный смысл:

(6) Z36:10-12

....(1.1) И /мы &С РЕЗКИМ ВЫДОХОМ& значит(1.3) \стали ==

...(0.9) У нас ==

..(0.1) Мы ..(0.1) стали жить ..(0.3) на третьей /Шацкой,

Такого рода фрагментарные ЭДЕ, представляющие собой пробные шаги, предшествующие произнесению «доброкачественного» материала, часто называют фальстартом, ср. термин *false start* в [Du Bois et al. 1992: 18]).

Таким образом, не всякая фрагментарная ЭДЕ свидетельствует о коррекции. С другой стороны, не всякая коррекция приводит к возникновению фрагментарной ЭДЕ. В частности, говорящий может осуществлять коррекцию короткого фрагмента текущей цельной ЭДЕ, не обрывая ее, как в примерах (1)—(3), приведенных выше, или в следующем примере (точка прерывания в таких случаях отмечается в транскрипции знаком //):

(7) Z22:06

...(0.6) там ещё= на /пути /-встречался= // ..(0.2) встретился -ка-
амень _

В следующем разделе мы обсудим, каким образом признак «структурный диапазон коррекции» позволяет упорядочить коррекции в зависимости от того, являются ли ЭДЕ, содержащие забракованный фрагмент, и

ЭДЕ, содержащие его откорректированный коррелят, цельными или фрагментарными, и в зависимости от того, как эти ЭДЕ взаимно расположены в иерархической структуре дискурса.

2.2. Микрокоррекции vs. макрокоррекции. Микрокоррекции «срединные» vs. «начальные»

Два наиболее крупных класса, выделяемых по признаку «структурный диапазон коррекции», мы условно именуем «микрокоррекции» и «макрокоррекции». Микрокоррекции отражают проблемы говорящего, связанные с построением отдельной ЭДЕ, макрокоррекции, как будет показано в следующем разделе, отражают трудности, связанные с построением неэлементарного фрагмента структуры дискурса (ср. противопоставление внутрифразовых и текстовых речевых сбоев в [Гармаш 1999]).

При микрокоррекциях говорящий обрабатывает, т. е. планирует и перепланирует только один, текущий, узел дискурсивной структуры. При этом говорящий или исправляет обнаруженное им несоответствие изначальной программе непосредственно в текущей ЭДЕ, как в примерах (1)—(3), (7) выше, или, отменив начало текущей ЭДЕ как несоответствующее программе, немедленно начинает строить эту единицу заново, как в примере (6) выше или в примере (8):

(8) N52:18-19

Но ска= ==

Но \сделай что-нибудь ;

В первом случае микрокоррекция «скрыта» внутри цельной ЭДЕ и не отражается в дискурсивной структуре, во втором случае забракованный фрагмент выделяется в отдельную фрагментарную ЭДЕ (фальстарт).

Микрокоррекцию внутри цельной ЭДЕ говорящий использует в тех случаях, когда между началом ЭДЕ и началом забракованного фрагмента имеется материал, не подлежащий коррекции, как в примере (9)

(9) N02:02

Ну /ля значит с \Чингизой noe= // хотела уехать в /Отдых,

где забракованный фрагмент (*noe=*) отделен от начала ЭДЕ (от начала строки) материалом, не подлежащим коррекции (*Ну /ля значит с \Чингизой*). Фактически, в (9), так же, как и примерах (1)—(3) и (7), говорящий ценюй частичного исправления «спасает» ЭДЕ, к артикуляции которой уже приступил и начальная часть которой его устраивает.

Если же коррекции подлежит фрагмент, который находится в абсолютном начале узла, планированием и оформлением которого занят говорящий, то говорящий чаще прерывает артикуляцию, полностью отказывается от неудавшейся попытки и приступает к построению ЭДЕ заново, как в (6) и (8). В этом случае между фрагментарной ЭДЕ (фальстартом) и непосред-

ственно следующей за ней цельной ЭДЕ обычно обнаруживаются типичные просодические симптомы границы ЭДЕ — начало интонационного движения с базового уровня частоты, относительное увеличение темпа и громкости, уменьшение долготы гласных и ряд других. Более того, и забракованный, и, соответственно, откорректированный материал часто начинаются с элементов, грамматически допустимых лишь в абсолютном начале клаузы — таких, например, как союзы:

(10) Z60:06-08

/Заходим,

..(0.3) а /там \не́ме= ==

а /там /стоит отряд \не́мцев.

(11) Z19:01-04

⟨НРЗБ 2⟩ ... (1.2) Мне /присни́лось,

... (0.9) как ска= ==

как яв= ==

... (0.7) как мне /мама .. (0.4) —ночью положила в /портфель \ку́клу.

Однако и при коррекциях в абсолютном начале текущего узла говорящий может предпочесть не обрывать артикуляцию, а «спасти» ЭДЕ, к произнесению которой приступил, избежав фальстарта. В таких случаях после забракованного фрагмента в точке прерывания не наблюдается симптомов границы ЭДЕ. Чаще всего так бывает, когда в абсолютном начале происходит повтор небольшого отрезка (о признаках «объем забракованного фрагмента» и «тип операции» см. подробнее ниже в разделах 4 и 5):

(12) N01:23

..(0.2) тёти О= // тёти Олина /до́чь —

Можно предположить, что в тех случаях, когда после забракованного фрагмента в точке прерывания не наблюдается симптомов границы ЭДЕ, говорящий перепланирует не всю предстоящую ЭДЕ, а только ее начальную часть. Однако это лишь гипотеза, более строгое решение вопроса о том, какой фрагмент дискурса подвергается перепланированию при микрокоррекциях в абсолютном начале текущего узла, нуждается в дополнительном исследовании.

Итак, микрокоррекции, т. е. коррекции, связанные с планированием и оформлением отдельной ЭДЕ, можно формально разделить на два класса в зависимости от расположения забракованного фрагмента относительно начала текущего узла: микрокоррекции, при которых между забракованным фрагментом и началом текущего узла имеется материал, не подлежащий исправлению («срединные»), и микрокоррекции, при которых забракованный фрагмент находится в абсолютном начале текущего узла («начальные»). Срединные микрокоррекции в дискурсивной структуре отражаются единообразно — как одна цельная ЭДЕ. Начальные микрокоррекции могут

отражаться в дискурсивной структуре двояким образом: как одна цельная ЭДЕ, если после забракованного фрагмента в точке прерывания нет просодических симптомов границы ЭДЕ, или — как последовательность одной (или более) фрагментарных ЭДЕ (фальстартов) и непосредственно следующей за ними цельной ЭДЕ, если после забракованного фрагмента в точке прерывания имеются просодические симптомы границы ЭДЕ.

2.3. Макрокоррекции

Разграничение микрокоррекции и макрокоррекции связано с разграничением уровня иерархической структуры дискурса, который затрагивается коррекцией. При микрокоррекциях, как было сказано, говорящий обрабатывает, т. е. планирует и перепланирует только один, текущий, узел дискурсивной структуры. Однако такого рода оперативная коррекция возможна далеко не всегда. Уже приступив к произнесению некоторой дискурсивной единицы, говорящий может оказаться вынужден прервать произнесение, чтобы существенно дополнить или перестроить локальную структуру дискурса — то есть прибегнуть к макрокоррекции.

При макрокоррекциях в связи с перестройкой дискурсивной структуры (в зависимости от более конкретных типов коррекции, которые будут рассмотрены в разделах 3 и 4), могут происходить: (А) вставка одной или более ЭДЕ между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом, или (Б) кумулятивная коррекция забракованного фрагмента в нескольких последующих ЭДЕ. Так, в следующем примере забракованным фрагментом является первая строка (*И /потом вдруг \я-а ..(0.3) /смотрю ==*). Эта строка квалифицируется говорящим как преждевременная, и поэтому возобновлению рассказа об увиденном в бинокль предшествует вставка — разъяснение имеющейся диспозиции (*Там /ранчо у нас \издалека, я -смотреда -сидела на /крыше, ... (0.5) в \этот == ..(0.3) в \бинокль. ... (0.7) -Вот.*):

(13) N54:112-121

..(0.4) И /потом вдруг \я-а ..(0.3) /смотрю ==

Там /ранчо у нас \издалека,

я -смотреда -сидела на /крыше,

... (0.5) в \этот ==

..(0.3) в \бинокль.

... (0.7) -Вот.

И /смотрю,

какой-то молодой /человек —

... (0.5) \Виталик,

... (0.5) — /чинит \машину.

Кумулятивная коррекция состоит в том, что исправление неверно или преждевременно начатой единицы происходит распределенно в нескольких ЭДЕ, следующих за корректируемой. В примере (14) забракованный

фрагмент — блок из первых двух строк (*И ... вот что так /плохо ..(0.2) чувствовать то что(1.1) ты ==*) — корректируется кумулятивно в последующих строках с целью передать смысл ‘плохо, что все то хорошее, что привиделось, это только сон’:

(14) N40:19-25

....(2.1) И ... (0.8) [..(0.3)](2.4) кхм(0.4) ..(0.2) *вот что так /плохо ..(0.2) чувствовать*

[УГУ.]

то что(1.1) ты ==

....(2.3) ээ(0.2) /Хорошо чувствовать

то что ты сидел ..(0.3) с /папой как будто с /мамой с /-Димкой_

....(1.8) Сидишь /телевизор смотришь_

..(0.1) А /оказывается,

это всё неправда.

В примере (15) забракованный фрагмент — блок из первых трех строк (*Это /просто я его /увидел, ..(0.1) /так же как и /наяву.....(1.3) Только он /немножко ==*) корректируется кумулятивно в последующих строках с целью передать смысл ‘урод, которого я видел во сне, похож на знакомых мне настоящих уродов, однако «Федот, да не тот»’:

(15) N36:01-16

Это /просто я его /увидел,

..(0.1) /так же как и /наяву.

....(1.3) Только он /немножко ==

... (0.5) эээ(0.6) ..(0.4) /Ну-у ..(0.1) я /вижу ..(0.2) *практически /наяву одних и /тех же у= /уродов,*

потому что у нас // ... (0.6) ээ(0.4)(1.0) они живут в нашем /доме,

... (0.6) ээ(0.2) *но в другом /корпусе.*

....(2.1) В /корпусе /А.

....(2.9) /И-и мм(0.4) ..(0.1) их /по-моему мне /кажется что д= ..(0.4) эээ(0.8) /два /урода.

....(1.6) И-и ==

Но /я /увидел в-во /сне ..(0.1) совсем /другого.

... (0.6) *Не /такого как они.*

/Уродство одно и /то же,

но ..(0.4) /-во-олосы другие,

/-глаза-а другого цвета,

/оде-ежда -друга-ая_

При макрокоррекция всегда используется техника фальстарта: между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом всегда имеется граница ЭДЕ и забракованный фрагмент локализуется либо в отдельной фрагментарной ЭДЕ, как в (13), либо в последовательности ЭДЕ, из которых завершающая является фрагментарной, как в (14) и (15). В от-

личие от микрокоррекции, откорректированный коррелят при макрокоррекции никогда не локализуется в единственной цельной ЭДЕ, непосредственно следующей за фальстартом: откорректированный коррелят либо локализуется в цельной ЭДЕ, отделенной от фальстарта другой цельной ЭДЕ (или их группой), либо распределенно локализуется в нескольких ЭДЕ, следующих за фальстартом. Таким образом, при макрокоррекции сферой действия коррекции всегда является фрагмент дискурсивной структуры, включающий более одной цельной ЭДЕ.

Итак, по признаку «структурный диапазон» мы подразделяем коррекции на микрокоррекции и макрокоррекции, а микрокоррекции, в свою очередь, на срединные и начальные.

2.4. Количественное распределение коррекций по признаку «структурный диапазон»

По данным нашего корпуса среди 375 случаев коррекции, вошедших в основной массив обработки для количественных подсчетов, имеется 276 микрокоррекции и 99 макрокоррекции (см. Диаграмму 1). Из 276 микрокоррекции — 176 срединных и 100 начальных (см. Диаграмму 2). Можно предположить, что для преодоления различных типов сбоев говорящему требуется приложить разный объем когнитивных усилий. Сбой, который требует меньших усилий на его преодоление, будем условно называть менее травматичным. По-видимому, сбой, который требует коррекции дискурсивной структуры (макрокоррекции), является более травматичным, чем сбой, для устранения которого достаточно преобразовать только один узел структуры (микрокоррекции). Сбой, при котором начальная часть ЭДЕ не требует коррекции (срединные коррекции), по-видимому, менее травматичен, чем сбой, требующий пересмотра всей ЭДЕ (начальные коррекции). Разумеется, объективная оценка травматичности коррекции станет возможна только после установления ее измеримых коррелятов с использованием системной психолингвистической аргументации. Одним из возможных коррелятов (хотя, безусловно, не единственным) может быть время, затраченное говорящим на преодоление сбоя. Пока же аргументированный набор таких коррелятов не установлен, мы можем условно оценивать травматичность речевых сбоев и пользоваться такой оценкой как эвристическим приемом. Обращает на себя внимание, что коррекции, направленные на преодоление сбоев, условно являющихся менее травматичными, оказываются более частотными. Так, среди подклассов, выделяемых нами по признаку «структурный диапазон коррекции», микрокоррекции встречаются почти в три раза чаще, чем макрокоррекции, а среди микрокоррекции срединные коррекции встречаются почти в два раза чаще, чем начальные. В следующих разделах мы попытаемся показать, что подклассы коррекций, выделяемые по другим признакам, также демонстрируют уменьшение частотности с ростом условной травматичности речевого сбоя.

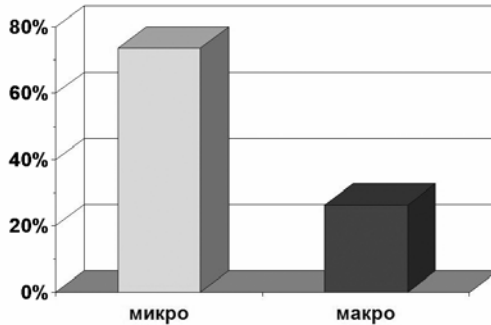


Диаграмма 1. Соотношение микрокоррекции и макрокоррекции в корпусе

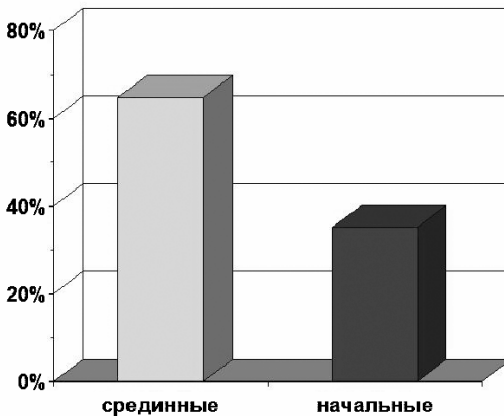


Диаграмма 2. Соотношение срединных и начальных микрокоррекции

3. Четыре классифицирующих признака: признак «линейный диапазон коррекции» (линейная дистанция между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом)

3.1. Контактные vs. дистантные коррекции. Лексические маркеры речевых сбоев

По признаку «линейный диапазон» коррекции делятся на контактные и дистантные в зависимости от линейного расстояния между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом. Этот признак так или иначе учитывается большинством исследователей речевых сбоев (ср. противопоставление контактных и дистантных повторов применительно к русскому материалу в [Гармаш 1999]), но при различных подходах оценка линейного расстояния производится по-разному. Мы предлагаем считать

контактными коррекциями, при которых забракованный фрагмент и его откорректированный коррелят следуют непосредственно друг за другом или между ними имеются только собственно паузы, паузы с долексическим заполнением (мм, ээ) или лексические маркеры речевого сбоя (*ну, это самое, ой, то есть* и др.). Если же между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом имеется лексический материал с пропозициональным содержанием, не затронутый коррекцией («вставка»), то коррекции классифицируются как дистантные.

По контактности / дистантности могут различаться как макро-, так и микрокоррекции. Так, контактными являются, в частности, микрокоррекции в (1)—(3), (6)—(12) и макрокоррекции в (14)—(15). Приведем еще пример контактной макрокоррекции:

(16) Z28:10-14

..(0.3) /Вдруг я-а увидел /милиционера,
и \спросил его:

..(0.4) —как добраться до \дома.

..(0.3) И /он меня ==

..(0.4) И /он /позвонил ..(0.3) /домой,

и ... (0.9) я ==

... (0.7) и за мной /приехали,

и отвезли \домой.

где забракованный фрагмент *И /он меня ==* первоначально, по-видимому, задумывался со значением ‘он меня отвез/отправил’, но в результате перепланировки дискурсивной структуры в четырех строках, непосредственно следующих за забракованным фрагментом, кумулятивно возникло более детализированное описание ситуации — ‘он позвонил, и за мной приехали и отвезли домой’. (Интересно, что внутри кумулятивно откорректированного отрезка имеется еще один сбой — контактная начальная микрокоррекция: *и ... (0.9) я ==* заменено на *и за мной*. По-видимому, на протяжении всего этого эпизода говорящий испытывает колебания относительно того, как «упаковать» ситуацию с точки зрения ролевого распределения участников.)

Как было сказано выше, к числу контактных мы относим и такие коррекции, при которых между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом имеются особые дискурсивные маркеры — сигналы речевого сбоя. Это могут быть маркеры коррекции, в том числе сигналы эмоциональной реакции говорящего на неожиданно обнаруженную в своей речи ошибку или неточность, нуждающуюся в исправлении. Таким маркером является *ой* в следующем примере:

(17) N24:03

/и-и ... (0.7) /сон // \о-ой /мост такой,

Другим — гораздо более частотным — типом сигналов речевого сбоя являются маркеры гезитации, функция которых — сообщить слушающе-

му, что говорящий намерен продолжить речь, но ему требуется некоторое дополнительное время на подготовку следующего отрезка. В частности, при коррекциях эти маркеры сигнализируют о том, что говорящему требуется дополнительное время на исправление. Наиболее частотным маркером этого типа в нашем корпусе является *ну*, см. (3), (15) и (18), более редким — *значит*, см. (19):

(18) N07:26

..(0.4) /они на меня смотрели ... (0.6) с-с // .. (0.4) /ну-у с-с –тоско-ой
как бы-ы,

(19) Z51:22-25

захожу в /комна /ту,

...(0.5) а комната-а ==

..(0.4) значит ““(0.5) ... (0.6) ээ(0.3) к= // /комната,

а-а из /комнаты выходит ээ(0.3) ..(0.3) на /улицу такая /веранда.

Особый случай представляют коррекции со вставлением дискурсивного маркера препаративной подстановки. Вне коррекций феномен препаративной подстановки состоит в том, что говорящий, не найдя удовлетворяющую его вербализацию составляющей, временно подставляет на ее место акцентированный заместитель *это, это* /самое, /такой, /как его, /как это и т. п. (об этом явлении см. подробнее [Дараган 2000, 2003] и [Кожевникова 1970], где используется термин «препаративная замена», ср. также английский эквивалент *placeholder* в [Fox, Hayashi, Jaspersen 1996], [Wouk 2005], [Hayashi, Yoon 2006]):

(20) Z06:10

...(0.7) а там-м /это ..(0.3) лежат всякие такие /сокро-овица
/сокровица_

Препаративная подстановка обычно используется говорящим в тех случаях, когда хезитация связана с «близким» поиском, т. е. когда предстоящая порция дискурса уже достаточно хорошо спланирована и затруднения касаются выбора конкретного выражения из ограниченной зоны возможностей. Особенно это касается согласуемых маркеров препаративной подстановки типа *этот (самый) /эта (самая), такой /такая*, которые демонстрируют, что говорящий уже выбрал падежно-числовую форму планируемой именной группы и колеблется лишь в выборе конкретной номинации, как в следующем примере:

(21) N02:12

и там значит проезжает /такой ..(0.4) ну-у ..(0.1) /пезд,

В языках мира техника препаративной подстановки достаточно распространена. Чаще всего в этой функции используются слова с местоименной основой, которые могут выступать заместителями как именных, так и предикатных составляющих, ср. русское *это* в (20). В ряде языков при препа-

ративной подстановке предикатных составляющих местоименная основа может сочетаться с глагольными словоизменительными показателями, как в индонезийском по данным Wouk [2005], в нганасанском по данным В. Ю. Гусева (личное сообщение) или адыгейском по данным Н. Р. Сумба-товой (личное сообщение). Заметим, что в русском языке хотя и невозможно синтетическое глагольное словоизменение маркеров препаративной подстановки, они могут появляться в составе аналитической глагольной формы (*Я сейчас буду \это \посуду мыть*) и даже присоединять приставку:

(22) N06:11-12

...(0.8) *И он он \приэто // не /привязан,*
а \прибѣт ..(0.1) /гвоздѣми,

Разнообразие маркеров препаративной подстановки меняется от языка к языку и внутри одного языка в ходе исторического развития. Так, в русском языке XIX века в качестве маркера препаративной подстановки, по-видимому, широко использовалась местоименная форма *того*, в современном языке уже практически не употребляющаяся в этой функции. Ср. речь голевского Акакия Акакиевича, упоминавшегося в эпиграфе нашей статьи:

А я вот того, Петрович ...шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да вот еще на плече одном немного попротёрлось... [Гоголь 1952].

В [Fох, Hayashi, Jaspersоn 1996] и [Wouk 2005] высказывается предположение, что техника препаративной подстановки более свойственна языкам с симптомами левого ветвления, так как в языках с правым ветвлением эту функцию на себя чаще берут повторы и колебания служебных элементов, находящихся в препозиции к знаменательному слову. По-видимому, данные русского языка — как языка с правым ветвлением — противоречат этому предположению, поскольку препаративные подстановки в русском языке успешно конкурируют с коррекциями, затрагивающими начальную часть составляющей, в том числе служебные слова, а иногда и совмещаются с такими коррекциями. Чаще препаративные подстановки используются при контактных повторах, как в (23)—(24), реже при контактных модификациях, как в (25) (о повторах и модификациях как коррекциях, противопоставленных по признаку «тип операции» см. ниже в разделе 4):

(23) N54-90

А /вы –сегоднѣ нас /поведѣте в \этот // ..(0.4) в –тренажѣрный \зал?».

(24) Z48:21-22

....(6.0) *она-а \это ==*
..(0.3) она /бежала,

(25) N02:14

Чингиз в \это // на \рельсы прыгнул.

К классу контактных коррекций с использованием препаративной подстановки следует отнести и те случаи коррекции, когда говорящий использует согласуемые маркеры препаративной подстановки типа *этот (самый) / эта (самая)*, но «исправляет» его падежно-числовую форму. Так в следующем примере говорящая первоначально, по-видимому, планировала слово мужского рода (скорее всего, *орден*), но потом заменила на сопоставительную конструкцию «без рода» (*типа медали*):

(26) N53: 82-84

...(0.6) *А в /другой \пещере мне дали ... (0.6) \этот //.. (0.4) типа /медали,*
 ...(0.6) *где на= // было \написано:*
 «\Без ..(0.2) \обмороков.»

3.2. Дистантные коррекции: проективные vs. непроективные

Контактные коррекции возникают в тех случаях, когда говорящий обнаруживает, что произнесенный отрезок по форме и/или по смыслу не соответствует исходному замыслу. Дистантные коррекции возникают тогда, когда в правке нуждается не столько сам материал, сколько момент его появления в речевом потоке: основной причиной дистантных коррекций является преждевременная артикуляция речевого отрезка. Функция дистантных коррекций состоит в том, чтобы компенсировать преждевременность артикулированной порции дискурса: достроить необходимый для правильного понимания материал и заново начать артикуляцию. Так, типичным примером дистантной коррекции является макрокоррекция в (13).

При дистантных макрокоррекциях вставка — материал, который говорящий достраивает, прежде чем возобновить артикуляцию, — включает одну или несколько цельных ЭДЕ. Число ЭДЕ во вставке может быть достаточно большим, как в (13), или — чаще — включать одну-две ЭДЕ, как в следующем примере:

(27) N48: 32-39

Он завёл себе /лягушку,
 ..(0.2) *а /они отбили у нее одну \лапу.*
Она стала трёх= =\ногая лягушка.
 ...(0.8) *И-ии (3.9) /он ..(0.2) простох (1.6) с-сь= ==*
 ..(0.4) */Потом он один раз вышел на бал= ==*
Он стал носить эту /лягушку на \голове.
/Потом он один раз вышел на /балкон,
 ..(0.4) *и его -\пристрели-или.*

где вставка — шестая строка (*Он стал носить эту /лягушку на \голове.*) — возникает в связи с тем, что четвертая и пятая строки (... (0.8) *И-ии (3.9) /он ..(0.2) простох (1.6) с-сь= == ..(0.4) /Потом он один раз вышел на бал= ==*) оборваны и забракованы говорящим как две преждевременных попытки перейти к эпизоду об убийстве на балконе. Прежде чем перейти к

этому эпизоду, говорящий решил достроить предшествующий эпизод — про лягушку.

При дистантных микрокоррекциях вставка по определению меньше ЭДЕ. В следующем примере дистантной микрокоррекции говорящий корректирует время глагола и одновременно, между забракованным фрагментом *стоял* и его откорректированным коррелятом *стоят*, достраивает часть идиомы. Это достраивание стоит говорящему заметных усилий, поскольку он прибегает последовательно к паузе хезитации, заполненной глоттальным скрипом — ‘(0.2), затем к препаративной подстановке — \этих, к незаполненной паузе — ... (0.5), и вновь к заполненной паузе — мм(0.4):

(28) N11:27-30

..(0.2) И-ии ‘(0.3) я-а \столб не забил.

...(0.6) \Вот.

..(0.3) Как на железных стоял // ‘(0.2) \этих ... (0.5) мм(0.4) \дорогах
стоят,

там /-два-а километра -три километра_

Дистантные коррекции можно разделить на два больших подкласса в зависимости от грамматического и дискурсивного статуса вставки. Вставка может быть грамматически и дискурсивно связана с материалом, предшествующим забракованному фрагменту. Такова, например, дистантная микрокоррекция в (28), где говорящий использует вставку, чтобы достроить именную группу *на железных дорогах*, а также в (29):

(29) N52:01

Значит /папа ле-е= // мой лежал на \кровати.

где говорящий, осознав, что преждевременно приступил к произнесению глагола *лежал*, прервался и достроил с помощью вставки — притяжательного местоимения — именную группу *папа мой*. Такова также дистантная макрокоррекция в (27), где говорящий использует вставку, чтобы достроить предшествовавший забракованному фрагменту эпизод про лягушку, и в (30):

(30) N14:02-05

....(1.5) на скамейке сидит /старуха,

рядом ..(0.4) со стар= ==

старушка такая с \клюкой,

УГУ.

рядом со старушкой /я сижу,

где вставка — третья строка (*старушка такая с \ключой*), — является уточнением к первой строке (*на скамейке сидит /старуха*), предшествующей забракованному фрагменту (*рядом ..(0.4) со стар=*). Коррекции тако-

го типа можно условно назвать непроективными, поскольку в них компоненты одной грамматической и дискурсивной составляющей линейно располагаются между компонентами другой составляющей.

Однако чаще встречаются дистантные коррекции другого типа, которые мы условно будем именовать проективными. В них вставка не имеет «внешних» связей: грамматически и дискурсивно она связана только с корректируемым материалом. Таковы, например, следующие дистантные микрокоррекции:

(31) N46:12

И /потребовали за меня ..(0.4) ст= // ..(0.3) /выкуп в сто \d-дollarов.

(32) N06:47-52

..(0.4) у нас /балкон стоит,

..(0.1) с бал= ==

рядом с /балконом —

по-о ..(0.2) левую \сторону,

— ..(0.1) стоит /телевизор,

...(0.5) и около телевизора /ковёр и \кровать.

где вставки, по существу, просто расширяют «влево» ту составляющую, к произнесению которой говорящий приступил слишком рано (*выкуп в сто* вместо *сто* в (31) и *рядом с балконом* вместо *с балконом* в (32)). Аналогичным — проективным — образом, устроена дистантная макрокоррекция в следующем примере:

(33) Z39:18-22

....(1.5) и-и ... (0.5) /сказаа-аля,

..(0.3) что это ... (0.4) не из-за мень= ==

я ей всё это /рассказал,

...(0.5) и она сказала

что это не из-за /меня,

где вставка (*я ей всё это рассказал*) вводит дополнительную, фоновую, информацию к фрагменту *и она сказала что это не из-за /меня*. Уже приступив к оформлению этого фрагмента, говорящий осознал, что он будет не понят без предваряющего объяснения, и поэтому расширил этот фрагмент влево за счет вставки. С функциональной точки зрения проективные дистантные коррекции очень близки к контактными: линейно забракованный фрагмент и его откорректированный коррелят расположены дистантно, т. е. отделены сегментным материалом, однако составляющие, в которые включены, соответственно, забракованный фрагмент и его откорректированный коррелят, расположены контактно.

Итак, по признаку «линейный диапазон» мы подразделяем коррекции на контактные и дистантные, а дистантные коррекции, в свою очередь, на проективные и непроективные.

3.3. Количественное распределение коррекций по признаку «линейный диапазон».

Кумулятивное действие признаков «структурный диапазон» и «линейный диапазон»

По данным нашего корпуса среди 375 случаев коррекции, вошедших в основной массив обработки для количественных подсчетов, имеется 272 контактных и 103 дистантных коррекции, см. Диаграмму 3. Из 103 дистантных коррекций 79 проективных и 24 непроективных, см. Диаграмму 4. Можно предположить, что контактные коррекции являются следствием менее травматичных сбоев, чем дистантные, поскольку дистантные возникают тогда, когда говорящий неудовлетворен не столько качеством некоторого фрагмента, сколько его локализацией в потоке речи. Среди дистантных коррекций проективные, по-видимому, направлены на преодоление менее травматичных сбоев, чем непроективные, поскольку не требуют разрыва грамматических и дискурсивных составляющих. Классы коррекций, выделенные нами по признаку «линейный диапазон», так же как и классы коррекций, выделенные по признаку «структурный диапазон», демонстрируют уменьшение частотности с ростом условной травматичности речевого сбоя: контактные коррекции встречаются в два с половиной раза чаще, чем дистантные, а проективные — в три раза чаще, чем непроективные.

Условная травматичность коррекций по признакам «структурный диапазон» и «линейный диапазон» нарастает кумулятивно — среди микрокоррекций больше контактных, среди макрокоррекций больше дистантных: из 276 микрокоррекций контактных коррекций — 233, а дистантных — 43, тогда как из 99 макрокоррекций контактных коррекций — 39, а дистантных — 60, см. Диаграмму 5. Интересно, что микро- и макрокоррекции дают и разное распределение дистантных коррекций по проективности: проективных коррекций существенно больше, чем непроективных, и среди дистантных микрокоррекций и среди дистантных макрокоррекций, однако среди 43 дистантных микрокоррекций проективных больше, чем непроективных, в пять раз (36:7), а среди 60 дистантных макрокоррекций проективных больше, чем непроективных, всего в два с половиной раза (43:17), см. Диаграмму 6.

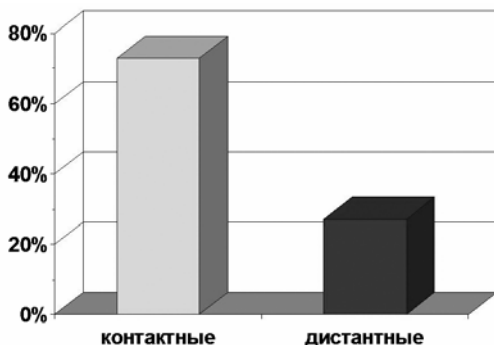


Диаграмма 3. Соотношение контактных и дистантных коррекций в корпусе

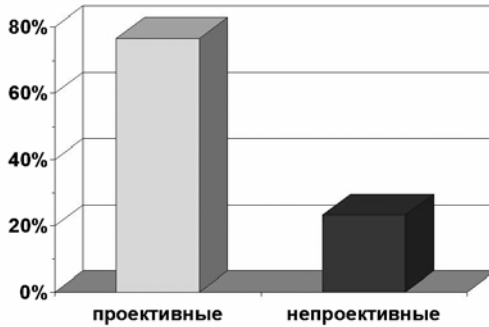


Диаграмма 4. Соотношение проективных и непроективных коррекций внутри группы дистантных коррекций

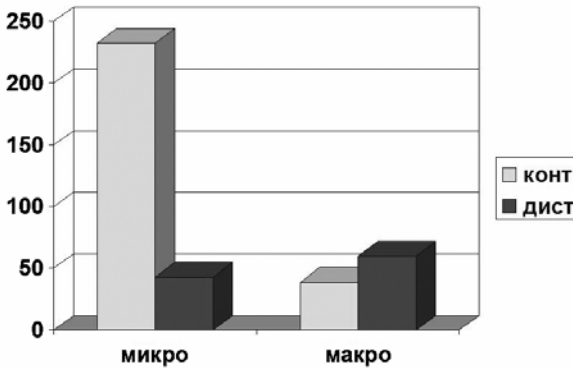


Диаграмма 5. Соотношение контактных и дистантных коррекций внутри групп микрокоррекции и макрокоррекции

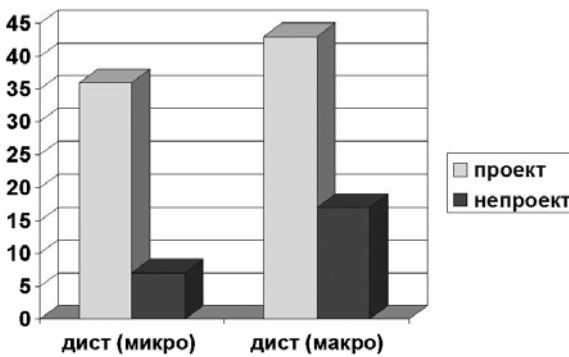


Диаграмма 6. Соотношение проективных и непроективных коррекций внутри групп дистантных микрокоррекции и дистантных макрокоррекции

Таким образом, распределение коррекций по признаку «линейный диапазон» обнаруживает устойчивую корреляцию с распределением по признаку «структурный диапазон». В двух следующих разделах мы попытаемся показать, что признаки «тип операции» и «объем забракованного фрагмента» также коррелируют с признаком «структурный диапазон».

4. Четыре классифицирующих признака:

признак «тип операции»

(степень формального и семантического сходства между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом)

4.1. Повторы, модификации и отмены. Функции повторов

По признаку «тип операции» мы подразделяем коррекции на три класса: (а) повторы, (б) модификации — замены забракованного фрагмента с полным или частичным сохранением его значения, и (в) отмены — замены забракованного фрагмента без сохранения его исходного значения или полный отказ от исходного замысла.

Повтор — наиболее частая реакция говорящего на речевой сбой. (К числу повторов мы относим и «квазиповтор» — повтор с изменением долготы звука, повтор с изменением акцента или тона в акценте, повтор с добавлением или отменой глоттализации и придыхания, например, *я* vs. *яh*.) Из примеров, приведенных в предыдущих разделах, контактные микроповторы представлены в (2), (12), (18), дистантные микроповторы — в (29)—(32), дистантные макроповторы — в (27), (33). Контактных макроповторов в нашем корпусе нет (см. Таблицу 2 в разделе 6)³.

Повтор — это операция, которая, с точки зрения ее когнитивной интерпретации, представляет собой совмещение функций коррекции и hesitation: произнеся некоторый фрагмент, говорящий может прерваться, ощутив сомнение в том, что этот фрагмент соответствует изначальной программе, затем отвергает эти сомнения и повторяет данный фрагмент, сигнализируя о том, что вербализация более удачной, чем первоначально предложенная, он не подобрал. При повторах сомнения говорящего могут быть связаны как с уже произнесенным отрезком (с его формой, значением

³ Примером контактного макроповтора мог бы быть следующий текст:

*Мне приснилось,
что мы с мамой пое= ==
Мне приснилось,
что мы с мамой поехали на дачу.*

Неясно, является ли отсутствие таких — теоретически вполне допустимых — коррекций случайностью или следствием каких-то их особенностей, пока нами не изученных.

или с его локализацией в речевом потоке), так и с отрезком, который еще только планируется к реализации. В последнем случае, по мнению Н. Г. Гармаш [1999], повторы используются как чисто хезитационное средство — для того, чтобы выиграть время для более долгосрочного планирования. Установить границы отрезка, планирование которого привело к повтору, далеко не всегда удается. Так, можно предположить, что в следующем примере оборванный фрагмент слова *y=* и его последующий контактный микроповтор в составе слова *уроками* свидетельствуют о том, что говорящий «нащупывал» возможность произнесения именно этого слова:

(34) Z32:29

...(0.8) *A-aa /я(1.1) ну с недоделанными ..(0.3) y= // ““(0.9) \ну-у ... (0.1) /уроками,*

Однако даже контактные микроповторы не всегда интерпретируются однозначно. Так, в следующем примере имеется два контактных микроповтора — повтор после незаполненной паузы (*пла= ..(0.2) платить*) и повтор с паузой и препаративной подстановкой (*чет= // ... (0.4) \это ..(0.3) четыреста*):

(35) Z56:19

...(0.4) <НРЗБ 1>...(0.7) /Туда надо *пла= ..(0.2) платить чет= // ... (0.4) \это ..(0.3) четыреста восемьдесят \долларов.*

Первый из двух повторов мог быть вызван как проблемой с поиском глагола *платить*, так и проблемой более долгосрочного планирования: можно предположить, что если говорящий при оформлении глагола уже начал планировать следующее за глаголом «трудное» числительное, то уже на стадии произнесения глагола он мог попытаться выиграть время за счет повтора, а когда этого ресурса ему не хватило, прибегнуть к еще одному повтору — на этот раз уже внутри группы числительного.

Повторы чаще, чем другие типы операций, могут возникать как реакция на нарушение внешних условий коммуникации. Так, в следующем примере забракованный фрагмент — вторая строка (*/эта сторона ==*). После реакции на внешний раздражитель (проблема поиска карандаша) говорящий начинает строить строку заново:

(36) Z27:15-19 (говорящий рисует одновременно с рассказом)

....(1.4) *Эта сторона \вся вот \такая вот /серая,*
(2.9) */эта сторона == &НА рона НАКЛАДЫВАЕТСЯ СТУК&*
 ... (0.8) *'А /где \другой карандаш?*
(3.8) *эта сторона вся-а ..(0.2) \такая.*

В целом мотивировка повторов и установление объема единиц планирования при повторах нуждаются в дальнейшем исследовании, в том числе, с использованием психолингвистических методов.

4.2. Функции модификаций и отмен

Два других типа коррекций, которые мы — наряду с повторами — выделяем по признаку «тип операции», это модификация и отмена. Говорящий использует модификацию в тех случаях, когда ревизии подлежит не исходное смысловое задание, а его конкретное воплощение. В этих случаях забракованный фрагмент корректируется с полным или частичным сохранением значения. Если же говорящий полностью отказывается от исходного замысла, то используется операция отмены или радикальной замены забракованного фрагмента без сохранения его значения. Разграничение операции модификации и операции отмены согласуется с предложенным в [Levelt 1989] разграничением коррекций, направленных на устранение ошибки (*error repairs*), и коррекций, направленных на уточнение сказанного (*appropriateness repairs*).

Модификации часто связаны с уточнением деталей фазовой⁴ или ролевой «упаковки» ситуации, а также с уточнением референциального статуса участников ситуации, их мереологического или таксономического класса. Приведем пример контактной микромодификации, приводящей к более идиоматичному выражению аспектуального значения:

(37) Z18:12

— ... (0.4) я ст-тала сп= // мм(0.4) /заснула сразу,

При контактной микромодификации в следующем примере местоимение заменено на кореферентную полную именную группу:

(38) Z54: 07-08

A /она ==

..(0.2) A /Аня быстро \бегала.

Пример коррекции падежа (контактной микромодификации), вероятно отражающей трудности с планированием ролевой структуры ситуации — забракованный фрагмент *который я не* заменен на *которого я не*:

(39) N63:02-05

и /мне вдруг встречается \абсолютно // ..(0.2) \человек,
который я не ==

которого я не /знаю,

и не /знал-л ээ(0.4) до= || ‘‘(0.2) никогда,

Пример контактной микромодификации, направленной на сужение таксономического класса объекта:

⁴ Термин «фазовый» вслед за [Кодзасов 2002] мы используем для представления дискурсивной единицы как завершающей или незавершающей внутри более крупного отрезка дискурса (ср. также термин «завершенность / незавершенность текста» в [Янко 2004: 91]).

(40) N67:03

... (0.7) –ну-у какой-то такой чело= || –ну /женица,

Следующий пример контактной микромодификации демонстрирует коррекцию порядка слов, которая функционально является отражением коррекции коммуникативной перспективы высказывания:

(41) Z03:5:7

..(0.4) /Она мне /привезла ==

....(3.2) /Ну(2.1) /привезла она мне какие-то ... (0.8) /подарки не
/подарки_

..(0.2) (He /помню.)

Контактные макромодификации обычно связаны с кумулятивной коррекцией забракованного фрагмента в нескольких последующих ЭДЕ, как в (14), (15), (16). Приведем еще один пример контактной макромодификации:

(42) N45:21-25

..(0.3) вот как будто ..(0.4) \темная такая /стена,

... (0.9) ээ(0.2) ..(0.4) какие-то вот ==

мм(0.2) ... (0.5) коричневато-/серое,черно-то /черное такое всё,..(0.3) \крапушками мелкими.

где забракованный фрагмент (какие-то вот ==), по-видимому, является попыткой передать идею неопределенности цвета и фактуры стены (множественное число — возможно, след первоначально планировавшегося в этом месте слова *крапушки*). После перепланирования эта идея распределенно передается в третьей, четвертой и пятой строке.

Дистантные модификации и на микро- и на макроуровне имеют двоякую функцию: как модификации они призваны заменить один фрагмент на другой с сохранением значения, а как дистантные коррекции они призваны компенсировать преждевременность артикулированной порции дискурса. Дистантные модификации на микроуровне могут быть проиллюстрированы примером (28), а также следующим примером:

(43) Z50:14-16

... (0.8) эээ(0.5) ..(0.4) /Один-н ==

....(3.2) М-мы значит ... (0.7) с одним стоим как-то на берег= || на
/одном берегу,

а /другой на \другом берегу.

в котором забракованный фрагмент — оборванная первая строка (Один-н ==) — корректируется в следующей цельной ЭДЕ в нужном падеже и с нужной локализацией (после подлежащего). Заметим, что вторая коррекция в этой же строке — контактная микромодификация (вместо *на берег*= появляется *на /одном берегу*) — показывает, что говорящая, по-видимому, испытывает трудности с форматом «один на одном... другой на другом...»

на протяжении всего высказывания и, вероятно, стремится избежать проблемы повтора местоимения.

Приведем примеры дистантной модификации на макроуровне. В (44) после забракованного фрагмента (/потом ... (0.6) /девочка мне ==) следует вставка (... (1.2) /уже как это на следующий \день получилось утром,), в которой объясняется, когда происходит дело, а затем, при возобновлении, в откорректированной строке (.. (0.4) и одна девочка говорит) уточняется референт — номинация *девочка*, ошибочно введенная в забракованной строке как известная, заменяется на неопределенно-референтное выражение *одна девочка*:

(44) N57:87-92

Ну я там /зашла,

чуть-чуть /покрутцлась,

/потом ... (0.6) /девочка мне ==

... (1.2) /уже как это на следующий \день получилось утром,

.. (0.4) и одна девочка говорит

«Что ты тут /ццещь?».

Сходным образом, в (45) после забракованного фрагмента (*Я говорю* «Эт=» ==) следует вставка (*Прихожу –домой*), в которой уточняется место и относительное время действия, а при возобновлении в откорректированной части добавляется обращение (маркируется в транскрипции знаком @):

(45) N26:84-89

Я говорю

«Эт=» ==

Прихожу –домой,

говорю

«\Мама@

Это не \папа был.»

Существенная особенность модификаций как особого типа операций состоит в следующем: несмотря на то, что с формальной точки зрения забракованный материал из структуры дискурса удаляется, значение забракованного фрагмента не полностью «стирается». Например, если в забракованном фрагменте имелась полная именная группа, то в откорректированной порции может содержаться анафорическое местоимение, отсылающее к этой именной группе. Так, в следующем примере

(46) N16:16-21

и –причём .. (0.1) была /мама-а /'и-и .. (0.1) \Катя.

... (0.7) Ну и чего-тов... (0.5) ну яв... (1.2) ну так /спросцла,

Ну-у \мама говорит,

чтов ==

.. (0.1) ну вот .. (0.3) /подойти по-моему \меня она /попросцла,

.. (0.4) говорит «/Пойди \помоги ей!».

забракованный фрагмент (*Ну-у \мама говорит, что\ ==*) кумулятивно корректируется в последующих двух строчках — первая попытка построить конструкцию с косвенной речью не удалась, и говорящая использует последовательно конструкцию с инфинитивным зависимым (*ну вот ..(0.3) /подойти по-моему \меня она \попросила,*) и уточняющую ее конструкцию с прямой речью (*гов\орит «\Пойди \помоги ей!».*). При этом в забракованном фрагменте имеется полная именная группа (*мама*), к которой отсылают и местоимение *она*, и референциальный нуль в откорректированном материале.

Отмены — в противоположность модификациям — мы квалифицируем как операции, при которых говорящий заменяет забракованный фрагмент без сохранения его исходного значения или полностью отказывается от исходного замысла. Отмены забракованного фрагмента представлены в нашем корпусе исключительно как контактные коррекции (см. Таблицу 2 в разделе 6). На микроуровне отмены чаще всего являются следствием ошибочно выбранной номинации (обычно из близкого таксономического класса):

(47) N54:84

... (0.1) И \там-м /девочке // ..(0.3) /мальчику одному –сделала \уко\лы.

(48) N18:10

Ну' ..(0.1) я ответ= // \спр\ашивала\,

Такого рода ошибки часто трудно отделить от оговорок — т. е. сбоев, связанных с наиболее поверхностными уровнями порождения дискурса, приводящими к произвольному использованию говорящим незапланированных им фрагментов. Коррекции оговорок, при которых порождаются незапланированные, но потенциально осмысленные отрезки, как в (47), (48), мы квалифицируем как отмены. Если же при коррекции оговорки говорящий бракует отрезки, не поддающиеся осмысленной интерпретации, как в (49), то мы считаем, что коррекция не затрагивает исходного замысла и может рассматриваться как особый тип модификации:

(49) N57:58-60

....(1.1) то ли их рестари= // \реставр\ируют,

то ст= =

то ли –строят_

В принципе, на количественные оценки коррекций решение о статусе оговорок существенно не влияет, поскольку это явление очень редкое. Так, оговорки с порождением бессмысленных отрезков встретились в нашем корпусе (объемом около 17500 словоупотреблений) всего 5 раз, т. е. 1 случай на 3500 словоупотреблений⁵. Все имеющиеся в корпусе оговорки корректируются на микроуровне.

⁵ Г. Делл в [Dell 1995], основываясь на собственных данных и анализе литературы, приводит для английского языка цифру 1—2 оговорки на 1000 словоупотреблений.

Отмены на макроуровне связаны, как правило, с радикальным отказом от первоначально запланированной линии повествования (мы условно называем такое явление «фальстепом»). Так, в следующем примере говорящий, вероятно, сначала предполагал развернуть эпизод «про Санька», но затем отверг эту линию и свернул рассказ:

(50) Z06:19-25

... (1.0) *И-и /Мы-ы с Саньком ..(0.1) тогда /пошли,*

... (0.6) *в магазин,*

чего-нибудь /покупать,

.. (0.4) *а-а ==*

... (0.5) *и Са= ==*

и я /проснулся.

На самом там ..(0.2) интересном месте.

Итак, по признаку «тип операции» основной массив коррекций удается последовательно разделить на повторы, модификации и отмены.

4.3. Количественное распределение коррекций по признаку «тип операции».

Кумулятивное действие признаков «структурный диапазон» и «тип операции»

По данным нашего корпуса среди 375 случаев коррекции, вошедших в основной массив обработки для количественных подсчетов, имеется 209 повторов, 117 модификаций и 49 отмен, см. Диаграмму 7. Значительное преобладание повторов по сравнению с другими типами операций в английском языке отмечается многими исследователями, ср., например, корпусные данные в [Shriberg 1994]. Таким образом, наши результаты позволяют предположить, что наблюдаемая в русском языке пропорция повторов, модификаций и отмен отражает не лингвоспецифические, а универсальные характеристики коррекций. Можно предположить, что повторы являются следствием наименее травматичных речевых сбоев, т. е. сбоев, требующих минимальных когнитивных усилий говорящего для их преодоления. Больше когнитивных усилий требуют сбои, приводящие к модификациям. Максимально травматичными являются сбои, приводящие к отменам — говорящему приходится отказываться не от способа вербализации исходного замысла, как при модификациях, а от самого замысла. Если такое предположение верно, то классы коррекций, выделенные нами по признаку «тип операции», также как и классы коррекций, выделенные по признакам «структурный диапазон» и «линейный диапазон», демонстрируют уменьшение частотности с ростом условной травматичности речевого сбоя: повторы встречаются почти в два раза чаще, чем модификации, а модификации, в свою очередь, более чем в два раза чаще, чем отмены.

Если посмотреть на соотношение повторов, модификаций и отмен раздельно внутри группы микрокоррекций и внутри группы макрокоррекций,

то мы увидим, что частотность отдельных типов операций уменьшается с ростом травматичности в обеих группах, но внутри группы макрокорреций типы операций распределены более равномерно. Как показано на Диаграмме 8, из 276 микрокорреций повторов — 168, модификаций — 85, отмен — 23, из 99 макрокорреций повторов — 41, модификаций — 32, отмен — 26.

Таким образом, распределение коррекций по признаку «тип операций» чувствительно к распределению по признаку «структурный диапазон».

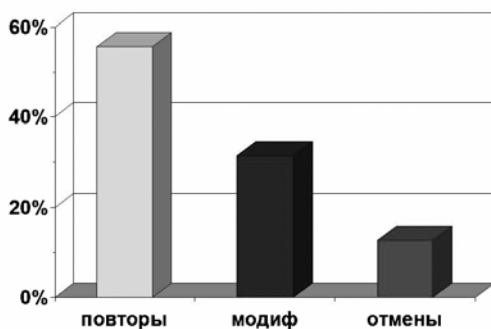


Диаграмма 7. Соотношение повторов, модификаций и отмен в корпусе

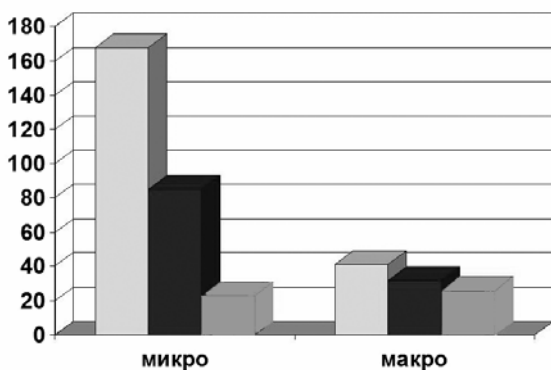


Диаграмма 8. Соотношение повторов, модификаций и отмен внутри групп микрокоррекции и макрокоррекции

5. Четыре классифицирующих признака: признак «объем забракованного фрагмента»

5.1. «Мелкие» vs. «крупные» забракованные фрагменты

По признаку «объем забракованного фрагмента» мы подразделяем коррекции на два класса с условными ярлыками «мелкие» и «крупные». Это деление отражает степень значительности / служебности забракованного

фрагмента и, как следствие, степень его потенциальной дискурсивной самостоятельности, т. е. способность самостоятельно формировать предикацию. К мелким забракованным фрагментам мы относим: (1) часть слова; (2) служебное слово (союз или коннектор иного типа, предлог, частица, дискурсивный маркер), (3) сочетание служебных слов и/или их частей, (4) сочетания служебных слов и части (частей) полнозначных слов. Все остальные забракованные фрагменты считаются крупными. Так, к классу мелких относится забракованная последовательность, состоящая из дискурсивного маркера, союза и части предлога (*ну а заме=*) в первой строке в (51) и забракованный союз (*когда*) во второй строке в (52):

(51) N66:21-24

..(0.4) *ну а заме= ==*

*что меня /насторожи*цло,

что-о ..(0.2) \‘это-о ..(0.2) заместо /носа у него были /просто две
\дырки.

(52) Z41:01-04

У меня-а /такой сон был,

..(0.3) *когда ==*

*ээ(0.1) что я /вы*рос,

... (0.5) *ээ(0.2) я ‘‘(0.2) значит себе купил /–кварти-иру там_*

В примерах, приведенных в предыдущих разделах, мелким забракованным фрагментом является часть слова в (1), (2), (9), сочетание союза и части глагола в (8), предлог в (18), сочетание предлога и части существительного в (32).

К крупным забракованным фрагментам относятся, по определению, последовательность местоимений (*я его ==*) в третьей строке в (53) и сочетание союза, личного местоимения и части глагола в первой строке в (54):

(53) N54:08-13

...(0.9) *А /потом я пошла-а ..(0.3) к своему /дру*згу,

*\очень ..(0.2) очень \давнишнему /дру*згу,

я его ==

..(0.2) *мы до сих пор с ним /дру*жим,

...(0.7) *\вот,*

..(0.4) *я его восемь \лет где-то уже знаю,*

(54) Z04:06-09

а /я заи= ==

..(0.1) *у меня /де*ньги были,

\тысяча,

... (0.5) *и /я на эт= // ээ(0.3) на эти /де*ньги /купил \это ..(0.4) \кассету.

В примерах, приведенных в предыдущих разделах, крупным забракованным фрагментом является сочетание личного местоимения с глаголом и личного местоимения с союзом в (3), глагол в (7), сочетание существи-

тельного и части существительного в (12), глагол со своими зависимыми в (13), последовательность цельной и фрагментарной ЭДЕ в (14).

Противопоставление мелких и крупных забракованных фрагментов позволяет различать коррекции в зависимости от того, насколько значителен артикулированный отрезок, который говорящий вынужден подвергнуть пересмотру. Это противопоставление учитывает одновременно сегментную протяженность и цельнооформленность забракованного фрагмента и, по существу, является континуальным: от обрывка слова к служебным словам, далее к непредикатным полнозначным словам, далее к предикатам и, наконец, к полным предикациям и их группам. Мы условно делим эту шкалу на две части — в точке перехода к полным знаменательным словам — чтобы иметь возможность дать самую общую количественную оценку распределения коррекций по этому признаку.

5.2. Количественное распределение коррекций по признаку «объем забракованного фрагмента».

Кумулятивное действие признаков «объем забракованного фрагмента», «структурный диапазон» и «тип операции»

По данным нашего корпуса среди 375 случаев коррекции, вошедших в основной массив обработки для количественных подсчетов, имеется 218 коррекций с мелким забракованным фрагментом и 157 коррекций с крупным забракованным фрагментом, см. Диаграмму 9. Естественно предположить, что исправление небольшого по протяженности отрезка, не являющегося грамматически и дискурсивно самостоятельным, требует меньше когнитивных усилий, чем исправление более протяженного отрезка, нагруженного пропозициональным содержанием, потенциально способным образовать отдельную ЭДЕ. Если это предположение верно, то классы коррекций, выделенные нами по признаку «объем забракованного фрагмента», так же как и классы коррекций, выделенные по трем другим признакам, демонстрируют уменьшение частотности с ростом условной травматичности речевого сбоя: мелкие забракованные фрагменты встречаются почти в полтора раза чаще крупных.

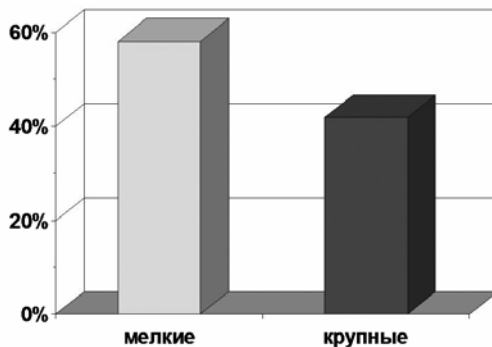


Диаграмма 9. Соотношение мелких и крупных забракованных фрагментов в корпусе

Травматичность коррекций по признакам «структурный диапазон» и «объем забракованного фрагмента» нарастает кумулятивно — среди микрокоррекции мелких забракованных фрагментов в два раза больше, чем крупных, а среди макрокоррекции наоборот — мелких забракованных фрагментов в два раза меньше, чем крупных. Как видно на Диаграмме 10, внутри микрокоррекции мелкие и крупные забракованные фрагменты соотносятся как 2:1, а внутри макрокоррекции — как 1:2.

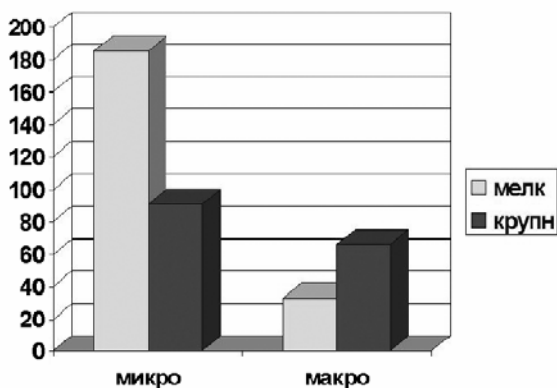


Диаграмма 10. Соотношение мелких и крупных забракованных фрагментов внутри групп микрокоррекции и макрокоррекции

Таким образом, распределение коррекций по признаку «объем забракованного фрагмента» чувствительно к распределению по признаку «структурный диапазон». Более того, с распределением по признаку «структурный диапазон» коррелирует и распределение мелких и крупных забракованных фрагментов внутри отдельных типов операций — повторов, модификаций и отмен. Начиная с классической работы [Maclay, Osgood 1959], исследователи речевых сбоев отмечали, что, по крайней мере, в английском языке, повторам чаще подвергаются служебные слова, а операциям других типов — чаще знаменательные. Данные нашего корпуса показывают, что и для русского языка это соотношение в целом верно, однако оно выполняется неравномерно в группах микро- и макрокоррекции. На микроуровне среди повторов действительно больше коррекций с мелким забракованным фрагментом, а среди модификаций больше коррекций с крупным забракованным фрагментом. В то же время, на макроуровне и среди повторов, и среди модификаций больше коррекций с крупным забракованным фрагментом. В Таблице 1 и на Диаграмме 11 показано количественное распределение коррекций по признакам «тип операции» и «объем забракованного фрагмента» внутри групп макрокоррекции и микрокоррекции. Как мы видим, на микроуровне при повторах количество мелких забракованных фрагментов превосходит количество крупных более чем в пять раз (141:27), а при модификациях наоборот — крупных фрагментов в два с половиной раза больше. На макроуровне преобладают

крупные фрагменты, однако при повторах их всего в два раза больше, чем мелких (14:27), а при модификациях — более чем в пять раз (5:27). Таким образом, и на макроуровне модификации демонстрируют более определенную, чем повторы, тенденцию к оперированию крупными фрагментами.

В целом же можно утверждать, что распределение коррекций по признаку «объем забракованного фрагмента», так же как и рассмотренные в предыдущих разделах распределения по признакам «линейный диапазон» и «тип операции», обнаруживает устойчивую качественную и количественную корреляцию с распределением по признаку «структурный диапазон». Таким образом, структурный диапазон коррекции — взаимное расположение забракованного фрагмента и его откорректированного коррелята в иерархической структуре дискурса — является ведущим критерием предлагаемой нами классификации.

Таблица 1

	Микрокоррекции		Макрокоррекции	
	Мелкие фрагменты	Крупные фрагменты	Мелкие фрагменты	Крупные фрагменты
Повторы	141	27	14	27
Модификации	24	61	5	27
Отмены	20	3	14	12

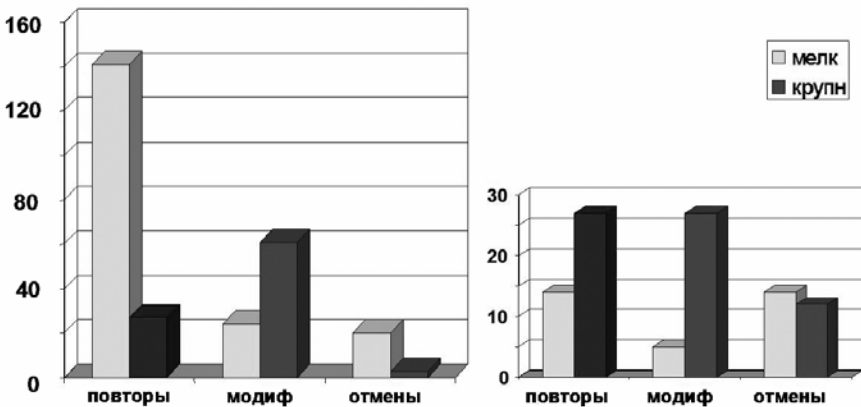


Диаграмма 11. Соотношение мелких и крупных забракованных фрагментов для разных типов операций внутри групп микрокоррекции и макрокоррекции

6. Выводы: распределение основных типов коррекции

Итак, мы рассмотрели основные типы коррекций в русской устной спонтанной монологической речи. В основе предложенной нами классификации лежат следующие четыре признака:

- Структурный диапазон коррекции (взаимное расположение забракованного фрагмента и его откорректированного коррелята в иерархической структуре дискурса).
- Линейный диапазон коррекции (линейная дистанция между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом).
- Тип операции (степень формального и семантического сходства между забракованным фрагментом и его откорректированным коррелятом).
- Объем забракованного фрагмента (сегментная протяженность и цельнооформленность забракованного фрагмента).

Количественное распределение основных типов коррекции в исследованном нами корпусе устных рассказов сведено в Таблице 2.

Качественный и количественный анализ коррекций позволяет сделать вывод, что более частотными являются те типы речевых сбоев, которые, по нашему предположению, требуют меньших когнитивных усилий для исправления. Этот вывод подтверждается следующими обнаруженными нами соотношениями:

- Коррекции происходят чаще внутри предикации, реже — корректируется структура дискурса.
- Корректируя предикацию, говорящий чаще сохраняет устраивающее его начало этой предикации, реже — отменяет начало предикации и начинает строить ее заново.
- Коррекции происходят чаще из-за того, что артикулирован неверный или неточный фрагмент, реже — из-за того, что фрагмент артикулирован преждевременно.
- Корректируя преждевременную артикуляцию фрагмента, говорящий стремится избежать грамматической и дискурсивной непроективности.
- При сбое речевой отрезок чаще повторяется, реже — заменяется на близкий по смыслу, и еще реже — отменяется совсем.
- Корректируются чаще оборванные слова или полные служебные слова, реже — полные знаменательные слова и группы слов.

Рассмотренные нами классификационные параметры влияют на частотность отдельных типов коррекции кумулятивно, причем ведущим параметром является «структурный диапазон», а остальные параметры демонстрируют с параметром «структурный диапазон» устойчивую корреляцию. В результате наиболее частотным оказывается такой класс речевых сбоев, который по всем параметрам является наименее травматичным, т. е. такой, который требует минимума когнитивных усилий для коррекции. Таким классом оказываются сбои, приводящие к контактными повторам мелких фрагментов внутри предикации (*черты ли = // ..(0.1) ээ(0.1) \лица*). Как видно из Таблицы 2 и Диаграммы 12, коррекции этого типа составляют 30,9 % всех коррекций в корпусе (116 из 375 коррекций основного массива).

Всего коррекций в корпусе 405														
Коррекции основного массива 375												Прочие 30		
Микрокоррекции 276 (срединных 176, начальных 100)												Макрокоррекции 99		
Контактные 233				Дистантные 43 (проективных 36, непроективных 7)				Контактные 39				Дистантные 60 (проективных 43, непроективных 17)		
Повт	Модиф	Отм	Повт	Модиф	Отм	Повт	Модиф	Отм	Повт	Модиф	Отм	Повт	Модиф	Отм
138	72	23	30	13	Ø	Ø	12	26	41	20	Ø	14	4	Ø
116	24	20	25	Ø	Ø	Ø	1	14	Ø	Ø	Ø	14	4	Ø
22	48	3	5	13	Ø	Ø	11	12	27	16	Ø	27	16	Ø
Мелкие 218														
Крупные 157														

Таблица 2. Количественное распределение основных типов коррекции в корпусе

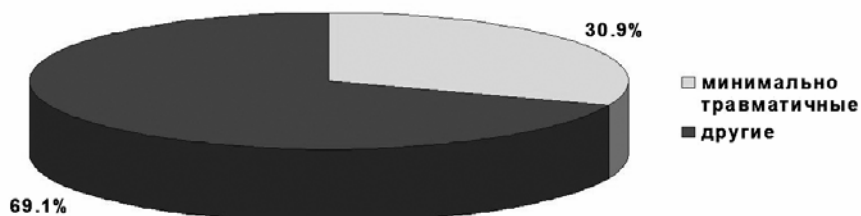


Диаграмма 12. Наиболее частотный кластер значений:
 контактные повторы мелких фрагментов внутри предикации
 (черты $ли = || ..(0.1) ээ(0.1) \backslash$ лица)

Таким образом, рассмотренный нами материал устных рассказов на русском языке показывает, что формат коррекции определяется прежде всего тем, насколько она затрагивает иерархическую структуру дискурса.

7. PS: Редкие типы коррекций.

Возможные дополнения к предложенной классификации коррекций

В этом разделе будут рассмотрены типы коррекций, объединенные в Таблице 2 в раздел «прочие», а также некоторые явления, связанные с коррекцией, но не вошедшие в массив данных, послуживший основой количественных оценок. Редкие типы коррекций и смежные с ними явления ввиду недостаточной своей представленности в корпусе не могли быть достоверно оценены количественно, однако с функциональной точки зрения они обнаруживают явную систематичность, заслуживающую качественного анализа.

7.1. «Гибридные» коррекции

В ряде случаев преждевременно артикулированный фрагмент корректируется не в текущей, а в одной из последующих ЭДЕ, однако, в отличие от «стандартных» дистантных коррекций, текущая ЭДЕ не отменяется, а «спасается» говорящим, т. е. достраивается таким образом, чтобы утилизировать материал, предшествовавший коррекции. Рассмотрим следующий пример:

(55) N45:07-10
 ..(0.4) И /папа вдруг ..(0.4) /схватил,
 и /начал её // ..(0.3) /кричать на неё прямо,
 ...(0.9) \нецствствуюя,
 ...(0.6) и-и мм(0.2) ...(0.8) \бить.

Здесь, вероятно, говорящая первоначально планировала во второй строке предикацию «начал её бить», но поняла, что это преждевременно и нужно

сначала сообщить о том, что папа начал кричать. Местоимение в винительном падеже *её* забраковано как преждевременное, но рассматривать данную коррекцию как срединную отмену не вполне правомерно, так как в четвертой строке появляется переходный глагол *бить*, для которого, по-видимому, и предназначалось это прямое дополнение. Более того, местоимение в винительном падеже так и не появляется больше в тексте за пределами забракованного фрагмента, хотя и глагол *бить*, и имеющийся в первой строке глагол *схватил* требуют прямого дополнения. В то же время, начало второй строки — союз и фазовый глагол (*и начал*) — не отменяются говорящей, и фазовая конструкция достраивается с другим знаменательным глаголом и его дополнением (*кричать на неё*). Таким образом, коррекции данного типа совмещают свойства контактных и дистантных коррекций, поэтому в рабочем порядке мы именуем такие коррекции гибридными.

Приведем другие примеры гибридных коррекций. В следующем примере:

(56) Z26:13-14

...(0.9) *то мы* ...(0.5) *стали*= // ..(0.1) \остались в этом \домике.
(3.5) *И* ..(0.1) *с-ст-тали все* \вместе в нём жить.

в первой строке забракован преждевременно артикулированный предикат, который во второй строке возобновлен. Начало первой строки — союз и подлежащее (*то мы*) — не отменяется. Аналогично устроен и пример (57)

(57) N26:23-24

..(0.2) *ты по*= // \оденешься,
и пойдёшь за \нцм.

где отменен преждевременно артикулированный фрагмент глагола, возобновленного в следующей строке. Начало первой строки — подлежащее (*ты*) — не отменяется. В некоторых случаях при гибридных коррекциях преждевременно артикулированный забракованный фрагмент может быть отделен от своего откорректированного коррелята достаточно протяженным материалом. Так, в следующем примере

(58) N25:22-28

....(1.5) *и-и я-а эээ*(0.6) *пыта-а*= // \это ... (0.9) *про* \воздухь *думаю*,
во= // *вон* // \вон мой \подъезд там,
до него \добежать *нужно*.
 ... (0.9) *Набираю* \воздуха,
 ..(0.1) \пытаюс-сь ' ... (0.9) \бежа-ать,

в первой строке забракована часть глагола (*пыта-а*=), возобновленного лишь в пятой строке. Возобновлению предшествуют сначала две строки, уточняющих первую, а затем описание фонового действия (*Набираю /воздуха*).

В нашем корпусе представлено 10 случаев гибридной коррекции, что составляет 2,5 % от общего числа коррекций в корпусе (треть коррекций, отнесенных нами к разделу «прочие»).

7.2. Коррекции при разорванных предикациях

В разделе 2.1 мы упоминали об особом явлении, которое условно названо нами «сплитом»: суть этого явления состоит в том, что морфосинтаксически целостная предикация может разрываться говорящим для вынужденного отхода от линии изложения с последующим восстановлением целостности.

Сплит может быть изначально запланирован говорящим, что наблюдается, в частности, при каноническом использовании вложенных зависимых предикаций в сложных предложениях, например, при интерпозиции определительного придаточного:

(59) N42:39-41

....(1.0) А /потом вот эти /девочки —
 которые \стояли около \двери,
 — ... (0.6) ээ (0.1) /вошли.

Иногда говорящий решает прибегнуть к сплиту уже в ходе произнесения текущей ЭДЕ. Это происходит в тех случаях, когда уже в ходе произнесения говорящий осознает, что текущая ЭДЕ не может быть адекватно понята без некоторой необходимой дополнительной информации, но решает не отменять уже начатую ЭДЕ, а встроить эту дополнительную информацию внутрь. Так, в примере (5) из раздела 2.1, повторенном ниже как (60):

(60) Z18:42-47

....(1.1) /Мы /оказались(1.0) на какой-то \пла-ане-ете.
 ... (0.9) Она была /очень \маленькая.
 Так что —
 ... (0.6) ээ(0.3) (Как \шарик.)
 — ..(0.1) было /видно,
 ээ(0.2) с /-другой стороны что _

предикация *Так что ..(0.1) было видно* разорвана и внутрь вставлена другая ЭДЕ (*Как шарик.*).

Сам по себе сплит, как запланированный, так и спонтанный, не обязательно приводит к коррекции, т. е. к отбраковке части артикулированного материала — так, в приведенных выше примерах сплита коррекции нет. Однако, если расстояние между частями предикации, разорванной сплитом, достаточно велико, то в начале второй части возможны повторы (реже — модификации) некоторых фрагментов первой части. Так, в примере:

(61) N53:65-68

... (0.7) и я \пролетела всю свою /жизнь,
 то есть я \просмотрела /кусками всю с = —
 /знаете,
 как \картинками как \слайдами,
 — ... (0.7) всю свою /жизнь вот,

разорвана первоначально планировавшаяся предикация *то есть я просмотрела кусками всю свою жизнь вот*. После разрыва возобновляется артикуляция именной группы *всю свою /жизнь*, прерванной в точке разрыва. При этом забракованный фрагмент *всю с=* отделен от своего возобновления двумя вставленными ЭДЕ.

В нашем корпусе представлено 20 случаев сплита, из них 6 случаев в сочетании с коррекцией (пятая часть коррекций, отнесенных к разделу «прочие»).

7.3. Замена части ЭДЕ на полную ЭДЕ

В некоторых случаях в ходе произнесения текущей ЭДЕ говорящий принимает решение заменить изначально планировавшуюся часть этой ЭДЕ на отдельную ЭДЕ. Так, в следующем примере

(62) Z49:06-08

....(1.1) на /другом /берегу мы увидели-и(1.2) \ещё-о ~
(1.0) там /люди сидели,
 и /ловили /р-рыбу.

вместо изначально планировавшегося завершения первой строки «ещё людей» или «ещё рыбаков» говорящий, не найдя удовлетворяющей его именной номинации, строит продолжение в виде последовательности отдельных предикаций. Такого рода замена сама по себе не обязательно приводит к коррекции, т. е. к отбраковке части артикулированного материала — так, в приведенном выше примере нет материала, от которого говорящий отказывается. Однако возможны случаи, когда решение заменить часть ЭДЕ на отдельную ЭДЕ говорящий принимает уже после того, как приступил к артикуляции материала, который подлежит замене. В этом случае данный материал подлежит отбраковке, и тем самым, имеет место коррекция, как в следующем примере

(63) Z15:1-2

Лунная /доро-ожка ... (0.7) /огра-ада,
(1.8) во дворце какие-то такая /спальня и-и' ..(0.4) какая-то как
 бы \комната из // ..(0.3) '(0.4) зо= ==
 \золотом покрыта.

где первоначально планировавшаяся именная номинация «комната из золота» уже в ходе произнесения заменена на предикативную номинацию золотом покрыта.

В некоторых случаях бывает трудно определить, отказывается ли говорящий от части уже проартикулированной номинации или считает, что она совместима с новой «предикативной» версией. Так, в следующем примере

(64) N63:02-05

и /мне вдруг встречается \абсолютно || ..(0.2) /человек,

который я не ==
 которого я не /знаю,
 и не /знал-л ээ(0.4) до= // “(0.2) никогда,

первоначально планировавшаяся номинация «абсолютно незнакомый человек» заменена на последовательность предикаций *которого я не /знаю, и не /знал-л ээ(0.4) до= // “(0.2) никогда*. Однако здесь нельзя с уверенностью утверждать, что наречие *абсолютно* не вписывается в предикативную версию и подлежит отбраковке.

В нашем корпусе представлено 5 случаев замены части ЭДЕ на отдельную ЭДЕ, из них 1 случай с явной коррекцией и 1 случай, условно допускающий такую интерпретацию.

7.4. Коррекции внутри слова

Уже начав произнесение некоторого слова, говорящий может испытать сомнение в его правильности или уместности. В этом случае говорящий может прервать произнесение слова, взять хезитационную паузу, а затем — если решит, что сомнения были напрасны — завершить артикуляцию оставшейся части. Именно так — с разрывом — произносятся слова *Христос* и *вьющимися* в следующих примерах, причем во втором случае пауза заполнена:

(65) Z38:15
(1.4) и-и ээ(0.1) ..(0.1) /пото-ом(2.5) ээ(0.4) ... (0.8) с /неба-а ... (0.1)
 ээ(0.2) /вышел //(1.0) ээ(0.2) /вышла ... (0.9) {ВЗДОХ}
 /Богоро-одица ..(0.2) и Иисус Хрис= ..(0.2) =/то-ос,

(66) Z32:26
 ... (0.5) “(0.2) ... (0.9) И /он с ‘эххэ(0.6) с с ..(0.4) \длинными ... (0.6)
 ““(0.6) такими вьюци= ээ(0.2) =мися ““(0.3)
 \светлыми /волосами,

В редких случаях разрыв слова может сопровождаться коррекцией. Так, в следующем примере

(67) Z17:17
(1.7) /Потом ..(0.3)(1.3) подо‘= ..(0.1) /=бежала ко мне \розовая
 м= ..(0.1) мышка.

говорящая прерывает слово после приставки и решает заменить основу, сохранив приставку. Интересно, что при этом сохраняется первоначально планировавшийся алломорф приставки (вероятно, первоначально планировалось *подошла*). Сходное явление наблюдается и в следующем примере, где говорящая, уже практически завершив произнесение слова, «на ходу» меняет число (не исправляя при этом числа согласованного определения):

(68) N07:55

в сталинское время-а \=ена,

Феномен коррекции внутри слова отмечался в литературе для некоторых языков (так, Fox, Hayashi, Jaspersen [1996] приводят примеры такого рода в японском языке, однако не указывают, насколько это явление распространено). В [Wouk 2005] обсуждается гипотеза о том, что коррекция внутри слова более свойственна агглютинативным языкам (в частности, языкам со слабой связанностью морфемы внутри словоформы), а также языкам, в которых границы морфем не проходят внутри слога. По-видимому, данные русского языка не согласуются с этой гипотезой. Н. Г. Гармаш [1999] отмечает, что это явление свойственно речи дошкольников и младших школьников и реже встречается во взрослой речи. В нашем корпусе представлено 13 случаев разрыва слова, из них 2 случая в сочетании с коррекцией (один — в речи девочки 12 лет, другой — в речи 17-летней девушки).

7.5. Множественные коррекции

Иногда говорящему не удается осуществить коррекцию с первой попытки. В таких случаях возможно многократное применение одного и того же типа операции (например, многократный повтор фрагмента) или последовательное применение разных типов операций (например, чередование повтора и модификации). Так в следующем примере, после первой неудачной попытки следует маркер препаративной подстановки, затем повтор более полной версии того же фрагмента, и уже потом, после введения пропозициональной установки, следует откорректированный коррелят:

(69) Z56:01-05

*/Мы с мамой поех= ==**...(0.8) \Это,**/мы с мамой поехали в ==**...(0.5) Мне приснился /сон,**будто мы с \мамой поехали в \Аме-ерику.*

В следующем примере обе попытки отвергнуты говорящей как преждевременные, причем сначала добавляется пропозициональная установка *...(0.1) И я мм(0.1) ..(0.3) /поняла, что-о ==*, но и эта версия признается неудачной, добавляется фоновое обстоятельство *...(0.3) ээ(0.4) Ну \посмотрела на мою /Катю вот, на \сестру*, и только потом следует откорректированный коррелят:

(70) N69:28-34

*И /тут он= ==**...(0.1) И я мм(0.1) ..(0.3) /поняла,**что-о ==**...(0.3) ээ(0.4) Ну \посмотрела на мою /Катю вот,**на \сестру,*

..(0.3) и /\поняла-а,
 что ... (0.5) \она собирается пойти вот открыть дверь этой
 /старушке,

В тех случаях, когда говорящий испытывает серьезные трудности с вербализацией, число неудачных попыток и объем забракованных фрагментов могут быть достаточно большими. Так в следующем примере говорящая в третьей-четвертой строках попыталась дать краткое описание ситуации «испугалась и не стала открывать»:

(71) N18:01-12
 /Я была-а /одна \до-ома-а.
 (1.1) И-и || (1.4) и п= // .. (0.4) и /постучали в \окно-о.
 .. (0.2) /Ну я /-испуга-а-лась,
 ... (0.5) мм(0.1) .. (0.2) и не стала открыв= ==
 Я /спрашивала-а,
 но я не \знаю ==
 ... (0.7) Ну в общем .. (0.3) /спрашивала,
 я не \знаю
 кто это бы-ыл.
 Ну' .. (0.1) я отвеч= // /спрашивала-а,
 .. (0.1) а /голос какой-то \незнако-о-мый.
 ... (0.6) И /я-а ... (0.5) ну не \стала открывать -две-ерь.

Это описание показалось ей недостаточно понятным слушателю без предварительного разъяснения, и она дважды — в пятой-шестой и седьмой-девятой строках — попыталась объяснить, что она испугалась открыть обладателю незнакомого голоса. Только четвертая попытка — в десятой-двенадцатой строках — устраивает говорящую как полное описание происшедшего «спросила (кто там), голос оказался незнакомым, поэтому не стала открывать дверь». О трудностях вербализации в этом фрагменте свидетельствуют также множественные повторы во второй строке и отмена предикативного фрагмента в десятой строке (исправление оговорки «отвечала» вместо «спрашивала»).

По данным нашего корпуса около 10 % основных типов коррекции являются множественными.

7.6. Коррекция vs. редактирование

Коррекции представляют собой немедленную реакцию говорящего на обнаруженную проблему. Согласно «главному правилу прерывания», сформулированному в [Levelt 1989: 478—482], говорящий стремится «остановить поток речи сразу после обнаружения проблемы, пусть даже посередине слова» (ср. также вывод Н. Г. Гармаш [1999] о том, что данное правило подтверждается на русском материале). При коррекциях речевой отрезок до точки прерывания обладает незавершенностью по совокупности лекси-

ческих, грамматических и просодических критериев. Очень часто в точке прерывания имеется обрыв слова (в 50 % случаев по нашему корпусу). Но даже там, где обрыва слова нет, имеются симптомы синтаксической и дискурсивной неполноты текущего отрезка.

Наряду с коррекцией у говорящего имеется и менее «авральный» способ преодолеть обнаруженную проблему. Он состоит в том, чтобы отредактировать уже готовый и транслированный фрагмент дискурса постфактум, т. е. уже по завершении проблемного отрезка информировать слушающего о том, что этот отрезок подлежит уточнению или исправлению. При редактировании могут (но не обязательно должны!) использоваться особые синтаксические конструкции, например, *не X, а Y* и др.:

(72) N53:19-23

...(0.7) *И-и* ...(0.5) *мы когда вот* ...(0.5) *приехали в какое-то одно*
/здание там,

(Ну не /здание,

\пещера такая была.

...(0.8) –Вот.)

...(0.5) *мы там* /увидели злобную \акул.

(73) N48:9-12

...(0.5) *Скорее всего он включил* /телевизор,

..(0.3) *и я его* \увидел.

....(1.5) *Не* /его *скорее всего,*

..(0.1) *а* ... (0.9) *сам-м=* \‘это ..(0.3) \историю.

(74) N48:38-42

/Потом он один раз вышел на /балкон,

..(0.4) *и его* —\пристрели-ли.

..(0.3) *То есть не* \пристрелили,

а за= \резали.

\Саблей.

При коррекциях задача говорящего сделать так, чтобы слушающий проигнорировал забракованный фрагмент, не прерывая приема текущего сообщения, т. е. отнесся к забракованному фрагменту так же, как он отнесся бы к зачеркнутому фрагменту в письменном тексте. При редактировании сигнал о проблеме посылается слушающему, когда соответствующая порция дискурса уже не просто получена, а как бы уже зарегистрирована как полученная, и поэтому зачеркнуть ненужное «он-лайн» уже невозможно. На этом этапе можно только строить новое сообщение, отменяющее или уточняющее полученную информацию. Редактирование осуществляется прежде всего сегментными (лексико-синтаксическими средствами), однако в редких случаях для этой цели могут использоваться и просодические средства без поддержки сегментных. Так, в следующем примере редактирование осуществляется за счет повтора ЭДЕ со сменой направления тона в акценте:

(75) Z26:28-31

....(2.0) /они' ..(0.2) \огораживали,

....(1.8) там где \посажено.

Ставили /колышки ==

....(5.4) Ставили \колышкии.

Редактирование в данном случае состоит в том, чтобы отменить сложившееся у слушателя представление, что произнесенная дискурсивная единица не была завершающей. Повтор с заменой подъема в несущем (коммуникативно релевантном) акценте на падение — это сообщение о том, что продолжения не будет.

Существует группа дискурсивных маркеров, которые могут использоваться для сигнала об обнаруженной проблеме как в режиме коррекции, так и в режиме редактирования. Так, например, дискурсивный маркер *то есть* в (74) использован в режиме редактирования, а в следующем примере этот маркер использован в режиме коррекции — в точке прерывания после забракованного (преждевременно артикулированного) фрагмента:

(76) N53:04-08

...(0.8) И вот эти /скаты,

они меня ==

..(0.4) То *есть* \я была \русалкой.

....(1.1) И эти /скаты,

они меня /возили куда-то там _

В нашем корпусе редактирование встречается достаточно редко (9 случаев на весь корпус), однако это может быть объяснено жанровой спецификой исследованных текстов (личные рассказы).

В перспективе актуальной задачей исследования устного русского дискурса представляется создание интегрального описания речевых сбоев, в котором в качестве основных системных блоков рассматривались бы, наряду с коррекцией, редактирование и гезитация. Разумеется, такое исследование должно будет базироваться на более широком сбалансированном корпусе текстов разных жанров. Если — по образному выражению Дж. Гринберга, вынесененному в эпиграф нашей работы, — задача лингвистики «состоит в создании лингвистического эквивалента партитуры, исходя из исполнений, составляющих корпус», то — вопреки мнению Дж. Гринберга! — оговорки, запинки, повторения никак нельзя признать несущественными отклонениями, «загрязняющими» корпус. Напротив, именно речевые сбои оказываются тем материалом, который может помочь лингвисту осуществить прорыв в создании лингвистического эквивалента партитуры.

Л и т е р а т у р а

Атлас 1998 — Е. А. Атлас. Функции пауз в русской спонтанной речи. М.: РГГУ (неопубликованная дипломная работа), 1998.

Гармаш 1999 — Н. Г. Гармаш. Влияние хезитации на организацию устного детского дискурса: Дис. ... канд. филол. наук / МГУ. М., 1999.

Гоголь 1952 — Н. В. Гоголь. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. М., 1952. С. 137—138.

Дараган 2000 — Ю. В. Дараган. Функции слов-«паразитов» в русской спонтанной речи // Труды Международного семинара «Диалог-2000» по компьютерной лингвистике и ее приложениям. М., 2000. С. 67—73.

Дараган 2003 — Ю. В. Дараган. Паразитизм или симбиоз: механизм преодоления коммуникативных сбоев и обслуживающие его вербальные средства // Доклады международной конференции «Диалог-2003». М., 2003. С. 166—178.

Кибрик, Подлесская 2003 — А. А. Кибрик, В. И. Подлесская. К созданию корпусов устной русской речи: принципы транскрибирования // Научно-техническая информация. Сер. 2. 2003. № 6. С. 5—11.

Кодзасов 2002 — С. В. Кодзасов. Фазовая символика тона // Логический анализ языка. Семантика начала и конца / Ред. Н. Д. Арутюнова. М., 2002.

Кожевникова 1970 — Кв. Кожевникова. Спонтанная устная речь в русской эпической прозе. Прага, 1970.

Ладыженская 1985 — Б. Я. Ладыженская. Особенности организации устной спонтанной речи (вставные элементы в речевом потоке): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.

Николаева 1970 — Т. М. Николаева. Новое направление в изучении спонтанной речи (о так называемых речевых колебаниях) [обзор] // ВЯ. 1970. № 3. С. 117—123.

Секерина 1997 — И. А. Секерина. Психоллингвистика // Фундаментальные направления современной американской лингвистики / Ред. А. А. Кибрик, И. М. Кобзева, И. А. Секерина. М., 1997. С. 231—260.

Щерба 1955 — Л. В. Щерба. Фонетика французского языка. М., 1955.

Янко 2004 — Т. Е. Янко. Русская интонация в задачах и примерах // Рус. яз. в науч. освещении. 2004. № 2 (8). С. 84—121.

Arnold, Fagnano, Tanenhaus 2003 — J. E. Arnold, M. Fagnano, M. K. Tanenhaus. Disfluencies signal *theee*, *um*, new information // Journal of Psycholinguistic Research, 32—1. 2003. P. 25—36.

Bateman, Rondhuis 1997 — J. A. Bateman, Klaas Jan Rondhuis. «Coherence relations»: towards a general specification // Discourse Processes. № 24. 1997. P. 3—49.

Bortfeld et al. 2001 — H. Bortfeld, S. D. Leon, J. E. Bloom, M. F. Schorer, S. E. Brennan. Disfluency Rates in Conversation: Effects of Age, Relationship, Topic, Role, and Gender // Language and Speech. 2001. Vol. 44. № 2. P. 123—147.

Brennan, Schrober 2001 — S. E. Brennan, M. F. Schrober. How listeners compensate for disfluencies in spontaneous speech // Journal of Memory and Language. № 44. 2001. P. 274—296.

Chafe 1994 — W. Chafe. Discourse, consciousness, and time. Chicago, 1994.

Chafe 1998 — W. Chafe. Language and the flow of thought // The new psychology of language. Cognitive and functional approaches to language structure. Mahwah (NJ), 1998. P. 93—111.

Clark, Fox Tree 2002 — H. H. Clark, J. E. Fox Tree. Using *uh* and *um* in spontaneous speaking // Cognition. № 84. 2002. P. 73—111.

Dell 1986 — G. S. Dell. A spreading-activation theory of retrieval in sentence production // *Psychological Review*. № 93. 1986. P. 283—321.

Dell 1995 — G. S. Dell. Speaking and misspeaking // *An invitation to cognitive science: Language*. Vol. 1. Cambridge (Mass), 1995. P. 183—208.

Du Bois et al. 1992 — J. W. Du Bois, S. Schuetze-Coburn, S. Cumming, D. Paolino. Discourse transcription // *Santa Barbara papers in linguistics*. № 4. Santa Barbara, 1992.

Du Bois et al. 1993 — J. W. Du Bois, S. Schuetze-Coburn, S. Cumming, D. Paolino. Outline of discourse transcription // *Talking data: Transcription and coding in discourse research*. Hillsdale (NJ), 1993. P. 45—89.

Ferreira, Bailey 2004 — F. Ferreira, K. G. D. Bailey. Disfluencies and human comprehension // *Trends in Cognitive Sciences*. Vol. 8. № 5. 2004. P. 231—237.

Fox, Jasperson 1995 — B. A. Fox, R. Jasperson. A syntactic exploration of repair in English conversation // *Descriptive and Theoretical Modes*. *The Alternative Linguistics*. Amsterdam, 1995. P. 77—134.

Fox, Hayashi, Jasperson 1996 — B. A. Fox, M. Hayashi, R. Jasperson. Resources and repair: a cross-linguistic study of syntax and repair // *Interaction and Grammar*. Cambridge, 1996. P. 185—237.

Fox Tree 1995 — J. E. Fox Tree. The effects of false starts and repetitions on the processing of subsequent words in spontaneous speech // *Journal of Memory and Language*. № 34. 1995. P. 709—738.

Fromkin 1973 — V. A. Fromkin (Ed.). *Speech errors as linguistic evidence*. The Hague, 1973.

Fromkin 1980 — V. A. Fromkin (Ed.). *Errors in Linguistic Performance: Slips of the Tongue, Ear, Pen and Hand*. N. Y., 1980.

Halliday, Hasan 1976 — M. A. Halliday, R. Hasan. *Cohesion in English*. London, 1976.

Hayashi 1994 — M. Hayashi. A comparative study of self-repair in English and Japanese conversation // *Japanese/Korean Linguistics*. Vol. 4. Stanford (CA), 1994. P. 77—93.

Hayashi, Yoon 2006 — M. Hayashi, K. Yoon. A cross-linguistic exploration of demonstratives in interaction: with particular reference to the context of word-formulation trouble // *Studies in language*. № 30-3, 2006. P. 485—540.

Howell 2002 — P. Howell. The EXPLAN theory of fluency control applied to the Treatment of Stuttering by Altered Feedback and Operant Procedures // *Current Issues in Linguistic Theory series: Pathology and therapy of speech disorders*. Amsterdam, 2002. P. 95—118.

Howell, Au-Yeung 2002 — P. Howell, J. Au-Yeung. The EXPLAN theory of fluency control and the diagnosis of stuttering // *Ibid*. P. 75—94.

Kolk, Postma 1997 — H. Kolk, A. Postma. Stuttering as a covert repair phenomenon // *Nature and treatment of stuttering: New directions*. Boston, 1997. P. 182—203.

Levelt 1983 — W. J. M. Levelt. Monitoring and self-repair in speech // *Cognition*. № 14. 1983. P. 41—104.

Levelt 1989 — W. J. M. Levelt. *Speaking: from intention to articulation*. Cambridge (Mass.), 1989.

Levelt, Cutler 1993 — W. J. M. Levelt, A. Cutler. Prosodic marking in speech repair // *Journal of Semantics*. № 2. 1993. P. 205—217.

Maclay, Osgood 1959 — H. Maclay, C. E. Osgood. Hesitation phenomena in spontaneous English speech // *Word*. 75. 1959. P. 19—44.

Mann, Thompson 1988 — W. C. Mann, S. A. Thompson. Rhetorical structure theory: toward a functional theory of text organization // *Text*. № 8. 1988. P. 243—281.

Martin 1992 — J. R. Martin. English text: systems and structure. Amsterdam, 1992.

Oviatt 1995 — S. Oviatt. Predicting spoken disfluencies during human-computer interaction // *Computer Speech and Language*. № 9. 1995. P. 19—35.

Postma 2000 — A. Postma. Detection of errors during speech production: a review of speech monitoring models // *Cognition*. № 77. 2000. P. 97—131.

Rieger 2003 — V. Rieger. Repetitions as self-repair strategies in English and German conversations // *Journal of Pragmatics*. 35. 2003. P. 47—69.

Sanders, Spooren, Noordman 1993 — T. J. M. Sanders, W. P. M. Spooren, L. G. M. Noordman. Coherence relations in a cognitive theory of discourse representation // *Cognitive linguistics*. № 4. 1993. P. 93—133.

Schegloff, Jefferson, Sacks 1977 — E. A. Schegloff, G. Jefferson, H. Sacks. The preference for self-correction in the organization of repair in conversation // *Language*. № 2. 1977. P. 361—382.

Shriberg 1994 — E. E. Shriberg. Preliminaries to a Theory of Speech Disfluencies: PhD dissertation. University of California at Berkeley. 1994.

Van Dijk 1981 — T. A. Van Dijk. Studies in the pragmatics of discourse. The Hague: Mouton, 1981.

Wouk 2005 — Fay Wouk. The syntax of repair in Indonesian // *Discourse Studies*. Vol. 7. № 2. 2005. P. 237—258.

Yang, Heeman, Strayer 2003 — Fan Yang, P. A. Heeman, S. E. Strayer. Acoustically verifying speech repair annotations // *Proceedings of DiSS'03, Disfluency in Spontaneous Speech Workshop*. 5—8 September 2003, Göteborg University, Sweden. Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics, 89. 2003. P. 95—98.

Т. Б. РАДБИЛЬ

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В СРЕДЕ ЯЗЫКОВЫХ АНОМАЛИЙ РУССКОЙ РЕЧИ

1. Введение

Статья продолжает рассмотрение типов языковой аномальности в русской речи, начатое в работе «Языковая аномальность в русской речи: к проблеме типологии» [Радбиль 2006а], где были охарактеризованы собственно языковые, точнее — системно-языковые аномалии, представляющие собой «нарушение правила употребления какой-то языковой или текстовой единицы» [Апресян 1990: 50].

Однако в нашей монографии [Радбиль 2006б] обосновывается расширительное применение термина *языковая аномалия*, которая понимается как любое значимое отклонение от принятых в данной социальной, культурной и языковой среде стандартов, имеющее знаковый, т. е. языковой характер манифестации, но не обязательно системно-языковую природу.

Многими современными исследователями языковых аномалий отмечен факт, что под понятие «аномальности» нередко подводится круг явлений разного рода. Например, по мнению Н. Д. Арутюновой, сюда входят и логическая контрадикторность, и несовместимость семантических компонентов, и несоответствие семантических связей семантическим отношениям, и разлад между коммуникативными целями говорящего и смыслом, и одновременная соотнесенность с разными точками зрения [Арутюнова 1990: 3].

При этом аномальное в одном смысле высказывание «нормально» в каком-то другом. Действительно, как в языке обыденной коммуникации, так и в художественной речи часто встречаются случаи, которые содержат все внешние признаки системно-языковой «нормальности», но при этом воспринимаются как явно девиантные. Например, у Д. Хармса читаем: *Покупаю птицу, смотри, нет ли у нее зубов. Если есть зубы, то это не птица.*

В чем, собственно, аномальность подобного высказывания? Видимо, ее корни надо искать не в системе языка как таковой, а в прагматике: немотивированная тавтологичность, возникающая за счет аномальной вербализации периферийного пресуппозитивного компонента семантики для слова *птица*, которая ведет к нарочитой неинформативности, является нарушением конвенций общения (принципа кооперации, «максим дискурса» и пр.).

Таким образом, если не ограничиваться областью применимости термина «язык» только по отношению к системе языка, но распространить ее и на особенности речевой реализации системы, а также на коммуникативно-прагматические условия осуществления речевой деятельности, то можно включать в понятие «языковая аномалия» и разного рода нарушения в сфере речевого поведения (нарушения норм и принципов коммуникативного акта, принципа кооперации и постулатов общения, аномалии интенциональности и пр.) — см., например, [Падучева 1982].

Все это традиционно относят к сфере действия прагматики: «...прагматическая неприемлемость апеллирует к социально принятым правилам речевого поведения» [Арутюнова 1990: 6]. Очевидно, что в этой области также существуют свои правила, свои закономерности, пусть не столь явно формализованные, как «языковые правила», но столь же важные для правильного понимания высказывания и успешного осуществления коммуникации. Вполне логично допустить, что и они, так же, как и собственно «языковые правила», могут нарушаться.

Именно аномалии, имеющие своим источником разнообразны нарушения прагматических закономерностей в использовании языка, являются непосредственным предметом данной работы.

2. Вопрос о месте прагматических аномалий в среде языковых аномалий

2.1. Выделение прагматических аномалий как теоретическая проблема

Как показывает цитированный выше пример из Д. Хармса, существуют высказывания, допустимые и логически, и семантически, которые при этом производят впечатление девиантности в силу их коммуникативной, прагматической неприемлемости. Н. Д. Арутюнова, рассматривая знаменитый «парадокс Мура», пишет: «Наряду с разрешенностью противоречивых высказываний существует и обратный феномен, а именно запрет на речевые акты, не содержащие в себе явного семантического противоречия. Дж. Мур заметил, что высказывание *Идет дождь, но я не утверждаю, что идет дождь (но я так не думаю)* семантически правильно, но вместе с тем оно будет отвергнуто адресатом» [Арутюнова 1990: 4].

Если при порождении высказывания, содержащего системно-языковую аномалию, говорящим нарушено какое-либо языковое правило, то при порождении высказывания, аномального прагматически, нарушаются правила и закономерности иной, экстралингвистической природы. Релевантным критерием для выделения прагматических аномалий, на наш взгляд, является сформулированный Ю. Д. Апресяном «принцип внутренней последовательности говорящего на протяжении высказывания», заложенный в самой природе языка: «Он проявляется в следующем. Если говорящий возбудил у слушающего какие-то общие фо-

новые знания (пресуппозиции) или занял какие-то интеллектуальные позиции, отраженные в модальных рамках выбранных им языковых единиц, то ничто в его высказывании не должно их отменять. В противном случае правильного высказывания не получится. Таким образом, язык в доступной ему мере вынуждает говорящего быть последовательным» [Апресян 1990: 62].

Нарушение этого принципа приводит к аномалиям, подобным, например, следующей: ...*я был мертв*... (А. Введенский), — когда использование 1 лица, задающее позицию говорящего в речевом акте, приводит к противоречию с фактивным значением предиката ‘быть мертвым’ в прошедшем времени и реальной модальности → ‘не иметь возможности занять позицию говорящего’. Ср., например, отсутствие прагматической аномальности в примерах типа: *Я умирал, я умираю* и т. п. с семантикой состояния или процесса. Усиливает подобную аномальность перфектная семантика предиката: *В лесу меня крокодил съел* (А. Введенский).

Реально же прагматические аномалии не столь очевидны, как в приведенных выше «экстремальных» случаях, поскольку они затрагивают некие глубинные, скрытые механизмы речевой коммуникации, вторгаясь в сферу интенциональности говорящего, — типа *Я сплю!* Ср. по этому поводу утверждение Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева: «Модальная рамка и темарематическое членение непосредственно описывают коммуникативные намерения говорящего — едва ли можно намеренно иметь противоречивые намерения» [Булыгина, Шмелев 1997: 446].

Отметим, кстати, что в режиме косвенного речевого акта прагматическая аномальность подобного типа чаще всего снимается (*Я сплю* в смысле *Прошу не мешать*), и, как следствие, подобное высказывание может быть рационально осмыслено и прагматически приемлемо. Предполагается, что именно это позволяет отграничить прагматическую аномалию от многих (но не всех!) аномалий системно-языковых, которые контекстно независимы и по большей части при переводе в режим косвенного речевого акта сохраняют свою аномальность: ... *я ... долго заплакала* [вместо *плакала*] (А. Платонов).

Таким образом, мы подошли к проблеме разграничения системно-языковых и прагматических аномалий. Один из путей этого разграничения намечен в работе И. М. Кобозевой. Это разграничение аномалий семантических и прагмасемантических: «Семантическая аномальность возникает из противоречия между любыми конвенциональными компонентами смысла. Она является характеристикой собственно языкового значения предложения и для своего обнаружения не требует обращения к контексту. Прагмасемантическая аномальность основана на противоречии между конвенциональным и неконвенциональным компонентом смысла и требует для своего обнаружения обращения к контексту, лингвистическому или экстралингвистическому» [Кобозева 1990: 195].

Так, системно-языковая (в терминологии И. М. Кобозевой — семантическая) аномалия: *...он с горы сидит впотьмах...* (А. Введенский) — не требует обращения к контексту для своего обнаружения: здесь очевидным образом нарушены и семантическое согласование, и грамматическая правильность.

Иное дело — прагматическая аномалия в известном выражении из фильма «Осенний марафон»: *Коза кричала нечеловеческим голосом*. Здесь идиоматичная конвенциональная семантика слова *нечеловеческий* ‘не похожий на человеческий / превышающий человеческие возможности’ (с пресуппозитивным смыслом ‘присущий только человеческому существу’) именно в контексте вступает в противоречие с неконвенциональным (неидиоматичным) буквальным значением, что приводит к аномальной тавтологии.

Другим релевантным для определения места прагматических аномалий в среде языковой аномальности разграничением будет разграничение аномалий прагматических и логических (концептуальных), намеченное в работах Ю. Д. Апресяна [Апресян 1990 и 1995]. Логические аномалии — это такие аномалии, которые, не содержа в себе никаких нарушений в сфере системных закономерностей языка, тем не менее воспринимаются как некие отклонения, т. к. ведут к противоречию, тавтологической неинформативности или бессмысленности высказывания.

Иными словами, только логической, но не системно-языковой и не прагматической будет аномалия, связанная с сочетанием несочетающихся или противоречивых концептов на уровне, так сказать, «языковой концептуализации мира», т. е. на уровне мысли, но не языка, например: *И вот по морю носится тушканчик с большим стаканом в северной руке* (А. Введенский). Ю. Д. Апресян выделяет два базовых типа таких аномалий — тавтология (*белая белизна*) и противоречие (*черная белизна*) [Апресян 1995: 622]. Кроме этого, можно говорить об алогизме (знаменитый пример Н. Хомского *Зеленые идеи яростно спят*), нонсенсе и пр.

Собственно лингвистический механизм подобной, чисто логической аномальности — столкновение только «поверхностных» (ассертивных) компонентов лексических значений единиц. Здесь уместно привести мысль Ю. Д. Апресяна о том, что не всякое сочетание несочетаемых с точки зрения лексического значения слов (типа *женатый холостяк*) обязательно ведет к языковой аномалии: аномальность зависит от того, насколько велика глубина залегания исключаящих друг друга смыслов в семантических структурах сочетающихся единиц. Т. е. она возникает в случае противоречий между лексическим значением и коннотацией, пресуппозицией или модальной рамкой, в случае противоречий между прагматическими или коннотативными аспектами значений сочетающихся единиц, а также в случае противоречий между их лексической и грамматической семантикой [Апресян 1995: 624—625].

Согласно нашей классификации, аномалия типа *женатый холостяк*, где сталкиваются ассертивные компоненты лексической семантики сочетающихся слов, должна квалифицироваться как логическая. Именно в силу наличия только ассертивной несовместимости или противоречивости такие аномалии легко апроприируются узусом в режиме идиоматичной, небуквальной интерпретации для выражения нетривиального или парадоксального содержания — например, *живой труп*.

Будем при этом иметь в виду, что практически любая системно-языковая (семантическая) или прагматическая аномалия предполагает какое-то логическое нарушение — иначе она просто не осознавалась бы как таковая. Логической аномалией имеет смысл считать такое нарушение в сфере содержания высказывания, которое не содержит отклонения от собственно языковых правил или принципов коммуникации.

В ряду других типов языковых аномалий в приведенном отрывке из Ю. Д. Апресяна можно выделить, на наш взгляд, аномалии системно-языковые и аномалии прагматические. Так, к системно-языковым аномалиям следует отнести «противоречие между лексическим значением и коннотацией», которое может быть признано стилистической аномалией: *...чтобы **умертвить** там своим жаром невидимых тварей [= вшей], от каких постоянно зудит тело* (А. Платонов), и «противоречие между лексическим и грамматическим значением», которое можно считать грамматической аномалией: *Овечье **спит** он сам **движенье*** (А. Введенский), — где лексическая семантика состояния для глагола *спать* входит в противоречие с его грамматическим представлением как переходного (т. е. с семантикой активного действия над объектом).

В свою очередь к прагматическим аномалиям следует относить «противоречие между лексическим значением и модальной рамкой, между прагматическими или коннотативными аспектами значений». Так, только нарушением прагматических закономерностей можно объяснить аномальность высказывания: *...червяк / червячек червячишко / как мой **родственник сынишка*** (А. Введенский). Очевидно, что языковая семантика слова *родственник* не противоречит именной атрибуции слова *сынишка*. Однако в речевой практике носителей русского языка существует распределение зон референции: слово *родственник* в прагматике обыденной коммуникации означает по умолчанию что-то вроде ‘дальний родственник’ (т. е. не отец, не мать, не сын, не дочь), а близких родственников так именовать не принято. Так возникает конфликт между конвенциональным (небуквальным) употреблением и номинативным (буквальным) значением слова — обратим внимание, что в позиции уточнения данная аномалия может сниматься.

«Противоречие между лексическим значением и пресуппозицией» может трактоваться двояко, в зависимости от типа пресуппозиции (семантической или прагматической) — или как системно-языковая, или как прагматическая аномалия (об этом см. параграф 2.2 настоящей работы).

2.2. Пути возможной классификации прагматических аномалий

При всей дискуссионности как самого понятия прагматики, так и области его применимости, в общем виде в прагматику входят «способы и типы соотнесения текста, порождаемого в рамках данного коммуникативного акта, с описываемой этим текстом денотативной ситуацией и ее участниками, с ситуацией общения, с говорящим и слушающим» [Касевич 1988: 51]. И здесь речь идет, по меньшей мере, о двух аспектах прагматики.

Первый аспект связан с соотнесением высказывания с «денотативной ситуацией», т. е. включает разнообразные явления в области референции текста / высказывания, особенностей дейксиса ситуации, «позиции наблюдателя» и пр. Кроме того, в рамках этого понимания традиционно к сфере действия прагматики относят разного рода неассертивные (невербализованные) компоненты слова или высказывания: пресуппозиции, презумпции, модальные рамки и пр.

Второй аспект прагматики, очевидным образом связанный с первым, касается уже соотнесения высказывания с «речевой ситуацией». Именно в этом смысле можно, вслед за Е. В. Падучевой, утверждать, что «прагматика изучает значение в его отношении к речевой ситуации (т. е. к говорящему и слушающему, их целям, фоновым знаниям) и к ее контексту» [Падучева 1996: 221]. Имеется в виду сфера действий иллокутивных сил, условий успешности речевого акта, постулатов общения и принципа кооперации и шире — сфера интенциональности говорящего и принципы организации коммуникативного акта в целом.

Поэтому можно говорить и о двух разновидностях прагматических аномалий.

(1) Первая из них находится в промежуточной зоне между системно-языковой и прагматической семантикой и связана с нарушениями в сфере актуализации разного рода невербализованных смыслов, а также референциальными и дейктическими девиациями. Такие аномалии можно именовать, вслед за И. М. Кобозевой, прагматическими.

Они возникают из столкновения конвенционального смысла слова, словосочетания или высказывания с неконвенциональным и для своего обнаружения требуют обращения к контексту или к экстралингвистической информации: «Употребление высказывания с пресуппозицией Р в контексте, который противоречит этой пресуппозиции, приводит к аномалии; пресуппозиция оказывается сильнее контекста» [Падучева 1996: 239].

Подобная аномалия часто связана с противоречием, возникающим между пресуппозитивным компонентом семантики одного слова / высказывания и ассертивным компонентом другого. Однако не все подобные аномалии должны квалифицироваться как прагматические.

Дело в том, что имеет смысл различать семантическую и прагматическую пресуппозиции. Семантическая пресуппозиция — это та часть семантики слова или высказывания, которая обладает свойствами «неустранимости» и «неотрицаемости» [Падучева 1996: 239—240], в

принципе не зависит от контекста и с необходимостью входит в базовую семантику единицы.

Например, для слова *взаимный* 'общий для обеих сторон, обоюдный; обусловленный один другим, связанный один с другим' не подлежит отрицанию компонент 'наличие двух субъектов отношения', который и является семантической пресуппозицией. Тогда в высказывании: *Приступили к взаимному утешению друг друга* (А. Платонов) аномалия возникает из-за того, что пресуппозитивный компонент семантики слова *взаимный* избыточно вербализован в ассертивном компоненте смысла устойчивого сочетания *друг друга*. Однако это не выводит данную аномалию за пределы системно-языковой семантики, и она должна квалифицироваться как системно-языковая (семантическая).

Ср. выражение: *...уста тяжелого медведя* (А. Введенский), где слово *уста* тоже имеет семантическую пресуппозицию 'принадлежность человеческого существа', что входит в противоречие с ассертивным компонентом смысла слова *медведь*. Так же в примере: *Декоративные благородные деревья держали свои тонкие туловища...* (А. Платонов) слово *туловище*, имеющее семантическую пресуппозицию 'принадлежность человека или животного', аномально рассматривается как принадлежность растения. Аналогично в высказывании: — *Заметь этот социализм в босом теле...* (А. Платонов), где в семантической пресуппозиции для слова *тело* — 'часть человека, куда не входят голова и конечности', что и приводит к противоречию (на тело обувь не надевают).

Указанные аномалии аномальны, так сказать, в любых контекстах и потому практически никогда не поддаются небуквальной (идиоматичной) интерпретации или интерпретации в режиме косвенного речевого акта. Возможно, это и позволяет квалифицировать данные аномалии как системно-языковые.

Гораздо сложнее дело обстоит с примерами типа: *Трудно было слепому среди всей шелухи и грязи найти съедобный отброс* (Д. Хармс). Это высказывание в нашей предыдущей работе [Радбиль 2006а] трактовалось именно как семантическая (т. е. системно-языковая) аномалия на основании присутствия в слове *отброс* пресуппозитивного компонента 'нечто несъедобное'. Однако можно показать, что для слова *отброс* в значении 'непригодные остатки чего-л.' семантической пресуппозицией (неустраняемой и неотрицаемой) будет компонент 'остатки' — тогда семантической аномалией будет что-то вроде **нужные отбросы, важные (или даже ценные) отбросы* и пр.

Семантический элемент 'нечто несъедобное' присутствует в слове *отброс* в качестве нестрогой импликации, как бы «по умолчанию», «по логике вещей», принятой в данном языковом коллективе. Он не входит в базовую семантику слова и не обладает свойством неустраняемости. Так, наличие в речевой практике идиомы *питаться отбросами* позволяет адресату метафорически, т. е. идиоматично интерпретировать понятие *съедобный*

отброс в поле антонимической оппозиции *отбросы съедобные / несъедобные*. Это также выводит данную аномалию за рамки семантических.

Как нам представляется, в подобных случаях можно говорить о прагматической пресуппозиции, которая в общем виде определяется как часть семантики высказывания, которую говорящий полагает известной слушающему. Прагматической аномалией может быть названо только нарушение, связанное с аномальной актуализацией прагматической (не семантической) пресуппозиции.

Как и в случае с семантической пресуппозицией, мы распространяем область применимости термина «пресуппозиция» не только на высказывание, но и на отдельное слово. Для слова мы считаем прагматической пресуппозицией такой семантический компонент, который непосредственно не присутствует в семантике данного слова, но наводится посредством импликаций, — само собой разумеющийся или общепринятый «по умолчанию» для членов данного языкового коллектива (явление речевой практики, узуса, а не системы языка).

Именно в силу этого аномалия, связанная с противоречием между прагматической пресуппозицией и ассертивной частью лексического значения, контекстно зависима и может быть рационально осмыслена в идиоматичном употреблении, в режиме косвенного речевого акта. Так, для примера: *...их лошади были босые* (А. Платонов) — в качестве механизма аномалии можно указать на столкновение прямого значения слова *босые* ‘без обуви’ и его пресуппозитивного компонента ‘применительно к человеческому существу’.

Однако примечательно, что в данном конкретном случае контекст позволяет дать рациональную интерпретацию данного словоупотребления: *Но учитель Нехворайко обул своих лошадей в лапти, чтобы они не тонули, и в одну нелюдимую ночь занял город, а казаков вышиб в заболоченную долину, где они остались надолго, потому что их лошади были босые...* Следовательно, в отличие от предыдущего случая *босое тело*, аномального во всех контекстах, данная пресуппозиция (и аномалия в целом) должна быть признана не семантической, а прагматической: принадлежность к человеческому существу не входит в семантику слова, но с необходимостью выводится в речевой практике и, в качестве нестрогой импликации, может быть устранена в контексте.

Именно к подобным аномалиям применимо разграничение аномалий на абсолютные и относительные, предложенное Ю. Д. Апресяном: «При абсолютной аномалии текст неправилен относительно любой содержательной интерпретации... (...) При относительной аномалии высказывание неправильно относительно одной содержательной интерпретации (обычно — наиболее вероятной), но правильно относительно другой интерпретации (обычно — менее вероятной, предполагающей странный, хотя и возможный мир)» [Апресян 1990: 56—57]. Прагматическая аномалия в этом смысле, в отличие от системно-языковой, должна быть признана относительной.

(2) Вторая разновидность прагматических аномалий связана с нарушениями в сфере речевого поведения, в области принципов организации коммуникативного акта и речевых стратегий говорящего, его интенциональной сферы. В отличие от прагмасемантических аномалий, где сталкиваются конвенциональные и неконвенциональные компоненты смысла, здесь сталкиваются неконвенциональные компоненты, аномальность которых обнаруживается при обращении к экстралингвистической сфере, к общему фонду знаний о мире говорящего и слушающего, к логике и психологии речевого общения и т. д.

Прагматические аномалии такого типа описаны, например, в известной работе Е. В. Падучевой «Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла» [Падучева 1982]. Как правило, это явления, связанные с нарушениями принципа кооперации, постулатов общения Г. П. Грайса, условий успешности речевого акта Дж. Р. Серля и т. п. Эти аномалии мы предлагаем именовать собственно прагматическими, или коммуникативно-прагматическими.

К таким аномалиям будет, например, относиться аномальный (по разным причинам) коммуникативный акт, многочисленные примеры которого есть в текстах А. Введенского, Д. Хармса или А. Платонова. Ср., например, тавтологически бессмысленное и иллокутивно немотивированное диалогическое взаимодействие героев пьесы Д. Хармса «Елизавета Бам»: Петр Николаевич: *Елизавета Бам, Вы не смеете так говорить.* / Елизавета Бам: *Почему?* / Петр Николаевич: *Потому что Вы лишены всякого голоса. Вы совершили гнусное преступление. Не Вам говорить мне дерзости. Вы — преступница!* / Елизавета Бам: *Почему?* / Петр Николаевич: *Что почему?* / Елизавета Бам: *Почему я преступница?* / Петр Николаевич: *Потому что Вы лишены всякого голоса.* / Иван Иванович: *Лишены всякого голоса.* / Елизавета Бам: *А я не лишена. Вы можете проверить по часам.* / Петр Николаевич: *До этого дело не дойдет. Я у дверей расставил стражу, и при малейшем толчке Иван Иванович икнет в сторону.*

К собственно прагматическим (коммуникативно-прагматическим) аномалиям мы также относим нарушения, связанные с аномальной актуализацией имплицатур дискурса, которые, так же, как и presupпозиции, суть неассертивные компоненты смысла высказывания, но отличаются от последних своей неконвенциональностью: они представляют собой выводное знание (нестрогие импликации), вытекают из принципа кооперации и общих постулатов коммуникации и, в сущности, не зависят от языка.

Аномальная актуализация имплицатур дискурса может быть продемонстрирована на примере следующего анекдота: Мать (дочери — о младшем сыне, гуляющем во дворе): *Маша! Посмотри, что там делает наш Вася, и скажи ему, чтобы немедленно прекратил!* В данном случае очевидным образом обыгрывается наведение ложной имплицатуры дискурса:

‘Вася в принципе ничего хорошего на улице делать не может’. Легко заметить отличие данной имплицатуры дискурса от пресуппозиции: ‘Вася что-то делает на улице’.

Именно опора имплицатур дискурса на постулаты общения и условия успешности речевого акта в целом позволяет нам «развести» аномалии в сфере имплицатур дискурса и аномалии в сфере прагматических пресуппозиций по разным таксономическим классам внутри прагматических аномалий. Ср. по этому поводу мнение Е. В. Падучевой: «Другое важное отличие имплицатур от пресуппозиций состоит в том, что они привязаны к семантическому содержанию того, что говорится, а не к языковой форме: нельзя “отделаться” от имплицатуры, заменив слово или выражение на синоним: имплицатуры обладают свойством, которое Г. Грайс назвал *неотделимостью* [*разрядка автора — Е. П.*]. Между тем пресуппозиции этим свойством не обладают: пресуппозиция связана именно с данной лексемой или способом выражения, и, в принципе, может найтись (хотя, конечно, не обязательно есть) слово с тем же ассертивным компонентом и другими пресуппозициями или без пресуппозиций вообще. Отделимость пресуппозиции от смысла высказывания — прямое следствие ее конвенциональности» [Падучева 1996: 240].

Разграничение аномальных имплицатур дискурса и аномальных пресуппозиций можно показать на следующем примере: *Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине* (Вен. Ерофеев). Аномальным высказывание делает не столько прагматическая пресуппозиция ‘Максим Горький писал о бабах и о Родине’, хотя и она представляется достаточно странной, сколько нестрогая имплицатура дискурса, иронически острающая культурный стереотип, — что-то вроде *‘основная тема творчества М. Горького — бабы’.

Вообще говоря, грань между прагмасемантическими и собственно прагматическими (коммуникативно-прагматическими) аномалиями не является отчетливой. Так, например, аномальную референцию или аномальный дейксис мы должны квалифицировать, если рассматривать их с «содержательной», денотативной стороны, как аномалию прагмасемантическую, а если рассматривать их со стороны интенциональной, с точки зрения нарушения постулатов общения, — как аномалию коммуникативно-прагматическую. В настоящей работе мы чисто условно относим указанные аномалии к прагмасемантическим.

Точно так же аномальную экспликацию дефиниции (по модели **мне нужен предмет мебели, предназначенный для сидения* [вместо стул]) можно трактовать с точки зрения аномальной вербализации пресуппозитивных смыслов как прагмасемантическую аномалию и с точки зрения нарушения постулатов общения Г. П. Грайса как аномалию коммуникативно-прагматическую. В данном случае, как кажется, все же «перевешивает» избыточность как аномалия в области принципов «нормальной» коммуникации.

3. Прагматические аномалии

3.1. Прагмасемантические аномалии

К прагмасемантическим аномалиям мы относим: (1) противоречие между прагматическими пресуппозициями и ассертивными компонентами смысла слова, словосочетания или высказывания; (2) противоречие между модальными рамками и ассертивными компонентами смысла слова, словосочетания или высказывания; (3) избыточную вербализацию прагматических пресуппозиций на уровне слова или высказывания; (4) избыточную «буквализацию» прагматических пресуппозиций; (5) аномальную референцию; (6) аномальную актуализацию дейктических показателей и кванторных слов.

(1) Эта аномалия возникает, когда в конфликт с актуализованным значением слова или высказывания вступает в контексте именно прагматическая пресуппозиция (в случае с семантической пресуппозицией аномалия должна квалифицироваться как системно-языковая, не прагматическая). Как правило, такую аномалию порождает неассертивный компонент смысла, не входящий в семантику слова, но выводимый из нее по «логике вещей» или общепринятый с точки зрения данного языкового коллектива.

Такая аномалия имеет место в примере: *На нее сидящую орел взирал и бежал* (А. Введенский), — в системно-языковой лексической семантике слова *орел* отсутствует представление о возможности/невозможности *бежать*. Однако это представление имплицитно присутствует в «прототипическом» (в духе работ А. Вежбицкой [Вежбицкая 1997]) орле: данная прагматическая пресуппозиция предполагает, что в речевой практике (узусе) носителей русского языка принято «по умолчанию», что «прототипические» орлы, в отличие, например, от страусов, не бегают.

Аналогичным образом через обращение к неявным конвенциям, принятым в русском языковом коллективе (в узусе), можно интерпретировать следующую аномалию: *...но оттуда по голове его печальной / ударили молотком* (Д. Хармс). В речевой практике носителей языка *голова*, как правило, означает не всю голову, а только ‘часть головы без лица’, в противопоставлении *лицу*. Именно этот фрагмент смысла можно считать прагматической пресуппозицией, которая делает невозможной интерпретацию по типу *печальное лицо* с семантикой ‘иметь печальное выражение’; также она не имеет конфигурации, в отличие от *фигуры*, которая может быть *печальной*. *Голова* же может быть только *печально склоненной*.

(2) Противоречие между модальной рамкой и ассертивным компонентом смысла возникает чаще всего в сфере неправильного употребления вводных и модальных слов, частиц и других носителей субъективной модальности.

Этот вид аномалий связан с «феноменом нецитируемости» — как «невозможностью передачи высказывания в форме косвенной речи» [Падучева 1996: 297—298]. Согласно Е. В. Падучевой, ряд языковых единиц, та-

ких, как, например, большинство вводных слов и предложений, допустим только в синтаксически независимой позиции — в главном предложении, а постановка его в придаточное ведет к аномалии, т. к. возникает противоречие между ассертивной (эксплицированной) семантикой типа *Он знает / думает / чувствует / говорит, что...* и модальной рамкой вводной конструкции '*Я* знаю / думаю / чувствую / говорю, что...' (т. е. ее субъективной модальностью).

Ср., например: *Чагатаев понял их и спросил, что, значит, они теперь убедились в жизни и больше умирать не будут?* (А. Платонов). Нормальная фраза, где в квадратных скобках отмечен невербализуемый компонент модальной рамки, типа: [я говорю, что] *Значит, пора.* — или: *Он сказал:* «[я говорю, что] *Значит, пора!*», — становится аномальной в синтаксическом режиме косвенной речи: **Он сказал, что [я говорю, что], значит, пора.*

По своей прагматической сути косвенная речь, вводимая придаточным с союзом *что*, — всегда объективированное воспроизведение говорящим с союзом *что*, — всегда объективированное воспроизведение говорящим другого субъекта сознания или восприятия, тогда как вводное слово, напротив, всегда актуализует самого говорящего в качестве субъекта сознания или восприятия, ср.: [Достоевский]... *догадался, что Роза, наверно, сокращенное название революции или неизвестный ему лозунг* (А. Платонов). Только при имитации речевого режима интерпретации в конструкции с прямой речью (или несобственно-прямой речью) вводное слово «нормально» передает субъект сознания или восприятия персонажа. Поэтому аномалия снимается в случае: *Он догадался: «Наверное, Роза...»* или: *Он догадался: наверное, Роза...*

В рассмотренных случаях аномалия нецитируемости ведет к противоречию. Но она может приводить и к тавтологии: *Втайне ото всех Пашиных верил, что рабочие и крестьяне, конечно, глупее ученых буржуев* (А. Платонов), где семантика 'быть убежденным, уверенным', эксплицированная употреблением глагола *верить* в функции глагола пропозициональной установки, избыточно вербализована и модальной семантикой вводного слова *конечно*.

(3) Избыточная вербализация прагматической пресуппозиции на уровне слова чаще всего приводит к возникновению тавтологического словосочетания типа: *Божев в молчаливом озлоблении сжал зубы во рту...* (А. Платонов).

Однако представляется, что нужно различать тавтологию на базе прагматической пресуппозиции от тавтологии на базе пресуппозиции семантической (в последнем случае аномалия будет системно-языковой, семантической). Так, в следующих примерах из А. Платонова: *Он имел уже пожилое лицо и согбенный корпус тела; ...вредоносным для зрения глаз; ...имелась библиотека книг* избыточно вербализованные компоненты *тело, глаза и книги* входят в семантику слов, соответственно: *корпус, зрение и библиотека* — в виде именно семантических пресуппозиций. Подобные случаи будут аномальны в любом контексте. Ср. еще: *дочка девочка;*

мертвый труп (А. Введенский). Такая аномалия может быть поддержана на уровне формально-языковом — за счет повтора компонентов, т. е. употребления в словосочетаниях однокоренных слов: *Простерты руки / К скучной скуке; Она божественная богиня* (А. Введенский).

И, напротив, в приведенном выше высказывании *сжать зубы во рту* элемент ‘находиться во рту’ не является, строго говоря, обязательным (зубы могут быть, по разным причинам, и «вне рта») — он просто предполагается «по умолчанию», с позиции здравого смысла, и поэтому должен считаться прагматической пресуппозицией. То же в примере: *Учительница детей...*, где в семантику слова *учительница* элемент ‘дети’ не входит в качестве обязательного компонента (можно учить и взрослых), но конвенционально предполагается говорящими. Аналогично: *Айдым сидела на горном склоне и плакала слезами из черных блестящих глаз* — при возможной рациональной (небуквальной, идиоматичной) осмысленности выражения *плакать без слез*. Косвенным подтверждением прагматического, не семантического характера таких аномалий является возможность устранения аномалии при включении конкретизирующего элемента, типа: *плакать горькими слезами*.

В примере: *Прощайся с отцом — он мертвый на веки веков* (А. Платонов) избыточно вербализованный временной параметр состояния также имеет прагматический, а не семантический характер. В семантическое представление слова *мертвый* не входит указание на временные границы этого состояния, но оно предполагается «по логике вещей»: семантика состояния *быть мертвым* не предполагает временной квантификации. Ср. аналогичный контекст, в котором избыточно вербализована квантификация степени состояния: — ... у меня с *Розой* глубокое дело есть, — *пускай она мертва на все сто процентов!* (А. Платонов).

Аномальная избыточная экспликация прагматической пресуппозиции может быть развернута в целую пропозицию, когда в норме имплицитное содержание пресуппозиции вербализуется целой предикативной единицей: ... *начал будить его, чтобы он проснулся...* (А. Платонов), где для глагола *будить* можно отметить прагматическую пресуппозицию цели действия, которая потому в норме и не эксплицируется. Данная аномалия также ведет к тавтологии — ср., например: *Чагатаев сел на краю песков, там, где они кончаются* (А. Платонов). Аномальная избыточная экспликация может быть связана и с аномальной вербализацией компонента фрейма: — *Вали, — сказал Чепурный. — Кирей, проводи его до края, чтоб он тут не остался* (А. Платонов). Одним из компонентов последовательной сценарной развертки фрейма ‘провождать’ является ‘сделать так, чтобы провожаемый не оставался в месте-источнике, а начал путь в место-цель’.

(4) Если экспликация пресуппозиции предполагает добавочную вербализацию «недостающего» фрагмента, то «буквализация» пресуппозиции предполагает семантическую трансформацию без структурного приращення. Подобная аномалия характерна для уже приводившегося ранее примера: *Коза кричала нечеловеческим голосом*.

Аномальная «буквализация» пресуппозиций связана с нарушением «постулата о идиоматичности» Дж. Р. Серля, который заключается в том, что при нормальной речевой коммуникации высказывание, буквальное значение которого бессмысленно или тавтологично, за счет наличия в нем идиоматичной пресуппозитивной части должно восприниматься адресатом небуквально [Серль 1978].

Так, в словосочетании: *Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл на губной музыке* (А. Платонов) прилагательное *детский* в данном контексте имеет метафорическую идиоматизированную семантику ‘выглядящий как детский’ и может быть, согласно прагматической пресуппозиции, приписано лишь существу, не являющемуся ребенком; буквальная же интерпретация его семантики ‘имеющий отношение к ребенку’, нарушающая постулат о идиоматичности, ведет к тавтологии. Очевидно, что такая аномалия, в отличие от семантических аномалий, контекстно зависима и проявится далеко не во всех контекстах — ср. рационально осмысляемое: *Мужчина с детской головой...* Это и делает ее прагматической.

Аномальная буквализация прагматической пресуппозиции на уровне словосочетания может быть связана со снятием идиоматичности, когда высказыванию, которое в норме должно интерпретироваться только в переносном смысле, как бы возвращается исходное, буквальное значение: *Умрищев встал на ноги и сердечно растрогался* (А. Платонов), — причем контекст не дает оснований для нормативного толкования во фразеологизованном значении ‘окрепнуть в профессиональном или социальном плане’.

Аналогичное снятие идиоматичности можно видеть в примере из «Елки у Ивановых» А. Введенского, когда Пузырев-отец говорит об умершей дочери: *Пузырев-отец (плачет). Девочка моя, Соня, как же так. Как же так. Еще утром ты играла в мячик и бегала как живая*. Устойчивый элемент *как живая* действительно конвенционально употребляется, когда речь идет либо о покойнике, либо о неодушевленном предмете. Но контекст *бегала как живая* возвращает этому элементу буквальное значение (в отличие, например, от нормального *лежит как живая*).

Примечательно, что для обнаружения аномальной «буквализации пресуппозиции» иногда необходимо обращение к макроконтексту или к экстралингвистической ситуации в целом. Тогда это явление может приводить к «игре на референциальной неоднозначности» и в этом статусе выступать в роли эффективного художественного средства. Примером тому является рассказ современного писателя В. Пелевина «Ника», проанализированный нами в работе [Радбиль 2001]. Это лирическое и возвышенное повествование о трагической любви Повествователя к некой загадочной и непознаваемой Нике, которая именуется в тексте только *Ника* и *она*. Ей приписываются вполне обычные для таких историй интенциональные характеристики: *...ее запросы были чисто физиологическими...; ...ни разу я не помню ее с книгой; ...а дневника, который я мог бы украдкой прочесть,*

она не вела, а также акциональные характеристики: *...однажды, ледяным зимним вечером, она совершенно голой вышла на покрытый снегом балкон...; я дал ей пощечину.*

Чувство, в духе мелодраматического канона, проходит последовательно все этапы — от первых надежд до предательства, измены и смерти возлюбленной. И только в последних строках рассказа мы узнаем, что Ника — это любимая *кошка* Повествователя. В этом свете совсем по-иному, в духе «буквализации пресуппозиций», прочитываются и приведенные выше референциальные характеристики героини (действительно, кошка и не должна бы читать книги, вести дневник и выходить на балкон одетой).

(5) Аномалии референции включаются нами в разряд прагмасемантических аномалий на том основании, что они также по-своему эксплуатируют сферу неэксплицированных смыслов, которые либо предполагаются в данном языковом коллективе «по умолчанию», само собой разумеющимися, либо выводятся посредством элементарных логических импликаций.

Образцом такой аномалии является начало объявления на столбе: *Студентам, а также людям умственного труда!* — здесь аномально задаются зоны референции для множества ‘студенты’ и множества ‘люди умственного труда’. В речевой практике носителей языка принято полагать, что множество ‘студенты’ находится в отношениях включения с множеством ‘люди умственного труда’, являясь его подмножеством. Указанное высказывание аномально задает иной тип отношений — отношение распределения, при котором множество ‘студенты’ и множество ‘люди умственного труда’ являются непересекающимися.

Часто встречается и аномальная референция лица, при которой возникают противоречащие здравому смыслу импликации: *Копенкин слушал-слушал [Достоевского] и обиделся: / — Да что ты за гнида такая: сказано тебе от губисполкома — закончи к лету социализм! Вынь меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же ты Ленин тут, ты советский сторож: темп разрухи только задерживаешь, пагубная душа!* (А. Платонов). Отметим, что данная аномалия совмещает в себе аномалию референции (*‘герой А. Платонова есть Ленин’) и аномальную прагматическую пресуппозицию (*‘ты тут являешься [назначен] Лениным [т. е. главным]’). Такое совмещение весьма частотно и является еще одним основанием для отнесения аномальной референции в класс прагмасемантических аномалий.

(6) Приведенные выше соображения по поводу аномальной референции дают основание включать в прагмасемантические аномалии также и аномалии дейксиса. Аномальная актуализация дейктических показателей и кванторных слов связана с разнообразными нарушениями в сфере «эгоцентрической» организации речи и референции.

Так, аномальный пространственный дейксис в примере: *Ты видел где-нибудь других людей? Отчего они там живут?* (А. Платонов) связан с тем, что пространственный дейктический показатель *там* не может заме-

щать в дискурсе область с неопределенно очерченными в предыдущем отрезке дискурса границами.

Другой тип аномалии пространственного дейксиса порождается аномальной дейктической локализацией первоначально неопределенной пространственной области референции: *Сказав эти слова, Воцев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы* (А. Платонов). Аномалия дейксиса здесь, видимо, связана с тем, что в предыдущем фрагменте повествования обозначено только расстояние, но не место назначения: получается, что *там* — это любая точка на условной окружности с центром *дом надзирателя*.

Аномальный временной дейксис может приводить к противоречивой актуализации временных параметров события / действия: *Бобль же всю жизнь ничего не делал — теперь тем более* (А. Платонов), когда употребление временного дейктического показателя *теперь* в контексте противопоставления с недейктическим временным показателем *всю жизнь* приводит к аномалии, т. к. в норме *теперь* означает 'после момента времени, очерченного в предыдущем фрагменте' (т. е. 'после жизни'), когда по определению делать ничего невозможно.

Аномальный количественный дейксис в примере: *Дай немножко чего-нибудь, тогда встану* (А. Платонов) связан с тем, что неопределенная область референции, очерченная местоимением *чего-нибудь*, не подлежит количественной квантификации посредством *немножко*.

Возможны также аномалии в употреблении кванторных слов, которые задают противоречивые или исключающие друг друга области референции словоупотребления: *О ней некому позаботиться кроме любого гражданина* (А. Платонов), когда при глаголе одновременно реализуются противоречивые кванторы всеобщности (отрицательный vs. утвердительный). Действие *позаботиться* одновременно приписывается *ни одному и всем*.

3.2. Собственно прагматические (коммуникативно-прагматические) аномалии

К собственно прагматическим (коммуникативно-прагматическим) аномалиям мы относим: (1) аномальную интенциональность речевого акта; (2) аномальные импликатуры дискурса; (3) тавтологические высказывания; (4) аномальную экспликацию дефиниции в речевом акте; (5) аномальную аргументацию в речевом акте; (6) аномалии речевых стратегий *de dicto* / *de re*. Все эти аномалии так или иначе нарушают принцип кооперации, постулаты общения и условия успешности речевого акта.

(1) Аномальная интенциональность связана с разнообразными нарушениями «нормальной» актуализации иллокутивных функций высказывания и в целом — его интенциональной сферы, например: *А еще у меня есть претензия, что я не ковер, не гортензия* (А. Введенский). Причем коммуникативно-прагматической эту аномалию делает не констатация факта, что герой *не ковер, не гортензия* (в этом случае аномалия была бы логиче-

ской — тавтологией), но наличие претензии (интенции, жизненной установки) на достижение заведомо невозможной, с точки зрения здравого смысла, цели.

Частным случаем аномальной интенциональности можно считать аномальную мотивацию самого порождения речевого акта: — *Вы трудно работаете, — сказал Сербинов, чтобы поскорее перестать улыбаться, — а я видел ваши труды, и они бесполезны* (А. Платонов). Здесь непосредственным мотивом речевого акта служит достижение, по меньшей мере, странной цели: ‘чтобы поскорее перестать улыбаться’.

Чаще всего аномальная интенциональность связана с противоречием между планом речевого намерения и планом его словесной реализации. В примере: — ... *Какой же ты Ленин тут, ты советский сторож: **темн разрухи только задерживаешь, пагубная душа!*** (А. Платонов) герой явно имел в виду обратное сказанному: **темн разрухи только усиливаешь*. Ср. аналогично: — *Это вы очковтиратели, товарищ комиссар!* / — *Почему? — уже занятый делом, рассеянно спрашивал комиссар. / — Потому что вы делаете **не вещь, а отношение,** — говорил Пухов, смутно припоминая плакаты, где говорилось, что **капитал не вещь, а отношение; отношение же Пухов понимал как ничто*** (А. Платонов). Здесь Пухов как раз подразумевает, что его оппоненты не создают «капитал» (и вообще ничего не создают).

К подобным аномалиям примыкают случаи аномального употребления перформативных высказываний: К у м и р. *Прерву тебя.* / З у м и р. / *Что?* / К у м и р. *Тебя прерву.* / З у м и р. *Прерви.* / К у м и р. *Прервал тебя.* / З у м и р. *Я продолжаю* (А. Введенский), где намеренно игнорируется именно «перформативность» их употребления в репликах диалога.

(2) Наведение в высказывании ложных импликатур дискурса выступает как проявление некорректного применения постулатов общения и принципа кооперации, при котором адресат вынужден выводить из речевого акта говорящего импликации, либо противоречащие здравому смыслу в целом, либо внутренне противоречивые в данном контексте.

Противоречащая здравому смыслу импликация возникает в примере: *Церковь стояла на краю деревни, и за ней уж начиналась пустыньность осени* (А. Платонов), где наводится импликатура, содержащая аномальное описание события: *‘Осень начиналась только за деревней, в деревне ее не было’. Ср. аналогичное высказывание: *Под вечер Копенкин достиг длинного села под названием Малое... На конце села наступила ночь...* (А. Платонов), в котором наводится импликатура: *‘В остальных частях села ночь не наступила’.

Это может быть импликация, при которой реальному субъекту предсказывается неадекватное свойство: *На сельских улицах пахло гарью — это лежала зола на дороге, которую не разгребали куры, потому что их поели* (А. Платонов). Здесь аномально имплицируется свойство: *‘Курам обязательно свойственно разгребать золу’. Пример интересен и тем, что в

нем аномально вербализуются и другие виды пресуппозитивных компонентов высказывания: придаточное причины *потому что их поели* в норме относится к предикативной основе с центром-сказуемым *не разгребали (куры)*, т. е. в общем ко всему событию, а здесь — к презумпции существования объекта *куры*.

Это может быть импликация, при которой реальной ситуации предиктируется неадекватное состояние: — *Здесь, граждане, ведь не фронт — голым ходить не вполне прилично* (А. Платонов). Здесь наводится аномальная импликатура: *‘На фронте голым ходить прилично’.

Внутренне противоречивая импликация возникает из конфликта между высказыванием и контекстом: *Тяжелая артиллерия — шестидюймовки — издали била по городу. Город от нее давно и покорно горел. / Распоренные умершие травы росли по откосу насыпи, но они тоже вздрагивали, когда недалекий бронепоезд из-за моста метал снаряд* (А. Платонов). Здесь избыточно вербализован показатель имплицитной предикации *тоже*, предполагающий, что какой-то субъект ранее уже испытывал состояние *вздрагивать* (условно говоря, в предыдущем абзаце *ничего не вздрагивало*). Нормальным для этого контекста представляется выбор выделительного дискурсного слова *даже*: *даже они вздрагивали...*

(3) В отличие от тавтологических сочетаний внутри нетавтологического в целом высказывания, которые мы рассматривали в параграфе 3.1 в качестве прагмасемантических аномалий, здесь речь пойдет о тавтологических высказываниях как о законченных отдельных речевых актах: в этом случае тавтология ведет к неинформативности и к неуспешности речевого акта, а значит, нарушает постулаты общения и является аномалией коммуникативно-прагматической: *Скачи прямо! ... Только не сворачивай ни направо, ни налево!* (А. Платонов). Получается, что одним из коммуникативных намерений служит тавтологическая экспликация первоначально сформулированной иллюкативной цели.

Примером такой аномалии может быть аномальное противопоставление соотносительных тавтологических выражений: *Мейн инеллер замочек Густав, у нас здесь родина, а у тебя там чужбина* (А. Введенский). Ср. еще: *Звезды, правда, сияли, да не светили* (Д. Хармс). Подобная аномалия может порождаться и аномальной конъюнкцией синонимичных выражений, которые являются перифразами друг друга: *И велит вам собираться поскорее да чтобы вы торопились* (А. Введенский).

Ср. похожие случаи так называемой «псевдодетерминированности», когда временные, условные, причинные, целевые отношения устанавливаются в высказывании между тождественными или синонимичными элементами, например: *Когда он приотворил распухшие свои глаза, он глаза свои приоткрыл* (А. Введенский).

(4) Аномальная экспликация дефиниции в позиции номинативной единицы предполагает случаи, когда в речевом акте вместо номинативной единицы немотивированно появляется ее дефиниция или перифрастиче-

ское наименование. Мы относим эту аномалию к коммуникативно-прагматическим на том основании, что избыточное эксплицирование дефиниции слова нарушает, по меньшей мере, два постулата Г. П. Грайса — постулат информативности и постулат ясности выражения [Грайс 1985], а также принцип кооперации, согласно которому экспликация невербализованного содержания возможна только для особых иллокутивных актов, в специально оговоренных условиях речевого общения, но не «по умолчанию» (нарушение «постулата о идиоматичности» Дж. Р. Серля).

Пример аномальной экспликации дефиниции: *Человек показал рукой и бросил папиросу в уличное помойное ведро* [т. е. урну] (А. Платонов). Пример аномального (немотивированного) перифразирования: *Скоро человек возрос до того, что Дванов стал бояться: он мог лопнуть и брызнуть своею жидкостью жизни* [т. е. кровью] (А. Платонов). И. М. Кобозева и Н. И. Лауфер называют подобные случаи «покомпонентной лексикализацией» [Кобозева, Лауфер 1990].

В случае «покомпонентной лексикализации» аномальное перифразирование может сопровождаться экспликацией неочевидной, необщепринятой дефиниции, что усугубляет аномальность: *И будто бы мужчины неба* [т. е. ангелы] / *с крылами жести за спиной* / *как смерти требовали хлеба* (А. Введенский). Аномальность усиливается еще более, когда такой перифраз оказывается весьма смутным и произвольным, но при этом довольно подробным: — *А ты тоже рабочее тело на пустяк пищи менял?* [т. е. ты тоже пролетарий?] — *спросил Чепурный.* / — *Нет,* — *сказал Алексей Алексеевич,* — *я человек служащий, мое дело — мысль на бумаге* [т. е. нет, я интеллигент] (А. Платонов).

Любопытны случаи, когда аномальная экспликация дефиниции употребляется в речевом акте не вместо соответствующей номинативной единицы, а вместе с ней — в одном контексте: *Еще раз / на бранном месте / где происходила битва / вновь опускается молитва* (А. Введенский). Здесь избыточная экспликация дефиниции словосочетания *бранное место* 'место, где проходит битва' приводит к тавтологическому сочетанию. Ср. аналогично: ... *оживет и станет живою гражданкой Роза Люксембург* (А. Платонов). Здесь *ожить* и *стать живой* аномально осмысляются не как лексема и ее дефиниция, а как две последовательные стадии одного процесса.

(5) Аномальная аргументация в речевом акте выступает как релевантное проявление аномалий в сфере коммуникативного акта в целом, описанных в работе [Радбиль 2006b: 175—183]. Аномальную аргументацию можно рассматривать как максимально деструктивное нарушение принципов нормальной коммуникации, поскольку она, как правило, приводит к самодискредитации высказывания, т. е. саморазрушению коммуникативного намерения.

Ее можно продемонстрировать на следующем примере (в квадратных скобках восстановлены скрытые, невербализованные импликации, приводящие к аномальной аргументации): — *У вас революция или что?* — *спро-*

сил Сербинов у Дванова. / — **У нас коммунизм.** ← [так как у нас находится человек] *Вы слышите — там кашляет товарищ Копенкин,* ← [который является коммунистом] он **коммунист** (А. Платонов).

Аналогичным образом в реплике героя «Чевенгура» слесаря Гопнера из некорректных посылок возникает ложное умозаключение, что в Чевенгуре может образоваться коммунизм: — *Чего глядишь? — сказал Гопнер. — Летают же кое-как аэропланы, а они, проклятые, тяжелее воздуха!* [(1) аэропланы летают; (2) они тяжелее воздуха] → **Почему ж не сорганизоваться коммунизму?** [в Чевенгуре можно построить коммунизм] (А. Платонов).

Результатом аномальной аргументации является возникновение ложных импликатур дискурса, что в свою очередь выступает как нарушение постулатов общения: — **Ты Пашиинцев или нет?** — *спросил Копенкин.* / — *Да, а то кто же!* — *сразу ответил тот.* / — **Но тогда зачем ты оставил пост в ревзаповеднике?** (А. Платонов), — т. е. *‘если ты Пашиинцев → ты не должен оставлять пост’.

(6) Возможности аномальной эксплуатации речевых стратегий de dicto / de re рассматриваются в работах [Падучева 1996; Булыгина, Шмелев 1997]: «Стратегия de dicto направлена на адекватную передачу чужого мнения; стратегия de re всегда маркирована и выбирается со специальной целью» [Булыгина, Шмелев 1997: 472]. Применительно к принципам нормального речевого общения это означает, что при стратегии de dicto адресат ориентируется на значения слов, актуализованные говорящим (что должно быть «по умолчанию», в специально не маркированных условиях коммуникации), а при стратегии de re он переформулирует их в соответствии со своими исходными пресуппозициями и импликациями (что, в случае отсутствия особой мотивации для такого перетолкования, является коммуникативно-прагматической аномалией).

Примером аномальной мены стратегии de dicto на стратегию de re является следующий диалог, где это приводит к взаимному недопониманию коммуникантов, т. е. к нарушению принципа кооперации: — *Куда бредут?* [приведенные Прокофием в Чевенгур «пролетарии»] — *с уважением спросил Чепурный: ко всему неизвестному и опасному он питал достойное чувство.* — *Куда бредут? Может, их окоротить надо?* / Прокофий удивился такому бессознательному вопросу: — *Как куда бредут? Ясно — в коммунизм, у нас им полный окорот.* В рамках стратегии de dicto слово *окоротить* в реплике Чепурного следует понимать в том смысле, который он имеет в виду — ‘остановить бесцельное блуждание’; Прокофий же, в духе стратегии de re, вкладывает в значение этого слова прямо противоположный смысл — его просторечное значение (*у нас им полный окорот* = ‘конец’), причем приписывает этот печальный исход «чевенгурскому коммунизму».

Аналогично: — *Правда, что у вас сократилась посевная площадь?* — *захотел узнать Сербинов для удовольствия секретаря, мало интересуюсь посевом.* / — *Нет,* — *объяснил Дванов,* — *она выросла, даже город зарос травой.* Стратегия de dicto требует понимать словоупотребление Сербино-

ва *посевная площадь* в его терминологическом значении ‘полезная площадь, пригодная для посева сельскохозяйственных культур’. Дванов же, в соответствии со стратегией *de re*, в ответной реплике имеет в виду просто всю площадь, заросшую травой. В том же ключе переосмысливается значение глагола *расти* — из идиоматического, абстрактного ‘увеличилась’ в прямое, буквальное (*выросла трава*).

Неосознанная мена стратегии *de dicto* на стратегию *de re* просто приводит к нарушению принципа кооперации — к коммуникативному «провалу»; в случае же осознанной эксплуатации этой аномалии речь идет уже о «языковой демагогии» как одном из средств языкового манипулирования [Булыгина, Шмелев 1997: 472—475].

Возможна и коммуникативно-прагматическая аномалия, связанная с противоположным явлением — с аномальной меной стратегии *de re* на стратегию *de dicto*. Это происходит, когда коммуниканты ориентированы на само словесное наполнение высказывания, а не на распознавание его коммуникативного намерения. В примере из «Елизаветы Бам» Д. Хармса мы видим, как ответная реакция собеседника на реплику состоит в том, что он просто произвольно меняет набор слов, предложенный говорящим: Елизавета Бам: *Иван Иванович, сходите в полпивную и принесите нам бутылку пива и горох.* / Иван Иванович: *Ага, горох и полбутылки пива, сходить в пивную, а оттудова сюда.* / Елизавета Бам: *Не полбутылки, а бутылку пива, и не в пивную, а в горох идти!* / Иван Иванович: *Сейчас, я шубу в полпивную спрячу, а сам на голову одену полгорох.* / Елизавета Бам: *Ах, нет, не надо, торопитесь только, а то мой папочка устал колоть дрова.*

К явлениям этого типа примыкают случаи так называемой «буквальной мотивации» в речевом акте, когда отношения импликации устанавливаются не между событиями в зоне референции, а между лексическими значениями вербализованных единиц: *Вынь меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина* (А. Платонов). Здесь условные отношения устанавливаются не между двумя предикативными единицами в целом, а между номинативным значением опорных слов *меч* и *железный*.

4. Заключение

(1) Итак, прагматические аномалии нарушают две базовые характеристики высказывания в коммуникации — его *интенциональность* и *конвенциональность*. К девиации в интенциональной сфере, как правило, приводит некорректный выбор языковых средств (спонтанный или намеренный), обеспечивающих актуализацию стандартной для данного выражения иллюкутивной цели, в результате чего появляется неподвижная им фондовая информация и, как следствие, неадекватный перлокутивный эффект. К девиации в конвенциональной сфере приводит разруше-

ние идиоматичности высказывания в широком смысле слова как нарушение «постулата о идиоматичности» Дж. Р. Серля, в результате чего возникает буквальная (неконвенциональная) интерпретация, ведущая к тавтологии или алогизму.

(2) В этом смысле прагматическая аномалия, с одной стороны, представляется более глубинной, чем системно-языковая, т. к. далеко не всегда ошибка в реализации языкового правила ведет к невозможности понять смысл сказанного, прагматическая же аномалия по большей части ведет к двусмысленности, бессмысленности или противоречивости, т. е. к нарушениям именно в сфере понимания. С другой стороны, как ни парадоксально, она, так сказать, «менее аномальна», т. к. имеет значительный потенциал прагматической мотивированности в нетривиальных условиях общения и рациональной осмысленности в выражении нетривиальных смыслов.

(3) Смысл подобных аномалий в плане говорящего состоит в выражении определенного «недоверия к пресуппозиции» [Радбиль 2006b: 169], когда он, по тем или иным причинам, дезавуирует общепринятые, само собой разумеющиеся смыслы, дискредитирует ментальные и культурные стереотипы обыденной коммуникации, принципы и установки «здорового смысла». В плане адресата здесь, видимо, можно говорить о «вотуме недоверия к адресату», к его способности делать естественные умозаключения, к его знанию самоочевидных вещей. И то и другое явным образом нарушает принцип кооперации.

(4) Для прагматических аномалий, возможно, как ни для каких других, актуально выдвинутое Ю. Д. Апресяном положение о «конструктивности аномалий» [Апресян 1990: 63—64]. К конструктивным аномалиям относятся отклонения, которые в перспективе могут быть восприняты языком и даже стать толчком к обновлению системы языка и речевой практики общества. Это связано с возможностью их семантической, стилистической или прагматической рационализации.

(5) Прагматические аномалии, семантически емкие и максимально нагружающие контекст, обладают значительным потенциалом языковой экспрессивности и в этой роли широко используются в эстетическом режиме применения языка как на уровне обыденной коммуникации («языковая игра», шутки, анекдоты и пр.), так и на уровне художественной речи. Источником подобной выразительности выступает нетривиальная реализация общепринятых принципов коммуникации, при которой говорящий как бы самоустраняется от ответственности за презумпции в своей речи, и «бремя ответственности» за расшифровку невербализованных смыслов перекладывается на адресата. Вспомним, что еще Р. О. Jakobson говорил об эффекте «обманутого ожидания» читателя, что считается общим принципом всякого речевого изменения, производимого со стилистической целью и представляющего собой отклонение от нормы [Jakobson 1987: 84—85].

(6) В нашей предыдущей статье был сделан вывод о существовании типовых моделей языковой аномальности, когда самой

системой языка предусмотрены не только модели реализации ее системных закономерностей, но и модели порождения отклонений от них [Радбиль 2006а]. Видимо, это справедливо и для аномалий прагматических. Так, Е. В. Падучева считает, что, когда говорящий сознательно эксплуатирует какой-нибудь коммуникативный постулат, т. е. использует его для передачи информации в завуалированной форме, он этим как бы заставляет слушающего самого вывести соответствующий компонент в виде имплицитурности дискурса [Падучева 1982; 1996], — при этом, закрепляясь в речевой практике, данное явление приобретает культурно апроприированный характер и превращается в приемы и фигуры речи (амфиболия, *figura etymologica*, каламбур, экивок и т. д.).

Л и т е р а т у р а

Апресян 1990 — Ю. Д. А п р е с я н. Языковые аномалии: типы и функции // *Res Philologica: Филологические исследования. Памяти акад. Георгия Владимировича Степанова (1919—1986) / Под ред. Д. С. Лихачева. М.; Л., 1990. С. 50—71.*

Апресян 1995 — Ю. Д. А п р е с я н. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 1995.

Арутюнова 1990 — Н. Д. А р у т ю н о в а. От редактора: Вступительная статья // *Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста: Сб. науч. тр. Ин-та языкознания АН СССР. М., 1990. С. 3—9.*

Булыгина, Шмелев 1997 — Т. В. Б у л ы г и н а, А. Д. Ш м е л е в. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

Вежбицкая 1997 — А. В е ж б и ц к а я. Прототипы и инварианты // А. В е ж б и ц к а я. Язык. Культура. Познание: Пер. с англ. / Отв. ред. и сост. М. А. Кронгауз. М., 1997. С. 201—230.

Грайс 1985 — Г. П. Г р а й с. Постулаты речевого общения // *Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. М., 1985. Вып. XVI. С. 217—236.*

Касевич 1988 — В. Б. К а с е в и ч. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.

Кобозева 1990 — И. М. К о б о з е в а. Прагмасемантическая аномальность высказывания и семантика модальных частиц // *Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста: Сб. науч. тр. Ин-та языкознания АН СССР. М., 1990. С. 194—203.*

Кобозева, Лауфер 1990 — И. М. К о б о з е в а, Н. И. Л а у ф е р. Языковые аномалии в прозе А. Платонова через призму процесса вербализации // *Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста: Сб. научн. трудов. Ин-та языкознания АН СССР. М., 1990. С. 124—139.*

Падучева 1982 — Е. В. П а д у ч е в а. Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла // *Семиотика и информатика. М., 1982. Вып. 18. С. 76—119.*

Падучева 1996 — Е. В. П а д у ч е в а. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М., 1996.

Радбиль 2001 — Т. Б. Р а д б и л ь. Лингвистическая прагматика и проблема понимания текста (об одном рассказе Виктора Пелевина) // *Принципы и методы исследования в филологии: конец XX века: Сб. статей науч.-методич. сем. «TEXTUS». СПб.; Ставрополь, 2001. Вып. 6. С. 307—311.*

Радбиль 2006a — Т. Б. Р а д б и л ь. Языковая аномальность в русской речи: к проблеме типологии // Рус. яз. в науч. освещении. 2006. № 1(11). С. 77—100.

Радбиль 2006b — Т. Б. Р а д б и л ь. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. М., 2006.

Серль 1978 — Дж. Р. С е р л ь. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистика текста. М., 1978. Вып. VIII. С. 195—222.

Якобсон 1987 — Р. О. Я к о б с о н. Вопросы поэтики. Постскрипtum к одноименной книге // Р. О. Я к о б с о н. Работы по поэтике: Переводы. М., 1987. С. 84—85.

Г. Е. КРЕЙДЛИН, А. Б. ЛЕТУЧИЙ

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И В НЕВЕРБАЛЬНЫХ СЕМИОТИЧЕСКИХ КОДАХ

§ 1. Постановка задачи

Название нашей работы кажется на первый взгляд весьма претенциозным. В оправдание мы можем сказать, что нам хотелось отразить в нем два принципиальных момента, относящихся к двум ранее не ставившимся задачам. Первый из них связан с фундаментальной задачей построения внутриязыковой семантической типологии вербальных и невербальных единиц, а второй касается не менее глобальной задачи компаративного анализа естественного языка и невербальных семиотических (знаковых) кодов. Разумеется, мы не претендуем здесь на окончательное решение указанных задач, а хотим лишь продемонстрировать возможный подход к ним и показать эффективность некоторых частных методов их решения на примере анализа одной части тела. В качестве объекта непосредственного изучения была выбрана часть тела «плечи», точнее, то, как «плечи» представлены в двух семиотических кодах: в вербальном — русском языке — и невербальном — языке русских жестов.

Наше исследование носит двоякий характер¹.

С одной стороны, оно представляет собой часть большого проекта, над которым уже больше года работает семинар по невербальной семиотике с участием студентов и аспирантов РГГУ и МГУ. На нашем семинаре изучаются концептуализация частей тела человека и способы ее отражения

¹ Мы благодарны всем участникам семинара по теоретической семантике, проводимом в ИППИ РАН под руководством акад. Ю. Д. Апресяна, и в особенности Ю. Д. Апресяну, Д. О. Добровольскому, Л. Л. Иомдину и И. А. Шаронову, за дружескую критику, острые вопросы и ценные предложения, которые мы услышали во время нашего доклада на этом семинаре. Нам также хотелось бы выразить сердечную благодарность Е. В. Рахилиной и Н. Е. Фрид, взявших на себя труд прочесть данную статью в рукописи и высказавших много полезных советов и замечаний. Наконец, мы благодарим всех участников семинара по невербальной семиотике, который проходит в Институте лингвистики РГГУ, за их внимание к нашей работе и за благожелательные и ценные соображения.

в различных семиотических кодах — естественных языках и невербальных, жестовых (в широком смысле этого слова), кодах. На сегодняшний день в рамках этого проекта выполнены полные или частичные описания функционирования в разных языках (русском, английском, немецком, китайском и др.) частей тела, концептуализация которых в естественном языке и языке жестов ранее была мало исследована. Речь идет о таких частях тела, как голова (работа П. М. Аркадьева), губы (А. Г. Кадыкова и А. П. Беляев), брови (О. Ю. Шеманаева, С. С. Харченкова), грудь (Е. М. и А. М. Алексеевы), нос и семантика запаха (А. А. Докучаев), пояс, поясница, талия (А. В. Беляева). В настоящее время семинар работает над описанием части тела «язык»², то есть того, как «язык» представлен в разных естественных языках и жестовых кодах. Среди ближайших целей и задач проекта — разработка формата лексикографического описания по типу словарного (или, быть может, даже нескольких разных форматов типа расширенных лексикографических баз данных), исследование репрезентаций различных частей тела в рассматриваемых языках и кодах и запись результатов исследования в таком или таких компактных форматах.

С другой стороны, представляемое здесь исследование является в значительной степени автономным. Действительно, хотя в дальнейшем мы и стараемся придерживаться формата описания, который разрабатывается в рамках проекта³, мы не считаем свою работу всецело лексикографической, поскольку очень многое в ней выходит за границы естественного лексикографического описания. Это и содержательные комментарии, и гипотезы, и теоретические обобщения, и наблюдения над метаязыком, да и сам характер выполненного исследования, основу которого составило сравнение вербальных и невербальных единиц, и т. д.

Мы полагаем, что при описании частей тела человека нужно обращать внимание как на их формальные характеристики (в частности, физические свойства: размер, форма и т. д.), так и на их функциональные особенности (например, способность совершать те или иные действия). Эти свойства важно фиксировать не только в обычных толковых словарях естественных языков, но и, **что гораздо менее обычно**, в словарях языков жестов.

О различии вербального и невербальных кодов

Рассматривая части тела и их языковое отображение, лингвисты преимущественно опирались на данные естественных языков. Между тем части тела принимают участие и в других семиотических кодах, прежде всего в жестовом коде, где движения частей тела играют решающую роль. Раз-

² Здесь и далее в тексте имена частей тела либо даются без каких-либо специальных обозначений, либо — в случае необходимости — заключаются в кавычки.

³ Необходимые пояснения, касающиеся формата, его структуры и наполнения, будут даны по ходу дальнейшего изложения.

ная степень участия приводит к естественной мысли о том, что и функции соответствующих единиц будут в этих кодах совсем разными.

О взаимодействии кодов

Вербальные и невербальные семиотические коды связываются как минимум двумя разными «мостиками»: 1) участием в них одной и той же части тела, 2) номинациями — жестов и физиологических движений, с одной стороны, и построенных на основе жестов фразеологических единиц, получивших название жестовых фразеологизмов, с другой. Наличие этих «мостиков» делает сравнимыми единицы и группы единиц естественного языка и языка жестов.

О тесной связи языка и неязыковых кодов в акте коммуникации свидетельствуют многие факты. Так, произнося что-то, человек делает движения руками, подбородком, глазами и т. д. Взаимодействие кодов проявляется и в фонетике (ср. поднятие бровей и специфический тон при выражении удивления, а также удлинение слов и жесты угрозы (*Смотри-и-и у меня!* и **погрозить пальцем**), и в лексике: жесты сопровождаются словами (ср. высказывание *Да* и его жестовый эквивалент **кивок**) и заменяют слова (ср. жесты **развести руками, пожать плечами** или естественно-языковое выражение *на большой* — ‘на большой палец’), и в синтаксисе: некоторые фразы русского языка нельзя ни произнести, ни понять без жестовых единиц (ср. *Во какие огурцы!*, *Во!* (обязательно сопровождается жестом **показать большой палец**), а фразу *Он ее обнял* нельзя перевести, например, на английский, если не известно, о каком из жестов класса **объятий** идет речь.

Об изменении исходной гипотезы

Взаимосвязь вербального и невербальных кодов заставила нас пересмотреть рабочую гипотезу о кардинальном различии концептуализации частей тела в этих кодах и дала основание считать, что они ведут себя в этих кодах во многом одинаково. Однако можно показать, что между этими концептуализациями есть и важные различия. Сопоставление концептуализаций в данной работе проводится на примере части тела «плечи».

* * *

Из-за различия в отношении к естественному языку и к языку жестов у исследователей коммуникации существует также разное отношение к разным частям тела. Если лингвисты занимались в основном изучением тех частей тела, которые обслуживают разные области человеческой деятельности — рациональную (голова), физическую (руки) или эмоциональную (эта сфера является прерогативой частей лица, а из внутренних органов за нее «отвечает» сердце), то исследователи жестов, интересовавшиеся главным образом движениями и их концептуализацией, давно обнаружили, что для коммуникации не менее важны такие части тела, которые лингвисты

оставляли в стороне. Например, такая часть тела, как голова, не раз оказывалась объектом изучения лингвистов, но достаточно плохо исследована специалистами в области кинесики и невербальной семиотики в целом. Это случилось, в частности, потому, что «голова» не столь широко представлена в жестовых кодах разных культур (жестов головы не так уж и много — это **кивки**, указательные жесты, **мотание головой** и некоторые немногочисленные другие). Напротив, интересующие нас «плечи», хорошо представленные, например, в русском жестовом коде, остались без всякого интереса к ним со стороны лингвистов. И, кажется, «повезло» только «рукам» — им уделялось большое внимание и теми и другими учеными.

Особенности плеч как части тела

Плечи обладают целым рядом интересных свойств и особенностей, причем разного характера. Во-первых, отметим их высокую частоту использования в жестах и в их номинациях. Во-вторых, как показывает выполненное нами исследование довольно большой группы русских фразеологических единиц, существенной особенностью плеч является их активное участие именно в этом слое лексики **естественного языка** — что может показаться даже на первый взгляд неожиданным. В-третьих, свойства плеч представлены в жестовых кодах разных культур не менее широко, чем, например, свойства рук. Наконец, в-четвертых, весьма интересными оказываются физические, морфологические и топографические свойства плеч. Укажем здесь лишь еще на одно такое, весьма любопытное свойство плеч.

Известно деление частей тела и органов на два класса — активные органы и пассивные. Помимо деления частей тела и органов на активные и пассивные, можно выделить части тела, прикрепленные и не прикрепленные к корпусу (остову). С точки зрения наивной топографии тело состоит из остова и прикрепляющихся частей. Это представление закреплено как в языке (ср., например, особенности выражения отношения неотъемлемой принадлежности — можно *отрезать руку*, но не *отрезать спину*), так и в культуре (ср. рисунки и барельефы, где голова всегда изображается вместе с плечами).

Соотношение между этими двумя классификационными подразделениями нельзя отнести к тривиальным. В русском языке и русской культуре реализуются все четыре теоретически возможные комбинации. Важно и то, что место крепления части тела к остову в русском языке обычно имеет свое отдельное название. Таким образом, некоторые части тела, если исходить из того, как они представлены в русском языке, могут быть названы **связующими частями** (или: **органами**) (ср. с термином *связки* в медицине). К связующим органам относятся «шея», «таз» и «плечи»; каждый из них прикрепляет к остову какие-то другие части тела. Связующие органы на шкале «активные/пассивные органы» обычно занимают место ближе к пассивным органам; это верно и для плеч. Однако существуют и пассивные органы, не являющиеся связующими, — например, «спина».

О материале и композиции работы

Материалом исследования послужили

(1) словари — как вербальные (БАС, МАС, словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, фразеологический словарь русского языка), так и невербальные [СЯРЖ 2001].

В работе сопоставляются несколько классов единиц, из которых три класса — (а), (б) и (г) — являются вербальными, а один класс, (в), — невербальный. Это (а) текстовые свободные сочетания со словом *плечи*, точнее, его употребление в этих сочетаниях; (б) фразеологизмы с этим словом; (в) сами жесты с участием плеч (их два подкласса, см. далее) и (г) номинации жестов.

Помимо аналитического изучения словарных данных,

(2) мы провели собственный анализ семантики и синтаксиса единиц каждой из рассматриваемых групп на большом корпусе текстов русской художественной литературы, откуда брались соответствующие примеры.

* * *

Дальнейшая композиция изложения такова.

Наша ближайшая задача — предложить толкование слова *плечи*. Однако для того, чтобы обосновать (а) включение в толкование определенных смысловых элементов и (б) необходимость отражения в нем разного рода смысловых связей, мы укажем сначала на принципиальные характеристики плеч, которые, на наш взгляд, должны быть в том или ином виде представлены в толковании.

§ 2. Основные характеристики плеч

Бинарность

Первую характеристику, о которой пойдет речь, мы называем **бинарностью**. Сразу же подчеркнем, что бинарность — это не уникальное свойство плеч: оно присуще целому ряду других частей тела человека и потому является важным для их описания.

Обычно, говоря о бинарности плеч, имеют в виду то, что у человека два плеча — так же, как у него есть две руки, две ноги, две щеки и т. д. Мы, однако, понимаем бинарность иначе: для нас это — **не биологическое свойство** частей тела, а свойство, которое отличает репрезентацию частей тела в разных кодах, то есть **свойство когнитивное**.

Бинарными мы считаем только такие органы, которые обладают сразу всеми перечисляемыми ниже характеристиками. А именно, бинарными являются органы:

1) бинарные с биологической точки зрения, то есть состоящие из двух четко выделяемых биологических частей;

2) в естественном языке сам орган и каждая из его биологических частей называются либо одним словом, либо словосочетанием, обычно указывающим на их местоположение и ориентацию (ср. в русском языке *губы* — *верхняя* и *нижняя губа*, *ноги* — *левая* и *правая нога*), причем соответствующие названия **не считаются терминами**. В русском языке названия бинарных органов морфологически всегда отличаются от названия их отдельной составной части только значением категории числа;

3) имя органа и имя его составной части либо (а) имеют языковые употребления, которые отличаются одно от другого не только смыслом числа, но и иными нетривиальными семантическими признаками, либо (б) осмысляются по-разному в естественном языке или в соответствующем языке жестов. Ср. *ноги не слушаются* — *встать с левой ноги*; *руки-крюки* — *Он — моя правая рука* — *У него есть рука в правительстве* (разные осмысления; этот пример показывает, что для определения бинарности нам не важно, о какой именно составной части идет речь, и указывается ли, о какой именно из составных частей идет речь, эксплицитно), *губы потрескались* — *закусить губу* (всегда о нижней губе), *глаза на мокром месте* — *прищурить глаз* (разные употребления).

Таким образом, если (как видно хотя бы по этим примерам) «ноги», «губы», «руки», «глаза» являются бинарными органами, то «легкие» и «почки», с одной стороны, и «мозг» и «сердце», с другой, по нашему определению таковыми не являются. Действительно, хотя слова *легкие* и *почки* стоят во множественном числе, люди называют отдельные части этих частей тела в бытовом, повседневном, языке лишь в исключительных случаях: сочетание *правое* или *левое легкое* мы склонны считать терминологическими, а о *правой* или о *левой почке* вспоминаем, по-видимому, только в ситуации болезни. Поэтому «легкие» и «почки» не являются бинарными органами в силу пункта (2) определения. Еще более очевидно не удовлетворяет критерию (2) вторая пара, то есть «мозг» и «сердце»: само употребление их названий в единственном числе выводит эти части тела из числа априорных кандидатов на звание бинарных.

Отметим следующий важный факт: бинарными в русском языке являются только **зрительно воспринимаемые** органы. Это кажется вполне естественным, если иметь в виду, что и их самих, и их строение, и их действия гораздо легче наблюдать, изучать и описывать, чем для органов скрытых, спрятанных от человеческих глаз. «Плечи», несомненно, относятся к бинарным органам (ср. *пожать плечами* и *смерть стояла за левым плечом*, *стоять плечом к плечу* — в последнем выражении подразумевается, что каждый участник, кроме крайних в ряду, касается соседей и правым, и левым плечом). Ср., впрочем, такие выражения, как *раззудись плечо*, где, по крайней мере, с формальной точки зрения, слово *плечи* выступает в единственном числе.

Свойство бинарности, как мы его здесь понимаем, является связующим между биологическими и языковыми характеристиками частей тела. Оно

подчеркивает, в частности, то, что орган и его составные части могут существовать в естественном языке и языке жестов автономно и что различия в семантике целого органа и его части здесь не сводятся к морфосемантическому противопоставлению по числу. Указанное обстоятельство важно для лексикографии. Если орган не бинарный, то вопрос о том, какую числовую словоформу выбирать в качестве входа толкования его имени, не стоит. А именно, мы поступаем с парой *зуб — зубы* в точности так же, как с парой *стол — столы*, то есть на вход подается существительное в единственном числе, а толкование имени во множественном числе отличается от толкования в единственном числе только граммемой; случай же семантически нестандартного множественного числа описывается отдельно. В то же время, когда речь идет о бинарных органах, подобное лексикографическое решение заметно осложнило бы описание слова, поскольку здесь различия между единственным и множественным числом гораздо более серьезные (см. выше пункт (3) определения бинарности). В случае бинарных органов для обоснования выбора на вход одной из двух числовых форм приходится прибегать к каким-то другим, дополнительным, критериям.

Мы предлагаем в случае бинарных органов считать основной форму того или иного числа **в зависимости от сравнительной оценки роли самого органа и роли его частей в совершении действий, жизненно важных для человека, а также от степени употребительности соответствующих языковых выражений**. Ниже мы покажем, что, если исходить из этого критерия, то основной для слова *плечи* следует признать форму множественного числа. Подчеркнем при этом, что свойство бинарности нами было определено как структурное свойство, а критерий отбора, который мы сознательно не включаем в определение бинарности, или, точнее, когнитивной бинарности, является сугубо функциональным.

Размер

‘Размер’, или ‘величина’, является очень важным признаком для многих частей тела. В одних случаях существенным оказывается собственно физический размер. Например, большие руки позволяют брать и нести большие предметы; кроме того, размер части тела может соотноситься с размером одежды, которая для него подбирается. В других случаях ‘размер’ связан с другими особенностями части тела или с внутренними характеристиками человека, которому она принадлежит. Сочетания названий частей тела с обозначениями их размера часто имеют переносные значения и даже могут переходить в разряд фразеологических оборотов, причем происходит это разными способами. Действительно, *длинные руки* — это одно, а *длинный язык* — совсем другое; *уколобий* означает одно, а *укоглазый* — другое. Существуют также жесты, в которых размер органа указан прямо или косвенно, ср., например, жесты **сделать большие глаза** (жест удивления) и **приложить руку к уху** (сгибая и направляя ее в сторону собеседника)

(данный жест означает, что человек хочет лучше расслышать произносимые собеседником слова или хочет вообще услышать от своего собеседника что-то, и для этого он как бы расширяет свою ушную раковину).

‘Размер’ части тела, как правило, играет важную роль в ее общей или эстетической оценке (например, *большие глаза* и *длинные ресницы* у женщин обычно оцениваются как красивые, а *короткие руки* или *толстые ноги* — как некрасивые).

Признак ‘размер’ существен и для плеч; при этом если ‘бинарность’ является постоянным их признаком, то размер плеч меняется от человека к человеку и потому характеризует самого человека.

Важно различать **абсолютную и относительную величину плеч** (впрочем, равно как и абсолютную и относительную величину очень многих других органов). Под **абсолютной величиной плеч** понимается их величина, так сказать, в чистом виде, это характеристика плеч безотносительно их измерения вдоль какой-то оси. Стандартным обозначением абсолютной величины плеч являются слова *плечистый*, *плечики* (в одном из значений), сочетания слов *большие*, *маленькие*, *крупные*, *полные плечи* (последнее сочетание относится к женщине), фразеологизм *косая сажень в плечах*. Ср. примеры (1) и (2):

- (1) — *Вот это дело!* — сказал *плечистый* и *дородный парубок*, считавшийся *первым гулякой* и *повесой на селе* (Н. В. Гоголь).
- (2) *Соседка была высокая, тощая, а Валерия Константиновна — среднего роста, плотная, с полными плечами* (Вас. Аксенов).

Языковые обозначения абсолютной величины плеч могут одновременно выражать их оценку как «хороших» или «плохих», то есть общую или эстетическую оценку, ср. предложение (3):

- (3) — *Значит, уезжаете, Глеб Иванович, — говорит Сима, <...> посылая военному моряку улыбочивые взгляды из-за пышных плеч* (Вас. Аксенов)

— *пышные женские плечи* оцениваются обычно как «хорошие» и «красивые».

Под **относительной величиной плеч** имеется в виду размер плеч относительно некоторого пространственного измерения, чаще всего — ширины. Для относительной величины плеч важны горизонтальная ось, то есть ось, параллельная земле, и — в меньшей степени — ось сагиттальная, то есть направление «вперед-назад». Плечи мыслятся как горизонтально расположенные по обе стороны от центральной оси тела. Для квалификации плеч по их размеру в горизонтальном измерении обычно используются слова *широкоплечий* и *узкоплечий*, выражения *широкий в плечах* и *узкий в плечах*, *широкие* и *узкие плечи*, а по размеру в сагиттальном измерении — *худые плечи* и *полные плечи*.

Вместе с тем, и это следует особо подчеркнуть, сочетания *худые плечи* и *полные плечи* представляют собой языковые обозначения не только и даже,

может быть, не столько размера, сколько **внутреннего строения плеч**, о чем мы еще скажем ниже.

Величина плеч тесно связана с такими характеристиками человеческого тела, как 'сила' и 'красота', а также со многими «нетелесными» свойствами, в частности, социальными. К ним относятся, прежде всего, пол человека и его возраст.

Мужские плечи в норме представляются как *большие* или *широкие*. Поэтому, если пол человека по какой-то причине не указан или не определяется (например, человек находится далеко от наблюдателя), а о его плечах говорят как о *больших* или *широких*, то мы распознаем и идентифицируем этого человека скорее как мужчину, чем как женщину с неестественными для женской фигуры плечами. *Широкие плечи*, соразмерные со всей фигурой мужчины, подчеркивают в нем именно мужское начало — его силу и мужественность. Мужчину можно также назвать *узкоплечим*, но это не характеристика эталонной мужской фигуры: едва ли мужчина в этом случае может восприниматься и оцениваться как красивый или сильный. Прилагательное *полные* характеризует в норме женские плечи, а сочетание *широкие плечи* применительно к женщине подчеркивает ее сходство с мужчиной, например, то, что она выполняет *мужскую работу*. Если же о женщине говорят, что у нее *маленькие плечи*, то это описание согласуется с представлением о женщине как миниатюрной и хрупкой. О плечах ребенка, говорят, во-первых, значительно реже, а во-вторых, иначе, чем о плечах взрослых. Указание величины плеч ребенка свидетельствует о том, что она отклоняется от нормальной величины плеч, какая бывает у детей соответствующего возраста. В отношении детей редко (одно из исключений — ситуация примерки одежды) используется сочетание *узкие плечи*, несколько сомнительно выглядит и характеристика *широкие плечи*. Впрочем, о мальчике вполне можно сказать, что он широкий в плечах, но тут подчеркивается не столько размер плеч, сколько физическая сила или недостатки в фигуре ребенка, связанные, главным образом, с подбором для него одежды.

Форма

Языковые характеристики 'формы' плеч в еще большей степени, чем характеристики 'размера', связаны с эстетической оценкой плеч (на этот факт особое внимание обращает словарь [Иорданская, Паперно 1996]). О плечах говорят (о)*круглые, покатые, квадратные, угловатые*. Все эти прилагательные, обозначающие 'форму' плеч, указывают на зрительно воспринимаемую кривизну их поверхности, точнее, на наличие или отсутствие в их форме углов. *Округлые плечи* — это женские плечи, которые внешним видом и формой похожи на круг, а в известном смысле противопоставленное ему сочетание *квадратные плечи* подчеркивает еще и саму форму плеч (как правило, мужских), и, как выводимое из нее, наличие в данной форме углов. Описывая плечи как *угловатые*, мы отмечаем этим,

что плечи имеют угол, а их форма, точнее, то место, где от плеч отходят руки, зрительно как бы резко обрывается, образуя острие.

Говоря о 'форме', подчеркнем два момента. А) Наличие углов в некоторой фигуре или в некотором замкнутом пространстве, вообще часто оценивается отрицательно (ср. сочетания *угловая комната, поставить в угол, стоять в углу, угловатые движения, угловатый характер*), и наоборот, отсутствие углов в пространстве, человеческом теле или его частях оценивается, как правило, положительно (ср. *округлость тела, круглое, румяное лицо, круглое окно, круглый стол*, англ. *Table Round* (или: *Round Table*), за которым сидели рыцари короля Артура) и др. Исходя из сказанного, нетрудно понять, почему с эстетической стороны *угловатые плечи* оцениваются отрицательно, а *округлые плечи* — положительно. Вместе с тем Б) эстетическая оценка формы плеч не связана **напрямую** с наличием или отсутствием в ней углов. Рассмотрим, например, две характеристики плеч — *округлые* и *покатые плечи*. Говоря о женщине, что у нее *округлые плечи*, мы оцениваем их форму как правильную и красивую, соотнося форму плеч с формой круга, см. предложение (4):

- (4) *А каково было мечтательному в ту пору Данилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химеко (...)* (Вл. Орлов).

Между тем выражение *покатые плечи*, несмотря на то, что в называемой форме также отсутствуют углы⁴, не говорит о положительной оценке плеч: оно нормально сочетается как с прилагательным *узкие (некрасивые)*, так и с прилагательным *мягкие*, ср. примеры (5) и (6):

- (5) *Он был высокого роста, имел мягкие покатые плечи, на его бледном лбу лежал совершенно детский... чубчик* (Ф. Искандер).
 (6) *Левая, согнутая в локте, негибкая его рука была выставлена слегка вперед, узкие покатые плечи немного ссутулены* (Ю. Бондарев).

Отметим, что, описывая стереотип внешнего облика мужчины, люди обычно акцентируют внимание на размерах плеч, а описывая стереотип облика женщины, скорее обращают внимание на форму плеч. Соответственным образом распределены и эстетические характеристики.

Внутреннее строение плеч

Необходимость указывать на 'внутреннее строение (частей тела)' при их лексикографическом представлении была отмечена сравнительно недавно (см. словарь Иорданской, Паперно [1996], работы А. Вежибицкой

⁴ Вполне вероятно, что в значениях сочетаний *округлые плечи* и *покатые плечи* имеются и другие семантические компоненты, различающие обозначаемые ими формы: например, как кажется, сочетание *покатые плечи* подразумевает, что линия плеч в направлении от шеи к рукам опускается вниз.

(см., например, [Вежбицкая 1996]), словарь НОСС и отдельные исследования его авторов, сотрудников сектора теоретической семантики под руководством Ю. Д. Апресяна, посвященные свойствам частей тела (см., например, работы [Апресян 1995, II, 348—388]; [Рахилина 2000]; [Урысон 1995]). В отличие от формы и размера, способы указания внутреннего строения частей тела не столь разнообразны.

Судя по данным русского языка, плечи мыслятся как состоящие из двух частей: твердой, образованной костями, и мягкой, формируемой мышцами и жиром. Сочетание *костлявые плечи* означает, что (а) плечи содержат намного больше костей, чем других составных частей, что (б) кости плеч выступают наружу и что (в) это сразу бросается в глаза и/или что это сразу ощущается при прикосновении к плечу. Приведенное толкование сочетания *костлявые плечи* показывает, таким образом, что, хотя прилагательное *костлявый* характеризует внутреннее строение плеч, определить, костлявые плечи или нет, можно не только осязанием, но и зрением — кости выступают наружу сквозь толщу мышц:

- (7) *Я вижу сверху его волосы, разделенные сбоку ниточкой пробора, очки, фестивальны́й платок на шее и костлявые плечи, обтянутые джемпером* (Вас. Аксенов).

Сочетание *мягкие плечи*, напротив, подчеркивает преобладание в плечах мышц и жира, то есть мягкость, воспринимаемую на ощупь или на глаз. Отметим, что *костлявые плечи* — это преимущественно характеристика лиц мужского пола, а *мягкие плечи* — женского. Костлявые плечи обычно оцениваются при этом как некрасивые, а мягкие — как красивые.

Внутреннее строение плеч стандартно связывается с их формой. Мягкость плеч, например, соотносится с круглой формой (ср. языковые сочетания *мягкая форма*, *мягкая линия плеча*), а жесткость — с наличием углов: языковое описание плеч как *мягких* и ⟨однозначно⟩ *округлых* или *покатых* более привычно и частотно, чем их характеристика как *мягких* и *квадратных*, см. выше пример (4). Иными словами, обозначения физических свойств плеч группируются в стандартные, семантически согласованные и синтаксически тесно связанные пучки.

Замечание. Помимо выделенных, у плеч имеются и другие признаки и свойства, например, это уже упомянутая нами несколько раз ‘сила’, а также признак, который почти полностью выпал из сферы внимания лингвистов, анализирующих тело и его части, их движения и действия, — признака ‘открытость/закрытость (тела и его частей)’.

В истории культуры легко прослеживаются две параллельные тенденции. С одной стороны, с течением времени человеческое тело все больше закрывалось одеждой. С другой стороны, в процессе смены культурных норм и общественных отношений, происходившей по-разному в зависимости от условий существования культуры, ее ценности, этнических и расовых особенностей ее носителей, воспитания, степени социализации и т. д., человеческое тело, прежде всего, женское,

становилось либо более открытым для других людей, либо, напротив, еще больше закрывалось. Тело и его части открывались или закрывались для взглядов, для прикосновений, для жестов и т. п.

Физическая открытость тела и его частей, отсутствие на них одежды или сознательное открывание тела устойчиво ассоциировались в общественном сознании с 'доступностью' тела. Обнаженные верхние части рук, открытая спина или плечи — словом, все то, что предполагалось в обществе закрывать, свидетельствовало об осознанном привлечении внимания к себе обладателей этих частей. *Открытые, обнаженные, голые плечи* получали и получают в разных культурах разные оценки, и все они так или иначе связаны с идеей доступности. Хорошо известно, что в восточных культурах женщины именно по этой причине больше склонны закрывать свое тело, а когда говорят о современных западных культурах, то часто подчеркивают, наоборот, как постоянно нарастающую тенденцию, стремление все более открывать женское тело. Именно к таким частям тела принадлежат плечи: *обнаженные плечи* могут служить не только характеристикой степени доступности, но и красоты, и, соответственно, получать положительную эстетическую оценку.

Основные функции плеч

Все органы человеческого тела можно разделить на **органы-инструменты** и **органы-отношения, или связки**. **Органы-инструменты** служат инструментами или орудиями основных жизненно важных действий. Инструментом являются, прежде всего, руки, главные функции которых — брать, держать предметы и осуществлять с ними различные действия. К органам-инструментам относятся также ноги, которые нужны человеку, чтобы стоять или ходить, или, например, сердце, которое бьется, толкает и гонит кровь. Кроме того, сердце является органом-инструментом, благодаря которому человек испытывает различные чувства и переживания. **Органы-отношения (связки)** выполняют другие, связующие, функции, то есть являются средствами соединения одних органов с другими. К органам-отношениям принадлежит, например, шея, основная функция которой — соединять голову с туловищем.

Разумеется, деление органов на органы-инструменты и органы-отношения опирается лишь на доминирующее положение, на преобладание одних функций над другими. Так, у шеи как биологической части тела имеются не только связующие, но и другие функции, например, шея проводит кровь к мозгу и отводит ее от мозга. Однако мы здесь имеем в виду не сами функции, а их **концептуализацию в языке и в невербальных кодах**, и для шеи по данным языка основной является только связующая функция. Не случайно эта функция особо выделяется и всегда отмечается в толковых словарях — шея даже определяется в них чисто топографически, а именно как «часть тела между головой и туловищем» (ср. [МАС 1984. Т. 4]).

Плечи занимают промежуточное положение между органами-связками и органами-инструментами. С одной стороны, плечи удерживают голову и шею и скрепляют их с корпусом — это их **связующая функция**. С другой стороны, в качестве инструмента плечи удерживают и переносят с места на

место тяжелые грузы. На плечах, например, люди держат и носят детей, переносят тяжелые вещи. (Далее для краткости мы будем говорить об этой функции плеч как об **активной функции**.) Обе функции — связующая и активная — закреплены в отдельных лексических единицах, в частности, во фразеологических оборотах со словом *плечи*: ср. *У него своя голова на плечах*, *У тебя голова на плечах есть?*, *снять голову с плеч* (связующая функция) и *тащить все на своих плечах*, *взвалить все заботы на свои плечи* (активная функция). Будучи разными, выделенные функции все же довольно близки друг к другу. Так, они обе предполагают, что плечи служат для совмещения чего-то с чем-то, в частности, головы и туловища или каких-то внешних предметов и всего человеческого тела. 'Сила' и 'способность держать и носить' выступают в русском вербальном и невербальных семиотических кодах как важнейшие свойства плеч.

Толкование слова «плечи»

Дадим толкование слова *плечи* в его исходном значении (о других значениях этого слова речь пойдет ниже). Речь идет о лексеме *плечи 1*:

Плечи 1 X-a = 'плоские горизонтальные части тела человека X, расположенные симметрично слева и справа относительно вертикальной оси симметрии его тела, начинающиеся от того места, где заканчивается шея, и заканчивающиеся в том месте, где начинаются руки. Основные функции плеч — 1) держать голову и шею и соединять их с туловищем, 2) держать и носить тяжелые грузы'.

Комментарий:

1 (о топографии). Толкование лексемы *плечи 1* включает в себя семантический признак 'местоположение ⟨плеч⟩', которое определяется относительно соседних, смежных с плечами, частей тела. Местоположение плеч отмечается в тексте толкования путем определения границы плеч и указания на симметрию плеч относительно вертикальной оси.

2 (о форме). Помимо указания на симметрию, толкование содержит описание формы. Плечи характеризуются как плоские и горизонтальные. Признак формы, во-первых, отражает восприятие контура и формы данной части тела, а во-вторых, введение его в толкование позволяет объяснить грамматическую правильность и семантическую (или прагматическую) освоенность целого ряда языковых сочетаний, в частности сочетаний с предлогом *на* типа *на плечах*, *взвалить на плечо*, *повесить на плечо*, *положить голову на плечо*, *стоять на плечах*, подчеркивающих плоскую форму и горизонтальное расположение плеч. В некоторых из этих единиц, например, в сочетании *положить голову на плечо*, отражена не только форма, но и топография плеч.

3 (о функции). Функция органа является неотъемлемым компонентом толкования обозначающего его слова, см. [Апресян 1995, II, 348—388; Рахилина 2000; Урысон 1995]. Следуя сложившейся лексикографической

традиции, мы отмечаем основные функции плеч, то есть те, которые в максимальной степени представлены в языке, непосредственно в толковании слова *плечи*. Функциями плеч обусловлены многие «скрытые» смысловые признаки слова *плечи*, которые проявляются в устных и письменных текстах. Такие признаки в толкование нами не включаются — по той причине, что они являются выводимыми из наличия у плеч соответствующих формы и функций. К ним относится, например, ряд смысловых компонентов, определяющих внутреннее строение плеч. Это признаки ‘твердость/мягкость’ и ‘устойчивость’ (ср. *удерживать на плечах*), ‘наличие (у плеч) передней и задней частей’ (ср. *носить рюкзак за плечами*) и др.

Служить местоположением предметов, а также держать и носить грузы способны, помимо плеч, и некоторые другие органы и части человеческого тела, например, спина, руки, голова, но далеко не все они специализированы для удерживания именно тяжелых предметов. Тяжести люди удерживают на прочных, сильных, крепких и устойчивых органах, более статичных и менее подвижных, чем, например, руки. В доказательство того, что плечи связаны именно с тяжелыми грузами, можно привести тот факт, что на плечах носят как физически тяжелое — *ношу*, так ментально тяжелое — *бремя*⁵. Вот лишь два примера, подтверждающие нашу мысль: *Привидение ходит по чердаку, вздыхая и кряхтя, как будто на плечах у него тяжелая ноша, которую оно сбрасывает иногда с таким шумом, что полы в доме трещат и окна дрожат* (А. Погорельский).

На плечах, кстати, носят **крест**, являющийся, помимо прочего, символом тяжести и ноши: *И крест, ниспосланный мне свыше мудрой волей... Снимая с слабых плеч, бросал я по пути* (П. А. Вяземский).

Переносные значения слова «плечи»

Переносные значения слова *плечи* актуализуют семантические связи в тех областях, которые **важны для жизнедеятельности человека**. Переносы происходят по форме, функции и топографии предмета.

Помимо производных значений, которые мы ниже опишем, слово *плечи* имеет один своеобразный «медицинский» вариант употребления, который отличается от бытового, поскольку обозначает часть тела, включающую в себя ту, которая кодируется «обычной» лексемой *плечи 1*. В медицинском подязыке слово *плечо* означает ‘часть человеческого тела от нижней части шеи до локтя’.

Помимо медицинского, или анатомического, употребления слова *плечи*, есть производное от него слово *предплечье*. Оно тоже является сугубо анатомическим и обозначает часть тела от плеча до локтя. В бытовой повсе-

⁵ О различии слов *ноша* и *бремя*, а также физически и ментально тяжелого см. в книгах А. Б. Пеньковского [Пеньковский 2004, 46—47] и Г. И. Кустовой [Кустова 2004] — особенно ту часть книги, где речь идет о языковой концептуализации тяжести.

дневной речи слово *предплечье* не используется, а соответствующая часть тела относится к руке (хотя объем понятия «рука», конечно, шире). Приставка *пред-* здесь фиксирует не расположение вдоль оси «спереди-сзади» (ср. отсутствие слова *заплечье*, при том, что есть выражение за плечами), а маргинально употребляется для обозначения расположения соответствующей части тела ниже, чем плечи, на оси «верх-низ».

Перейдем теперь к описанию других значений слова *плечи*.

Мы продемонстрируем две особенности структуры полисемии слова *плечи*, а именно, что (а) все остальные его значения так или иначе выводимы из первого, то есть являются производными от основного, и что (б) в производных значениях слова *плечи* на передний план выступают именно те смысловые компоненты, которые в исходном значении слова являются периферийными.

Входами в толкование производных значений слова *плечи* могут быть формы обоих чисел.

Второе значение слова — лексема *плечо 2* — непосредственно связано с первым по смежности. Эта лексема обозначает часть одежды, которая примыкает к плечам человека, покрывая их:

Плечо 2 = ‘часть одежды или специальная подкладка из материи, служащая для того, чтобы подчеркивать величину или форму *плеч 1* или закрывать их’.

В случае лексем *плечо 2* перенос происходит по местоположению, ср. на *плечах 1*, и по форме.

Пример.

(8) *Имел Кармадон крапчатый пиджак с ватными плечами* {...}
(Вл. Орлов).

Третье производное значение — *плечо 3* — связано с первым по сходству формы. Эта лексема обозначает некоторые горизонтальные части природных объектов или артефактов, которые выделяются по внешнему виду на фоне других частей неправильной формы или, по крайней мере, не горизонтальных. Существенно, что люди могут использовать такое *плечо* — которое является частью некоторого более крупного объекта (например, *горы, рычага* или *конвейера*) — для особых целей, часто отличных от целей использования самого целого объекта, частью которого они являются. Например, горизонтальная форма плеча горы дает возможность без каких-либо дополнительных усилий стоять на поверхности горы или разбивать на ней альпинистский лагерь, ставить палатки и т. п., а на плечо рычага удобно нажимать, поднимая грузы. Приведем толкование этой лексем:

Плечо 3 $\langle X-a \rangle$ = ‘горизонтальная часть в составе природного объекта или артефакта *X*, выделяемая на фоне других частей *X*, имеющих разную форму и структуру’.

Лексема *плечо* 3 связана с лексемой *плечо* 1 сходством формы ('горизонтальная') и используется для обозначений частей природных объектов или артефактов.

Примеры.

- (9) *Пройти на ту сторону острова можно только через плечо горы* (Г. Пращкевич).
- (10) *Электрический датчик определяет, в какой момент плечо плуга находится в максимально отведенном положении* (из инструкции).
- (11) *На внутреннем конце штока крепится коническим винтом рычаг выбора передач. Он состоит из двухплечевого рычага и пластины, имеющих единую ступицу. Между коротким плечом и пластиной расположено одно плечо трехплечевого рычага* (техническое описание устройства автомобиля).

Любопытно, что у разных лексем в составе вокабулы *плечи* имеется разный словообразовательный потенциал. Так, дериват *плечико* 1 (*плечики* 1) с уменьшительным суффиксом *-ик* образуется только от бытового употребления основного значения слова *плечо* (*плечи*), то есть от лексем *плечо* 1, а также от лексем *плечо* 2. Ср. примеры (12) и (13):

- (12) *Я положил Нине руку прямо на плечо, даже съжал плечо немного. Ну и худенькое плечико!* (Вас. Аксенов).
- (13) *Свою девушку я сразу увидел, в первом же купе, ее личико и острые плечики, у меня, милейший, просто голова закружилась, когда я понял, что это моя девушка* (Вас. Аксенов).

Однако такого деривата нет ни у медицинского варианта основного значения, ни у остальных производных значений.

Помимо словообразовательного деривата, у лексем *плечи* 1 имеются также два лексических деривата, метонимически связанные с данной лексемой. Это *плечико* 2 и *плечики* 2.

Плечико 2 = 'часть женской одежды в виде очень узкой полоски материи, прилегающая к плечу человека и проходящая через плечо человека; служит для того, чтобы удерживать на плече одежду'.

Комментарий (о входе в толкование):

Плечики, как и плечи, чаще являются парным объектом, поскольку предмет одежды имеет два плечика. Тем не менее, связанность между собой двух плечиков ощущается гораздо меньше, чем связанность двух плеч. В частности, наличие именно пары плечиков практически не находит отражения в русском языке (например, сочетание *подложить плечико* едва ли имеет существенно более низкую частоту употребления по сравнению с сочетанием *подложить плечики*), между тем как многие действия можно совершать только парой плеч (ср. правильное *пожать плечами* и аномаль-

ное ^{??} *пожать плечом*). Именно по этой причине в качестве входа в толкование лексемы *плечико 2* нами была выбрана форма единственного числа.

Лексема *плечико 2* (часть одежды) связана с *плечами 1* только по местоположению на плечах.

Примеры.

- (14) *Ослепительно белое плечико ночной рубашки глубоко врезалось в полное смугловатое плечо* (М. Шолохов).
- (15) *Там сохранился фрагмент рисунка — девочка в голубом платьице. Уцелело только плечико и голубой рукав* (С. Довлатов).

Наконец, лексема *плечики 2* (вешалка) связана с исходным значением слова плечи местоположением и формой.

Плечики 2 (только мн. ч.) ‘маленькая вешалка (= *вешалка 2*), формой сходная с человеческими плечами’ (где лексема *вешалка 2* обозначает ‘предмет с крючком, предназначенный для того, чтобы вешать на него платья, пиджаки и другие предметы одежды и хранить их в вертикальном положении в шкафу’).

Примеры.

- (16) *Старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску, и туда же проследовала и сама она в сопровождении рыжей девицы и Фагота, несшего на плечиках несколько модельных платьев* (М. Булгаков).
- (17) *⟨...⟩ Все эти вещи, деревянные плечики с платьем, кружевные платки, синие шелковые туфли на распялках и поясок — все это посыпалось на пол, и Наташа всплеснула освободившимися руками* (М. Булгаков).

§ 3. «Плечи» в устойчивых оборотах и идиоматических сочетаниях

Теперь мы покажем, как выделенные характеристики плеч по-разному и весьма идиосинкретично отражаются в устойчивых сочетаниях и оборотах со словом *плечи*. Семантическую основу многих таких единиц образует метонимическая связь, а именно синекдоха ‘часть целого’ — ‘целое’ (в данном случае — связь ‘плечи’ — ‘человек’).

Мы последовательно рассмотрим три группы устойчивых сочетаний А, Б и В, в которых отражаются следующие свойства плеч. В сочетаниях, вошедших в группу А, представлена роль плеч как места ношения одежды (подгруппа А1) или как места ношения грузов (как физических, так и психологических — подгруппа А2). В сочетаниях группы Б подчеркивается роль плеч как особого устройства, поддерживающего голову вместе с шеей, а в сочетаниях группы В — свойство плеч человека, непосредст-

венно связанное с их топографией, а именно, способность плеч структурировать и делить физическое пространство и время. Отметим сразу, что хотя данное свойство непосредственно в толковании лексемы *плечи 1* эксплицитно не указано, оно вытекает из характеристик формы плеч и особенностей их расположения относительно других крупных частей тела, смежных с плечами.

Плечи как место ношения грузов и одежды

A1. Начнем с атрибутивных сочетаний типа *с барского (царского, хозяйского, господского, маминного, отцовского, чужого) плеча*, которые отличаются следующие семантические и прагматические особенности. По смыслу все они обозначают то, что один человек (назовем его X), в сочетании эксплицитно не обозначенный, получает в акте передачи от другого человека, Y, — барина, хозяина, господина, отца и т. д. или просто какого-то другого человека — одежду или отдельные предметы одежды. При этом предполагается, что X будет носить эту одежду и относиться к ней как к своей. Прагматически же все такие сочетания подчеркивают, напротив, чужеродность переданной одежды.

Поясним сказанное более подробно. Языковые данные показывают, что человек всегда рассматривает принадлежащую ему одежду как свою неотчуждаемую собственность. Это связано с тем, что одежда примыкает к телу человека и образует с телом единое целое. О том, что одежда является неотчуждаемой собственностью человека, говорят такие факты, как, например, обязательное (вне контекста эмпазы или смыслового противопоставления) отсутствие притяжательных местоимений, обозначающих владельца одежды, — в тех случаях, когда человек, носящий эту одежду, рассматривает ее как свою. Ср. правильное предложение *Я надел рубашку и пошел открывать дверь* и шероховатое (вне контекста противопоставления) предложение *Я надел свою рубашку и пошел открывать дверь*⁶. И напротив, если человек не рассматривает одежду как свою и хочет это подчеркнуть, он должен обязательно употребить притяжательное прилагательное, указывающее на владельца одежды, или каким-то иным способом непременно эксплицитно обозначить владельца, ср. предложение *Маша накинула мамин халат и пошла открывать дверь*. Отсутствие слова *мамин* означало бы, что халат принадлежит автору данного высказывания или что здесь вообще неважно, кому именно халат принадлежит.

С той же целью подчеркивания чужеродности одежды (ср. у А. Б. Пенковского выделение семантической категории «чуждости») употребляются и интересующие нас единицы *с барского плеча, с отцовского плеча* и т. п.

⁶ Описанный случай почти обязательного отсутствия указания на обладателя одежды не следует путать с другим случаем, когда обладатель одежды не маркирован, то есть когда неважно, кому одежда принадлежит. В последнем случае фразы типа *Я надел рубашку и пошел открывать дверь* тоже возможны.

Мы уже говорили, что они все обозначают то, что некая одежда переходит от одного человека к другому. Как правило, человек, передающий одежду другому человеку, богаче или старше получателя одежды и обычно является родственником последнего. Неполная фразеологизация рассматриваемых языковых единиц проявляется в том, что в них выступают только названия одежды, которая носится и удерживается именно на плечах, ср. неправильные сочетания **сапоги с чужого плеча*, **брюки с чужого плеча*. Кроме того, все описываемые сочетания имеют по меньшей мере одно общее формальное свойство: в них слово *плечи* может выступать только в единственном числе, то есть в их состав входит сочетание *с плеча*, и невозможно употребить вместо него сочетание **с плеч*. Указанное формальное свойство свидетельствует, наоборот, об уже произошедшей фразеологизации сочетания, о его несвободном характере. Одежду, как правило, носят на двух плечах, а не на одном, и форма единственного числа не отражает здесь местоположения и функционирования одежды.

Исходя из вышесказанного, дадим в качестве примера толкование только одного сочетания из этой группы, а именно, сочетания *одежда с отцовского плеча* (другие единицы этой группы толкуются примерно так же).

Оно означает следующее: 'некий человек X ранее получил одежду или предметы одежды, носимые на плечах, от своего отца, который ранее считал эту одежду своей и носил в течение некоторого времени. Хотя X носит или готов носить эту одежду, он не считает ее своей и/или она выглядит со стороны как чужая'.

Комментарий:

1 (о владельце одежды). Указание на прежнего владельца одежды, то есть Y, осуществляется здесь при помощи прилагательного *отцовский*.

2 (о сочетании *одежда с чужого плеча*). Несколько выпадает из рассматриваемого ряда сочетание *одежда с чужого плеча*, где прилагательное *чужой* не указывает на статус бывшего владельца одежды, а только подчеркивает ее чужеродность. Это сочетание говорит о том, что данная одежда не подходит человеку по каким-то параметрам, например, что он выглядит в ней неловко и обычно ощущает эту неловкость. То, что одежда не подходит новому владельцу, видно нередко даже со стороны, и люди, видящие это, могут обмениваться соответствующими впечатлениями, так и говоря: *одежда с чужого плеча*.

Примеры.

(18) *В трамвае на них оглядывались: девочка в дамской, с чужого плеча котиковой шубе плачет, закрывает платком лицо* (А. Рыбаков).

(19) *На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен* (М. Булгаков).

A2. Теперь рассмотрим, как отражается в устойчивых сочетаниях роль плеч как места ношения тяжелых грузов.

Значение тяжести чрезвычайно значимо в русской языковой картине мира. Оно легко подвергается метафоризации (ср. метафорический перенос от физической тяжести к психологической) и присутствует во многих фразеологизмах. Тяжесть, будь то физическая или психологическая, воздействует на человека, «давит» на него и на его тело. Фразеологические единицы со значением тяжести также могут включать в себя названия частей тела: ср. *взвалить на свои плечи, камень с души упал, волочить на своем горбу* и др.

Метонимическая связь плеч с их носителем наиболее отчетливо видна в таких единицах, как *взвалить на чьи-либо плечи* (или: *себе на плечи*), *нести (вынести, пронести) на своих плечах и тащить на своих плечах*, ср. *взвалить на кого-либо, выносить, нести на себе (крест), тащить на себе*.

Начнем с семантических особенностей приведенных сочетаний.

1. Основное, буквальное, значение единицы *взвалить на плечи* — это 'поднять нечто тяжелое и поставить на плечи'. Плечи, как и некоторые другие части тела, могут служить «подставкой» для груза, ср. *взвалить на плечи и взвалить на спину* (или, метонимически, *на себя*), но неправильно **взвалить на руки*. Причина аномалии здесь состоит в том, что инструментом «взваливания» тоже являются руки, и сочетание *взвалить (руками)* на руки не выражает никакого разумного смысла.

2. На плечи можно взваливать не только физические, но и психологические грузы. Когда люди берут на себя чужие обязанности или заботы, рассматриваемые как психологическая тяжесть, которую нужно носить, то естественно, что они носят ее именно на плечах — ведь плечи как раз и предназначены для ношения тяжестей.

3. Несмотря на смысловую близость выражений *взвалить (себе) на плечи* и *взвалить на свои плечи*, между ними нет полной синонимии. Если первое выражение может говорить и о большом физическом, и о большом психологическом весе груза, то второе выражение говорит чаще всего именно о психологических грузах (см. ниже).

Замечание. Такого рода семантический эффект возникает не только в случае этих двух выражений. Рассмотрим, например, выражения *взять в руки* и *взять в свои руки* — выражение с притяжательным местоимением *свои* тоже не обозначает взятие физического груза, ср. *взять в руки сумку*, но *взять в свои руки власть*. Видимо, различие между синонимичными выражениями здесь объясняется тем, что когда речь идет о нефизических, психологических грузах, важно подчеркнуть, что субъект выполняет или готов выполнять все необходимые действия один и что он лично отвечает за их выполнение (см. ниже пункт 4). Кроме того, в подобных контекстах употребления притяжательное местоимение выполняет смысловоразличительную функцию, позволяя или помогая избежать совмещения в одном сочетании буквального и переносного понимания.

4. В рассматриваемых нами сочетаниях выступают существительные со значением деятельности, обладающей следующими свойствами. Во-первых, она является тяжелой в физическом или психологическом смысле, а

потому в нормальной ситуации ею должны заниматься не один, а несколько человек (ср. *Он взвалил на свои плечи все домашние дела; Режиссер тащил на своих плечах не только спектакли, но и организацию гастролей*). Во-вторых, люди, которые занимаются этой деятельностью, должны быть связаны с агенсом разного рода социальными связями, например, это могут быть его родные, сотрудники по работе, соседи или просто люди, которые **именно данной деятельностью** с агенсом и связаны (ср. *Она взвалила на свои плечи организацию экскурсии в Тулу*). Сам агенс не только не обязан этой деятельностью заниматься, но обычно и не занимается ею один — по причине большой тяжести этой деятельности. В-третьих, — как следствие первых двух свойств — осуществление агенсом данной деятельности говорящий рассматривает как взятую человеком на себя **обязанность** (ср. правильное *Муся взвалила на свои плечи составление годового финансового отчета* и странное *Муся взвалила на свои плечи написание рассказа*).

Теперь опишем некоторые синтаксические особенности рассматриваемых сочетаний.

Во-первых, как было показано, существуют синтаксические дублиеты типа *взвалить себе на плечи/на свои плечи*.

Во-вторых, в данных единицах местоимения *себе* и *свои* более употребительны, чем в близких им свободных сочетаниях: ср. *Он тащит на своих плечах весь дом* и **Он тащит на своей спине рюкзак* (при правильном *Он тащит на спине рюкзак*). Правильность первого из этих предложений и неправильность второго объясняются тем, что части тела являются неотчуждаемой собственностью обладателя, и нет необходимости специально указывать их обладателя. Поэтому в тех случаях, когда употребляются притяжательные местоимение или прилагательное, обозначающие посессора плеч, их употребление никогда не бывает случайным. В таких случаях либо по каким-то причинам специально выделяется владелец плеч, либо, как в нашем случае, сочетание *взвалить на свои плечи* применяется как относящееся исключительно к психологическим грузам, но не как к физическим.

В-третьих, из всего множества рассматриваемых языковых единиц только *взвалить на плечи* допускает несовпадение субъекта данного действия и посессора плеч, ср. *Он взвалил на плечи матери столько всего, что не всякий мужчина с этим справится* (при неправильном **Он тащит весь дом на плечах матери*). Указанный факт является естественным следствием смыслового различия глагола *взвалить*, с одной стороны, и глаголов *нести* и *тащить* — с другой: в толковании последних двух глаголов явным образом указывается совпадение субъекта действий *нести* и *тащить* и участника ситуации, плечи которого используются для переноски груза.

Все отмеченные закономерности так или иначе отражаются в семантическом представлении сочетаний. В качестве примера дадим толкование единицы *взвалить себе на плечи*:

X взвалил 2 себе на плечи P = 'до некоторого момента T_0 человек X не занимался деятельностью P или занимался ею вместе с другими людьми

ми. Х не занимался Р самостоятельно, потому что не обязан был это делать и потому что деятельность Р тяжела для Х, как если бы представляла собой большую физическую тяжесть. Обстоятельства сложились так, что, начиная с момента T_0 , Х вынужден заниматься Р самостоятельно. Х принимает решение, что он будет далее самостоятельно заниматься Р и начинает заниматься Р. Говорящий сочувствует и сопереживает Х-у, который вынужден заниматься Р самостоятельно’.

Сходным образом толкуются и два других фразеологических оборота этой группы.

Примеры.

(20) *Новый премьер взвалил на свои плечи огромную ответственность* (газета «Известия»).

(21) *И войну, и Сибирь, и не в меру умную Хану он тащил на своих плечах, как мешок горькой соли* (Д. Маркиш).

В известном смысле противоположный процесс — снятие с человека тяжести — также передается выражением со словом *плечи*, а именно *гора с плеч свалилась*:

(Х говорит): «Гора с плеч свалилась!» = ‘Х считает, что могло иметь место некоторое очень нежелательное для него событие Р. Х думал о возможном осуществлении этого события, и эти мысли его сильно беспокоили — так, как будто он чувствовал при этом большую физическую тяжесть. Х узнал, что событие Р не произошло или не произойдет, и почувствовал от этого сильное облегчение’.

Комментарий:

1 (о входе). В качестве входа в толкование выбран речевой режим употребления толкуемой единицы и не просто как более употребительный. Мы считаем, что вообще всякое эмоциональное выражение следует толковать именно в речевом режиме, поскольку эмоции, испытываемые человеком, непосредственно не проверяемы.

2 (об интерпретации).

А (о лексическом составе выражения и смысле ‘тяжесть’ в его толковании). Сама форма выражения *Гора с плеч свалилась!*, точнее, все полнозначные слова в его составе, говорят о том, что человеку в течение какого-то времени было очень тяжело: смысл ‘тяжести’ входит в толкования всех таких слов.

Б (о связи переносного и исходного значений сочетания). В рассматриваемом выражении подчеркивается то, что плечи находятся на некотором расстоянии от земли (на это указывает глагол *свалиться*), а гора стоит на плечах, а не на земле. Видимо, это связано не с прямым, а с переносным употреблением самого слова *гора*.

В (о семантическом компоненте ‘активность/пассивность’). В отличие от сочетания *взвалить себе на плечи*, обозначающего сознательное приня-

тие на себя тяжелых обязанностей как некоего груза, высказывание *Гора с плеч свалилась!* не подразумевает никаких активных действий со стороны посессора плеч. Тут подчеркивается, что тяжесть исчезает сама по себе — в противоположность, например, не рассматриваемой и не толкуемой здесь единице *сбросить груз с плеч*.

Избавление от тяжести представлено также в значении такого фразеологизма, как *Камень с души упал!* Хотя в своих значениях *душа* и *плечи* существенно разнятся (так, душа — это вместилище чувств, а плечи — место для переноски физических тяжестей), фразеологизмы *Гора с плеч свалилась!* и *Камень с души упал!* близки по значению. Их объединяет идея снятия избавления от психически тяжелого напряжения. Однако разница между этими фразеологизмами есть.

Представим себе ситуацию, когда некоему мужчине поручили посидеть с десятью маленькими детьми, пока их родители временно отсутствуют. Когда родители, вернувшись домой, встречают своих детей радостными и без каких-либо увечий, то следивший за детьми мужчина может, вздохнув с облегчением, сказать: *Фу! Гора с плеч свалилась!*, но не *Камень с души упал!* Объяснить, почему это так, можно следующим образом. Внутренняя форма обоих фразеологизмов подсказывает, что как в том, так и в другом случае человек ощущает тяжесть, которая от него уходит, но до момента исчезновения в одном случае она как бы находилась на плечах, а в другом была на душе, и в первом случае она представлена как гора, а во втором — как камень.

В первом случае психологическая тяжесть воспринимается как физическая — как тяжелый предмет, находящийся на плечах. Так представлены заботы, обязанности, хлопоты и некоторые другие нематериальные вещи, вызывающие отрицательные ощущения. Во втором случае душа как вместилище чувств является их хранилищем, и камень воспринимается как физическая тяжесть, давящая на эти чувства и вызывающая от этого отрицательные ощущения. Поэтому *Камень с души упал!* говорит не о заботах или обязанностях, а о душевных переживаниях.

Примеры.

(22) *И, когда Ворошилов ушел за двери, у Буковнина точно гора с плеч свалилась, и он сказал: — Баста учителей приглашать! Как раз жена сбежит, как описывают в романах (К. Станюкович).*

(23) *После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне дается отпуск до первого сентября. У отца точно гора с плеч свалилась, — он страшно соскучился сидеть в «учительской», где испытывали мои знания, — у меня еще более (И. Бунин).*

Плечи выступают как место ношения грузов и в составе сочетания *по плечу* (*Ему это дело по плечу*), хотя в нем нет слов, прямо обозначающих данную функцию, типа слов *тащить* или *груз*. Сочетание *по плечу* входит в довольно широкий круг идиоматических выражений, построенных по

модели «предлог *по* + существительное в дательном падеже», и, как мы увидим, понять его семантику легче именно при сравнении с другими членами ряда. Среди разных значений конструкции «предлог *по* + существительное в дательном падеже» есть одно прямое — значение соответствия физических характеристик предмета одежды, обуви или какого-то иного предмета части тела человека, для которой данный предмет предназначен, ср. предложения *Эти туфли мне по ноге* (подходят по размеру, форме и т. д.), *Эта шапка ему по руке* и даже *Этот пиджак ему по плечу*.

Другие значения являются производными и фразеологизованными, например, предложение *Тане эта работа по плечу* означает ‘работа, которую Таня должна выполнить, соответствует ее силам. Говорящий считает работу достаточно сложной для Тани, но считает, что она в состоянии с нею справиться’.

Таким образом, здесь мы имеем дело с регулярным переносом от значения физического соответствия определенного предмета части человеческого тела к значению физического и психологического соответствия некоторой деятельности человеку. Действительно, человек, вообще говоря, способен выполнять самые разные действия, и эта его способность в оценке не нуждается. Чтобы квалифицировать и оценивать способность человека выполнять какие-то действия, нужны особые причины: мы ведь не оцениваем способность человека выполнять такие несложные действия, как чистить зубы, одеваться и т. п., если человек взрослый, здоровый, разумный и т. д. Предпосылки для подобной оценки возникают только тогда, когда у говорящего есть основания сомневаться, что данный человек обладает качествами, необходимыми для выполнения данного действия. Если говорящий считает что человеку трудно его выполнить, потому что для этого нужно приложить много сил, то обычно говорится нечто вроде *Это ей (ему) не по плечу*. И указание на плечи здесь семантически мотивировано, поскольку одна из основных функций плеч, как мы уже говорили, — носить тяжелые вещи, ср. в связи со сказанным также синтаксически и семантически близкие выражения *Это ему не по душе* (нечто не соответствует характеристикам души: ее свойствам, способности оценить и воспринять это), *Это ей не по сердцу (по нутру, по нраву)*, а также более общее *Это не по мне*.

Помимо рассмотренных сочетаний, роль плеч как сильного органа, способного носить тяжести, как физические, так и психологические, подчеркивается выражениями *чувство плеча*, *опереться на плечо* и *подставить плечо*, которые мы не будем тут подробно рассматривать. Отметим лишь, что функции, связанные с *плечом* (в единственном числе), вообще говоря, отличны от функций, связанных с *плечами* (во множественном числе). Это вызвано топологией и функциональными характеристиками плеч: если два плеча могут служить для несения очень тяжелых грузов, то одно плечо для этого приспособлено в меньшей степени. В то же время оно может служить опорой и «поддержкой» для человека (ср. приведенные выше выражения).

Пример.

(24) *Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропалую, пить и бразничать, как только может один русский, — все это было ему по плечу* (Н. В. Гоголь).

Плечи как «подставка» для головы и шеи

Рассмотрим теперь устойчивые единицы, в которых актуализуется функция плеч как природного «поддерживающего устройства» для шеи и головы. К ним принадлежат, в частности, такие выражения, как *У тебя голова на плечах есть?*, *(У него) своя голова на плечах* и *За это голову с плеч снимут*. Поскольку первые два выражения относятся не просто к голове, а к **голове, находящейся на плечах**, речь пойдет далее только об этих выражениях.

Фраза *У тебя голова на плечах есть?* построена по одной модели с такими фразеологизованными выражениями, как *У тебя глаза (уши, руки, ноги, язык) есть?* или *У тебя что, языка нет?*, внешне выглядящими как интеррогативы, функция которых — выяснить, есть ли такие органы у человека. Между тем семантически это, конечно, не настоящие вопросы, поскольку у спрашивающего нет сомнений в том, что такие органы у человека есть. Спрашивающий таким «хитрым» способом в действительности нечто утверждает, а именно, что в случае, о котором ему известно, такие-то органы функционировали плохо. Аналогичную роль выполняют и близкие к рассматриваемым конструкции типа *Ты что, слепой (глухой, немой, однорукий)?* или *Ты что, не видишь (не слышишь)?* и т. п.

В русском языке информация об отсутствии у человека некоторого органа и информация о плохом функционировании органа (вплоть до полной утраты способности действовать) обычно распределены по разным словам и словосочетаниям, причем как свободным, так и фразеологически связанным. Так, слово *однорукий* обозначает человека, у которого нет одной руки, а слово *безрукий* — человека, который не может ничего (или что-то конкретное) делать руками. Выражение *У него нет ног* означает реальное отсутствие ног. Предложение *У меня ног нет* означает ‘я устал’, а предложение *У него ноги отваливаются* говорит о том, что человек настолько устал, что ноги его плохо функционируют («слушаются»). Выражение *лишиться языка* обозначает утрату способности говорить, но, как правило, не реальную утрату языка.

Если же отсутствие у человека данного органа невозможно, то высказывание, прямо утверждающее это отсутствие, либо аномально, ср. **У него нет головы*; также плохо **У него нет головы на плечах*, либо высказывание переосмысливается и воспринимается как передающее информацию о плохом функционировании органа *У тебя что, своей головы нет?*, см. также *У него нет сердца* (= *Он бессердечный*).

Конструкция *У тебя Y есть?*, где *Y* — название части тела, имеет два круга употреблений. В первом из них говорящий утверждает, что адресат не выполняет совсем или плохо выполняет некоторые действия, главную роль в которых выполняет *Y*, а во втором круге употреблений подразумевается, что адресат просто не хочет производить такие действия и просит другого человека выполнить их за него, и говорящий дает ему понять, что не будет выполнять эти действия. Так, слегка раздраженную — в особенности по сравнению с возможными другими — реплику *У тебя что, глаза нет?* человек может услышать, например, от сотрудника поста ГАИ, в случае если он врезался в машину милиционера.

Помимо нестандартной интерпретации, все рассматриваемые выражения обладают еще одной содержательной особенностью. Их употребление позволяет выявить, какие функции частей тела являются с точки зрения естественного языка важнейшими. Например, нельзя сказать **У тебя что, языка нет, доесть не можешь?*, однако вполне допустимо *У тебя что, языка нет, сказать не можешь?* Иными словами, хотя у языка как части тела есть несколько функций, помимо речевой, с помощью данной конструкции именно речевая функция, и только она, фиксируется как основная. То же самое, *mutatis mutandis*, можно отнести и к предложению *У тебя что, рук нет, открыть дверь не можешь?* Аналогично ведет себя и интересующее нас выражение *У тебя голова на плечах есть?* — оно выявляет основное и, что важно, единственное, назначение головы — быть органом мышления. При этом голова и плечи рассматриваются как единый комплекс, что позволяет, в частности, выделить не только основную функцию головы, но и подчеркнуть выделенную роль плеч, ср.:

(25) *А она головой потряхивает да братьев своих отчитывает: «Куда суется? Есть у вас голова-то на плечах?»* (Ф. Абрамов).

Перейдем теперь к анализу выражения *⟨У него⟩ своя голова на плечах*. Это высказывание тоже обычно понимается не буквально — оно подчеркивает функцию головы как органа мышления. В отличие от предыдущей конструкции тут, однако, акцентируется не столько способность к мыслительной деятельности вообще, сколько способность человека мыслить самостоятельно, не прибегая к помощи других лиц. Кроме того, употребление данного выражения подчеркивает желание говорящего, чтобы «человек с головой на плечах» реализовал сейчас эту свою способность. Вот пример характерной ситуации, когда используется это выражение: сын обращается к отцу за советом, как поступить, а находящаяся рядом мать говорит: *Пусть он сам решает, у него своя голова на плечах*, то есть она считает, что сын может принять решение сам и не надо отцу сейчас решать за него.

Отметим, что выражение *У него своя голова на плечах* с субъектом в грамматической форме третьего лица, указывающим на обладателя головы, часто встречается в ситуациях, когда речь идет о принятии человеком каких-то важных решений или об осуществлении им важных действий. И

еще одно: вопрос, должен это делать человек сам или с помощью каких-то других лиц, чаще всего решается в отношении только близких людей, причем людей менее опытных, слабых или младших по возрасту. Это объясняет, в частности, почему предложение *У него своя голова на плечах* звучит странно применительно к малознакомому человеку или, например, к начальнику, ср.:

- (26) — *Нас торопили!* — вставил я. — *А у вас своя голова на плечах. Думать надо!* — вскипел полковник. — *Когда человек соображает, то как ни старается пунктуально выполнять приказы, что-нибудь разумное и от себя добавит* (А. Ворожейкин).

Плечи как разделитель времени и пространства

У плеч есть еще одна функция, о которой мы до сих пор подробно не говорили. А именно, в одном фразеологическом сочетании плечи выступают как разделитель времени на прошлое и будущее. Однако, как кажется, в русском языке используется всего лишь одно сочетание со словом *плечи*, подчеркивающее эту функцию, — речь идет о сочетании *за плечами* (ср. также *за спиной*, *за ним*).

Замечание. Имеющая больший размер часть человеческого тела — спина — в сочетании *за спиной* подчеркивает топографические свойства тела (ср. синонимичное выражение *за ним*), а часть тела меньшего, чем спина, размера — плечи — в сочетании *за плечами*, как мы увидим ниже, подчеркивает функциональные свойства плеч.

Дадим толкование **фразеологического сочетания** *за плечами*.

У А за плечами 2 Р = ‘человек (или люди) А в некоторый период своей жизни принимал участие в ситуации Р. Говорящий считает, что (а) участие А в деятельности Р требовало от А усилий, что (б) ситуация Р является частью жизненного опыта А, и что потому (в) деятельность Р важна для А’.

Комментарий:

1. На вход толкования подается именно конструкция с предлогом *у*, а не конструкция с родительным падежом, то есть *у <человека> за плечами*, а не *за плечами <человека>*, поскольку в конструкции *у N₁ N₂*, где N₂ — часть тела человека N₁, утверждается нечто об N₁, а не об N₂, то есть смысловой темой в рассматриваемой нами конструкции является ‘человек’, а не ‘его плечи’. В противоположность конструкции с предложно-падежной формой в конструкции с падежной формой — родительным падежом имени — смысловой темой в общем случае является часть тела, а не ее обладатель (см. о соотношении конструкций с падежной и предложно-падежной формой с предлогом *у* в работах [Крейдлин 1980; Мельчук 1995]). Однако в нашем случае формы *у него за плечами* и *за его плечами* имеют одну и ту же смысловую тему — ‘человек’, свойственную в общем случае только

предложно-падежной форме. Именно этим обстоятельством и обусловлен выбор в качестве входа не канонической для представления части тела падежной формы, а предложно-падежной формы, более непосредственно отражающей смысловое содержание толкуемого выражения.

Теперь остановимся подробнее на интерпретации.

1 (о переменной А). В тексте толкования при переменной А стоит классификатор ‘человек (люди)’, то есть на место переменной могут подставляться как обозначения отдельных людей, так и их совокупностей или организаций.

2 (о переменной Р). Хотя в толковании при переменной Р указан классификатор ‘деятельность’, реальная ситуация несколько сложнее. А именно, переменная Р может замещаться не только именами ‘деятельности’, но и именами со значением времени, в течение которого данная деятельность происходила или происходит (ср. *У нее за плечами тридцать лет партстажа*), а также именами, обозначающими ‘результаты деятельности’ (ср. *К тому времени у него за плечами тысячи успешно прооперированных больных*) или ‘место деятельности’, причем это место должно быть нагружено соответствующими социальными коннотациями — в этом месте и должен был быть приобретен тот опыт, о котором говорится в тексте толкования (ср. *У Петра Ивановича за плечами Беломорканал/целина* и странное, по крайней мере, необычное [?]*У него за плечами Париж*).

3 (о содержании толкования). Основное в толковании выражения *за плечами* — указание на жизненный опыт, то есть на существенные моменты деятельности человека в течение его жизни. Отсюда понятно, что (а) у людей, у которых такого опыта нет, ничего, так сказать, не может быть *за плечами*. В частности, фразеологический оборот *за плечами* не используется по отношению к детям, и напротив, он чрезвычайно употребителен по отношению к пожилым людям. Этим объясняется также, почему невозможны, даже при ретроспективной по отношению к моменту речи точке отсчета, фразы с будущим временем глагола-связки, то есть такие, как **У него за плечами будут сотни успешно проведенных операций*. Кроме того, (б) деятельность, о которой идет речь в толковании, по мнению говорящего, занимает важное место в жизни человека и является существенной составляющей его жизненного опыта. Отсюда вытекает, что единица *за плечами* используется в тех случаях, когда подводится итог деятельности человека на определенном этапе его жизни, то есть для нее характерно употребление в таких речевых актах и видах текстов, как характеристика, биография, юбилейное поздравление, адрес и др. Поскольку (в) такая деятельность, как правило, бывает длительной, для выражения *за плечами* характерны те контексты, в которых большая продолжительность деятельности либо обозначается эксплицитно, либо вытекает из контекста. Ср. *У него за плечами пятьдесят лет трудового стажа*; *У Петра Сергеевича за плечами тысячи построенных домов и сотни построенных гаражей* и [?]*У него за плечами месяц студенческого трудового лагеря*, [?]*У моей дочери*

за плечами два успешно прооперированных больных. (г) Жизненный опыт человека складывается обычно из совокупности отдельных видов деятельности, связанных с большими затратами человеческих усилий, а потому типичная метафора жизненного опыта — это метафора тяжести. Сказанное объясняет, почему не говорят *У него за плечами сотни праздников, *У него за плечами три года отпуска или *У него за плечами десятки туристических поездок, а также почему опыт, который находится у человека за плечами, переживается, запоминается и вспоминается человеком и близкими ему людьми. Возникающая тут метафора тяжести является прямым следствием коннотации 'тяжести' при исходном, «физиологическом», значении сочетания за плечами, ср. У нее за плечами полный мешок яблок, У него за плечами рюкзак (обычно говорится о тяжелом рюкзаке), которая, в свою очередь, наследуется от значения слова плечи (см. толкование слова плечи выше).

4 (о компонентах 'время' и 'пространство' в смысловой структуре единиц плечи и за плечами). В толкуемом сочетании за плечами, как и во многих изначально пространственных единицах языка, отражается членение времени — время делится на настоящее и прошлое. В этом сочетании маркируется именно прошлое (Р происходит в прошлом), между тем как высказывание, реализующее эту конструкцию, произносится в настоящем. Судя по языковым примерам, сочетание за плечами, однако, почти не используется для членения пространства на «переднее» и «заднее» и для обозначения всего пространства за человеком (ср. недопустимое *У меня за плечами дом (магазин, фонарь) вместо правильного У меня за спиной дом (магазин, фонарь)).

Нельзя сказать, однако, что у единицы за плечами вообще не бывает пространственных употреблений (ср. хотя бы За плечами у него тяжелейший рюкзак), тем не менее все они ограничены случаями, когда предмет, находящийся за человеком, соприкасается с его плечами. Именно поэтому сочетание за плечами в данном употреблении (квази)синонимично сочетанию слова плечи с предлогом на — на плечах, ср. У него на плечах тяжелый рюкзак. Роль плеч в членении пространства косвенно проявляется и в семантике деривата заплечный (мешок), и в значении устойчивого сочетания стоять за левым плечом (согласно русским традиционным культурным представлениям, за левым плечом у человека всегда стоит смерть). Наконец, можно упомянуть еще свободное сочетание выглядывать из-за плеч/из-за плеча.

И еще одно. Переход 'пространство' — 'время' и концептуализация времени как пространства засвидетельствованы не только в многочисленных единицах естественных языков, но и в невербальных кодах: интересно, что в первом из созданных языков глухонемых, автором которого был француз, аббат Л'Эпе, прошлое обозначалось коротким и быстрым взмахом кисти руки назад через плечо — не русские жесты. Да и в обычном языке жестов мы для обозначения прошлого тоже часто машем рукой через плечо.

Отметим, что сочетаний со словом *плечи* или с его дериватами, которые бы обозначали пространство перед телом, не существует. Нет, например, сочетания *перед плечами*. Переднее пространство фиксируется, но по отношению к другому органу — глазам, ср. *перед глазами* или *перед ним*, что равносильно ‘перед его глазами’ (а сочетания *перед носом* и *перед лицом* имеют совсем другие значения).

Примеры.

(27) <...> *К этому времени — о чем мы узнали много позже — у него за плечами были уже повести «Эфирный тракт», «Джан», «Чевенгур» и множество замечательных рассказов, увидевших свет только в 60-е годы* (В. Орлов).

§ 4. Плечи в жестовых единицах.

Основные семантические группы жестов с участием плеч

Как известно, все жесты делятся на три семиотических класса: эмблематические жесты (эмблемы), иллюстративные жесты (иллюстраторы) и регулятивные жесты (регуляторы). Ниже речь пойдет только об эмблемах, то есть о жестах, имеющих самостоятельное лексическое значение (более подробно о семиотической классификации жестов и об эмблемах см. в книге [Крейдлин 2002]). Среди русских эмблем имеются и телесные знаки с участием плеч. Ниже мы опишем их некоторые общие свойства, а также свойства их естественно-языковых обозначений (номинаций).

Первое, что бросается в глаза, — это небольшое количество эмблем с участием плеч по сравнению с количеством эмблематических жестов рук или даже жестов головы. По всей видимости, это объясняется как расположением плеч относительно других частей тела, так и их функциями. Действительно, плечи прикреплены к корпусу, что резко ограничивает их подвижность, а подвижность, то есть возможность органа свободно и легко двигаться, — это едва ли не самое важное свойство для жестикуляции.

Кроме того, плечи, как мы уже говорили, являются одним из средств соединения головы и шеи и служат местом для определенных действий активных органов человека, таких как, например, руки. Не удивительно поэтому, что в жестах, которые являются концентрированным символическим выражением некоторых важных действий человека, плечи чаще всего участвуют именно как пассивный орган, то есть орган, являющийся местом осуществления действия (в терминологии [СЯРЖ 2001]).

Русские жесты **хлопнуть по плечу**, **взять за плечи**, **обнять за плечи** или **трясти за плечи** все по своей природе относятся к подклассу **жестов-касаний**: в их форме и семантике очень существенны и тактильный, и протективный (то есть обуславливающий физическое и психологическое расстояния между адресатом и жестикулирующим, взаимную ориентацию

тел собеседников, направление движений и др.) компоненты. Это жесты, в которых плечи являются пассивным органом.

Между тем существуют русские жесты, в которых плечи участвуют активно, то есть являются активным органом, фиксирующим способ осуществления действия. Но и в этих, относительно немногочисленных, жестовых употреблениях проявляется малая подвижность плеч. Русские жесты плеч (то есть, как следует из самого наименования, это те телесные знаки, в которых плечи выступают как активный орган) говорят нам о том, что плечи ограничены в перемещениях, во всяком случае, они далеко не так свободны, как руки или ноги. Судя по самим жестам и по их номинациям, плечи можно перемещать не во всех направлениях, а только в плоскостях «вперед-назад» и «вверх-вниз». Возможность движения плеч «вверх-вниз» отражается, например, в таких знаках и незначительных движениях, как **поднять** и **опустить плечи**, **выдвинуть плечо вперед**, **расправить плечи**. Кроме того, имплицитно плечи участвуют и в движениях, обозначаемых, например, словами *съежиться*, *сжаться* или *распрямиться*, то есть движениях, которые тоже совершаются в указанных двух плоскостях.

Плечи являются важным компонентом в репрезентации тела, в частности, играют определяющую роль в осанке, походке, манерах поведения человека. А потому в номинациях жестов, а также в указанных выше словах, связанных с изменением осанки, слово *плечи* может даже эксплицитно не выражаться. Больше того, многие из таких слов и словосочетаний получают в языке новые метонимические употребления. В частности, уменьшение (увеличение) значимости, человеческого достоинства иконически отражается телесно как бы в уменьшении (увеличении) высоты или величины тела. Так, *расправляя плечи* и как бы становясь выше, человек обретает чувство собственного достоинства, а *съеживаться*, как бы уменьшаясь в размере, человек может от удара или от страха, становясь маленьким или беззащитным.

Жесты, в которых плечи выступают как пассивный орган

К русским эмблемам, в которых плечи являются пассивным органом и выполняют роль адаптора тела (об адапторах тела см. ниже, а также в книге [Крейдлин 2002]), относятся следующие единицы: **хлопнуть по плечу**, **тронуть за плечо**, **трясти за плечи**, **положить голову на плечо**, **положить руку на плечо** (или: **руки на плечи**), **склонить голову к плечу** (или: **на плечо**), **взять за плечи**, **обнять за плечи**. Эти жесты не только морфологически, но и семантически разнородны, несмотря на то, что и в их значении, и в их физической реализации имеются общие компоненты.

Семантика и употребление этих телесных знаков обусловлены значениями кинетических постоянных и переменных признаков, таких как гендер, возраст, социальное или имущественное положение, степень знакомства или близости, физическое и психическое состояние и др. Их семантика и прагматика включают в себя самые разнообразные по своему характеру

признаки: 'дружественность' (ср. жест **хлопнуть по плечу 1**), 'привлечение внимания' (**тронуть за плечо, взять за плечи**), 'гнев' (**трясти за плечи**), 'нежность' (**положить голову на плечо**), 'ласка' (**склонить голову к плечу (партнера)**), 'утешение' (**положить руку на плечо**), 'симпатия' (**обнять за плечи**), 'скепсис' (**склонить голову к (своему) плечу**). Все такие признаки, разумеется, не являются толкованиями, но в качестве семантических ярлыков могут быть вполне информативными, и в частности, могут служить входом в список однословных номинаций жестов, см. об этом подробно в [СЯРЖ 2001] и [Крейдлин 2002].

По каждому из кинетических признаков рассматриваемые жесты разбиваются на разные группы. Так, признак 'гендер' позволяет выделять жесты мужчин по отношению к женщинам (**обнять <любовно> за плечи**) или жесты женщин по отношению к мужчинам (**склонить голову на плечо**), жесты мужчин, применяемые к человеку любого пола (**положить руку на плечо**) и т. д. По признаку 'возраст' жесты делятся на нейтральные, то есть такие телесные знаки, для которых данный признак принимает произвольное значение (таких русских жестов большинство), и на жесты, для которых значения этого признака существенны. Речь идет, например, о жестах взрослых по отношению к детям (**трясти за плечи**), жестах, используемых молодыми людьми по отношению друг к другу (**хлопнуть по плечу**) и др. Социальные компоненты, такие как общественное положение, индивидуальный или социальный ранг человека, тоже входят в семантику жестов с участием плеч, например, **обнять за плечи** или **хлопнуть по плечу** и отражают определенные социальные отношения между лицами, — от дружеского до покровительственного — и, как следствие, определенную социальную иерархию.

Семантически эмблемы с участием плеч делятся на **жесты-отношения**, и таких единиц большинство (ср. такие подклассы знаков-отношений, как жесты любви и симпатии, жесты утешения, жесты ласки), и **жесты-действия** (ср., в частности, невербальные знаки привлечения внимания к какому-либо лицу, объекту или деятельности или знаки, направляющие на эту деятельность).

Покажем, какие семантические признаки для всех таких знаков существенны, а также какие элементные значения и формы являются общими, а какие — разными для невербальных и вербальных единиц.

Во-первых, все рассматриваемые жесты относятся к разновидности **жестовых касаний**, а некоторые (**хлопнуть по плечу 1, 2, похлопывать по плечу 1, 2**) — к их важному подклассу **жестов-ударов**, к которому относятся также и многие другие очень важные в коммуникативном и социальном плане жесты: **пинок, подзатыльник, шлепок, щелчок, пощечина** и др. Многие из них применяются в качестве наказания; между тем, как мы покажем ниже, телесные знаки с участием плеч из этого ряда «выбиваются».

Возможность нанесения ударов именно по плечам связана с их свойствами — силой и твердостью. Твердость плеч амортизирует удар по ним

рукой, в результате чего телу трудно причинить существенный вред. Кроме того, высокое положение плеч в теле является удобным для нанесения ударов. Физическая твердость и сила регулярно соотносятся с твердостью характера и силой духа, то есть с психическими свойствами человека. Например, **кладя голову на плечо** мужчины, женщина не только проявляет ласку и нежность, но и ищет у мужчины защиты и покровительства. **Кладут руку на плечи** обычно детям, воспитанникам, подопечным и т. д., то есть людям менее сильным (в разных смыслах этого слова), люди, как правило, психически более сильные, опытные, стойкие, например, родители, тренеры, учителя.

Все жесты рассматриваемой группы используются для выражения или передачи эмоций-чувств и эмоций-отношений, причем в ситуации неформального общения. Как следствие, среди бытовых жестов с участием плеч этой группы нет этикетных (ср. такие этикетные жестовые касания, в которых участвует рука, как **пожать руку** или **поцеловать руку** или ритуальный, не бытовой жест **положить руку на плечо** как знак посвящения).

Такие жесты, хотя и опосредованно, связаны со многими важными физическими признаками плеч. Связь плеч с ‘силой’ выражается в том, что через посредство плеч «передаются» сила и уверенность в таких жестах, как **положить руку на плечо**, **хлопнуть по плечу** или **взять за плечи**, — в последнем случае жестикулирующий как бы обнимает или обрамляет своими руками плечи адресата, увеличивая этим движением его силу. Жест **положить голову на плечо**, который, как правило, исполняется женщиной по отношению к мужчине, означает, что жестикулирующий доверяется силе, уверенности и надежному спокойствию адресата, как бы заключенным в его плечах. А жестом **трясти за плечи** жестикулирующий нарушает неподвижность плеч и, тем самым, спокойствие и уверенность их обладателя — адресата жеста (о связи положения плеч с ‘уверенностью’ см. в следующем разделе).

Жесты, в которых плечи выступают как активный орган

В малочисленный класс жестов плеч, в которых плечи выступают как активный орган, входят жесты **расправить плечи**, **пожать плечами**⁷, **повести плечами**, **передернуть плечами** и поза **стоять/стать плечом к плечу**.

В значение тех жестов плеч, где плечи — активный орган, в качестве основного компонента входят значение ‘силы’ (физической или психической) и индуцируемые этим компонентом другие значения (например, ‘уверенности’, ‘стойкости’). Значение ‘силы’ передают, например, жесты **расправить плечи 1** и **стоять плечом к плечу**, а такие жесты, как **пожать плечами** и **передернуть плечами**, выражают, соответственно, отсутствие уверенности и недовольства, вызванного отсутствием контроля над си-

⁷ Подробное описание жеста **пожать плечами** дано в [СЯРЖ 2001].

туацией и невозможностью (так сказать, 'неимением сил') изменить положение дел.

Впрочем, и жесты, в которых плечи выступают как активный орган, могут участвовать в выражении эмоций. Роль плеч в передаче эмоционального состояния человека важна для типологии эмоциональных состояний, передаваемых различными частями тела и их движениями, ср. позу **поникшие плечи** и жест **распрямить плечи 2**, а также их языковые обозначения. **Поникшие плечи** говорят о подавленном состоянии человека, а **распрямленные плечи** — о воодушевленном состоянии. Это не случайно: подавленность — это утрата душевных сил и уверенности в себе, а воодушевление — это, напротив, состояние подъема и прилива душевных сил. Подавленное состояние говорит о давлении, которое испытывает человек, о действии на него извне некоторой силы. Естественно, что органом, который принимает на себя все типы давления, являются твердые и сильные плечи. Действие психологической тяжести отображается физически — в **опускании плеч**. Сходным образом устроена и семантика сочетания **распрямить плечи**.

Некоторые жесты и их номинации связаны с единицами естественного языка также и другими признаками. Например, жест **распрямить плечи 1** интересен тем, что для него важен признак размера плеч, существенный, как было выше показано, для описания внешнего вида человека. Идея жеста состоит в том, что жестикулирующий как бы делает свои плечи больше, чтобы ощутить собственную силу и передать ощущение силы адресату или адресатам.

Вообще, жесты, в которых плечи являются активным органом, в большей степени, чем жесты, в которых плечи выступают как пассивный орган, имеют компоненты значения, одинаковые или близкие с языковыми сочетаниями со словом *плечи*. И здесь плечи прямо связаны с силой человека. Эта связь выражается несколькими способами, например, плечи большого размера (ср. **распрямить плечи**) характеризуются как сильные, а маленького размера — как слабые. **Поднятые плечи** квалифицируются как сильные, а **опущенные плечи** — как слабые, а отсюда по импликации возникает представление о силе/слабости и самого обладателя плеч. **Стоят или идут плечом к плечу в марше** солдаты на параде, воплощая представление о силе и воинской мощи.

§ 5. Заключение

Проведенный анализ показал, что в семантике и прагматике языковых и невербальных единиц с участием слова *плечи* и «плеч» как части тела имеется много общего, причем общие семантические признаки наследуются от свойств «плеч». Это физические свойства, такие как форма, размер, внутреннее строение, и функциональные — определенные движения, основные действия части тела и направленные на часть тела и др. Кроме того, общими

могут быть семантические признаки, связанные с физическими и функциональными свойствами «плеч» имплицативными отношениями. Это сила, уверенность, эмоциональные компоненты и т. д., связанные с физическими и функциональными свойствами. Наконец, в значениях как языковых, так и жестовых единиц входят смысловые компоненты, обусловленные топографическими свойствами плеч, — их способностью членить время и пространство.

Наличие одних и тех же свойств у двух разных семиотических кодов говорит о сходстве концептуализаций в этих кодах такой части тела, как «плечи». Между тем эти концептуализации предстают, вообще говоря, хотя и сходными, но все же разными, что, впрочем, не удивительно, поскольку природа языковых и телесных кодов существенно разная.

Для описания сходств и различий между кодами нами были выделены пять классов единиц, из которых три класса состоят из вербальных единиц, а два — из невербальных. Из вербальных мы рассмотрели свободные сочетания, фразеологические обороты и жестовые номинации, а в кругу невербальных кодов мы выделили жесты, в которых плечи являются пассивным органом, и жесты, в которых плечи являются активным органом. В ходе проведенного описания фиксировались как внутрикодовые, так и межкододовые различия.

Отметим два результата, которые, как нам кажется, представляют некоторый теоретический интерес.

Первый из них состоит в том, что фразеологизмы сближаются с жестами в большей мере, чем свободные сочетания. Это видно, во-первых, из того, что в русском языке существует большое число жестовых фразеологизмов, а во-вторых, из связанности семантики тех и других единиц. Процесс превращения физиологических движений в жестовые знаки, то есть семиотизация движений, по-видимому, в существенных семантических чертах сходен с процессом фразеологизации, в нашем случае, с превращением свободных сочетаний с названиями частей тела в устойчивые. Одной из таких черт является следующая. В результате семантических изменений как на пути от движения к жесту, так и от свободной единицы к устойчивой, всякий раз подчеркивается одно и то же, а именно важность функций данной части тела. Для плеч — это их связующая и активная функции.

Второй результат, который следует отметить, состоит в том, что жесты, где плечи выступают как активный орган, по своей семантике ближе к вербальным единицам, чем жесты, в которых плечи выступают как пассивный орган. Как мы полагаем, это вызвано тем, что свойства плеч как активного инструмента, обеспечивающего воспроизведение жеста, ярче выступают в семантике свободных единиц, описывающих действия плеч.

Оба отмеченных результата показывают, что единицы внутри одного, вербального или невербального, кода могут различаться сильнее, чем единицы разных кодов. Иными словами, внутрикодовые различия единиц в тех ситуациях, которые рассматривались в настоящей работе, оказываются важнее, чем межкододовые (по-видимому, это утверждение справедливо для

очень многих, если не для всех частей тела и единиц с ними, но оно еще требует весьма тщательной проверки).

Л и т е р а т у р а

Апресян 1995 — Ю. Д. А п р е с я н. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. М., 1995.

БАС 1965 — Большой академический словарь. М., 1965.

Вежбицкая 1996 — А. В е ж б и ц к а я. Язык. Культура. Познание. М., 1996.

Иорданская, Паперно 1996 — L. I o r d a n s k a j a, S. P a p e r n o. A Russian-English collocational dictionary of the human body / Ed. by R. L. Leed. Columbus (Ohio), 1996.

Крейдли́н 1980 — Г. Е. К р е й д л и н. Служебные слова в русском языке (семантические и синтаксические аспекты их изучения): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1980.

Крейдли́н 2002 — Г. Е. К р е й д л и н. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М., 2002.

Крейдли́н, Летучий 2004 — Г. Е. К р е й д л и н, А. Б. Л е т у ч и й. Языковая концептуализация частей тела в русском языке (на примере плеч) // Сокровенные смыслы: Сб. ст. в честь Н. Д. Арутюновой. М., 2004. С. 128—136.

Крейдли́н, Летучий 2005 — Г. Е. К р е й д л и н, А. Б. Л е т у ч и й. Семантическая структура слова *плечи* и его производных // Московский лингвистический журнал. М., 2005. [В печати].

Кустова 2002 — Г. И. К у с т о в а. Семантика тяжести // Семиотика и информатика. 2002. № 37. С. 116—146.

Кустова 2004 — Г. И. К у с т о в а. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.

МАС 1981 — Малый академический словарь. М., 1981—1984.

Мельчук 1995 — И. А. М е л ь ч у к. *Glaza Maši golubye vs. Glaza u Maši golubye: Choosing between Two Russian Constructions in the Domain of Body Parts // И. А. Мельчук. Русский язык в модели «Смысл ↔ текст». М., 1996. С. 135—168.

НОСС 2000 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 1997. Вып. 1; М., 2000. Вып. 2.

Ожегов, Шведова 1992 — С. И. О ж е г о в, Н. Ю. Ш в е д о в а. Толковый словарь русского языка. М., 1992.

Пеньковский 2004 — А. Б. П е н ь к о в с к и й. Очерки по русской семантике. М., 2004.

Рахилина 2000 — Е. В. Р а х и л и н а. Когнитивный анализ предметных имен. М., 2000.

СЯРЖ 2001 — С. А. Г р и г о р ь е в а, Н. В. Г р и г о р ь е в, Г. Е. К р е й д л и н. Словарь языка русских жестов. Москва; Вена. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband. 49. 2001).

Урысон 1995 — Е. В. У р ы с о н. Фундаментальные способности человека и наивная «анатомия» // ВЯ. 1995. № 3. С. 3—16.

Д. В. РУДНЕВ

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗОЧНОГО ГЛАГОЛА *ЯВЛЯТЬСЯ* В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Настоящая статья посвящена истории становления в русском языке глагольной связки *являться* — этапам и причинам процесса десемантизации некогда полнозначного глагола.

1. Описание связки *являться* в современной лингвистической литературе

В современном русском языке связка *являться* считается одной из наиболее употребительных среди глагольных связок. Существуют некоторые разногласия относительно статуса этой связки. Хотя традиционно связку относят к разряду ползунаменательных со значением выявления, ряд исследователей предлагает относить ее к разряду идеальных связок (наряду со связкой *быть*). Эта точка зрения, к сторонникам которой относится Н. Ю. Шведова, отражена в Грамматике русского языка. В главе «Именное сказуемое» (автор — Н. Ю. Шведова) говорится: «Формы глаголов *быть*, *являться* выступают здесь [в составе именного сказуемого] только как показатели времени и наклонения, т. е. в роли чистой связки, не имеющей лексического значения...» [Грамматика 1960, II, 1: 414]. Аналогично подходит к определению семантики связки *являться* и Г. Н. Груднева, которая относит связки *быть* и *являться* к разряду идеальных, вносящих в составное именное сказуемое «отвлеченное значение общего бытия» [Груднева 1958].

Словари определяют лексическое значение связки *являться* как ‘быть, служить’¹, ‘быть, служить, становиться’ [ССРЛЯ, 17: 2030], ‘быть, представлять собой’ [МАС, 4: 777]. Во всех случаях мы видим, что значение связки *являться* не сводится словарями к значению связки *быть*. Включая

¹ «2. Быть, служить чем-н. ...*Наша конституция является наиболее демократической в мире...* Сталин (Отчетный доклад на XVIII съезде партии)» [ТСРЯ, 4: 1453]. Это же толкование было принято в Словаре русского языка С. И. Ожегова: «2. Быть, служить чем-н. *Марксизм является врагом всякого догматизма. Его поступок является новым доказательством дружбы*» [Ожегов 1963: 897].

в себя элемент бытийности, эта связка осложнена другими значениями, которые разные словари определяют по-разному: 'служить', 'представлять собой'. Таким образом, связка *являться* может быть отнесена и к классу идеальных связок, и к классу полузнаменательных связок. От связки *быть* ее отделяет более вещественное значение, от полузнаменательных связок, наоборот, более отвлеченный характер.

Отличительная черта связки *являться* — способность сочетаться только с именами в творительном падеже. Так, М. В. Коротаева пишет: «...в сочетаниях с глаголами... *явиться* — *являться*... и др. данная форма [творительный предикативный существительных] выступает как единственно возможная...» [Коротаева 1996: 23]. «Краткая русская грамматика» также подчеркивает, что именная часть при связочном глаголе *являться* всегда стоит в творительном падеже [КРГ: 430—432]². Впервые на эту особенность обратил внимание Д. Н. Овсяннико-Куликовский: «...при глаголе *являться* возможен только творительный предикативный». Например: «Это событие является знаменем времени», «Это известие является неожиданным, странным...» [Овсяннико-Куликовский 1912: 160, 162].

Еще одна особенность, характеризующая связку *являться*, — это ограниченность конструкций, в которых она способна выступать. В этом состоит ее отличие от связки *быть*. По наблюдениям М. В. Коротаевой, в современном русском языке именной компонент в конструкциях с глагольной связкой *являться* представлен существительными двух семантических типов: 1) имена абстрактного значения, метафорически характеризующие личный/неличный субъект высказывания (например: *Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу...* М. Булгаков. *Мастер и Маргарита*; *Новый управляющий Балчуговскими золотыми приисками явился той новой метлой, которая, по пословице, чисто метет.* Д. Мамин-Сибиряк), и 2) имена классификационной семантики в предложениях с личным субъектом (например: — *Моя фамилия Поплавский. Я являюсь дядей... покойного Берлиоза.* М. Булгаков. *Мастер и Маргарита*) [Коротаева 1991: 9; 1996: 8]. О регулярном употреблении связки *являться* в предложениях классифицирующей характеристики пишет и Е. Н. Ширяев [Крылова, Максимов, Ширяев 1997: 141].

2. История формирования связочного значения у глагола *являться*

Развитие связочного значения у глагола *являться* относится к XIX веку. Лингвисты по-разному определяют причины этого процесса. По мнению

² Эта грамматика относит глагол *являться* к числу идеальных связок («связочный глагол»). Из всех моделей именных предложений, представленных в Краткой русской грамматике, связка *являться* рассматривается только в предложениях, в которых подлежащее и сказуемое выражено существительным (типа *Отец — учитель*), и в предложениях со сказуемым — полным прилагательным.

Г. Н. Акимовой, появление связки *являться* «связано, очевидно, с судьбой отвлеченной связки *есть — суть*: по мере исчезновения последней развивается более отвлеченное значение у глагола *являться*, который в некоторых случаях в современном языке выступает вместо *есть — суть*» [Акимова 1969: 226]. В качестве другой причины называют развитие творительного предикативного падежа на месте именительного. «Заслуживает... внимания, — писал Л. А. Булаховский, — что в течение XIX века совсем уходит из употребления творительный предикативный с *есть* и, вместо случаев с отвлеченными существительными типа “Ах, этот человек всегда Причиной мне ужасного расстройства” (Гриб.), “Признайтесь, вы этому одни виною” (Лерм.), устанавливается или именительный, или сочетание с *являться*» [Булаховский 1937: 197].

Вне всякого сомнения, развитие значения ‘быть, служить’ у глагола *являться* при его связочном употреблении происходит на базе основных значений этого глагола. В современных толковых словарях толкование глагола *являться* обычно дается через глагол *явиться*. В качестве первого значения стоит помета «несов. к *явиться*» [МАС, 4: 779], «см. *явиться*» [ТСРЯ 4: 1453; Ожегов 1963: 897], а второе — связочное — значение дается отдельно. Только в БАС принят обратный порядок, и базовой служит словарная статья для глагола *являться*.

Основные значения глагола *явиться*, приводимые толковыми словарями, в целом одни и те же. Разница между словарями заключается в порядке подачи этих значений. В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова приводятся четыре значения глагола: ‘прийти, прибыть куда-н. по какой-н. официальной надобности’ (*Явиться в суд по повестке*); ‘прийти, появиться, показаться’ (где-н.) (*Явился ты, защитник, поздно*. Лермонтов); ‘оказаться’ (кем-чем-н. или каким-н.) (*Сдернув шинель, приезжий явился молодым, стройным гусаром*. Пушкин); ‘стать, сделаться, оказаться’ (*Простуда явилась причиной заболевания*) [ТСРЯ, 4: 1452]. В словаре под редакцией А. П. Евгеньевой (МАС) также даны четыре значения: ‘прийти, прибыть’ (куда-л.); ‘предстать, показаться перед чьими-л. глазами’; ‘возникнуть, появиться’; ‘стать, оказаться’ [МАС, 4: 777]. В БАС приводится толкование глагола *являться* через пять значений: ‘появиться, показываться’ (где-л.); ‘приходить, прибывать’; ‘возникать, образовываться’; ‘оказываться, представлять, быть’ (кем-л., каким-л.); ‘быть, служить, становиться’ (чем-л.) [ССРЯ, 17: 2027—2029]. Наконец, словарь С. И. Ожегова дает следующие четыре значения: ‘прийти куда-н. по вызову, по какой-н. официальной надобности’; ‘прийти’ (куда-н.); ‘появиться’ (где-н.); ‘возникнуть, начаться, начать существовать’; ‘стать, оказаться’ [Ожегов 1963: 897].

Итак, можно сделать вывод, что базовыми значениями глагола *являться* — *явиться* служат первые два. С этимологической точки зрения, правильное толкование в словаре В. И. Даля и в БАС, поскольку значение глагола восходит к значению и.-е. корня **av-* ‘воспринимать органами чувств’, ‘ощущать’, ‘понимать’. К этому же индоевропейскому корню вос-

ходит латинский глагол *audiō* — ‘слышать, слушать’ и греческий глагол *αἰσθάνομαι* ‘ощущать, понимать, обладать здравым смыслом’ [Черных 1999, 1: 464]. Глагол *являться* имеет сравнительно поздний возраст и, скорее всего, образован от наречия **avě* ‘явно’. В пользу этого говорит «тот факт, что как раз в тех языках, в которых установлены... соответствия славянскому слову, мы имеем дело в первую очередь с наречием (др.-инд. *āviḥ*, *āvis*, авест. *āvis*) и с отнаречными образованиями (греч. *αἰσθάνομαι*, лат. *audiō*)...» [ЭССЯ, 1: 95].

Для древнерусского языка ведущим значением глагола *явиться* было значение ‘показаться, появиться’. Именно это значение ставит И. И. Срезневский на первое место в своем словаре. Например: «А кому *квитск* гдѣ железа, на два или на трети день умираше» (Псков. I л. 6912 г.). Другие значения, выделяемые И. И. Срезневским, для этого глагола: ‘явиться (о небесных явлениях)’, ‘явиться, прийти’, ‘появиться, предстать’, ‘показать себя’, ‘оказаться’, ‘появиться, быть’, ‘стать явным’, ‘открыться’, ‘проявиться» [Срезневский, III: 1634—1635]. Для глагола *являться* ряд значений совпадает со значениями глагола *явиться*. На первом месте опять же стоит значение ‘появляться’, далее идут ‘являться (о призраке)’, ‘являться, принимать вид’, ‘являться, быть’, ‘представляться, казаться’, ‘выказываться, проявляться’ и ‘открываться» [Там же: 1636—1637].

Уже в древнерусском языке глагол *являться* мог выступать в качестве связки. Отличие от современной связки *являться* заключалось не только в более конкретной семантике этой глагольной связки в древнерусский период языка, но и в ее сочетаемости с присвязочным компонентом. Словарь И. И. Срезневского приводит несколько примеров связочного употребления глагола:

«(У)же съгренеть чюжею женѣ повои..., *квиса простоволоса*» (Мир. грам. Новг. п. 1199 г.) — для значения «оказаться»; «Николи же *квиса* таков Изли (*ἐφάνη*)» (Мф. IX. 33. Остр. Ев.) — для значения «появиться, быть».

Ср. также: «... [епископ Лука] *победник квиса* противным его [дьявола] стрелам...» (Лаврентьевская летопись); «Царь же велики преиде часть поля того, прилежащую хъ Казанскимъ улусомъ, пятю недели до новаго града Свижского, и *такжекъ квиса* ему путь тои» (История о Казанском царстве)³.

Глагол *явиться* — *являться* мог выступать в связочной функции не только в своих личных формах, но и, например, в форме причастия:

«Царю, от бога препрославленному, паче же во православии *пресветлу явившюся*, ныне же грех ради наших сопротивным обретесе» (Первое послание Андрея Курбского Ивану Грозному).

Приведенные примеры позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, глагол *явиться* — *являться* при связочном употреблении, как пра-

³ Первый пример Д. Н. Овсяннико-Куликовского [Овсяннико-Куликовский 1912: 160], второй — Т. П. Ломтева [Ломтев 1956: 141].

вило, выступал при личном субъекте. Лишь в одном из приведенных примеров фиксируется неличный субъект. Во-вторых, значение этого глагола напрямую связано с этимологическим значением его корня. Базовым значением глагола оказывается, по нашему мнению, 'быть явным', то есть 'быть воспринимаемым с помощью органов зрения'. В пользу этого говорит и контекст, в котором употребляется глагол *явиться* — *являться*: рядом с ним встречаются слова «вид», «образ» и т. п. В-третьих, это самым непосредственным образом влияет на способ выражения присвязочного члена: его функцию выполняет адъективная лексика, описывающая внешний облик субъекта. Реже было возможно употребление в именной части сказуемого существительного в именительном падеже.

Данные наблюдения подтверждаются более поздним материалом XVII—XVIII веков. В связочном значении глагол *явиться* — *являться* был способен сочетаться, прежде всего, с личным субъектом. Мало изменяется и семантика глагола, что проявляется в употреблении в качестве присвязочного члена адъективных слов. Тем не менее, следует отметить, что с определенного времени данный глагол начинает присоединять именную часть сказуемого и к неличному субъекту. Например:

«Гнев ваш кротостию побежден явился» (История о Александре российском дворянине); *«Кто явится от вина весь шумен и безумен, да пивом он обзадорится»* (Праздник кабацких ярыжек); *«Чего ради жестокосерд толико явишиися и чрез многое время ко мне не умиллиши?»* (Повесть о куре и лисице); *«Спрятался (Адам) бедной под куст, как подъявитца наг»* (прот. Аввакум); *«Иоанн же живяшие у купца того немалое время и во всем ему послушлив являшеся и пребываше тих и кроток»* (История о российском купце Иоанне и о прекрасной девице Елеоноре)⁴.

С XVII века чаще встречаются случаи выражения именной части сказуемого при помощи имени существительного: *«... [ты] сам себе душегубец и убийца являшеся...»*, *«...а пьяницы же и пропозицы злату ржавчину протирашу и своему житию ваятели являхуся»* (Служба кабаку) [РДС 1977: 40]. В XVIII веке тенденция употребления существительного в именной части сказуемого продолжает укрепляться, причем существительное может ставиться уже и в творительном падеже. Подобный пример встречается в письме Петра I 1723 года: *«Понеже всем есть известно, что от времени Богдана Хмельницкого, которой пришел в подданство блаженныя памяти отцу нашему, даже до покойного Скоропатского все гетманы являлись изменниками...»*⁵. Находим такой пример и в журнале Н. И. Стрехова: *«Таковой-то новый счастливец из человека, нагибавшегося пред последним приворотником и швейцаром, является мужем, имеющим уже важную поступь...»* (Стрехов. Сатирический вестник).

⁴ Примеры взяты из: [Ломтев 1956: 164].

⁵ Цит. по: [Анисимов 1989: 187].

Наряду с именем существительным в творительном падеже в функции присвязочного члена продолжают употребляться и традиционные краткие прилагательные:

«Скажите, любезне мои соучастники, еще ли сии в недре развратных сердец заченишиися ужасные чудовища, сии страшилища добродетели на свете терпимы; еще ли **не явились** они **мерзостны** пред очами человека, которого они все совершенства затмили» (Живописец, ч. II); «Но да не возмнят нещыи, яко кощунства единого ради начертах словеса сия: ей измала не навычен есть сему и **не явлюся** николи же греху сему **причастен**» (Живописец, ч. II); «... [Феофан Прокопович] в прочем великими и важными мыслями во многих местах **является изобилен**» (Мих. Щербатов); «Некоторым **явится**, может быть, слог в сем переводе употребленный **неприличен** слогу обыкновенным разговорам свойственному...» (Творений велемудраго Платона часть первая).

Ср. также примеры Т. П. Ломтева: «Ты не был столько строг въ гневе и троям, колико **лют** теперь **являешися** мне» (Майков. Елисей, или Раздраженный Вакх); «В особой комнате **явился** столь **готов**» (Богданович. Душенька) [Ломтев 1956: 164].

Слова, сочетающиеся с глаголом *явиться* — *являться* не оставляют сомнения в том, что его семантика по-прежнему связана со зрительным восприятием. Так, в одном из примеров говорится: *еще ли не явились они мерзостны пред очами человека*. Тем самым подчеркивается семантика присвязочного члена: это слова, описывающие субъект со стороны его внешности, в том числе и поведения (отсюда наличие оценочной лексики в именной части сказуемого).

Развитие более отвлеченного значения у связки *являться* относится к XIX веку. Процесс этот был длительным и продолжался до начала XX века. Впрочем, существует и иная точка зрения. По мнению авторов «Очерков по исторической грамматике русского литературного языка XIX века», связочное употребление глагола *являться* начинается приблизительно с конца 20-х годов XIX века. Ранее всего глагол *являться* в связочном значении начал использоваться в научной и политической прозе, а также в журналистике, позже получает распространение у писателей-разночинцев. Вплоть до 20-х годов XIX века глагол *являться* употреблялся в сочетании с творительным либо как знаменательный (в значении ‘прибывать, приходить’), либо как полужнаменательный (в значении ‘оказываться, выступать’). И в том и в другом случае в предложении присутствует или указание на объект, к которому направлено действие (*Ты всем являешися посланницей небес*. Д. Давыдов. Договоры), или на место, время действия (*И вот она в саду моем Явилась барышней уездной*. Пушкин. Евгений Онегин, 8, V) [Очерки 1964: 109]. Развитие связочного значения у глагола *являться* приводит к тому, что он становится равнозначным связкам *есть* и *суть*. Далее приводятся два примера, подтверждающие наличие такого значения у глагола в 1830—1840-е годы: «Всякая светлая мысль *является преступ-*

лением против общественного порядка» (Никитенко. Дневник, 15 апр. 1834) и «Таким образом, монады являются живыми, действующими силами природы» (Петрашевский. Карманный словарь иностранных слов, 2, Монада) [Очерки 1964: 109].

Обращение к текстам, из которых взяты эти цитаты, и привлечение более широкого контекста показывает, что приведенные выше утверждения отнюдь не бесспорны. Пример из «Карманного словаря иностранных слов», взятый в более широком контексте выглядит так:

«Так как в понятии о монадах отрицаются все понятия о теле, то они никак не могут иметь никаких свойств тела — ни протяжения в длину, ни в ширину, ни подлежать разрушению, ибо не состоят из разлагаемых частей. Таким образом, монады являются живыми, действующими силами природы. И что⁶ эти монады беспрестанно стремятся изменить свое положение (восприятие, perceptions) относительно всех прочих монад» [КСИС: 157].

Весьма характерно в приведенном примере соседство глагола *являться* со словами «восприятие» и «perceptions». Судя по этому, глагол *являться* еще не приобрел того отвлеченного значения, которое ему приписывается.

Но главным аргументом против этого утверждения являются многочисленные примеры из литературы более позднего периода, где семантика глагола *явиться* — *являться* совершенно очевидно не совпадает с семантикой связок *есть* и *суть*. Вместе с тем примеры, приведенные в «Очерках по исторической грамматике...», помогают понять тот механизм, который привел к появлению у глагола более отвлеченной семантики: это произошло в результате сочетания глагола с отвлеченной лексикой. Абстрактность лексики препятствует зрительному восприятию, заложенному в семантике глагола, и таким образом происходит нейтрализация этого значения. Ниже мы приводим примеры периода 1840-х годов, помогающие понять этот процесс; они демонстрируют, что семантика глагола *явиться* — *являться* все еще была связана со зрительным восприятием. Например:

(1) «...но она [Татьяна Ларина] — лицо в высшей степени русское — и тогда, как мы ее видим “уездною барышнею”, и в то время, как она является княгиней и светскою дамою» (Белинский. Общая идея народной поэзии); (2) «Если рассматривать его [Державина] с эмпирически-исторической точки, то каждый его стих окажется чудом совершенства, а сам он явится одним из величайших поэтов древнего и нового мира. Если же взглянуть на него с чисто эстетической точки, то можно поставить его чуть-чуть не наравне с Сумароковым» (Белинский. Сочинения Державина); (3) «Великие люди у него [биографа] явились и завистниками, и интриганами, и пролазами, и эгоистами, и невеждами, и негодаями; он искусно сумел оттенить их этими качествами так, что из-за этих качеств не видно стало великих людей» (Речь о критике); (4) «Здесь не видно

⁶ Так в тексте.

поэта; мир, пластически-определенный, развивается сам собою, и поэт **является** только как бы простым **повествователем** того, что свершилось само собою» (Белинский. Разделение поэзии на роды и виды).

Ср. также: (5) «*То видишь* его [Шуйского] **льстецом** и участником в злодеянии страшном, **то тайным заговорщиком**, **то раскаявшимся преступником**, **то явным врагом Самозванца**, **то царем слабым**, **то великим и, наконец, сверженный с престола и пленный, является он трогательным образцом страдальца невинного и благородного**» (Дельвиг).

В приведенных примерах глагол *явиться* — *являться* соседствует с лексикой со значением зрительного восприятия (глаголы *видеть* (1, 5), *взглянуть* (2), *рассматривать* (3) и т. д., предикатив *видно* (3, 4)). Особенно наглядны примеры (1, 5), где глаголы *видеть* и *являться* употреблены в таком контексте, который не оставляет сомнений в том, что эти глаголы имеют сходную семантику. Не менее интересен пример (2), поскольку показывает, что значение глагола *явиться* очень близко к значению другого глагола зрительного восприятия, выступающего в качестве связки, — *оказаться*: «...каждый его стих **окажется** чудом совершенства, а сам он **явится** одним из величайших поэтов древнего и нового мира». При этом можно предположить, что глагол *оказаться* имел не столь отвлеченное значение, как в современном языке, и теснее был связан с семантикой зрительного восприятия.

С точки зрения того, чем выражено подлежащее и присвязочный член, предложения со связкой *явиться* — *являться* в русском языке 1840-х годов можно разбить на две группы. Примеры, приводимые ниже, извлечены главным образом из произведений В. Г. Белинского; примеры из произведений других авторов того же периода очень редки.

Первую группу составляют случаи, когда подлежащее выражено личным субъектом. Выше уже говорилось о том, что такое употребление глагола *явиться* — *являться* первично с исторической точки зрения. У Белинского таких примеров много:

(1) «Сначала она [Саломея Петровна] **является жеманницею**, **холодною лицемеркою**, **до пошлости неискусною актрисою**, а потом **самую страстную женициною**, какую только можно вообразить» (Взгляд на русскую литературу 1846 года); (2) «Везде и во всем Карамзин **является не только преобразователем**, **но и начинателем, творцом**» (Сочинения Александра Пушкина); (3) «Таланта Жуковского также стало бы, чтоб **явиться главою и представителем** целого периода молодой, рождающейся литературы» (Сочинения Александра Пушкина); (4) «...но и в них [в лирических пьесах] Пушкин **является истинным русским поэтом...**» (Общая идея народной поэзии); (5) «...**вот где является Державин** **выразителем русского XVIII века**» (Русская литература в 1842 году); (6) «Купер **является** здесь [в романе «Путеводитель в пустыне»] **глубоким сердцеведением**, **великим живописцем** мира души, подобно Шекспиру» (Речь о критике); (7) «Во всех этих баснях Крылов **является истинным баснописцем** в

духе прошлого века, когда в басне видели моральную аллегория» (Иван Андреевич Крылов).

Ср. также: (13) «С этим-то интересным для Гоголя человеком умел он разговаривать так мастерски, впадая в его тон, что всегда хладнокровно-учливый **старик**, оставляя вечно носимую маску, **являлся другим лицом**, так сказать, с внутренними своими чертами» (Аксаков); (14) «...все, что узнавал я после — прибавило мне еще больше муки, и **ты являлся**, кроме святых и высоких минут своих, **отвратительным существом...**» (Гоголь); (15) «...недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что **начинатель** уже **явился господином и законодателем языка**» (Гоголь); (16) «...даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, **явился у него [Крылова] русским человеком** (Гоголь); (17) «В этот решительный момент **Ермолов**, как и во многих других важных случаях, **является ангелом-хранителем русских войск**» (Д. Давыдов).

В подавляющем большинстве примеров в качестве присвяточного члена используется имя существительное в творительном падеже. Использование имени прилагательного очень редко, например:

«...другие, наоборот, думают, что только Гомер да Шекспир **являются** в своих произведениях столь великими, каким явился Гоголь в «Мертвых душах»...» (Белинский).

Сравнивая эти примеры с современным употреблением связки *являться* при личном субъекте, можно найти и черты сходства и черты отличия. Главное сходство заключается в том, что именная часть сказуемого выражается именем существительным в творительном падеже. Но в современном русском языке существительные, используемые в качестве присвяточного члена, принадлежат к двум семантическим группам: либо это существительные классификационной семантики, либо имена абстрактного значения, метафорически характеризующие личный субъект высказывания [Коротяева 1991: 9]. В приведенных примерах лишь в некоторых случаях существительные можно отнести к словам классификационной семантики: «преобразователь, начинатель, творец», «глава, представитель», «писатель», «поэт», «баснописец» и т. д. Но даже и в этом случае многие из этих существительных используются с прилагательными оценочной семантики: «истинный», «глубокий» и т. п.⁷ В ряде случаев используются существительные оценочной семантики — «жеманница», «отвратительное существо». Да и многие существительные, отнесенные выше к словам классификационной семантики, не лишены оценочного элемента, например: «живописец мира души». При этом совсем не встречаются абстрактные существительные в позиции присвяточного члена, что лишний раз доказывает, что глагол *являться* не потерял своего вещественного значения. Вообще, во всех

⁷ Т. е. можно говорить о предложениях с контаминированной, классификационно-квалифицирующей, семантикой. См. также [Князева 2006: 16].

случаях, даже когда используются слова классификационной семантики, субъект не столько классифицируется, сколько описывается со стороны внешнего проявления его статуса или поведения. Хотя это более высокая степень отвлечения от внешнего описания субъекта, но все-таки элемент внешнего описания здесь присутствует.

Особенностью синтаксического построения конструкций именного сказуемого со связкой *являться* при личном субъекте следует признать наличие в предложениях локализаторов, которые уточняют границы проявления признака. Поскольку извлеченные примеры описывают в основном писателей или героев их произведений, то уточняется, в каких произведениях описываемый субъект *является* «писателем», «поэтом», «преобразователем» и т. д. или когда герой или героиня *является* «романтиком», «жеманницей» и проч. Все это не позволяет нам говорить о том, что приведенные выше предложения являются в полной мере классификационными.

Вторую группу примеров составляют конструкции с неличным субъектом. Их у Белинского уже довольно много — в сравнении с предшествующим периодом. Именная часть сказуемого выражается либо адъективной лексикой, либо существительным в творительном падеже. В отличие от предложений с личным субъектом, в конструкциях с неличным субъектом гораздо чаще присвязочный член выражен именем прилагательным:

(1) «*Поэтическую деятельность Пушкина можно разделить на два периода: в первом она является прекрасною, но еще неглубокою, не установившеюся, еще доступною для копирования и подражания...*» (Взгляд на русскую литературу 1846 года); (2) «*Основание псевдоклассической французской теории заключалось в понятии, что природа должна являться в искусстве украшенною и облагороженною*» (Общая идея народной поэзии); (3) «*В новом французском романтизме действительность не только сбросила с себя парики, кафтаны, фижмы и мушки, но и всякое одеяние, явилась нагою и цинически естественною*» (Общая идея народной поэзии); (4) «*Это направление [подражание языку черни] явилось господствующим особенно в Москве» (Общая идея народной поэзии); (5) «*...подобно всякому истинному понятию, она [народность] сама по себе — односторонность и является истинною только в примирении с противоположною ей стороною*» (Общая идея народной поэзии); (6) «*...у истинного поэта и старая мысль является новою...*» (Русская литература в 1842 году); (7) «*Только в неразумных действиях своей воли личность человеческая является самостоятельною и отпавшею от божественного источника, в котором ее жизнь и сила; но тогда-то она и является ничтожною, случайною, бессильною и униженною*» (Речь о критике).*

Примеры, в которых именная часть сказуемого выражается прилагательным, сравнительно с современным языком в произведениях Белинского встречаются значительно чаще. В семантическом отношении встречаются как слова конкретной, так и отвлеченной семантики. Прилагательные конкретной семантики могут содержать элемент описания, связанный со

зрительным восприятием: «прекрасный», «доступный для копирования и подражания», «украшенный», «нагой». Одновременно с такого рода прилагательными связка *являться* начинает присоединять прилагательные и другие адъективные слова с отвлеченным значением, особенно при подлежащем, выраженном абстрактным существительным: «господствующее» (направление), «истинная» (народность). Употребление слов, описывающих предмет с внешней стороны, несомненно, свидетельствует о том, что глагол *явиться* — *являться* не приобрел еще отвлеченного значения и реализовывал в конструкциях с прилагательными свою семантику. В то же время употребление того же глагола вместе с отвлеченными прилагательными при неличном субъекте с отвлеченной семантикой создавало условия для частичной нейтрализации семантики «зрительного восприятия» у глагола.

Другую большую группу примеров с неличным субъектом представляют случаи употребления глагола *явиться* — *являться* в конструкциях с именной частью сказуемого, выраженной существительным в творительном падеже:

(1) *«Все, что в «Бедных людях» было извинительными для первого опыта недостатками, в «Двойнике» явилось чудовищными недостатками...»* (Взгляд на русскую литературу 1846 года); (2) *«Романтическая школа Шлегелей явилась крестовым походом на классический исламизм...»* (Общая идея народной поэзии); (3) *«...народность, которая только поблескивала и промелькивала временами в сочинениях Державина, но в поэзии Крылова явилась главным и преобладающим элементом»* (Сочинения Александра Пушкина (1843—1846)); (4) *«В поэзии, напротив, фантазия является главною действующею силою, через которую исключительно совершается процесс творчества»* (Русская литература в 1842 году); (5) *«...ибо оно, это грустное чувство, является необходимым следствием того весело-восторженного праздничного чувства, которое высказалось в первой половине оды»* (Русская литература в 1842 году); (6) *«...она [критика] часто бросается из крайности в крайность и является то чопорным аббатом XVIII века, то немецким буршем, с длинными растрепанными волосами на плечах, с трубкою во рту и дубиною в руке, то неистовою вакханкою юной французской литературы, с восторженною речью, с блуждающими взорами, бешеными движениями...»* (Речь о критике); (7) *«...он [субъект в драме] разделился и является живою совокупностию многих лиц, из действия и противодействия которых складается драма»* (Разделение поэзии на роды и виды).

Примеры с существительным в творительном падеже очень неоднородны по своему значению. Встречаются среди них слова очень конкретной семантики — показателен в этом отношении пример (6), где критика — понятие отвлеченное — уподобляется аббату, буршу и вакханке. Метафора носит очень развернутый характер. Но в других примерах отвлеченный характер субъекта и слова, стоящего в именной части сказуемого, создает все условия для того, чтобы и саму связку воспринимать более абстрактно.

Правда, есть и отклонения от современного употребления: почти во всех примерах есть временные и/или пространственные локализаторы: в «Бедных людях»/в «Двойнике», «в поэзии Крылова», «в поэзии», «в драме». Все это говорит о том, что перед нами глагол с вещественным значением. Но одновременно встречаются и примеры, где нет таких локализаторов; именно такие примеры находились наиболее близко к современному употреблению конструкций со связкой *являться*.

К 1860—1870-м годам мало что изменилось в употреблении глагола *явиться* — *являться* в связочной функции. Вот примеры с личным субъектом:

(1) «Таким образом, Гончаров *является* перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни» (Добролюбов); (2) «...и он [Обломов], конечно, этой жертвы не совершил, а *явился* настоящим Обломовым» (Добролюбов); (3) «...и если бы на самом деле она [Елена] *являлась* везде выразительницей своих воззрений и стремлений, она бы оказалась чуждою русскому обществу и не имела бы для нас такого смысла, как теперь» (Добролюбов); (4) «Германцы *являются* какими-то *chargés d'affaires* исторического промысла, *являются* потому, что понадобились живые соки в историческом организме» (Писарев); (5) «Марко-Вовчок в своих простых и правдивых рассказах *является* почти первым и весьма искусным **борцом** на этом поприще» (Достоевский); (6) «...тотчас же и в науке явимся господами, а не прихвостнями, как сплошь и рядом ныне» (Достоевский); (7) «Да, для многих наш крестьянин по освобождении своем *явился* странным **недоумением**» (Достоевский); (8) «Итак, в *Онегине*, в этой бессмертной и недостижимой поэме своей, Пушкин *явился* великим **писателем**, как до него никогда и никто» (Достоевский); (9) «Тем и кончается весь роман. Базаров *является* при этом истинным **героем**...» (Страхов); (10) «...следовательно, я *не являюсь* **изменником** ни перед кем, даже перед этой “партией”...» (Гаршин); (11) «...**героем** статьи *является* все тот же г. Чернышевский» (Писарев); (12) «**Героиней** романа *является* девушка с серьезным складом ума, с энергической волей, с гуманными стремлениями сердца» (Добролюбов).

В приведенных примерах именная часть сказуемого выражена именем существительным в творительном падеже, но по семантике это оценочная лексика («художник» (1), «настоящий Обломов» (2), «прихвостень» (6), «изменник» (10)) либо классифицирующая, но с оценочным компонентом («выразительница» (3), «борец» (5), «господин» (6), «писатель» (8)). Пожалуй, лишь пример (12) очень напоминает современные конструкции с личным субъектом и именной частью, выраженной существительным с классификационной семантикой, а пример (7) напоминает конструкции с личным/неличным субъектом и именной частью, выраженной именем существительным абстрактного значения, метафорически характеризующим субъект. Из этого можно заключить, что семантика глагола *явиться* — *являться* ес-

ли и претерпела изменение, то очень незначительное. Встречаются и примеры с использованием адъективной лексики в именной части сказуемого:

(13) «**Таким-то наконец явился пред нею Инсаров...**» (Добролюбов); (14) «**Но теперь Обломов является пред нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом**» (Добролюбов); (15) «...ведь это [Софрон] был артист неслыханный, по крайней мере, одаренный неслыханно, и **таким он является в повести с самого начала**» (Достоевский); (16) «Если другие лица комедии **являются строже и резче очерченными**, то этим они обязаны пошлости и мелочи своих натур...» (Гончаров); (17) «Все вины взвалены были на “темное царство”, сатирик же **явился решительно безупречным**» (Ап. Григорьев); (18) «Мы видели, что как поэт Тургенев **на этот раз является нам безукоризненным**» (Страхов); (19) «Базаров три года не был дома. Эти три года он учился, и вот он **вдруг является нам напитанным** всем тем, чему он успел выучиться» (Страхов).

Некоторые прилагательные и адъективные слова в приведенных примерах совершенно очевидно описывают субъект с его внешней стороны. Особенно красноречив пример (14). Но используется и отвлеченная лексика (15, 18, 19). О сохранении глаголом *явиться* — *являться* прежней семантики говорят и синтаксические особенности конструкций, в которых употребляется этот глагол в связочной функции: продолжают употребляться пространственно-временные локализаторы («езде» (3), «в рассказах» (5), «в науке» (6), «в Онегине» (8) и др.), свидетельствующие о конкретности семантики глагола *явиться* — *являться*. О том же свидетельствует употребление дополнения, выражающего субъект зрительного восприятия: «перед нами» (1, 14), «перед нею» (13), «нам» (19).

Встречаются в это время и примеры конструкций с неличным субъектом. Именная часть сказуемого чаще выражается существительным в творительном падеже, причем существительное в предикате часто имеет отвлеченную семантику:

(1) «**Следствием этого является, конечно, в художнике более спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам, большая отчетливость в очертании даже мелочных подробностей и ровная доля внимания ко всем частностям рассказа**» (Добролюбов); (2) «Штольцев, людей с цельным, деятельным характером, при котором всякая мысль тотчас же **является стремлением** и переходит в дело, еще нет в жизни нашего общества...» (Добролюбов); (3) «...эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня, **явилась** для меня как бы новым неожиданным **откровением**: никогда до того дня не предполагал я такого ничтожества!» (Достоевский); (4) «...он [граф Шамборский] обнаружил **слабость, которая является соблазном и государственною опасностью...**» (Достоевский); (5) «Но она [Церковь] была гонима, идеал созидался под землю, а над ним, поверх земли, тоже созидалось огромное здание, громадный му-

равейник — Римская империя, тоже **являвшаяся как бы идеалом и исходом нравственных стремлений всего древнего мира...**» (Достоевский); (6) «...мое письмо не было вызвано ни пустым спором или пари, ни тщеславным желанием получить письмо от известного художника, а **явилося следствием** сильного впечатления, произведенного на меня вашей картиною» (Гаршин).

Хотя такие примеры редки, они показывают дальнейшее развитие у глагола *явиться* — *являться* отвлеченного значения в конструкциях с отвлеченными неличными именами. Именно в конструкциях с неличным субъектом происходила нейтрализация семантики зрительного восприятия глагола *явиться* — *являться*. Но и в таких конструкциях в 1860—1870-е годы глагол *явиться* — *являться* еще не утратил своей семантики, связанной со зрительным выявлением; ср.: «Из всего этого следует заключение, что ...эмансипация личности и уважение к ее самостоятельности **является последним продуктом** позднейшей цивилизации. Дальше этой цели мы еще ничего не видим в процессе исторического развития, и эта цель еще так далека, что говорить о ней значит почти мечтать» (Писарев).

В конструкциях с неличным субъектом в качестве именной части сказуемого продолжали употребляться и адъективные слова, хотя происходит это реже, чем в 1840-е годы; можно говорить о том, что такие конструкции вытесняются на периферию:

(1) «Столь высокая обстановка твоя **является, наконец, подозрительною**» (Достоевский); (2) «...ни одна идея не осуществляется без покровительства Франции, влияние которой не имеет себе равного, язык и литература которой **являются всемирными...**» (Достоевский); (3) «В-общем поведение стариков Дементьевых относительно этой несчастной девушки **является загадочным и странным**, на что вашему высокопревосходительству без сомнения будет угодно обратить внимание» (Гаршин).

Судя по всему, 1870-е годы оказываются тем периодом, когда у связки *явиться* — *являться* начинает формироваться отвлеченное значение. Вероятно, получив абстрактное значение в конструкциях с отвлеченным неличным субъектом, глагол начинает изменять свое значение и в конструкциях с личным субъектом, следствием чего стало прекращение употребления существительных с оценочным значением в этих конструкциях. О том, что именно с 1870-х годов у глагола *являться* появляется связочное значение, близкое к современному, мы можем судить и из другого источника, а именно из слов такого тонкого и наблюдательного лингвиста, как А. А. Потебня. Последний, пытаясь сформулировать разницу между употреблением глагольной связки *быть* с именем в именительном и с именем в творительном падеже, утверждал, что глагол *быть* с творительным падежом имеет более конкретное, вещественное значение. Комментируя фразу «*всье тело есть язвою*», Потебня отмечает, что употребляемый здесь с творительным падежом глагол *есть* имеет более конкретное значение и в скоб-

ках поясняет: «(является ?)» [Потебня 1958: 494]. В другом месте ученый разбирает фразы типа «*французская словесность, вероятно, причиною сего явления*» (Пушкин), «*признайтесь, вы этому одни виною*» (Лермонтов) и отмечает: «Для этих примеров характеристично, во-первых, то, что в них глагол постоянно опускается, между тем как при наличии *есть, суть*, в отличие от польского, творительный невозможен... Во-вторых, если опущенный глагол есть именно *есть* и пр., то он не вытеснил другие глаголы, а стоит сам за себя, но в значении вещественном, сходном со *служит, является, оказывается, остается*» [Потебня 1958: 499].

Вплоть до 1890-х годов связка *явиться — являться* встречается очень редко (сравнительно с современным употреблением), зато с 1890—1900-х годов начинается быстрое распространение этой связки. Число примеров с ней возрастает многократно. Это еще одно — косвенное — доказательство появления у глагола *явиться — являться* более отвлеченного значения. Кстати, именно в это время начинает быстро выходить из употребления связка *есть — суть*. Возможно, это способствовало более интенсивному распространению связки *являться* в письменном языке. С другой стороны, десемантизация глагола *явиться — являться* проходила на фоне подобного же процесса десемантизации других глагольных связок со значением зрительного выявления, в частности глаголов *казаться, показаться* и *оказаться*. Подобно глаголу *явиться — являться*, они еще в XVIII — первой половине XIX века имели более конкретное значение. Например: «*Отперли им ворота, и вошли они в горницу двое, один казался из них слугою, а другой господином...*» (Чулков); «*Онный появился ему совсем в другом виде и казался объят весь пламенем*» (Чулков); «*На другой стороне протекала река, окруженная лесом; листья же на деревьях совсем были отмениты от наших и казались различного цвета...*» (Чулков); «*...его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке...*» (Лермонтов); «*Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый*» (Пушкин). Ср. также несвязочное употребление глагола *казаться*: «*Везде видна строящая рука делателя, везде **кажется** вид благосостояния и внешний знак устройства*» (Радищев). На десемантизацию связочных глаголов с корнем *-каз-* повлияло не только изменение их сочетаемости, как это произошло с глаголом *явиться — являться*, но и развившаяся у них способность выступать в предложении в качестве вводного компонента; именно это привело к тому, что связочный глагол *казаться* в современном русском языке «сочетает в себе признаки вводно-модальных компонентов и “связочных” слов» и выражает «модальное значение проблематической достоверности» [Муковозова 2004: 123].

Глагол *явиться* по своей семантике ближе всего стоял к глаголу *оказаться*, который активно распространяется в связочном употреблении в течение XIX века; более ранние примеры употребления глагола *оказаться* редки (у И. И. Срезневского этот глагол отсутствует). Например: «*Все*

мнения **оказались** противными моему» (Пушкин); «...подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков к несчастью **оказались** слишком основательными...» (Пушкин). В современном русском языке этот глагол в связочном употреблении имеет значение «обнаружиться, явиться» [Ожегов 1963: 436], но в отличие от глагола *явиться* имеет смысловой компонент «неожиданно, нечаянно»; возможно, этот компонент возник в глаголе *оказаться* под воздействием глагола *казаться*.

Тенденции, наметившиеся в употреблении связочного глагола *явиться* — *являться* в 1860—1870-е годы, находят свое продолжение в 1890—1900-е годы. В это время количественно резко возрастает число употреблений глагола *явиться* — *являться* в связочной функции при неличном субъекте. Так, в публицистике В. В. Розанова их число составляет до половины от общего числа предложений, в которых употребляется глагол *явиться* — *являться* в связочной функции; у публициста М. О. Меньшикова, при более частом употреблении этого глагола в связочной функции в целом, число предложений, в которых он используется при неличном субъекте, примерно в два раза превышает общее количество предложений с личным субъектом. Характерно и то, что присвязочный член в предложениях с неличным субъектом все чаще выражается существительным с отвлеченной семантикой:

(1) «Эпоха подвигов, эпоха преступлений — уходящий век **явился** эпою расцвета белой расы, но веком гибели для цветных пород человечества» (Меньшиков); (2) «Города **являются** местом изгнания из того естественного рая, где человек только и может жить в Боге, в органической связи с океаном жизни — природой» (Меньшиков); (3) «Великим **плюсом**, связывавшим этот основной двучлен [единение народа и власти], **явилась** церковь» (Меньшиков); (4) «Петербург **явился** механической точкой для новой, — не земской, а бюрократической кристаллизации» (Меньшиков); (5) «Народ всего просвещеннее тогда, когда его **школою** **является** сама жизнь» (Меньшиков); (6) «Манифест 61-го года **явился** лишь **протоколом** катастрофы, которая шла целое столетие, завершившись севастопольским позором» (Меньшиков); (7) «А изгнание конгрегаций тоже бессознательно, но едва ли оспоримо **является** реакцией к восстановлению строгого монотеизма...» (Розанов); (8) «Возвращаясь к Духу Святому: вот **поступком** против него и **является** догматизм как метод» (Розанов); (9) «И он [старик] махнул рукой с тем покорным равнодушием, которое **является** плодом горя сильного, безысходного и притупляющего душу» (Крестовский); (10) «Сосна **является** первенствующей породой во всех трех пуцах (Гродненской губ. — Д. Р.)» (Крестовский); (11) «И тут прибавил о том, что **таким** занимающим меня **делом** **является** для меня литература, ход собственной мысли» (Арцыбашев); (12) «Для того, кто философски признает конечную бессмыслицу жизни, **является** **необходимостью** признать эту бессмыслицу, в хаосе ее строить свою личную

жизнь, а вовсе не пускать себе пулю в лоб» (Арцыбашев); (13) «А следствием этой привычки **явилось** еще нечто совершенно неожиданное и для меня самого» (Вересаев); (14) «...**причиною** мигрени в данном случае **является** раздражение симпатического нерва, вызванное общим малокровием» (Вересаев); (15) «Но кто же не знает, что академическая ученость почти всегда **является** носительницей рутины?» (Вересаев).

Приведенные примеры показывают широкое распространение в предложениях со связкой *явиться — являться* при неличном субъекте абстрактных существительных в качестве присвязочного члена. Предложения этого типа практически ничем не отличаются от современных предложений со связкой *явиться — являться*. Единственным отличием от современного употребления этой связки оказывается соотношение глаголов *явиться* и *являться* в этих конструкциях. Для современного русского литературного языка характерно значительное преобладание формы настоящего времени от глагола *являться*. В 1890—1900-е годы оба вида глагола одинаково широко использовались в функции связки. Это может свидетельствовать о том, что глагол *явиться — являться* еще не стал заменой связки *есть — суть* и только в некоторых конструкциях полностью потерял свое лексическое значение. В пользу этого предположения говорят примеры, в которых глагол *явиться — являться*, употребляясь с неличным субъектом, присоединяет к нему прилагательное. Таких примеров мы не нашли у М. О. Меньшикова, зато они встречаются в прозе В. В. Розанова (в отношении употребления связочного глагола *явиться — являться* его проза оказывается более архаичной):

(1) «Вместе с тем... самый предмет и все содержание его [Н. Суворова] учебника **является** весьма и весьма **проблематичным**»; (2) «Я посмеялся софизму старообрядцев...; ибо весь тон и колорит Церкви, конечно, **является не тот**, смотря по тому, будет ли весь высший слой духовенства — семейный или монашесствующий»; (3) «Только в нем [в католицизме], в силу особых исторических обстоятельств, мы наблюдаем христианство свободным, тогда как во всех других своих разветвлениях, во всех остальных странах оно **является связанным, обусловленным**, частью внутренне **несмелым, притерзиваемым за края одежды**».

Особенно интересен последний пример. Кроме развернутой характеристики субъекта, данной с помощью адъективных слов, в нем обнаруживается употребление глагола *наблюдать* в одном ряду с глаголом *являться*, что лишний раз подтверждает, что процесс утраты глаголом *явиться — являться* своего лексического значения при связочном употреблении был растянут по времени и проходил сначала в одних конструкциях, а затем распространялся на другие. Противоречивость этого процесса мы можем наблюдать в еще большей мере в предложениях с личным субъектом. Так, бросается в глаза широкое распространение к началу XX века конструкций с личным субъектом, в которых предикат представлен существительным с

классифицирующей семантикой, причем в отличие от предшествующего времени последнее часто не осложняется оценочным значением:

(1) «*Как устроитель своей судьбы, он [человек] являлся существом самодержавным и даже как бы божественным в отношении своей жизни*» (Меньшиков); (2) «*Даже в политическом смысле они [нигилисты] являлись нигилистами, людьми, которым ничто не дорого и ничего не жаль*» (Меньшиков); (3) «*Первым реформатором нашей истории является Ольга; ее дело для России — значительнее Колумба*» (Меньшиков); (4) «*И наиболее одичавшею физически породю в семье культурных наций являемся, по-видимому, мы, русские*» (Меньшиков); (5) «*Радикалы не замечают, что именно они являются самыми закоснелыми рутинерами*» (Меньшиков); (6) «... (от. Симеон. — Д. Р.) не дозволил ее и в церковно-приходской школе, где является распорядителем» (Розанов); (7) «*Главными деятелями в них [консисториях] являются секретари — люди светские, чиновники; священники там есть, но на вторых местах*» (Розанов); (8) «*...во многом она [медицина] стала наукой; и все-таки какая еще громадная область остается в ней, где и в настоящее время самыми лучшими учителями являются Сервантес, Шекспир и Толстой, никакого отношения к медицине не имеющие!*» (Вересаев); (9) «*Самыми несчастными пациентами в этом отношении являются разного сорта “высокие особы”...»* (Вересаев); (10) «*...он [больной], угрюмый и отчаявшийся, стоял передо мною тяжким укором той науке, которой представителем я являлся, и в душе опять и опять шевелилось проклятье этой немошной науке*» (Вересаев); (11) «*Являются ли врачи безусловно свободными людьми, могущими располагать своим временем по личному желанию?*» (Вересаев); (12) «*Крестьяне Писемского, подобно крестьянам романа Золя, являются дикарями, живущими непосредственной жизнью животных влечений...*» (Скабичевский); (13) «*Единственной добродетельной личностью в повести является Варвара Александровна Мамонова...*» (Скабичевский); (14) «*Теперь мы зачастую являемся свидетелями таких фактов, что солдат в течение пяти, а иногда и шести месяцев зимней стоянки на широких квартирах принужден питаться одной вареной картошкой*» (Крестовский).

Следует отметить, что в предложениях этого типа чаще встречается глагол *являться* в настоящем времени, чем глагол *явиться*. Видимо, это означает, что глагол *являться* в связочном употреблении начинает расходиться по своему значению со связочным глаголом *явиться*. В более раннее время глаголы *явиться* и *являться* при употреблении в связочной функции количественно употреблялись приблизительно поровну. В современном русском языке связочный глагол *явиться* имеет более вещественное значение, которое определяется словарями как «*стать, оказаться*» [МАС, 4: 777; Ожегов 1991: 912], «*стать, сделаться, оказаться*» [ТСРЯ, 4: 1452]. Еще одним отличием от предложений с личным субъектом предшествующего периода является выход из употребления разного рода про-

странственных и временных конкретизаторов или слов, указывающих на субъекта зрительного восприятия. Но изредка такие случаи продолжают встречаться:

(1) «*В “Бесах”, в “Карамазовых” и “Сне смешного человека” он [Достоевский] является нам старцем-мечтателем, анализ которого точно пробуравил самое дно “сложения человеческого”...*» (Розанов); (2) «*Завоеватели мира, наследники цивилизации задолго до варваров пали ниже всякого варварства, огрубели совестью до того, что вандалы явились перед ними людьми высшей породы*» (Меньшиков); (3) «*Надо заметить, что как в своем профессорском курсе, похожем на сравнительную анатомию законодательств, так и в известном “Московском сборнике” г. Победоносцев является блестящим критиком*» (Меньшиков).

В современном русском литературном языке именная часть при глаголе *являться* в предложениях с личным субъектом может быть выражена как существительным с классификационной семантикой, так и существительным с отвлеченным значением. В последнем случае именной член метафорически характеризует субъект. Для начала XX века второй тип конструкций не характерен, и встречаются лишь единичные случаи, которые можно подвести под этот тип:

(1) «*Его [Каткова] не тешило то, что, окончив университет, он уже являлся одним из трех столпов “Отечественных записок” и известным писателем*» (Меньшиков); (2) «*Бог явился грамматической фигурой для строки, имевшей быть написанной через 2000 лет*» (Розанов); (3) «*Да это, в сущности, и не было недоверием: я просто являлся символом и спутником всем надоевшего, всех истомившего страдания и, как олицетворение этого страдания, я стал ненавистен и противен*» (Вересаев).

Глагол *явиться* — *являться* получил очень широкое распространение в современном русском языке, причем формы 3 лица настоящего времени от глагола несовершенного вида *являться* заметно преобладают. Однако сфера употребления связочного глагола *являться* четко ограничена несколькими стилями письменного литературного языка, а именно научным, официально-деловым и отчасти публицистическим⁸. В этих стилях связка *являться* конкурирует со связкой *это*. Следует также добавить, что, будучи

⁸ Показателен тот факт, что в словаре В. И. Даля отсутствует значение глагола *являться* как связки. Это можно расценивать как доказательство, что формирование глагола *явиться* — *являться* как связки происходило не в живой, а в письменной речи. Частотный словарь современного русского языка под редакцией Л. Леннгрена помещает лексему *являться* не только среди наиболее частотных лексем русского языка (приложение 5), но и среди лексем, наиболее характерных для специальной литературы (приложение 7) и дает ее с соответствующей пометой «с». Эта помета указывает на то, что «данная лексема с высокой статистической достоверностью характерна для специальной литературы». См. [ЧССРЯ: 38, 95, 109].

заменой связки *есть* — *суть*, связка *являться* не полностью вытеснила связочный глагол *быть* в форме настоящего времени и последний продолжает употребляться в форме *есть*, особенно в научном стиле. Связка *есть* вообще никогда не переставала употребляться в письменной речи, поскольку в течение длительного времени некоторые типы именного предложения не могли употребляться с нулевым манифестантом этой связки — это касается биноминативных предложений, в которых подлежащее и сказуемое выражено *abstracta nomina*. Учитывая усиление продуктивности подобных предложений на протяжении XIX века, нетрудно понять активность связки *есть* — *суть*. Такие предложения не перестали употребляться и в конце XIX — начале XX века; ср.: «*Но в жизни оказывалось, что медицина **есть** наука о лечении одних лишь богатых и свободных людей. По отношению ко всем остальным она **являлась** лишь теоретическою наукою о том, как...*» (Вересаев). Лишь по мере развития других связок и связочных образований, взявших на себя функции связки *есть* (*вот, это, значит, это значит, это есть, является*), последняя выходит из активного употребления [Шведова 1960: 18]. Связка *являться* оказалась не только конкурентом связки *есть*, но и, по мере делексикализации, в значительной мере взяла на себя функции связки *служить*, которая на протяжении длительного времени (XVIII—XIX века) активно употреблялась в некоторых типах предложений обстоятельственной характеристики: «...и данный ему припас **служит** действительным к тому доказательством» (Чулков); «*Великоленные оных остатки **служат** убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя*» (Радищев); «*Что единственно материальная польза не может быть целию общества, ни **служить** основанием для его законов*» (Одоевский); «...оно [предисловие] или **служит** объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики» (Лермонтов). Ср. в конце XIX века: «...причиною мигрени в данном случае **является** раздражение симпатического нерва, вызванное общим малокровием» (Вересаев).

Исследованные нами современные тексты показали значительное преобладание связки *являться* над связкой *явиться*, при этом первая обычно употребляется в форме настоящего времени. Однако в исторической научной литературе отмечается широкое употребление как формы прошедшего времени от глагола *являться*, так и формы прошедшего времени от глагола *явиться*, причем последняя очень часто (хотя и не всегда) имеет фазисный оттенок и синонимична глаголу *стать*⁹. «*Результатом разговора **явилось** назначение Жукова командующим Резервным фронтом*» (Волкогонов).

⁹ Можно в связи с этим напомнить, что, по мнению А. Б. Шапиро, связка *стать* относится наряду со связкой *быть* к разряду идеальных и используется «для выражения совершенного вида с начинательным оттенком» [Шапиро 1953: 162]. Таким образом, связки *явиться* и *являться* можно рассматривать с точки зрения такого подхода как пару идеальных связок, различающихся лишь видом.

Выводы

1. Глагольная связка *являться* прошла длительный путь, прежде чем получила то отвлеченное значение, которое ее характеризует в современном русском языке. На протяжении многих веков, употребляясь в связочной функции, глагол *явиться — являться* сохранял свое базовое лексическое значение, которое может быть определено как «быть воспринимаемым с помощью органов зрения». В пользу этого говорят примеры, где именная часть выражена словами, описывающими субъект предложения со стороны его внешности, введение в предложение слов типа «вид», «глаза», «видеть» и т. п. или присутствие слов, маркирующих субъекта зрительного восприятия («нам», «перед нами» и проч.)

2. Формирование у глагола *явиться — являться* значения, свойственного современной связке *являться* — это процесс, длившийся весь XIX век и закончившийся окончательно только в XX веке. Он имел свою логику и этапы и был связан с лексическими и грамматическими изменениями в русском языке XVIII—XIX веков.

3. Первым шагом к приобретению глаголом *явиться — являться* более абстрактного значения при связочном употреблении стало введение его в предложения с неличным субъектом. Первоначально именная часть в предложениях этого типа была выражена адъективными словами, которые описывали субъект с внешней стороны. По мере распространения в языке существительных с отвлеченным значением меняется и именная часть сказуемого: на смену адъективным словам, описывающим субъект со стороны внешности, приходят прилагательные, внутренне характеризующие субъект, а затем и существительные с отвлеченной семантикой. Именно в этих конструкциях происходит потеря глаголом *явиться — являться* зрительной семантики.

4. Одновременно существовала конструкция (исторически первичная) с личным субъектом. В ней гораздо раньше вводится в качестве именного члена существительное в творительном падеже, но, в отличие от современного языка, эти существительные обладали яркой оценочной семантикой. Вероятно, лишь после нейтрализации лексического значения глагола *явиться — являться* в конструкциях с неличным субъектом тот же процесс распространился и на конструкции с личным субъектом. К началу XX века именная часть в них выражается существительными классификационной семантики, обычно лишенных оценочного компонента.

5. Дальнейшее распространение связки *явиться — являться* привело к появлению конструкций, в которых при субъекте-лице стояла именная часть сказуемого, выраженная существительным с абстрактным значением.

6. Быстрое распространение связки *явиться — являться* коррелировалось с постепенным выходом из употребления связки *есть — суть*. Следует, однако, отметить, что далеко не во всех случаях, где стояла связка

есть — *суть*, произошла ее замена на связочный глагол *являться*: несмотря на очень широкое использование последнего, его употребление стилистически ограничено лишь некоторыми стилями письменного языка. Широко употребляясь в научной литературе как «объективная» связка, она имеет очень ограниченное использование в публицистике и, тем более, в художественной литературе, где ей явно предпочитается либо связка *это*, либо нулевая.

Л и т е р а т у р а

Акимова 1969 — Г. Н. А к и м о в а. Полузнаменательные и знаменательные связки в языке Ломоносова // Очерки по истории русского языка и литературы XVIII века. Ломоносовские чтения. Казань, 1969. Вып. 2—3. С. 223—233.

Анисимов 1989 — Е. В. А н и с и м о в. Время петровских реформ. Л., 1989.

Булаховский 1937 — Л. А. Б у л а х о в с к и й. Исторический комментарий к литературному русскому языку. Харьков; Киев, 1937.

Грамматика 1960 — Грамматика русского языка. М., 1960.

Груднева 1958 — Г. Н. Г р у д н е в а. Составное и сложное сказуемое в современном русском языке // Вопросы русского языкознания. Львов, 1958. Кн. 3. С. 159—180.

Князева 2006 — Н. В. К н я з е в а. Семантико-синтаксические типы предложений с предикативным ядром N1-N1: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Владивосток, 2006.

Коротаева 1996 — М. В. К о р о т а е в а. Полузнаменательные связочные глаголы в современном русском языке. Киров, 1996.

Коротаева 1991 — М. В. К о р о т а е в а. Семантика связочных глаголов в структуре предложения: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1991.

КРГ — Краткая русская грамматика. М., 1989.

Крылова, Максимов, Ширяев 1997 — О. А. К р ы л о в а, Л. Ю. М а к с и м о в, Е. Н. Ш и р я е в. Современный русский язык: Теоретический курс. Ч. IV. Синтаксис. Пунктуация. М., 1997.

КСИС — Карманный словарь иностранных слов // Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953.

Ломтев 1956 — Т. П. Л о м т е в. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956.

МАС — Словарь русского языка / Под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд. М., 1999.

Муковозова 2004 — Т. И. М у к о в о з о в а. Один из способов делексикализации знаменательных слов // Русский язык и славистика в наши дни. М., 2004.

Овсяннико-Куликовский 1912 — Д. Н. О в с я н н и к о - К у л и к о в с к и й. Синтаксис русского языка. 2-е изд. СПб., 1912.

Ожегов 1963 — С. И. О ж е г о в. Словарь русского языка. 5-е изд. М., 1963.

Ожегов 1991 — С. И. О ж е г о в. Словарь русского языка. 23-е изд. М., 1991.

Очерки 1964 — Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Изменения в системе простого и осложненного предложения. М., 1964.

Потебня 1958 — А. А. П о т е б н я. Из записок по русской грамматике. М., 1958. Т. I—II.

РДС 1977 — Служба кабаку // Русская демократическая сатира XVII века. М., 1977.

ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1965.

Срезневский — И. И. С р е з н е в с к и й. Материалы для словаря древнерусского языка: В 4 т. Т. III. СПб., 1903.

ТСРЯ — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 4. М., 1940.

ССРЯ — Словарь современного русского языка. Т. 17. М.; Л., 1965. Стлб. 2027—2029.

ЧССРЯ — Частотный словарь современного русского языка / Под ред. Л. Лённгрена. Uppsala, 1993.

Черных 1999 — П. Я. Ч е р н ы х. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1. М., 1999.

Шапиро 1953 — А. Б. Ш а п и р о. Очерки по синтаксису русских народных говоров. М., 1953.

Шведова 1960 — Н. Ю. Ш в е д о в а. Проблема лексических ограничений как одна из проблем изучения истории синтаксиса русского литературного языка XVIII—XIX вв. // ВЯ. 1960. № 6. С. 17—23.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974.

Е. В. ОГОЛЬЦЕВА

**ОПЫТ ГНЕЗДОВОГО ОПИСАНИЯ
ОБРАЗНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ЛЕКСИКИ
(На материале образных гнезд зоонимов)**

1. Образное значение производного слова

Цель статьи — представить фрагмент системного (гнездового) описания реальных и потенциальных образных значений, мотивированных наименованиями животных — анимализмами, или зоонимами.

Образный потенциал словообразовательной системы языка определяется количественным и качественным составом образных значений, проявляющихся в сфере производной лексики. **Образное значение производного слова (ОЗ)** — это такое значение, в котором центральную, структурирующую роль играет образ — детерминированное национальными и культурно-историческими условиями чувственно-наглядное представление, лежащее в основе номинации и являющееся источником эмоционально-оценочных наслоений. Основополагающим признаком ОЗ является наличие в его структуре компаративной семы, либо в виде ядерного компонента, либо в качестве деривационной базы, служащей отправной точкой для формирования более сложной, фразеологизированной, метафорической семантики (ср.: *змеится* тропинка → *змеится* улыбка). Можно считать поэтому, что семантической основой образного значения является значение компаративное, или сравнительное.

Образный компонент значения слова давно привлекает внимание исследователей. Рассматриваются такие аспекты проблемы, как сопоставление мотивированной и немотивированной образности [Блинова 1983]; связь образности слова с экспрессивностью [Лукьянова 1976; 1979; Цоллер 1996], эмоциональностью и оценочностью [Загоровская 1983]; образный компонент как неотъемлемая часть коннотации [Кузнецова 1989; Алефиренко 1990]; образное представление как проявление внутренней формы в производном слове [Илларионов 1976]; ОЗ как результат особого типа мотивации [Кубрякова 1976; Земская 1984; Улуханов 1992]; изоморфность образного производного слова и фразеологизма [Солодуб 1996].

Новизна нашего подхода к феномену ОЗ производного слова определяется а) рассмотрением компаративного значения как исходного проявления

образной семантики; б) выдвиганием в качестве объекта исследования «предикатных слов» — прилагательных, глаголов и наречий; в) идеей гнездового описания образной производной лексики.

Значение образного сравнения на словообразовательном уровне представлено обширной группой моделей и проявляется в четырех основных частях речи: в существительном (*человек-зверь*), в прилагательном (*звероват-ый*, *звер-о-подобн(-ый)*, *звер-ск-ий*; *о-звер-е-л(-ый)*), в наречии (*звер-ем*, *звер-оват-о*, *звер(о)подобн-о*, *звер-ск/и*, *по-звер(ин)-ому*, *о-звер-е-л-о*), в глаголе (*звер-ств/ова-ть*, *(о)звер-е-ть*), в отглагольных формах причастий и деепричастий (*о-звер-е-ви-ий*, *о-звер-е-в*, *звер-е-я*). Производные слова, которые образуются по этим моделям, мы называем **компаративно-производными**. Поскольку значение образного сравнения выходит за рамки одной, определенной лексико-грамматической группировки слов, охватывая четыре основные части речи, компаративное значение можно считать одним из самых отвлеченных языковых значений.

Компаративные модели имеют ряд общих признаков.

1) Исходная производящая основа (вершина образного гнезда) может принадлежать только к именам существительным — представителям самых разнообразных лексико-семантических групп.

2) Словообразовательные форманты могут быть разных типов (чаще всего это суффикс, реже — «комплексные» форманты).

3) Производные слова могут относиться к разным частям речи.

4) Деривационное значение может иметь варианты (модификации), определяемые тремя предшествующими параметрами разных моделей, однако все они, по существу, характеризуются одним и тем же, предельно обобщенным, значением, которое можно определить как компаративное.

Отметим важнейшие особенности рассматриваемого языкового воплощения компаративного значения.

- Компаративно-производное слово отражает в своей словообразовательной структуре не логическое, а образное сравнение, целью которого является выражение индивидуального признака предмета А посредством его уподобления предмету-понятию В [Огольцев 1978: 27—29].

- Образное сравнение, выраженное средствами словообразования, как и любая другая компаративная структура, построено на основе сравнения логического и характеризуется следующими тремя компонентами: то, что подвергается сравнению (элемент А, или **объект сравнения**); то, с чем осуществляется сравнение (элемент В, или **образ сравнения**); общий признак предметов А и В (элемент С, или **основание сравнения**).

- Компаративно-производное слово воплощает в себе не все три логических элемента сравнения, а, как правило, лишь один, ядерный и обязательный элемент — образ сравнения (В). Словообразовательный аффикс в структуре образного производного слова берет на себя роль формального показателя компаративных отношений (m).

Объект сравнения оказывается выраженным за пределами компаративно-производного слова, в контексте; признак-основание, представляющий собой не что иное, как значение компаративно-производного слова, либо вовсе не получает формального (эксплицитного) выражения в силу его самоочевидности, либо, подобно объекту сравнения, эксплицируется в ближайшем словесном окружении компаративной единицы:

В м А С
петуш-ин-ый голос — голос резкий, срывающийся, подобный голосу *петуха*;

С м В м С
 лазать *по-обезьян'-ю* — лазать *очень проворно, ловко*, как обезьяна;

В м С В А
Звер-ств/ова-ть — поступать *очень жестоко*, как зверь (о человеке).

• Исследуемые нами слова образуются по языковым словообразовательным моделям и представляют собой единицы языка как системы. Выражаемые ими образы и компаративные отношения между элементами сравнения не являются результатом индивидуально-творческого акта, а воспроизводятся всеми носителями языка.

Поскольку большей части зоонимов свойственна полисемия, возникает вопрос об источниках ОЗ производных слов. Возможны два решения этой дискуссионной проблемы: 1) ОЗ производного мотивируется переносно-метафорическим значением производящего («отраженная образность»); 2) ОЗ производного мотивируется прямым, безобразным значением производящего («деривационная образность»).

Мы считаем, что сравнительное (компаративное) значение всегда непосредственно мотивируется прямым, безобразным значением существительного. Такое решение вопроса соответствует природе сравнения: образ сравнения — это всегда чувственно-наглядное представление, которое ассоциируется у говорящих с прямым наименованием конкретного предмета. Например, при семантизации ОЗ слова *телячий* сознание носителей языка идет кратчайшим путем, сразу связывая характеризуемый предмет с детенышем коровы. Метафорическое значение существительного *теленки* (теленки 2) — такое же производное по отношению к значению прямому (теленки 1), как и компаративное значение прилагательного *телячий*:

<i>теленки 1</i> Детеныш коровы	<i>теленки 2</i> О безвольном, безответственном или слишком простодушном, глуповатом человеке)	семантическая деривация (метафорическое значение)
	<i>телячий</i> Глуповатый, простодушный	морфологическая деривация (компаративное значение)

Вообще следует отметить, что многие существительные-зоонимы регулярно развивают ОЗ по двум направлениям: в актах семантической деривации (устойчивые метафоры, характеризующие человека) и в актах структурно-семантической (морфологической) деривации (производные прилагательные, наречия, глаголы). Так, в семантической структуре глаголов, образованных от наименований животных, как правило, одно лексическое значение: через сравнение с животным получают образно-компаративное выражение те или иные поступки, привычки, черты поведения, внешности человека: *попугайничать* разг. ‘повторять чужие слова, мысли’; *обезьяничать* разг. ‘слепо подражать кому-либо, перенимать чью-либо манеру поведения, копировать кого-либо’; *ехидничать* ‘зло насмехаться, язвить’. Все три значения находят семантическую поддержку в образно-метафорических значениях производящих существительных: *попугай* «2. Перен. Разг. Тот, кто не имеет собственного мнения и повторяет чужие слова, мысли»; *обезьяна* «2. Разг. О человеке, который подражает другим, передразнивает других»; *ехидна* «3. Разг. О злом, язвительном, коварном человеке». В подобных случаях мы имеем дело с двумя языковыми воплощениями одного и того же образа. И переносно-метафорическое значение существительного, и компаративное значение прилагательного восходят к одному источнику — прямому значению исходного мотивирующего слова.

Принципиально важное значение имеет выбор анализируемого объекта: образно-компаративное значение наиболее ярко проявляется именно в прилагательном, наречии и глаголе. В работах по семасиологии отмечают такие характерные особенности «признаковых» слов, как а) ориентация на коммуникативную и речемыслительную функции (в отличие от предметных имен, выполняющих прежде всего номинативно-классификационную функцию); б) способность в свернутом виде выражать дихотомию «старое» (тема) — «новое» (рема), обычно манифестируемую в синтагмах и предложениях; в) предидицирующая роль, то есть способность придавать различным сущностям свойства, оценки, качества; г) специфика языкового значения, функционально направленного не только на внешний мир вещей, но и на внутренний мир человека, его отношение к окружающему миру.

Главной, определяющей все остальные, особенностью предикатного значения является его «сигнификативность» и, как следствие, «денотативная недостаточность», которая восполняется в ближайшем словесном окружении: «Сама структурная организация семантики адеквативной и глагольной лексем, выражающих неполное, “незаконченное” понятие, скорее, отдельный признак-отношение или какое-либо другое свойство предмета (<...>), предопределяет и способ их языкового выражения — минимальные лексические синтагмы, реализующие основные типы семантико-логических моделей “агенса — его действие”, “субъекта — его состояние”, “действия — его объект”» и т. п. [Уфимцева 1986: 136—137]. В исследуемой нами части предикатной лексики понятийная отнесенность выражается через мотивированное значение, являющееся результатом семантического взаи-

модействия производящей основы (образа сравнения) и словообразовательного форманта, выполняющего одновременно роль формального показателя компаративных отношений. Остальные элементы языковой компаративной конструкции, посредством которых в нашем случае осуществляется «денотативная привязка» воплощенного в слове признака и завершается выражение понятия, лишь намеченного в семантике образного деривата, содержатся в ближайшем словесном окружении.

Теоретической базой гнездового описания образной производной лексики послужила мысль о функциональной общности структурно различных языковых единиц, в том или ином виде получившая воплощение в исследованиях по лексической, словообразовательной и фразеологической семантике. Наше понятие образного гнезда опирается и на богатый опыт изучения комплексных единиц словообразования — словообразовательных гнезд [Тихонов 1990; Ширшов 2004]. Предметом нашего анализа является та часть восходящих к одной вершине производных слов, которые характеризуются образностью. **Образное гнездо** (ОГ) — это совокупность компаративных и метафорических дериватов, которые группируются вокруг общей мотивирующей основы — имени существительного. Основаниями для объединения производных в ОГ являются: 1) единство «образного стержня» — мотивирующей основы; 2) единство признака сравнения.

Внутригнездовые сопоставления позволяют проследить интегрирующую роль производящей базы-субстанции в формировании системы образных значений. Исследование образного потенциала гнезда дает возможность еще раз продемонстрировать роль производных слов в системной организации лексики.

Поскольку мы ставим перед собой задачу системного описания воспроизводимых, то есть языковых, образных значений, мы опираемся в своем анализе главным образом на словарные дефиниции¹. В целях иллюстрации зафиксированных словарями или возможных в системе языка образных значений привлекаются фрагменты художественных текстов.

2. Образный потенциал наименований животных

Широкое использование зоонимов в качестве мотиваторов ОЗ объясняется, во-первых, конкретностью, живой «представимостью» образов, выражаемых соответствующими существительными. Во-вторых, эта группа лексики, пожалуй, с наибольшей полнотой выражает сокровенные, сакральные представления Человека о самом себе, о своем месте и предназначении в мире. У человека нет иного способа выразить то, что он думает о себе, кроме как «дистанцироваться» от самого себя, мысленно отождествив себя с другими, но себе подобными, существами.

¹ В рамках этой статьи использовались дефиниции МАС.

Аспекты исследования зоонимов — названий птиц, рыб, млекопитающих — исключительно разнообразны. Широко используемые в процессах вторичной номинации, наименования животных давно привлекают внимание лингвистов, занимающихся проблематикой полисемии производного слова, а также фразеологов, паремиологов, специалистов по фольклору и этнографии (имеются в виду, в частности, работы Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, В. П. Григорьева, В. И. Зиминой, Н. А. Лукьяновой, М. М. Маковского, Г. Л. Пермякова, В. А. Серебренникова, Г. Н. Скляревской, В. Н. Телии, М. Н. Черемисиной, А. Д. Шмелева).

Рассматриваемая группа лексики интересует исследователей, которые занимаются изучением культурно-национального компонента в значениях слов, обращая при этом к языковому опыту информантов — участников ассоциативных экспериментов [Маслова 2001: 144—191].

Однако, несмотря на столь глубокий интерес к данной группе лексики представителей разных направлений и «отраслей» лингвистической науки, многие существенные проблемы, связанные с лингвистическим, психолингвистическим, лингвокультурологическим описанием зоонимов и их дериватов (зооморфизмов) далеки от окончательного разрешения.

К малоисследованным участкам общегуманитарной проблематики, связанной с анализом «зоосемии», мы относим и системное описание деривационных рядов, восходящих к одному анимализму-вершине, в аспекте их образного потенциала. С одной стороны, это едва ли не самый богатый коннотативными оценочными наслоениями класс существительных. Значительная часть зоонимов характеризуется регулярным переносом *животное* → *человек*. При этом образно-оценочное наименование человека основывается на признаке (ряде признаков), присущем какому-либо животному или приписываемом ему. Некоторым из таких наименований исследователи присваивают статус образов-стереотипов («эталон») или символов [Красных 2002: 176—212].

В то же время именно в сфере анималистической лексики наблюдаем большое количество лагун, нереализованных языковой системой возможностей, «пограничных» фактов².

Около 50 наименований животных не выступают в качестве мотиваторов образных значений. Среди них:

— мифологические персонажи: *цербер* («1. В древнегреческой мифологии: трехголовый злой пес с хвостом и гривой из змей, охранявший вход в

² Семантическая лагунность зоосемии изучалась до сих пор в русле исследований сопоставительного характера [Киприянова 1998: 260; Копыленко 1998: 81—87]. Между тем в специальном анализе нуждаются и образные резервы семантической деривации в системе русского языка. В рамках данной статьи мы не ставим перед собой задачи подробного анализа этого вопроса. Ограничимся лишь некоторыми наблюдениями, которые дают возможность наметить основные направления его исследования.

подземное царство...»), *гидра* («1. В древнегреческой мифологии: многоголовая змея, у которой на месте отрубленных голов вырастали новые...»);

— животные вымирающие или экзотические, редкие, не характерные для российской фауны, главным образом обитатели тропиков и пустынь: *удава*, *пантера*, *мартышка*, *зебра*, *зубр*, *гиена*, *бурундук*;

— названия пород животных: *пудель* ‘порода комнатных собак с длинной курчавой шерстью’;

— наименования, включающие в свою семантическую структуру признаки, дополнительные к названию особи:

- по полу и функции, используемой человеком: *боров* ‘кастрированный самец свиньи, откармливаемый на убой’; *мерин* ‘кастрированный жеребец’; *клуша* ‘прост. курица-наседка’;
- по месту обитания (содержания): *барбос* ‘дворовая собака’;
- только по полу: *кот* ‘самец кошки’; *кобель* ‘самец собаки’; *сука* ‘самка собаки’;
- по стадии развития организма: *зародыш* ‘организм на ранней стадии своего развития, находящийся в материнском организме или в яйце’; *котенок* ‘детеныш кошки’; *птенец* ‘детеныш птицы’;

— областные, диалектные, а также устаревшие наименования животных и птиц: *тетеря*, *кочет*, *агнец*.

«Бесплодными» оказываются и названия многих насекомых, паразитов (*клещ*, *козявка*, *тля*, *глиста*); моллюсков (*слизняк*, *улитка*); мелких птиц и животных (*мокрица*, *тигалица*); некоторых *рыб* (*угорь*, *вьюн*, *вобла*).

Многие из отмеченных выше наименований используются языковой системой как образы, воплощающие те или иные человеческие черты. Возможны два способа такого использования:

1) Формирование языковой метафоры в акте семантической деривации.

Так, *воблей* называют очень худую и, как правило, некрасивую женщину (прост., бран.), *барбосом* — человека злого и грубого, *тлей* — ничтожного, никчемного, *тюленем* — неуклюжего, неповоротливого, нерасторопного. Большая часть таких наименований принадлежит к сфере просторечной или разговорной лексики и характеризуется яркой оценочностью:

*Вот мы сидим на дамбе, избранный круг, нас было пятеро, и разговариваем о мамах. Чья красивая, а чья нет. Мы говорим о маме, которая медсестрой, — она некрасивая, **вобла** какая-то, как ей сына своего не стыдно (А. Битов); — Садись, **тюлень**, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу (А. Горький).*

Многие анималистические метафоры используются как бранные, грубые и очень обидные слова, что отражается в словаре с помощью помет «презр.», «бран.», «пренебр.»: *тетеря* (по отношению к плохо слышащему или сонному, рассеянному человеку), *пес* (по отношению к человеку, вызывающему негодование своими поступками), *слизняк* (по отношению к

безвольному, бесхарактерному, ничтожному человеку), *козявка* (по отношению к очень мелкому, незначительному человеку), *зубр* (о человеке с косными, убогими, устаревшими взглядами), *цербер* (о свирепом и бдительном страже) и т. п.

Общественному порицанию могут подвергаться и различные признаки внешности человека: *каракатица* (название морского моллюска с короткими щупальцами) используется для обозначения неуклюжего, коротконового человека; *клуша* (название курицы-наседки) — для обозначения неуклюжей, неповоротливой женщины, *боров* (название самца свиньи) — образ толстого, неповоротливого человека.

В очень редких случаях в результате акта семантической деривации рождается метафорическое наименование стилистически нейтральное (*зародыш* / организм на ранней ступени развития → *зародыш* / зачаток, начало чего-либо) или характеризующееся положительной оценкой (*агнец* или *голубь* / о кротком, послушном человеке). Однако наблюдения показывают, что в двух последних случаях контекст часто изменяет знак оценки:

Юные девы и агницы непорочные носят ко мне свои произведения; из кучи хлама я выбрал один рассказик, помарал его и посылаю Вам (А. Чехов); — Гад, — тоже шепотом сказал Павел. — «Милой голубушке...» Голубчик нашелся. Я тя седня в деревне приголублю (В. Шукшин).

В первом примере контраст восходящей к библейскому источнику книжной, возвышенной стилистической окраски существительного *агнец* и общей разговорной тональности высказывания порождает иронический эффект. Во втором случае авторское использование эпидигматических связей образных дериватов (*голубушка, голубчик, приголублю*) в сочетании с передразнивающей, ернической интонацией окказионально преобразует коннотацию глагола *приголубить* из ласкательной в угрожающе-ироническую.

2) Использование существительного-анимализма в качестве образа (компонента В) устойчивого сравнения (УС).

Многие наименования животных, не использующиеся словообразовательной системой в актах образной деривации, реализуют свой образный потенциал в компаративной фразеологии, что во многих случаях является предпосылкой для появления соответствующих коннотаций у существительного, воплощающего «базовый образ».

В некоторых случаях устойчивое сравнение сосуществует в языке с устойчивой метафорой: *агнец* ‘ягненок’ → *агнец* ‘кроткий, послушный человек’ и *как агнец* ‘смирный, смиренный, кроткий’; *боров* ‘кастрированный самец свиньи’ → *боров* ‘толстый, неповоротливый человек’ и *как боров* «1. Здоровый, сильный, упитанный, гладкий. О человеке — мужчине. 2. Толстый, жирный. О человеке — преим. мужчине (презр.)»³.

³ Здесь и далее толкования значений устойчивых сравнений (компаративных фразеологических единиц, которые вводятся союзами *как/словно, точно*), приводятся по источнику: [Огольцев 2001].

Вместе с тем в качестве образа УС могут использоваться и существительные-моносеманты, лишённые образно-метафорических значений в своей семантической структуре: *дятел* 'лесная птица с длинным и острым сильным клювом' → *как дятел* «1. Стучать — продолжительно, периодически или непрерывно. О человеке. 2. Перен. Долбить, твердить. Говорить, назойливо повторять одно и то же»; *удав* 'крупная неядовитая хищная змея, обитающая главным образом в тропических странах, степях и пустынях' → *как удав* «1. Смотреть, глядеть, уставиться на кого-либо (человека) — пристальным, ненавидяще-зловным взором. 2. Глотать, заглатывать. Много, жадно есть».

Незначительную часть анализируемого материала составляют существительные, не развившие в своей семантике переносно-метафорических значений и не используемые в качестве компонентов УС (*бобр / бобер, жаба, курица, леопард, белка, енот, пингвин, ласточка, бульдог, медуза*). Однако в условиях художественной речи возможна актуализация скрытых образных ресурсов этих зоонимов. Разные компаративные модели могут использовать их в качестве мотиваторов ОЗ:

*Со скамеек уже сметены сугробы, на скамейках сидят няньки, а дети, с поднятыми до самых глаз воротничками — а поверх воротников шарфы! В валенках — а на валенках калоши! — задыхаясь в толстых пальтишках, неподвижно, с растопыренными руками, не в силах повернуть шею, маленькими **пингвинами** стоят возле скамей (Л. Чуковская); Дуняша **ласточкой** чертила баз от стряпни к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась (...) (М. Шолохов); Рядом с ними механически работал **бульдозьими** челюстями глыбообразный человек, его запухшие угрюмые глазки были неотрывно прикованы к одной точке на столе (Ю. Бондарев); «Интеллигентнее»... Это еще что за понятие такое? В чем он видит интеллигентность? В **медузообразности**? В умении поддакивать, угождать? (А. Блинов); А Петрушка был и того ординарнее. Вид мелкотравчатый, умишко **куриный**, натура гаденькая и похотливая (И. Бунин).*

Подобные акты образной деривации не зафиксированы в словарях и, несомненно, должны быть квалифицированы как явления индивидуально-творческие. Представляется, однако, что в некоторых случаях мы имеем дело с тенденцией образно-компаративного значения к воспроизводимости (ср. *куриный* умишко, *куриные* мозги / о туповатом, недалёком человеке).

Наиболее высоким образным потенциалом характеризуются существительные, используемые и в качестве воспроизводимых метафор, и в роли образов устойчивых сравнений. При этом большое значение имеет единство признака-основания в структуре устойчивой метафоры и устойчивого сравнения. Этим условиям удовлетворяют такие единицы, как *кабан* (кабанье здоровье), *кобыла* (кобылья сила (здоровье) / о женщине), *корова* (коровья неуклюжесть (неповоротливость, движения) / о женщине),

ягненок (*ягнячья* покорность (незлобивость, кротость)), **сорока** (стреко- тать, болтать, тараторить *по-сорочьи*).

В большинстве же случаев образный потенциал существительного под- держивается только одним из рассматриваемых факторов: функциониро- ванием в составе устойчивой фразеологической структуры. Эти резервы языка, не фиксируемые пока словарями, регулярно реализуются в живой речи и обнажаются в субстантивно-адъективных сочетаниях. Производящая основа прилагательного коррелирует с образом (элементом В) устойчивого сравнения. В качестве определяемого существительного выступает либо слово абстрактной семантики, воплощающее признак сравнения (элемент С), либо слово конкретной семантики, обозначающее предмет, подвер- гающийся сравнению (элемент А). При этом субстантивно-адъективные сочетания соотносятся с УС двух структурных типов: **как (словно, точно) В и как (словно, точно) у В**.

Приведем примеры на каждый случай подобной соотносительности УС и потенциальных компаративно-производных слов: (1) *гусиное* шипение (о человеке) — шипеть *как (словно, точно) гусь*; *аистиная* поступь (о челове- ке) — ходить, шагать *как (словно, точно) аист*; *буйволово* здоровье / уп- рямство (о мужчине) — здоровый, сильный или упрямый *как (словно, точ- но) буйвол*; (2) *гусиная* шея — *как (словно, точно) у гуся* (длинная, тонкая) / о шее человека; *газельи* глаза — *как (словно, точно) у газели* (большие, темные) / о глазах; *кроличьи* глаза — *как (словно, точно) у кролика* (крас- ные) / о глазах; *аистиные* ноги — *как (словно, точно) у аиста* (длинные, худые) / о ногах.

С устойчивыми сравнениями также соотносятся: *блошиная* непоседли- вость, *бараньи* глаза, *баранья* прическа (завивка / кучерявость), *верблюжья* выносливость / неприхотливость, *жеребячий* гогот / хохот, хохотать *по- жеребячьи*, *жеребячье* здоровье / сила, *комариное* жужжание (о человеке), жужжать, зудеть *по-комариному*, *кабанье* здоровье (о мужчине), *пчелиное* трудолюбие, *пчелиное* жужжание (о пуле, осколках снарядов), *ягнячья* по- корность, *толенья* неповоротливость (о мужчине):

Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и насекомьим взглядом (И. Ильф, Е. Петров); Кадет глядел удивленно, бараньими глазами, и ел за четверых (Н. Тэффи); А воротничок рубашки надо, наоборот, перешить туже. Болтается так, слов- но у него гусиная шея. А у него самая нормальная: не бычья, как у Пав- ла, но и вовсе не гусиная (К. Симонов); Вася поглядывает на Жадова, тот на него, и как-то утробно, по-жеребячьи похохатывают (Б. Мо- жаев); Уже все спали, уже богатырски всхрапывал Бухвалов, а под ухом Острецова тоненько, по-комариному зудел монотонный старче- ский голос (В. Закруткин).

Таким образом, многие зоонимы-«одиночки» потенциально способны выступать в образных значениях, чему в значительной мере способствует

их коррелятивность с другими компаративными единицами языка. Нам представляется, что, несмотря на высокую частотность некоторых из приведенных нами словосочетаний, реализующиеся в их составе компаративные значения не следует отражать в толковых словарях. Они предсказуемы, воспринимаются как вполне нормативные, но словосочетания, в которых они реализуются, еще не закреплены в системе языка в качестве устойчивых. В словаре, ориентирующемся на литературную норму, должны быть отражены лишь те компаративные значения, которые являются бесспорно воспроизводимыми. В качестве критерия отграничения языковых компаративно-производных значений прилагательных от индивидуально-творческих мы выдвигаем факт устойчивой (лексической или фразеологической) связанности с определяемым словом, проявляющийся в регулярной воспроизводимости. В то же время очевидно, что грань между узуальными и окказиональными словосочетаниями и, соответственно, между реальными и потенциальными ОЗ может быть зыбкой (ср. *волчий взгляд*, *обезьянья ловкость* (реал.) — *русалочьи волосы*, *аистьиные ноги* (потенц.).

3. Образные гнезда наименований животных

Значительная часть зоонимов порождает словообразовательные пары (всего 41 случай). Результатом акта образной деривации может быть глагол (*ишак* → *ишачить*; *щука* → *прищучить*); адвербиализованная форма ворительного падежа (*павой*, *сычом*):

— *Лукашин-то прищучит?* Да клал я на него с прицепом. Чего он мне сделает? Поразоржется, поразоржется да сам же и поклонится (Ф. Абрамов); *В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел* (М. Шолохов); *Домнушка вытерла губы, округлила правую руку и, помахивая своим фартуком, поплыла павой*, — *плясать была она первая мастерица* (Д. Мамин-Сибиряк); *Чем сидеть сычом у себя в купе, пусть лучше развлекает людей* (В. Панова).

В большинстве же случаев названия животных мотивируют ОЗ имен прилагательных (37 дериватов). В этой группе можно выделить млекопитающих, их самок и детенышей (*волк*, *заяц*, *кошка*, *лошадь*, *осел*, *овца*, *поросенок*, *рысь*, *соболь*, *теленок*); птиц (*воробей*, *журавль*, *канарейка*, *курица*, *кукушка*, *орел*, *утка*, *ястреб*); насекомых (*муравей*, *оса*, *стрекоза*, *таракан*, *эфемериды*); земноводных и пресмыкающихся (*крокодил*, *лягушка*, *ящерица*). Некоторые существительные являются родовыми наименованиями-гиперонимами: *животное*, *птица*, *рептилия*. Особо выделяются наименования личинок, зародышей живых организмов (*гусеница*, *эмбрион*) и простейших (*губка*, *коралл*).

От названных выше существительных образуются имена прилагательные с суффиксами *-н(ый)*, *-ий(ь)*, *-чат(ый)*, *-ин(ый)*, *-ов(ь)*, *-ов(ый)*,

-образный. Все прилагательные в образно-компаративных значениях являются относительными только по происхождению, семантически же они качественные. Подтверждением этому служат факты образования форм степеней сравнения и отвлеченных существительных:

*⟨...⟩ Есть там у меня мельник знакомый, человек, я вам скажу, **ското-подобнейший** (А. Эртель); **Ершистость** Бакутина прямо-таки бесила усталого, промерзшего Румарчука (К. Лагунов).*

Слова, мотивирующие ОЗ прилагательных, как правило, моносеманты (*соловей, ястреб, цыпленок, таракан, сыч, соболь, овца, рысь, муравей, лошадь, лягушка, канарейка, ишак, волк*). Почти все эти животные характеризуются яркими внешними признаками, причем в сознании носителей языка каждый признак устойчиво ассоциируется именно с данным наименованием. Эти ассоциации поддерживаются фразеологией, особенно системой устойчивых сравнений.

• **соловей**: красивый голос, пение, речь (*соловей* — маленькая певчая перелетная птица семейства дроздовых, с серовато-бурым оперением, отличающаяся красивым пением) — *◇ петь (заливаться) соловьем* 'говорить о чем-л. с жаром, с увлечением, красноречиво' — *как (словно, точно) соловей* «1. Петь — красиво, увлеченно; заливаться. О человеке; 2. ~⟨курский⟩~ Перен. Петь, заливаться, разливаться. Красноречиво, увлеченно говорить, рассказывать, убеждать; обещать, улащать (ирон.)»:

*Персюков заливался **соловьем**: оказывается, что он выехал на вокзал нынче совершенно случайно, «проветриться» (А. Куприн); В это время Веретенников заливался, **как соловей**: рассказывал анекдоты, цитировал известные рукописные эпиграммы и вообще блистал любезностью (И. И. Панаев); Он [Пяст] действительно читает стихи на удивление всем — даже поэтам, — то звонко отщелкивая ритм, как метроном, то вдруг заливаясь **по-соловьиному** бесконечными трелями, то спотыкаясь на каждом слове ⟨...⟩ (И. Одоевцева).*

• **цыпленок**: физическая слабость, беззащитность, тщедушность (*цыпленок* — птенец курицы или другой птицы отряда куриных) — *как (словно, точно) цыпленок* 'худой (худенький), маленький (о человеке)'; *как (словно, точно) цыпленка* 'задушить, придушить, подстрелить; передушить, перестрелять кого-л. (человека, людей); Уничтожить легко и просто благодаря преобладанию в силе или неспособности жертвы к самозащите':

*Ей двенадцатый год. Маленькая, ножки тоненькие, шея — **как у цыпленка**, и карие глаза, маленькие, быстрые, умные (Ф. Вигдорова); На его шею, до жалости потончавшей, **цыплячьей**, висело много кожи лишней, и отдельно ходил спереди трехгранный кадык (А. Солженицын).*

Столь же яркими признаками, определяющими мотивировку образной номинации, обладают и другие животные (насекомые, птицы). Например, с

образом *овцы* связаны признаки кротости, смирения, незлобivosti, с образом *муравья* ассоциируется терпение, трудолюбие, *лошадь* — это прежде всего выносливость, *лягушка* — хладнокровие, равнодушие, *канарейка* — ярко-желтый цвет, *ишак* — тяжелый и подневольный труд, *волк* — хищность и озлобленность (ср.: *овечья* натура, как (словно, точно) *овца* (*овечка*); *муравьиное* упорство, как (словно, точно) *муравей*; *лягушечий* темперамент, как (словно, точно) *лягушка*; *канареечный* цвет; *ишачьи* условия труда, как (словно, точно) *ишак*, *ишачить*; *волчья* злоба, как (словно, точно) *волк* и т. п.). *Таракан* — насекомое с торчащими длинными усами; *сыч* — птица ночная, мрачная, таинственная, пугающая человека в ночной тиши; *соболь* — зверек с красивым, шелковистым, густым мехом (ср.: *тараканы* усы, глядеть *сычом*, *соболиные* брови).

Разумеется, далеко не во всех случаях прослеживается непосредственная связь между признаками, получившими отражение в системе фразеологии, и теми свойствами, которые лежат в основе образных значений производных слов. Иногда эта связь характеризуется воспроизводимостью и получает отражение в словарных толкованиях, причем компаративное образное значение подается вторым, а в качестве первого выступает «общеотносительное» значение, которое толкуется, как правило, отсылочно: *лошадиный* «1. Прил. к лошадь. Лошадиное ржание»; *волчий* «1. Прил. к волк. Волчья шкура»; *ястребиный* «...» «3. Такой, как у ястреба, свойственный ястребу, хищный»; *тараканий* «...» «// Такой, как у таракана (обычно об усах)»; *овечий* «...» «// Такой, как у овцы; кроткий»; *муравьиный* «...» «// Такой, как у муравьев; трудолюбивый, хлопотливый»; *волчий* «...» «2. перен. Полный злобы и человеконенавистничества; звериный, хищнический».

В других случаях словарь ограничивается при толковании прилагательного «компаративной формулой», никак не конкретизируя ее указанием признака-основания сравнения: *лягушачий* и *лягушечий* «...» «// Такой, как у лягушки, напоминающий чем-л. лягушку»; *цыплячий* «...» «2. Такой, как у цыпленка; напоминающий чем-л. цыпленка». Отметим, что такие предельно обобщенные формулировки компаративной семантики, содержащие лишь отсылку к образу сравнения без указания на его основание (С) и объект приложения (А), убеждают, скорее, в потенциальной возможности проявления компаративного значения, чем в его реальном, «узаконенном традицией употребления», системно-языковом характере⁴. С большей или меньшей степенью вероятности подобные значения с аморфным основанием сравнения могут быть зафиксированы практически у любого притяжательного прилагательного, употребленного не по отношению к животному. Осознавая эти и другие издержки теоретической и лексикографической неразработанности вопроса, тем не менее считаем необходимым опираться

⁴ Наш анализ некоторых способов и перспектив лексикографической интерпретации значений производных слов, образованных от существительных-зоонимов, представлен, в частности, в работе: [Огольцева 2003: 191—195].

при анализе системно-языковых ОЗ на факты их словарной фиксации, хотя и не всегда последовательной и лексикографически безупречной.

Как уже отмечалось, проявление ОЗ у деривата-полисеманта определяется контекстом: *лошадиное ржание* — *лошадиная выносливость*; *лягушечьи лапки* — *лягушечья бесстрашность*; *волчья шерсть* — *волчья злоба* (о человеке). Синтагматическая обусловленность компаративного значения в случаях его закрепления в языке в качестве воспроизводимого часто предстает как связанность. Так, связанными являются значения, реализующиеся в сочетаниях: брови / волосы *ершистые*, *ершатся* (поднимаются торчком), улыбка *змеится* (блуждает, скользит по лицу), *тараканьи усы* (прямые и торчащие в стороны), *соболиные брови* (густые и черные), *ястребиные глаза* (зоркие), *ястребиный нос* (неровный, загнутый книзу), *утиный нос* (приплюснутый), *утиная походка* (вперевалку):

По морщинистому белому лбу этого человека страшно двигались густые брови, то вползая к жестким, ершистым волосам, то вдруг спрыгивая вниз <...> (А. Горький); *Он вытер кулаком соломенно-желтые ершистые брови и грозно кашлянул* (К. Федин); *На губах змеилась насмешливая улыбка* (В. Короленко); *Подавленная вспышка гнева прозмеилась в ее губах* (Л. Леонов); *Принял меня человек высокий, смуглый, с ястребиным носом, весь какой-то тонкий и, как налим, скользкий* (И. Соколов-Микитов); *Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами* (А. Горький).

На наш взгляд, только значения лексически связанные, реализующиеся в сочетаниях с ограниченным кругом существительных, имеют четкий статус языковых образно-компаративных значений. В остальных случаях мы имеем дело с переходными, пограничными проявлениями образной семантики.

Итак, в системе анималистической образной деривации проявляются следующие закономерности: 1) контекстуальная обусловленность потенциальных компаративных значений; 2) лексическая (реже фразеологическая) связанность реальных компаративных значений; 3) слабо выраженная фразеологизированность; 4) связь с системой устойчивых сравнений и общеязыковых метафор.

Тенденция к формированию **образных гнезд** обнаруживается у 39 наименований животных. Этот материал неоднороден.

1. Два или несколько производных, мотивированных одним существительным-зоонимом, не всегда объединяются в образные гнезда. Этому могут препятствовать различные факторы.

- Аморфность основания сравнения в одном из однокоренных производных при определенности основания в другом. Например, слова *попугай* и *козел* мотивируют весьма отвлеченные компаративные значения прилагательных *попугайский* 'такой, как у попугая', *козлиный* 'такой, как у козла' и более конкретные значения глаголов *попугайничать* «Разг. Повторять чужие мысли, слова, быть попугаем (во 2 знач.)», *козлить* «Прост. Фальшиво, несладко петь».

Анимализм *крыса* дает два образных деривата: прилагательное *крысиный* («⟨...⟩ // Напоминающий чем-либо крысу, такой, как у крысы») и глагол *окрыситься*, оба значения которого образны: «1. Угрожающе, злобно заворчать, ощетиниться, готовясь защищаться или напасть (о животных); 2. перен. В раздражении, в злобе наброситься, напустить на кого-л.; раздраженно, злобно ответить кому-либо»:

*Епископ вонзился своими **крысинными** глазами в Эдварда* (Н. Островский); — *Я ведь по глазам вижу, Гриша; сперва **окрысился** на меня — пришел, дескать, ученого учить! А я просто радый за тебя, пришел от души поздравить* (В. Шукшин).

• Закрепленность за каждым из дериватов одного, определенного признака-основания. Так, существительное *голубь* мотивирует компаративное прилагательное *голубиный* «2. перен. Кроткий, незлобивый, мягкий», которое соотносится с УС как *голубь* «2. Кроткий, смирный» и глагол-метафору *приголубить* «Разг. и народ.-поэт. Приласкать», соотносящийся со 2-м значением производящего *голубь* «2. Обычно в обращении. Разг. Ласковое название мужчины»:

*Ох, если б ты знала Катю! Если б ты знала, что это за нежная, ясная **голубиная** душа!* (Ф. Достоевский); *Вот сына б хотелось обратно. Он парень холостой, характером мягкий, вернуть бы его домой. Любо, мило — женился, меня **приголубил**...* (В. Тендряков).

• Употребление только в качестве термина или только в составе расчлененного терминологического наименования одного из дериватов при широкой употребительности и свободной валентности другого. Например, существительное *рак* мотивирует притяжательное прилагательное *рачий* ‘такой, как у рака, свойственный раку’ и зоологический термин *ракообразные* ‘Зоол. Название класса водных членистоногих животных с расчлененным на сегменты телом, покрытым панцирем, и с многочисленными расчлененными конечностями’. В первом случае образ служит целям коннотации, во втором — номинативным потребностям.

2. В ряде случаев в системе образных дериватов, восходящих к одной вершине, наряду с основным, центральным признаком, формирующим гнездо, проявляются и другие. При этом часть образных значений объединяется в образное гнездо, а остальные, не получая в языковой системе «деривационной поддержки», выступают изолированно. В качестве примера можно привести один из самых продуктивных в аспекте образной номинации мотиваторов — *змея*. Словообразовательная система использует целый ряд признаков-оснований сравнения со змеей: С₁ — изогнутый, извиляющийся, образующий извивы, зигзаги (о длинном, протяженном предмете): *змеей*, *змеиться* (1), *змеевик* (1 и 3), *змееобразный*, *змеевидный*, *змеистый*; С₂ — шипеть: *по-змеиному*; С₃ — коварный, злобный: *змеиный*; С₄ — блуждать, скользить (обычно об улыбке): *змеиться*; С₅ — зеленый с

разнообразными оттенками, от почти черного до светло-фисташкового: *змеевик* (2).

Как видим, полноценное образное гнездо формируется только на основе первого признака:

Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо <...> (И. Тургенев); И вскоре поехали потихоньку змеистой дорогой по дну глубокого оврага к берегу Москвы-реки (А. Рогов); Сказочными показываются померанцевые, фиговые, оливковые сады <...>, лес каких-то змееподобных деревьев (И. Соколов-Микитов); Эти серые, хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы... (И. Тургенев); Белая лошадь паслась неподалеку, время от времени переступая тяжелыми ногами, таща за собой змеящуюся в траве цепь (В. Смирнов); Дорожка круто поднимается вверх, змеится, потом стремительно сбегает в глубь тесной балки (О. Волков).

Остальные признаки представлены единичными дериватами. Такое семантическое обособление свойственно а) признакам, на основе которых образуются терминологические наименования (ср. *змеевик* «2. Горная порода зеленого цвета с разнообразными оттенками <...>»); б) признакам, характеризующим черты характера, психологические особенности человека (*змеиный* «2. перен. Коварный, злобный. Змеиная улыбка»); в) признакам, на базе которых формируются лексически связанные значения (*змеиться* «2. перен. Блуждать, скользить (обычно об улыбке)»). Совершенно особое место занимают дериваты, употребляющиеся как бранные слова (*змее-ныш*). В этих случаях мотивировка в той или иной мере затемнена.

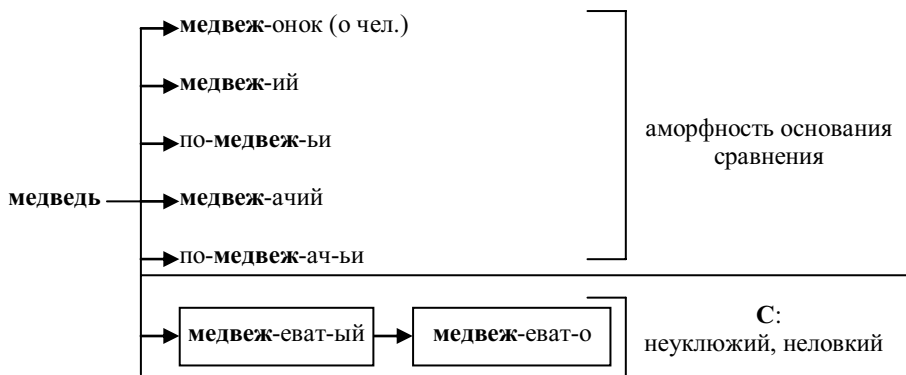
Причиной семантической изоляции отдельных производных слов может явиться аморфность основания сравнения. Подобный случай представляет существительное *обезьяна*, формирующее ОГ на основе признаков «слепо подражать кому-либо, копировать кого-либо»: *обезьян-нича-ть, с-обезьян-нича-ть, обезьян-нича-ющ-ий, обезьян-нича-я, обезьян-нич(е)ств-о, обезьян-ск-ий, обезьян-ств-о, обезьян-и-ть, обезьян-ий* (С: слепое подражание, копирование). Наряду с основным массивом дериватов выявляются прилагательные *обезьяний* и *обезьяноподобный*, а также наречие *по-обезьяньи*, которые в разных условиях контекста могут проявлять различные образные значения. Ср.: *обезьяньи* гримасы, *обезьянье* кривлянье, *обезьянья* походка, *обезьянья* прическа, *обезьянья* улыбка; кривляться *по-обезьяньи*, подражать кому-л. *по-обезьяньи*, ходить, передвигаться *по-обезьяньи*, *по-обезьяньи* ловкий, *обезьяньи* руки и т. д.

Подобное явление характеризует и гнездо существительного *бык*, построенное на базе признака «выражающий хмурую угрюмость» (о глазах, взгляде человека): *бык-ом, бык-оват-ый, бык-оват-о, бык-оват-ость, быч-и-ть-ся, на-быч-и-ть-ся, с-быч-и-ть-ся* (С: угрюмый, смотрящий исподлобья, нагнув голову):

Проводники всей гурьбой догнали их; сзади, не разбирая дороги, **сбычившись**, шагал Егор Фомич (Ю. Герман); Потом Хрипушин **сбычился** на Корнилова, помолчал и сказал: — Ну ладно. Сегодняшнее ваше показание мы записывать не будем (Ю. Домбровский); Он [Баклан] **набычился** и, ловко подсев, ударил меня головой в лицо (В. Ковалев); Оператор навис над кинокамерой, вид у него был **набыченный**, подле стоял режиссер и что-то толковывал ему страстным шепотом (Н. Сорокин); За долгие годы совместной жизни она привыкла к этому крупному, слегка сутулившемуся человеку с огромной головой, **по-бычьи** склоненной и выдвинутой вперед (А. Чаковский); Голова, седой и краснорожий человек с короткой шеей, смотрел на него [Маякина] **быком** с упорным вниманием и порой утвердительно стучал большим пальцем по краю стола (А. Горький).

В основную группу дериватов не вполне вписывается притяжательное прилагательное *бычий* (*бычачий*), и вновь по причине эврисемичности, неопределенности основания сравнения (ср. словосочетания *бычий взгляд* и *бычья / бычачья шея*, *бычьи / бычачьи нервы*, *бычье / бычачье здоровье*, в которых реализуются признаки «крепкий, сильный, мощный».

В других гнездах, напротив, основная часть производных проявляет ОЗ компаративной природы с аморфным основанием, а одно-два слова фиксируют в своей образной семантике вполне определенный, конкретный признак сходства:



Гнездо *петух* формируется главным образом на основе признаков «запальчивый, задиристый»: *петуш-и-ть-ся*, *петуш-а-сь*, *вс-петуш-и-ть-ся*, *вс-петуш-и-вши-сь*, *петуш-ин-ый* (2), *по-петуш-ин-ому* (2). Семантически обособленным оказывается третье значение прилагательного *петуш-иный* («...» «3. Резкий и срывающийся / о голосе»). Особое положение занимает и прилагательное *петуш-ий*, которое может характеризовать самые разные предметы и явления на основании разных признаков. Семантическая изоляция образных значений прилагательных *петушиный* (3) и *петуший* име-

ют разные причины: в первом случае это конкретный характер основания сравнения и лексическая связанность значения, во втором случае — аморфность основания сравнения.

3. Те же факторы, которые способствуют семантической изоляции одного (реже — двух и более) производных, могут стать причиной более сложных отношений между однокоренными образными дериватами: вокруг одного мотиватора могут группироваться **образные подгнезда**, каждое со своим мотивирующим признаком. В этом случае имеет место **расщепление образного гнезда**.

Например, анимализм *мышь* располагает двумя образными подгнездами, одно из которых формируется на основе сходства с мышью по внешнему виду, форме: (С₁) (*мышь(е)видн-ый, мышь(е)образн-ый*), другое — на основе признака «серый цвет»: (С₂) (*мышь-ин-ый 2, мышь-аст-ый*).

4. Цельные образные гнезда, характеризующиеся единством образной мотивировки, формируются вокруг пятнадцати существительных-анимализмов. Относительно бедные гнезда содержат от двух до четырех-пяти производных, наиболее богатые — до двадцати.

В большинстве случаев дериваты объединяются в гнезда на основе признаков, характеризующих психологические, нравственные качества человека, реже — особенности его поведения или физиологические свойства:

хамелеон → *хамелеон-ск-ий, по-хамелеон-ск-и, хамелеон-ств-о, хамелеон-ствова-ть, хамелеон-ств-уж-я, хамелеон-ств-уж-уц-ий* (С: меняющийся взгляды в зависимости от обстановки или в угоду кому-либо);

хищник → *хищнич(е)-ск-ий, хищнич(е)-ск-и, хищнич(е)-ств-о, хищнич-а-ть, хищнич-а-я, хищнич-а-юц-ий* (С: обогащающийся, наживающийся на разорении, ограблении, эксплуатации кого-либо).

Подобной структурой характеризуется целый ряд ОГ: *паразит* (С: живущий за чужой счет); *ехидна* (С: злой, насмешливый); *сокол* (С: гордый и смелый); *лиса* (С: хитрый); *черепаха* (С: очень медленный).

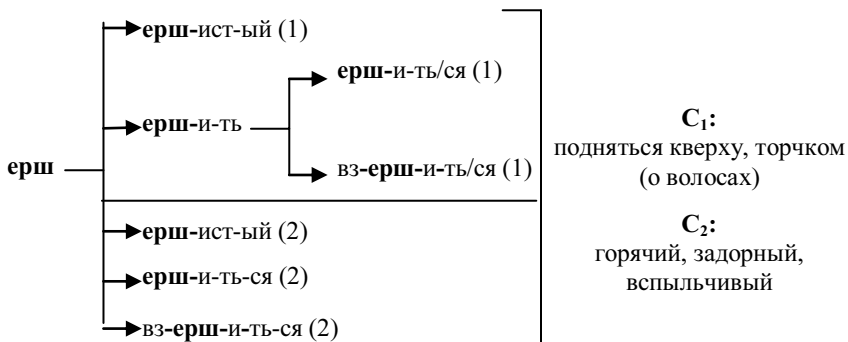
Некоторые гнезда, особенно состоящие из прилагательных и их формальных дериватов — наречий (не содержащие в своем составе глаголов и их производных), основываются на обобщенном деривационном значении, лишь фиксирующем факт подобию: *наук* → *науч-ий, по-науч-ьи, наук(о)-образн-ый, наук(о)-образн-о*.

Образное гнездо может основываться сразу на двух признаках — «физическом» и «психологическом» (см. схему на следующей странице).

Цельность ОГ в данном случае не нарушается, так как оба признака-основания сравнения (С₁ и С₂) проявляются у каждого из дериватов:

В рыжих ершистых волосах, не просохших еще после бани, ни единой сединки (Ф. Абрамов) (С₁); *Ершистых подчиненных, таких, что не гнутя, Ильин не боялся. Боялся тех, что гнутя* (С₂) (К. Симонов).

Наиболее продуктивными в аспекте образной деривации являются существительные *зверь* и *свинья*.



Существительное *зверь* — родовое наименование дикого, хищного животного — самый «плодовый» анимализм. Его богатое, разветвленное образное гнездо держится на единственном признаке-основании: «крайняя, нечеловеческая злоба, жестокость»: *зверь* → *звер-ье*, *звер-юг-а*, *звер-оват-ый*, *звер-оват-о*, *звер(о)подобн-ый*, *звер(о)подоб-и-е*, *звер(о)подобн-о*, *звер-ск-ий*, *звер-ски*, *звер-ин-ый*, *по-звер-ин-ому*, *звер-ств-о*, *звер-ств-оват-ь*, *звер-ств-у-й-ющ-ий*, *звер-ств-у-й-я*, *о-звер-е-ть*, *о-звер-е-в*, *о-звер-е-ви-ий*, *о-звер-е-л-ый*, *вы-звер-и-ть-ся*:

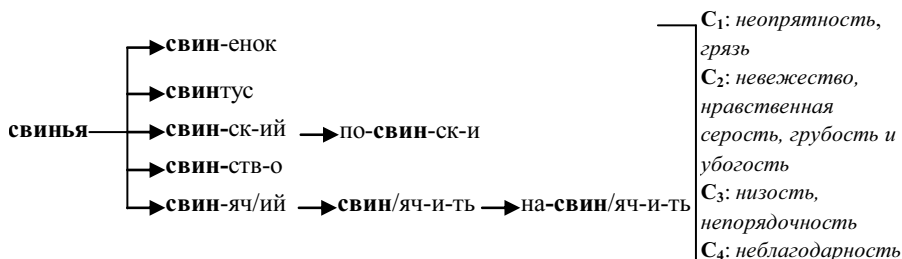
Я знаю, что война — сплошное зверство и что на войне люди, ни в чем не повинные друг перед другом, истребляют друг друга (<...>) (А. Горький); *Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке. Но не равно развиваются звериные свойства человека* (Ф. Достоевский); *Это до какой степени озверели капиталисты, что загнали живых людей в такие окопы?* (С. Залыгин); — *Берегись, кидаю бомбу! Озверевшие люди кинулись к дверям, опрокидывая скамьи и теряя фуражки* (В. Катаев); *Заскрипел мост, опустился, — бежали по колена в воде. Расталкивая народ, молча, озверелые, проходили сотня за сотней стрельцы* (А. Толстой); *Когда Гольяков пьян, его охватывает буйная одержимость, он зверски колотит Прасковью* (В. Вересаев).

Дериваты *зверский*, *зверски*, *по-зверски* проявляют также компаративное значение особого типа, которое мы называем образно-гиперболическим. Образ сравнения служит в этом случае исключительно одной цели — выражению высокой степени интенсивности признака:

В комнате и правда было зверски холодно, и Лопатин стал спешно одеваться (К. Симонов); *Слабый запах хлеба, исходивший от половы, пробудил во мне зверский голод* (Ю. Нагибин).

Существительное *свинья* также выступает в качестве мотиватора для довольно обширной группы слов с образными значениями (см. рисунок).

Это образное гнездо, несмотря на множественность признаков-оснований сравнения, характеризуется семантической цельностью, благодаря то-



му, что фактически каждое из производных проявляет (или способно проявлять) любое из отмеченных выше образных значений:

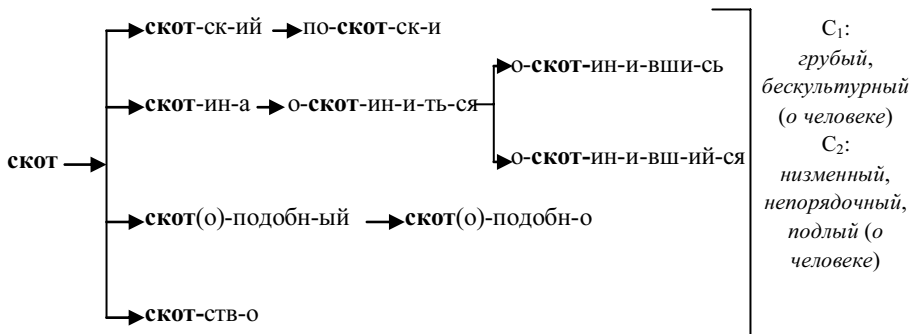
Я, например, никак не мог привыкнуть к мытью по-английски, я бы даже сказал, пусть англичане на меня не обижаются, а бог меня простит, по-свински, когда пробкой затыкают в раковине слив, наливают воду и плещутся в ней, будто поросята в корыте (В. Аграновский) (С₁); И вот (...) я, человек здесь новый, интеллигент, белоручка, на этой же самой земле, на которой по-свински живут четыреста крестьянских семей, наживаю состояние (С. Сергеев-Ценский) (С₂); — Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи (И. Бунин) (С₃); Кожаров этот забыл старый хлеб-соль, батюевскую ласку да приют, поступает по-свински: где жрет, там и гадит (Г. Коновалов) (С₄).

Яркой отрицательной коннотацией характеризуются все производные от имен существительных — названий совокупностей и классов животных: *стадо, табун, скотина* и проч.

Существительное *стадо* «1. Группа животных, обычно одного вида, пасущихся вместе» порождает цельное образное гнездо, основанное на признаке «бессознательный, слепо подражающий поведению массы»: *стадо* → *стад-н-ый* → *стад-н-ость*. Производящее *табун* «1. Стадо лошадей, а также оленей и некоторых других копытных животных» также дает два образных деривата — прилагательное и глагол, объединяющиеся в ОГ на основании признаков «бессознательный, беспорядочно толпящийся, неорганизованный»: *табун* → *табун-и-ть-ся, табун-н-ый*. Эти образные гнезда находятся между собой в отношениях своеобразной синонимии (общие признаки — «бессознательный», «стихийный»; дифференциальные признаки — «слепое подчинение массе» (гнездо «стадо») и «беспорядочность, неорганизованность» (гнездо «табун»)).

Одно из самых колоритных образных гнезд дает существительное *скот / скотина* (Собир. Четвероногие домашние сельскохозяйственные животные) (см. схему на следующей странице).

Образные гнезда зоонимов существенно различаются в аксиологическом отношении. В гнездах, основанных на внешних, наблюдаемых признаках предмета (сходство по форме, цвету и проч.), встречаются нейтральные в аксиологическом отношении дериваты (ср. гнезда *мышь, паук*).



В ОГ, характеризующих черты поведения, темперамента, поступки человека, производным обычно присущи яркие эмоционально-оценочные коннотации. Однако и в этой сфере наблюдаем своего рода аксиологическую градацию. Так, в наименьшей степени осуждаются, вызывая, скорее легкую иронию, чем негодование, признаки внешности и внешнего поведения, особенно если они связаны с врожденными особенностями: неуклюжесть движений, походки, манер (*медведь*), угрюмый, хмурый взгляд (*бык*), медлительность (*черепаха*), задиристость (*петух*), горячность, вспыльчивость (*ерш*), рассеянность (*ворона*). Встречается немало контекстов, в которых эти образы символизируют черты симпатичные и даже одобряемые в языковом коллективе:

«...» Странное дело — его медвежесватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе (И. Тургенев); А Василь-Василича нашего сам преосвященный кафтаном благословил, теперь уж по спискам хоругиносец будет (...). Я Василича укрепил: «Возьмись, Вася!» А он, знаешь, горячий у нас... — взялся. И так-то понес, как на крылах, сила-то у него медвежья (И. Шмелев); — Племянник ваш, — продолжал Шубин, — грозитя и митрополиту, и генерал-губернатору, и министру жалобы подать, а кончится тем, что она уедет. Кому весело свою родную дочь губить! Попетушится и опустит хвост (И. Тургенев); Любит петушиться, но милый старикашка (А. Чехов).

Более резкое негативное отношение вызывают сущностные, психологические проявления, характеризующие личность человека: отсутствие личностного начала, приспособленчество (гнездо *хамелеон*); эгоизм и жестокость (*хищник*); злая насмешливость (*ехидна*); хитрость, пронырливость (*лиса*); крайняя жестокость (*зверь*); невежество, бескультурье, нравственная нечистоплотность (*свинья, скот*):

Отлично, он забудет все прежнее и будет помнить только одно: он предатель; он хочет жить, он должен жить, по-свински, по-скотски,

безразлично как, но жить, жить, жить (П. Проскурин); *Коли всякую скверность на Бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом* (В. Гаршин); *Ощущается жажда новой выпивки, чтобы искусственно себя **оскотинить**, ожесточить* (Г. Успенский).

Весьма редко встречается положительная аксиологическая коннотация (в основном это «птичьи») гнезда: *голубь, соловей, сокол, орел, лебедь*:

*Софья пожелала видеть, как танцует Петр. Он щекотно взял старушку за пальцы, повел ее **лебедью*** (А. Толстой); *Сплошная, чистая, без примеси ель росла по обеим сторонам дороги. Каждое дерево было так статно, пышно, богато — на подбор, как отборная рать, и все тонуло в **лебяжьей**, незапятнанной белизне только что выпавшего снега* (В. Панова); *«Прощай, Марья Ивановна, моя **голубушка!** Прощайте, Петр Андреевич, **сокол** наш ясный!»* — говорила добрая попадья (А. Пушкин); *Но, злобясь на коварную вдову, только вспомнит про очи ее **соколиные**, про брови ее соболиные, так и осыплет его мурашками* (П. Мельников-Печерский).

Мы рассмотрели систему языковых (то есть воспроизводимых всем языковым коллективом и зафиксированных словарями), образных значений анимализмов. Однако любое гнездо характеризуется не только реальными ОЗ, но и потенциальными образными ресурсами. Они проявляются:

1) В фактах окказионального словообразования, использующего образы животных (структурная потенциальность гнезда):

*Солнце поднялось за **цыпляче-зелеными** холмами, за ветхими баинями Воронежца* (А. Толстой); *Зыбкий свет костра высвечивает корни старого дерева, обнаженные, **ястребино-скрюченные**, цепко обхватившие валуны* (Е. Носов); *Пара красавцев-дятлов, **жуково-черных**, с белыми фартучками на груди, вылетели из чащи* (В. Шукшин); *Так **змеемудро** скованная стальная цепь развалилась в том звене, которое сработали из женского сердца* (А. Солженицын); ***Мышино-серый** туман подступал ближе и становился беловатым* (В. Вересаев).

Ср. также: *ястребино-горбоносый* (С. Никитин); *соколиноглазый* (А. Толстой); *козлобородый* (В. Ходасевич); *львинокудрый* (Н. Сергеев-Ценский).

Существительные-анимализмы широко используются «открытой» словообразовательной моделью «существительное (образ сравнения В) + существительное (объект сравнения А)»; сравниваемый объект при этом чаще всего воплощается в родовом наименовании «человек»:

*Да, в этих слезах вылилась настоящая свободная душа **человека-птицы!*** (А. Куприн); *И вот, нагавившись вдоволь, напотевившись за чаем и из страха наказания за свои плутни, этот **лиса-человек** кончил тем, что под конец жизни прятал свои деньжонки, скопленные обманом* (Г. Ус-

пенский); *Человек-обезьяна переходит за ним и все щелкает. Явилась вырубка при дороге и с ней, казалось, такая счастливая мысль: сесть на пень будто бы отдохнуть, и человек-обезьяна мимо пройдет* (М. Пришвин).

Ср. также: *глаза-жуки* (Ю. Семенов), *кони-львы* (Н. Лесков), *зверь-сторож* (Ю. Нагибин).

2) В развитии новых образных значений на основе признаков, не использующихся языковой системой (семантическая потенциальность гнезда). Как правило, такая семантическая потенциальность является результатом необычной (окказиональной) сочетаемости.

Например, образное гнездо *заяц* основано на признаке трусости. В художественном тексте возможна актуализация иных признаков, которые приписываются этому животному уже не коллективным языковым сознанием, а сознанием индивидуальным, авторским:

Ударил барабан. Туленин услышал, как рядом каким-то нечеловеческим, заячьим голосом заверещал мальчик. Невыносимый ужас окатил его огнем. Его сильно ударили по плечам железной палкой, но смерть не наступала (О. Хафизов); *Слух у Васьки был тонкий, заячий: чуть хлопнет дверь вдали — Васька вскочит, оправит диван — ничего не заметно — и в кочегарку* (В. Панова).

Петух в системе языка служит образному выражению признаков: важность, заносчивость; драчливость; безвкусица, пестрота в одежде, наряде. В системе индивидуально-авторской семантической деривации этот образ может быть использован для характеристики голоса или движений человека:

Удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивается в нас всякие юродства. В петушьем крике Суворова, как и в собачьем папшете князя Долгорукова, в диких выходах Измайлова я слышу родственную ноту, знакомую нам всем {...} (А. Герцен); *После обедни подкатили мы на тарантасе к воротам. Ильинична, наступив на подножку, едва не опрокинула тарантаса, а Пантелей Прокофьевич прыгнул с сиденья молодым петухом* (М. Шолохов).

Обезьяна устойчиво ассоциируется с гримасничаньем. В художественной речи могут актуализироваться иные признаки: проворство и живость движений, а также общее впечатление, которое это животное производит на человека: нечто уродливо-карикатурное, вызывающе-гротескное:

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьянни, спрятала ее за щеку (А. Куприн); *Помню, как в одном из своих фельетонов в «Последних новостях» она издевалась над одной такой «козой», потратившей с трудом скопленные деньги на покупку красного*

обезьяньего колтачка с победоносно торчащим вверх фазаньим пером (И. Одоевцева).

Большая часть образных гнезд имеет тенденцию к окказиональному расширению. Так, гнезда *лиса*, *медведь*, *муравей*, *петух*, *птица*, *свинья*, *крот*, *жеребец*, *бирюк*, *еж*, *сорока*, *червь*, *клец*, *козел* могут быть пополнены индивидуально-творческими потенциальными образованиями: *лисообразный* (А. Горький), *медведеобразный* (Г. Данилевский), *муравейно* (Ф. Гладков), *муравьино* (Е. Носов), *распетушиться* (К. Симонов), *попетушиться* (И. Тургенев), *птицевидный* (Г. Успенский), *птицеподобный* (Н. Вагнер), *освинелый* (Г. Успенский), *свинеть* (О. Куваев), *по-кротовьи* (А. Первенцев), *кротовый* (А. Горький), *по-жеребчиному* (Е. Носов), *по-бирючичиному* (Л. Толстой), *ежистый* (Л. Леонов), *ежастый* (А. Фадеев), *наежиться* (М. Шолохов), *сорочить* (В. Пикуль), *червиться* (А. Первенцев); *вклецились* (В. Пикуль), *козловатый* (А. Серафимович).

Почти все наименования животных образуют деминутивные формы, наименования детенышей. Этим дериватам «по наследству» передается и образ, и признак сравнения:

— *Где Зоя, не знаешь? — Кажется, у себя наверху. Рассудительная лисичка в такую погоду всегда в свою норку прячется* (И. Тургенев); — *Ну что ты глядишь волчонком? — Я ничего. — Как ничего! Придешь сюда — говоришь, а там и слова от тебя не добьешься: точно немая* (М. Михайлов); *Тихими мышками сидели по кабинетам столты и заправили Уренской бюрократии, — присматривались к забытым бумагам, принохивались к настроениям* (В. Пикуль); *По темному небосклону змейками скользили молнии* (Н. Успенский).

Как уже отмечалось, образный потенциал зоонимов (как, впрочем, и существительных иных семантических групп) проявляется и в «разовых» актах словотворчества от тех слов, которые не располагают семантически дериватами-метафорами, не употребляются ни в качестве компонентов УС, ни в качестве вершин образных гнезд. Среди этих окказиональных компаративных единиц преобладают модели так называемого «творительного сравнения».

На основе проведенного анализа образных гнезд существительных-анимализов могут быть сделаны следующие выводы:

- Зоонимы представляют собой группу мотиваторов, активно участвующих в структурной и семантической образной деривации.
- Большая часть образных дериватов, мотивированных зоонимами, — это слова компаративной семантики. Одни из них характеризуются предельно абстрактным («аморфным») значением и весьма широкой лексико-семантической сочетаемостью; другие имеют компаративное значение более конкретное, фразеологизированное (вследствие определенности при-

знака-основания сравнения); в последнем случае часто имеет место лексическая связанность образного значения.

- Преобладают случаи «параллелизма» семантической и структурной деривации, когда образное производящее (метафора) и образное производное (сравнение) базируются на одном и том же признаке-основании (совмещение деривационной и отраженной образности).

- Значительная часть наименований животных порождает образные пары (около 40 единиц); при этом результатом акта образной деривации является, как правило, прилагательное. В системе зоонимов выявлено 15 цельных ОГ. Еще 5 гнезд образуют наименования совокупностей, групп, классов животных.

- «Расщепление» образных гнезд проявляется в двух вариантах: а) ядерная часть производных образует гнездо, а отдельные слова выступают как своего рода «спутники», каждое со своим мотивирующим признаком; б) от одной мотивирующей базы образуется два-три относительно самостоятельных подгнезда.

- В ОЗ зоонимов обычно используются образы животных, характеризующихся яркими внешними признаками, вызывающими в сознании носителей языка устойчивые ассоциации, поддерживаемые фразеологической системой, в особенности системой устойчивых сравнений.

- В составе гнезд преобладают дериваты, характеризующие **человека** по признакам внешности, поведения, характера, темперамента, нравственным качествам. Это лексика коннотированная, экспрессивная, характеризующаяся разговорно-просторечной сферой употребления и яркой, преимущественно негативной, оценочностью.

Л и т е р а т у р а

Алефиренко 1990 — Н. Ф. Алефиренко. Спорные проблемы семантики: Монография. Волгоград, 1999.

Блинова 1983 — О. И. Блинова. Образность как категория лексикологии // Экспрессивность лексики и фразеологии: Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 1983. С. 3—11.

Загоровская 1983 — О. В. Загоровская. Образный компонент в значении слова // Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака: Межвуз. сб. науч. тр. Воронеж, 1983. С. 16—20.

Земская 1984 — Е. А. Земская. Виды семантических отношений словообразовательной мотивации // Wiener Slavischer Almanach. 1984. Bd. 13. S. 337—349.

Илларионов 1976 — С. Ф. Илларионов. Об образном компоненте в семантике слова и о его роли в выборе производящего // Проблемы ономастологии: Науч. тр. Т. 62 (155). Вып. 3. Курск, 1976. С. 103—109.

Киприянова 1998 — А. А. Киприянова. Об ассоциативной семантической нагрузке зоосемизмов // Семантика языковых единиц: Доклады VI международной конференции. Т. 1. М., 1998. С. 260—262.

Копыленко 1998 — М. М. К о п ы л е н к о. О мотивации наименований животных в тюркских языках // Актуальные проблемы лингвистики: Сб. науч. тр. Алматы, 1998. С. 81—87.

Красных 2002 — В. В. К р а с н ы х. Этнолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. М., 2002.

Кубрякова 1976 — Е. С. К у б р я к о в а. Теория мотивации и определение степеней мотивированности производного слова // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1976. С. 285—292.

Кузнецова 1989 — Э. В. К у з н е ц о в а. Лексикология русского языка. М., 1989.

Лукьянова 1976 — Н. А. Л у к њ я н о в а. О соотношении понятий экспрессивность, эмоциональность, оценочность // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Вып. V. Новосибирск, 1976. С. 12—41.

Лукьянова 1979 — Н. А. Л у к њ я н о в а. О семантике и типах экспрессивных единиц // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Ч. 1. Семантика. Новосибирск, 1979. С. 12—46.

МАС — Словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1981—1984.

Маслова 2001 — В. А. М а с л о в а. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2001.

Огольцев 1978 — В. М. О г о л ь ц е в. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. Л., 1978.

Огольцев 2001 — В. М. О г о л ь ц е в. Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический). М., 2001.

Огольцева 2003 — Е. В. О г о л ь ц е в а. Метафоры-зоонимы в толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова // Русское слово: синхронический и диахронический аспекты: Мат-лы междунар. науч. конф., посвященной 130-летию со дня рождения Д. Н. Ушакова. Орехово-Зуево, 2003. С. 191—195.

Солодуб 1996 — Ю. П. С о л о д у б. Слова-фразеологизмы (на материале существительных со значением качественной оценки лица и образно-семантической мотивацией этого значения) // Фразеологизм и слова: Сб. науч. тр. Новгород, 1996. С. 166—177.

Тихонов 1990 — А. Н. Т и х о н о в. Словообразовательный словарь русского языка. Т. 1—2. М., 1990.

Улуханов 1992 — И. С. У л у х а н о в. О степенях словообразовательной мотивированности слов // ВЯ. 1992. № 5. С. 74—89.

Уфимцева 1986 — А. А. У ф и м ц е в а. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики. М., 1986.

Цоллер 1996 — В. Н. Ц о л л е р. Экспрессивная лексика: семантика и прагматика // Филологические науки. 1996. № 6. С. 62—72.

Ширшов 2004 — И. А. Ш и р ш о в. Гнездовой толково-словообразовательный словарь русского языка. М., 2004.

Н. Б. МЕЧКОВСКАЯ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И МЕТАЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ В ВЕК ИНТЕРНЕТА*

1. В каких фактах сильнее всего сказывается воздействие Сети на естественный язык?

В статье рассмотрено влияние языка и стиля коммуникации в Интернете на несетевое общение и естественный (неспециальный) русский язык. Свидетельством экспансии интернет-коммуникации и ее кодов в обычное общение могут быть следующие группы фактов (перечисленные в направлении от менее к более глубокому проникновению наблюдаемых особенностей в общий язык).

1.1. Знак Интернета (слово, оборот или иной знак) в относительно специальном значении встречается в обычных СМИ, художественных текстах, устной несетевой речи, т. е. за пределами Сети, бумажной литературы по информатике и устного общения компьютерщиков. Примеры (которым не менее 10 лет): слово *Windows* (1993 г., «Деловой Петербург»), *ноутбук* (1994 г., «Коммерсантъ»), *кракер*, *сервер*, *хакер*, *файл* (1996 г., «Огонек»); фразы из «Огонька» 1996 г.: *Браузеры позволяют обрабатывать линки и выводить гипертексты на экран* (С. Пачиков); *Хакеры [...] юзали свободное дисковое пространство* (С. Кузнецов) и т. п. Естественно, что печатные свидетельства в данном случае более надежны (нежели записи устной речи), при этом чем выше тираж издания, тем больше оснований видеть в конкретном заимствовании не окказиональный варваризм, а факт языковой экспансии Интернета. Естественно также, что компьютерные термины в повести и тем более поэме (а не в газетной или журнальной статье) говорят о большей освоенности специального слова общим языком.

1.2. Интернет-слово (или оборот) вошло в общий (неспециальный, нетерминологический) словарь в относительно специальном значении, иначе

* В основу статьи положен доклад автора, прочитанный на международной конференции «Русский язык: система и функционирование» в Белорусском государственном университете (Минск, 5—6 апреля 2006 г.). Работа поддержана грантом Белорусского Фонда фундаментальных исследований (№ Г06-019).

говоря, термин информатики стал известным и (упрощенно) понятным за пределами компьютерных профессий. Примеры: в словарь [Скляр. 1998]¹ включены слова *джойстик*, *дисплей*, *кракер*, *ламер*, *мышь* (компьютерный манипулятор), *сеть* (компьютерная сеть), *софт* и *софтвар* (в значении ‘программное обеспечение’), *хакер*, *хакерский*, *хакерство*, *хакнутый*, *хард* (в значении ‘винчестер’), *чип*, *чиповый*, *чипсет* и мн. др.². При этом значимо, указывает ли лексикограф на те или иные ограничения в использовании слова (на его принадлежность терминологии и/или сленгу, специальные коннотации и т. п.).

1.3. Интернет-знак (слово, оборот или иной знак) приобрело значение, которое выходит за пределы специальной коммуникации. В одних случаях неспециальное значение принадлежит преимущественно сленгу, в других вошло в более широкий уzus.

Примеры: 1) Слово *грузить* (инвариант компьютерных значений: ‘то же, что *загружать*, т. е. заполнять память компьютера’ [Вул. 2005: 142—144] приобрело значения (с неодобрительной коннотацией) ‘вести пустые, бессмысленные разговоры’, ‘лгать, обманывать’, ср. контекст: *Он ей грузит, что на работу по субботам ходит, а сам к Надьке* [Ник. 1998: 93]; подробнее см. в разделе 4.1.

2) Глагол *зависнуть/зависать* (компьютерное значение ‘перестать выдавать результаты и реагировать на запросы извне, [на] действия пользователя (о вычислительной системе)’ [Вул. 2005: 141]) метафорически стал употребляться и применительно к человеку: ‘прекращать работу (о компьютере, переносно — о человеке)’ [Щеп. 2004: 271; Вул. 2005: 142].

3) В более продвинутых случаях неспециальное значение распространяется в более широком узусе, как, например, слово *чайник* в значении ‘неопытный человек, новичок в чем-л.’, включенное в новейший общий словарь русского языка [Кузн. 2001: 1466] с единственной пометой *шутл.* (подробнее о классе явлений, рассмотренных в 1.3, см. раздел 4.1).

Влияние Интернета на естественное общение коррелирует с рядом глобальных тенденций в развитии коммуникации. Эти тенденции сфокусиро-

¹ Сокращения лексикографических источников раскрыты в конце статьи, перед литературой.

² Масштабы экспансии в общее употребление компьютерных слов (и именно англицизмов) легко почувствовать по приложению к [Скляр. 1998]. Во «Введении» к словарю сказано, что в «Приложении» «описана лексика, функционирующая в современных текстах в написании латиницей» (с. 31), т. е. слова отбирались по чисто графической примете. Однако оказалось, что во всех 28 словарных статьях «Приложения» представлены термины только информатики, и все они — английские заимствования (или гибридные дериваты вроде *IBM-совместимость*). Ср. контрастную картину в 4-м томе «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1940 г.): раздел «Иностранные слова и выражения» (используемые без перевода) включал 236 слов и оборотов из латыни и западноевропейских языков; при этом в кругу заимствований из новых языков львиная доля приходилась на французский, а итальянских слов было больше, чем английских.

ванно отражаются в своеобразии языкового сознания людей, связанных с новыми информационными технологиями. Представляется целесообразным назвать эти тенденции и их проявления в языковом сознании пользователей Интернетом (разделы 2 и 3). Это позволяет лучше видеть как предпосылки восприимчивости естественных языков к влиянию Интернета, так и конкретные аспекты такого влияния (раздел 4).

2. Интернет усложняет язык и общение и вместе с тем оказывает на них либерально-демократизирующее воздействие

Для новейшей истории стандартных (литературных) языков характерно сочетание внутренне конфликтных тенденций: с одной стороны, языки в разных аспектах усложняются, а с другой стороны, происходит поверхностная (стилистическая) демократизация общения (подробно см. [Мечковская 2006 (в печати)]). Проявления указанной двойственности в Интернете разнообразны.

Одно из амбивалентных проявлений состоит в том, что наиболее распространенные виды непрофессиональной и неслужебной коммуникации в Интернете (электронные частные письма, чаты, конференции, форумы, гостининые, блоги, личные сайты и др.) представляют собой гибрид письменного и устного общения. По своей роли в жизни человека они заняли место телефона и приятельских контактов, однако в Интернете общение заочное, большей частью анонимное (точнее, «псевдонимное», под *никнеймом*, или *ником*): в чатах, конференциях и подобных жанрах отсутствует идентификация собеседника с реальным человеком, что придает виртуальному общению игровые и маскарадно-карнавальные черты. Поэтому приватное интернет-общение виртуально и в бытовом смысле неотвественно, ненадежно и «несерьезно»; оно склонно к розыгрышам, ёрничеству и мистификациям.

Письменная сторона интернет-общения, его физические условия (клавиатура; пальцы как непосредственный исполнитель речи (а не речевой аппарат)³; заочный характер общения; чаще всего также разделенность во времени инициативного высказывания и ответа) обуславливают, с одной стороны, возможность подготовленных высказываний (вплоть до заранее созданных произведений), а с другой — сохранность («запротоколированность») в памяти компьютера всего обмена репликами.

Впервые в массовом приватном общении на русском языке используется более сложный (по сравнению с родным языком) код — двуалфавитный, в

³ Ср. реплику женщины в «чат-пьесе» В. Пелевина: *У меня пальцы бы не повернулись напечатать такое* [Пелевин 2005: 195], вместо обычного клише типа *у меня язык бы не повернулся сказать такое*.

известной мере двуязычный, с дополнительными обязательными правилами и неязыковыми знаками. Впервые приватное общение в такой высокой мере зависит от аппаратно-технического обеспечения связи. В заурядном и содержательно банальном чате или форуме задействованы не только компьютеры и модемы его непосредственных участников, но также и персонал, специальные программы и техника в узлах Сети (провайдеры, операторы канала, администраторы, модераторы; поисковые системы, браузеры, протоколы оперирования информацией; локальные сети, серверы, хосты и т. п.).

В 1990-х гг. на пространстве русского языка сетевое общение стало модным и достаточно массовым интеллектуальным развлечением «продвинутой» молодежи — забавой, игрой, интерактивным отдыхом, клубом знакомств, «тусовкой», средством самовыражения. Тон задавали преимущественно молодые профессионалы, в том числе студенты, для которых компьютер был основным рабочим инструментом, однако стиль их общения в Сети распространялся вширь. Восприимчивость молодежи к Интернету объясняется, конечно, не только модой, но и глубинными процессами модернизации и информатизации общества (с чем было связано, в частности, обязательное преподавание информатики в общеобразовательных школах (в течение нескольких лет обучения), а также на всех отделениях вузов).

«Устность» приватного и непрофессионального сетевого общения корреспондирует с такими его чертами, как несубординативность и неофициальность, синтаксическая «непостроенность», лексическая вольница (особенно в подростковых чатах и в общении между мужчинами), относительная спонтанность и высокая фатичность (настроенность на установление и развитие контактов), преимущественно в молодежном стиле общения. В значительной части его жанров преобладает шутливо-ироническое и/или игровое (по некоторым оценкам, даже «игроделическое») отношение к самой сетевой коммуникации, к собеседнику, теме и языку Сети.

Установка на языковую игру, т. е. на остроумие, характерна для обоих партнеров сетевой коммуникации: человек не только сам стремится писать «прикольно», но и ожидает «приколов» со стороны партнера. Стремление к языковой игре сказывается также в любви пользователей Сети к сленгу. Истоки подобных интенций связаны с эмоционально-экспрессивными, эстетическими и соревновательными потребностями человека⁴.

Русская Интернет-журналистика, появившаяся в середине 1990-х гг., развивалась в близком стилистическом ключе⁵; естественно, она влияла и на «оффлайно-

⁴ Игровая стилистика русского сетевого общения не раз вызывала отрицательные оценки наблюдателей, в том числе близких к Интернету. Ср. у автора «Нового литературного обозрения»: *недоумок-юзарь, бытовая малограмотность первых юзарей* или такую «реконструкцию» их внутреннего мира: «программист [...] действует в глубоко враждебном окружении» [Гусейнов 2000: 299—300].

⁵ Ср.: «Онлайн-журналистика балансировала между желанием “сделать как в настоящем журнале” и привычкой писать в юзнетовском стиле: агрессивно, легко,

вые» медиа. Что касается сетевой художественной литературы, то в Рунете она развивалась в игровых интерактивных формах «открытого» (создаваемого коллективно) РОМАНа, клубов поэзии: «Буриме», «Сонетник», «Пекарня лимериков», «Сад расходящихся хоку» и др., а также в формах литературных дискуссий (в гостиных, блогах, форумах), конкурсов и выявления рейтингов авторов. Возникли электронные библиотеки классической и популярной литературы на русском языке, в том числе переводов (сайт «Лавка языков»).

Интенсивная литературная жизнь Рунета подтверждает замечательную словоцентричность русской культуры. Особенно показательны здесь данные, приводимые в [Смоленский 2001] относительно электронных библиотек: если в США первая интернет-библиотека («Проект Гутенберга») была основана в 1971 г. и сейчас насчитывает около 3 тыс. текстов; если в крупнейшем проекте «Internet Public Library», у которого для оплаты сотрудников есть спонсорская поддержка, имеется 12 тыс. текстов, то русская «Библиотека Максима Мошкова», обходясь без спонсоров, насчитывает 28 тыс. текстовых файлов.

3. Своеобразие языкового сознания пользователей Интернетом состоит в их расширенной и интенсивной метаязыковой рефлексии

Компьютер (как «языковая машина» по преимуществу) и Интернет, в силу своей лингво-семиотической природы, расширяют и усиливают метаязыковую рефлексия пользователей (по сравнению с предшествующими фазами их онтогенеза или с состоянием языкового сознания людей вне Сети). Непосредственно к этому приводят следующие черты сетевого общения: 1) здесь используются полисемиотические (гибридные, креолизованные) знаки и сообщения; 2) в русском Интернете в той или иной мере используется не менее двух алфавитов (кириллица и те или иные варианты латиницы) и не менее двух языков. Названные черты сетевой коммуникации осложняют, «утяжеляют» общение, однако эти семиотические «перегрузки» усиливают интеллект и семиотическую компетенцию человека⁶.

временами переходя на личности» [Кузнецов 2004: 40]; об интерактивности русской интернет-журналистики (из интервью С. Кузнецова 1997 г.): «В бумажных журналах вообще держишь большую дистанцию между собой и читателем, чем когда пишешь для Сети. Только на Западе сетевые журналы [...] публикуют в Интернете профессиональные статьи. В них не чувствуется этого легкого флирта с читателями, приглашения к диалогу. Точнее, он есть, но не более, чем в обычной статье» [Кузнецов 2004: 84].

⁶ Это согласуется с общей картиной интеллектуально-семиотического онтогенеза: по мере того, как индивид начинает использовать все большее количество разных знаковых систем (например, ребенок учится читать; узнает цифры и другие базовые математические символы; приступает к изучению неродного языка; начинает понимать семиотику географической карты; начинает разбираться в знаках

Далее конкретные проявления указанных особенностей «интернетного» языкового сознания будут показаны на фактах, которые вышли за пределы Интернета (в соответствии с принципами, сформулированными в разделе 1).

3.1. Полисемиотические (креолизованные) знаки и сообщения

В кругу знаков Интернета, которые стали использоваться также и за пределами Сети, можно выделить несколько групп.

3.1.1. «Смайлики» (эмограммы, эмотиконы). Это пиктограммы, образованные комбинацией знаков препинания, отдельных математических и логических символов (+ = > / <), букв (допускающих иконическое прочтение), «косяков» и вертикальных черт (\ || /), знака # (‘номер, фунт’) и т. п.

3.1.2. Универсальный символ в адресах электронной почты: @. Знак восходит к англ. предлогу *at* ‘у, при’ в скорописи; его значение определяют как ‘при’, «эт коммерческое»⁷. По-английски знак @ называют *at*, по-русски — *собака* или *собачка*, по данным [Чад. 2004], — также *абезьяна*, *лягушка*, *плюшка*; по данным [Левик. 2003] — также *жаба*. Смайлики и знак @ широко используются как элементы графического декора в бумажных изданиях, постерах, рекламе; в неэлектронных письмах и объявлениях; в заставках телепередач и т. п. Некоторые из таких знаков и знаковых комбинаций, регулярно используемых вне Интернета, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Небуквенные интернет-знаки и сочетания знаков,
популярные за пределами Сети

Знак	Значение
:-)	улыбка, шутка ☺
:-(печальное сообщение ☹
;-)	подмигивание
:))	счастливый
:-@	на грани срыва
8-O	ужас (расширенные от ужаса глаза и кричащий рот)
@	1) замена слова <i>Интернет</i> , например: @-жанры, @-стиль; 2) декоративная замена буквы <i>a</i> (например, в логотипах и рекламе: альф@-радио, Женский журн@л), в словесно-буквенном декоре ткани и т. п.;
#	1) номер; 2) позиция
:-#	просмотрено цензурой [Миронч. 1997: 64]

дорожного движения; узнает ноты и т. д.), его метасемиотическая рефлексия (включая и метаязыковую) расцветает; одновременно и в связи с семиотическим и метасемиотическим развитием человека развивается и крепнет его интеллект (подробней см. [Мечковская 2004: 243—244]).

⁷ В справочнике [Гук. 2003: 20] приводится пример употребления знака @ в качестве замены предлога *при*: @ виде контролера в троллейбусе я нервно вздрагиваю. Однако, возможно, это только перевод английской интернетной шутки.

3.1.3. Фонетическое и при этом нечисловое употребление названий цифр, а также названий букв. Использование названий цифр и букв в качестве фонетических «блоков» передаваемой фразы пришло из сетевых графико-фонетических шуток. Примеры:

1) Сообщение for you, ‘для тебя’, передается последовательностью цифры 4 (которая по-английски произносится [fo:]) и буквы U или слова YOU (в обоих случаях произносится [ju:], т. е. 4U или 4YOU = ‘for you, для тебя’; омофоничного названию буквы или 4U (в последнем случае звучание имени буквы U семантизируется как слово you). Аналогично CU (= See You ‘Увидимся, пока’); цифра 2 (по-английски произносимая как [tu:]) означает ‘тоже’, поскольку звучание омофонично англ. too ‘тоже’; цифра 3, хотя ее англ. чтение не омофонично слову free, означает ‘свободный’.

2) В сообщении *CUL8R* (= See You Later ‘Увидимся позже, пока’) звучание фразы ([si ju léitê]) передано как последовательность звучаний следующих пяти фрагментов: название англ. буквы C — [si]; название англ. буквы U — [ju]; обычное чтение буквы L — [l]; англ. название цифры 8 — [eit]; название англ. буквы R — [ê];

3) *ICQ* — последовательное называние трех англ. букв — [ai si:k ju:] — образует фразу *I seek you* (‘Я ищу тебя’), ставшую брендом и слоганом компании ICQ (предоставляющей 250 миллионам пользователей программы для моментального обмена сообщениями в Сети). В русской устной речи — *Ася, аська*.

Приведенные аббревиатуры, английские по языку-источнику (но не всегда по географии), живут во всемирной Сети как подлинные интернационализмы. Их известность русским пользователям поддержана, помимо справочников в Сети, печатными изданиями, в том числе для школьников (напр., [Леон. 2005]). Понятно, что создание и употребление знаков такого рода вызвано отнюдь не стремлением к экономии или рационализации связи; это чисто игровой момент в сетевом общении. Из чатов и «эсмэсок» ребусные реплики (типа 4 YOU) проникли в постеры, надписи (изготовителя) на рюкзаках, майках и т. п. товарах молодежного ассортимента.

3.2. Дуалфавитность и графико-орфографические игры русскоязычных пользователей Интернетом

В русскоязычном сегменте всемирной Сети, несмотря на значительную русифицированность персональных компьютеров, основных поисковых и почтовых систем, сетевое общение невозможно, если пользователь не знает латинский алфавит. На практике русскоязычные пользователи не только все дуалфавитны, но и в той или иной мере знают английский язык. Метаязыковая рефлексия пользователей, расширенная двумя алфавитами и двумя языками, замешанная на постоянной игре со словом и буквой, проявляется в ряде языковых особенностей русского Интернета, прежде всего в бурном и разнообразном смеховом переименовании английских терми-

нов, а также в игровой фонетизации письма (см. ниже, раздел 3.2.3). Ср. изобретательные названия интернет-проектов: 1) новостное агентство «Го-нец» (*Go Nets*)» (при хорошей содержательности рус. *гонец*, оно еще и обращает читателя к Сетям: *Go Nets*, т. е. 'иди(те) <в> Сети'); 2) «двойное» имя интернет-журнала: «*Ай / Eye*», из которых 1-е имя (русское) есть транскрипция 2-го («содержательного»: *Eye* — 'глаз') и одновременно — русское междометие.

Большинство процессов, связанных с дуалфавитностью и двуязычием Рунета, нашло свое отражение также и за пределами сетевого общения.

3.2.1. Буквенные латинско-русские гибриды. Примеры (именно сетевого происхождения): 1) *Сдука* 'компакт-диск' (произносится: *сиди́шка*); 2) *от скуки* *пом.ру* (Л. Петрушевская); 3) *Тсой жыфф!* 'Цой жив' (лозунг на демонстрации в Новосибирске, см. фотографию в журнале «Русский Newsweek» (2005, № 17, с. 56). Понятно, что смешения кириллицы и латиницы в СМИ и искусствах восходят не только к сетевым контаминациям; здесь источники различны и намного старше компьютера и Сети⁸. Однако ни один источник не соединял два алфавита так легко и порой мотивированно, как это делает компьютер.

Обязательная, хотя и частичная «латинизация» русскоязычных пользователей Сети вызвала причудливые и отчасти иррациональные алфавитные игры. Повидимому, они связаны с особенно глубокой укорененностью алфавитов в языковом сознании человека, а также с такой технической случайностью, как совмещение двух алфавитов на одной клавиатуре.

На заре Рунета, когда часто использовались нерусифицированные компьютеры, появились тексты анекдотов и шуточных стихов, сочинители которых обходятся, по выражению Г. Гусейнова, «латинской симуляцией русских букв»: использовались только те латинские буквы, которые по начертанию «омографичны» русским (фонетическое значение которых чаще всего другое). Ср. образец такого письма, где почти все буквы — прописные, поскольку они чаще (чем строчные) совпадают с русскими, где отсутствуют буквы *Ч, Ц, Ш, Щ, Ы, Ю, Я* и где вместо мягкого знака набирают строчное лат. *b*, вместо *У* — *Y*, а вместо буквы *З* — цифру 3: «НА КАВКАЗЕ ЕСТЬ ТЕРЕК-РЕКА. [...] ВОТ ЗАМЕР СОВСЕМ. ТАК ЕМУ, СУКЕ ! [...] УРА! УРА!» (цит. по: [Гусейнов 2000: 312]).

В Рунете распространились, отчасти в шутку, для записи международных и английских частотных клише сочетания кириллических букв, которые можно назвать «клавиатурными кальками»: каждая латинская буква заменяется в них той

⁸ Ср. наблюдения В. Г. Костомарова: рубрика «*Stil'naya stranica*» (в «Московском комсомольце»); компакт-диск под названием «*Vremya, vpered!*», о чем сообщил (т. е. растиражировал написание) еженедельник АиФ; названия периодических изданий с контрастным соединением дореформенных кириллических букв (*Ъ, ъ*) и английской графики: «Коммерсантъ-daily», «Коммерсантъ-weekly», журнал «The Golden Age» — «Золотой вѣкъ» [Костомаров 1999: 280]. В этом же духе смешал алфавиты в названии своего романа Викт. Ерофеев: «*Russkaja красавица*» (1990).

кириллической буквой, которая расположена на одной клавише с латинской. Примеры (зафиксированные также в [Вальт. 2004: 136, 129, 131, 172]):

англ. *BYE!* (bye, до свидания) передается русскими буквами как *ИНУ!*;

англ. *PLS* (please, пожалуйста) — как *ЗДЫ*⁹;

лат. *P.S.* (постскриптум) — как *ЗЫ*;

лат. *RE* (повтор сообщения) — как *КУ*.

3.2.2. Графико-морфемные и графико-лексические гибриды. Примеры: 1) ...начали не с литературы, а с *«help'ов», компьютерных учебников, энциклопедий и словарей* (1996 г., «Коммерсантъ»); 2) ...обзавелись *nickname'ом* (1997 г., «Вечерняя Москва»); 3) в заглавии статьи в глянцево-м журнале о мобильной связи (март 2006 г.): *Как нас love'ят операторы* (кроме буквенного остранения, в заглавии обыгрывается возникшая двусмысленность: *love'ят* — это и 'ловят' и 'любят'); 4) в названии авангардного московского театра, который позиционирует себя как театр отклика на реальные («документальные») события современности, — *«Teamp.doc»*, а также в названиях его спектаклей (например, *«Беслан.doc»* (2005) — о захвате заложников в Беслане в сентябре 2004 г.)¹⁰.

Когда графические контаминации затрагивают семантику, перед исследователем встает новый объект, в данном случае — другой аспект русского компьютерного языка: история того, как русскоязычные программисты и сетевики перенимали, учась, переименовая и играя, английские термины. Однако эта страница в истории русского интернет-компьютерного языка, может быть, самая пестрая и полная экспрессии, лежит вне темы данной статьи.

3.2.3. Вершина метаязыковой рефлексии пользователей: игровая фонетизация письма. Одно из самых значительных проявлений повышенной метаязыковой рефлексии в Рунете связано с самостоятельным (не на филфаках, а в чатах) осознанием относительной раздельности звучания и письма. Русскоязычные «чатляне» радостно открыли для себя, что школьные муки с выбором буквы *А* или *О* в безударном слоге, *И* или *Ы* после *Ц* и т. п. — «напрасны», потому что выбор не влияет на звучание; что *яд* и *йад* произносятся одинаково; что *пруцца* ближе к реальному звучанию, чем *прутця*, и т. д. В Рунете распространилась мода на клишированные фразы и обороты в шутливой «фонетической» орфографии (которую ее сторонники иногда называют *албанским письмом*¹¹) и с особыми сленговыми значениями: *Выпей йаду!* 'отстань'; порицания: *Аффтар, убей*

⁹ Ср. пример в [Левик. 2003: 175]: *Зды, не делай этого.*

¹⁰ Знак *.doc* обозначает 'расширение файлов, с которыми обычно работают текстовые редакторы' (сокращение от англ. *document* 'документ, текст') [Гук. 2003: 70]; запись *.doc* автоматически заканчивает имя, которое присваивается новому файлу при его сохранении.

¹¹ В московском молодежном сленге слово *албáнец* известно в значении 'дурак' [Левик. 2003: 15].

сися; падонки; пруща; жывотное; похвала: *Аффтар*, *пешы ещцо* (или *исчо*); *Аффтар жжот* (т. е. ‘зажигает’); *Аццкий сотона* ‘Адский сатана’; *Пазитиф!* ‘Отлично!’, *Готичьно* (или *Прекольно*) ‘Нормально, здорово’; иногда с подключением латиницы: *Тсой жыфф!*; написания без пробелов: *Ржунимагу*; *Фтему!* ‘согласен’; *Фтонку!* ‘К черту!’ и т. п. (цит. по: [Вернидуб 2005]). В Рунете в «албанской» орфографии написаны целые рассказы, или *кратиффы*, как их называют сами *аффтарты*¹².

Метаязыковые открытия Рунета не только живут в Сети и близких к ней бумажных изданиях, но и проникают в общую печать. В мае 2005 г. русский компьютерный язык стал темой номера журнала «Русский Newsweek», под слоганом «У языка есть афтар», с многочисленными демонстрациями сетевого письма и с прогнозом (помещенным на 3-й странице вместе с анонсом темы): «Из “виртуала” интернет-язык переходит в “реал”» (см. [Вернидуб 2005]).

В «чат-пьесе» В. Пелевина «Шлем ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре» (2005) орфографические инновации (представленные уже в заглавии произведения, т. е. в авторской речи) постоянны в речи одного из персонажей (в ремарках он обозначен как Sliff_zoSSchitan (другие персонажи называют его *Слив*)¹³.

«Албанское» письмо «сетевых эстетов» — это, конечно, не более, чем игра, плод «продвинутой» метаязыковой рефлексии. Его влияние на реальную орфографическую практику равно нулю. «Албанская» орфография, лишняя раз убеждая фантазеров в пользу орфографической нормы, тем не менее вносит свой полезный вклад в расширение метаязыковой рефлексии посетителей Рунета и развитие либеральной лингвистической идеологии.

¹² С. Кузнецов, говоря о написаниях типа «Паравозов» (виртуальный персонаж одного сервера 1996—1997 гг.), указывает на зависимость русских фонетических написаний от английских, а английских — от Оруэлла: «Небрежное и специально неверное написание широко распространено в английской части Сети (самый известный пример — “u” вместо “you”). Обычно слова упрощаются, приближаясь к фонетической транскрипции. Интересно отметить, что часть из них (к примеру “luv” вместо “love”) восходят к “1984” Оруэлла — книге, судя по всему, вообще довольно популярной в американской хакерской субкультуре (“Большой Брат” как призрак тотального контроля над Сетью и т. д.)» [Кузнецов 2004: 186].

¹³ В обычном письме это было бы «слив засчитан». В аргументе компьютерщиков *сливать* означает: 1) копировать; 2) скачивать; 3) делать резервную копию [Чад. 2004]. В пьесе есть диалог о письме Слива, созвучный информации в [Вернидуб 2005]: «Nuts cracker. Про Слива тоже нельзя сказать, что он ошибки делает. Просто он пишет по-албански. Organizm (-: . По-албански? Nuts cracker. Кажется, так это называется у сетевых эстетов. По албанским стилистическим принципам нельзя два раза одинаково писать одно и то же слово. Иначе сошлют в Бобруйск» [Пелевин 2005: 42—43]. Имена персонажей в ремарках пишутся латиницей, а имя одного из них кончается «смайликом»: Organizm (-: .

*3.3. Интенсивная метаязыковая рефлексия в Интернете
отвечает одной из долговременных в истории коммуникации
тенденций, состоящей в усилении значимости в общении
метаязыковой семантики*

Примеры графико-орфографических игр в русском Интернете были приведены с одной целью: показать повышенную метаязыковую рефлексивность в общении русскоязычных пользователей. Разумеется, проявления метаязыковой рефлексии компьютерщиков в сфере семантики (в интернет-лексике и фразеологии), в особенности игры с английскими заимствованиями, значительно более разнообразны и экспрессивны. Однако графико-орфографическая рефлексия — это, по-видимому, самое сильное и в известной мере новое проявление метаязыковой рефлексии говорящих. Шутки с буквами и азбуками, конечно, давно известны в истории культур (ср. утратившие серьезность акrostихи и связанный с ними жанр «веселых азбук»; палиндромы; загадки типа «*A и B сидели на трубе...*» и т. п.), однако по массовости распространения и при этом глубине рефлексии игровая «албанская орфография» — явление беспрецедентное.

Повышенная метаязыковая рефлексия компьютерщиков, выходя за пределы Интернета, вливается в более общую и широкую тенденцию, имеющую место в истории коммуникации, — тенденцию к возрастанию насыщенности повседневной письменной и устной речи метаязыковыми значениями. Об этом мне доводилось писать не раз, поэтому ограничусь ссылками: [Мечковская 1993; 2004: 241—246, 396—397; 2004a].

4. Интернет-инновации в естественном языке

Есть компьютерные слова и словосочетания, вошедшие в повседневную речь сотен тысяч говорящих по-русски людей: *компьютерные игры, посмотреть в Интернете, зайти на сайт, скачать программу* и т. п. Слова *Интернет, сайт, адрес* (или *сообщение*) в *Интернете, Сеть, всемирная паутина* и т. п. ежедневно звучат по радио и телевидению, становясь привычными для миллионов людей, в том числе и для тех, кто не пользуется Интернетом. Возникли идиомы, связанные с информатикой: *компьютерная вдова* ‘женщина, муж которой настолько занят компьютером, что находится как бы в разлуке с женой’¹⁴ (по аналогии с *соломенная вдова*), *компьютерный мальчик* ‘молодой программист высокого класса’¹⁵. Подобные факты отражают экспансию информатики в жизнь.

¹⁴ По аналогии с оборотом *соломенная вдова* ‘жена, которая находится во временной разлуке с мужем, не живущая с мужем’ [Кузн. 2001: 1233].

¹⁵ Ср. запись устной речи: *Я знаю, компьютерные мальчики женщин за людей не считают!* (цит. по: [Кузнецов 2004: 270]).

Однако есть другие «случаи из языка» (Л. Рубинштейн): не сам Интернет, но его язык и языковое сознание пользователей влияют на общий язык. В этих случаях слова и конструкции хотя и связаны в своем происхождении с информатикой, однако вышли за ее предметно-тематические границы и порой уже не ощущаются как неологизмы и как заимствования из специальной области знаний/занятий.

В данном разделе представлены «случаи из языка» второго рода — «продвинутые» и вместе с тем не всегда заметные факты влияния языка Интернета на общий язык.

4.1. Компьютерно-интернетные слова и значения в неспециальном употреблении

В соответствии с принципами, сформулированными в разделе 1, ниже представлены слова и обороты, в которых развилось новое значение, референтно вышедшее за пределы информатики. При этом представлялось нецелесообразным ограничивать языковой материал кодифицированным литературным языком, поскольку, как известно, разговорный язык и профессиональная речь, в том числе профессиональное просторечие, — это основные каналы обогащения общенародного языка, включая его кодифицированные формы. В большинстве случаев вначале приводится то значение слова, которое свидетельствует о его компьютерно-интернетном происхождении, и затем значение, относящееся к явлениям за пределами информатики. Ударение указано в том случае, если оно приводится в лексикографических источниках.

- *ака* — 1) в интернет-общении — указание на другой адрес, имеющийся у человека в сети (акроним от англ. *also known as*) [Леон. 2005: 751]; 2) псевдоним [Щеп. 2004: 268].

- *гэймер* — 1) (*жарг.*) игрок в компьютерной игре [Ваул. 2005: 99]; 2) любитель компьютерных игр; 3) азартный участник ролевой игры [Вальт. 2004: 77].

- *глючный* (о человеке) — 1) (*жарг.*) постоянно выдающий нежелательные побочные эффекты, работающий со сбоями, ошибками [Ваул. 2005: 105]; 2) путаник, часто ошибающийся (о человеке) [Щеп. 2004: 270]. Ср. в [Елистр. 2005: 87]: *глючный* — странный, необычный (о человеке, поведении), неисправный (о компьютере, программе и т. п.).

- *грузить* — компьютерные значения слова см. в разделе 1; за пределами информатики: (*неодобр.*) 1) вести пустые, бессмысленные разговоры; запись 1995 г.: *Да грузят они, не нужны им сиамские (котята). Кому нужны, тот сразу купит*; 2) лгать, обманывать; запись 1994 г.: *И второго апреля грузишь по инерции?* [Ник. 1998: 93]; характерны также дериваты, связанные с нетерминологическим значением слова: *грузия* — (шутл.) ерунда, лишняя, ненужная информация (запись 1996 г.: *А учителя ей говорят типа того, что лекция ваша — такая грузия, мы и сами знаем про все это*); *грузин*, *грузчик* — (шутл.) лгун, обманщик; человек, который говорит вздор, ерунду; записи 1996 г.: *Грузин — кто «грузит», болтает ерунду всякую; Он грузин еще тот, только уши подставляй под лапцу* [Ник. 1998: 93]; в языке хиппи: *загруз* — 1) навязывание собеседнику темы разговора; 2) пе-

редача информации, долгий рассказ; 3) инструктаж перед игрой, когда мастер знакомит игрока с характеристиками игрового мира, его персонажа и правилами игры [Щеп. 2004: 271].

- *делит* — (*шутл., школьн.*) школьный туалет (от англ. *delete* — название клавиши, удаляющей фрагмент компьютерного файла); запись 2002 г.: *Делит открыт? Пойду отлить* [Вальт. 2004: 94].

- *зависнуть / зависать* — 1) перестать выдавать результаты и реагировать на запросы извне, [на] действия пользователя (о вычислительной системе); 2) о пользователе: *Ну что, завис?* [Ваул. 2005: 142]. Ср. также в сленге: 1) находиться в загуле, в запое; 2) не работать, бездельничать, бить баклуши [Елистр. 2005: 132]; в языке хиппи: прекратить работу (о компьютере, перен. — о человеке); оставаться где-л., теряя представление о времени и реальности: *зависать на флэту* [Щеп. 2004: 271].

- *ИМХО* — по моему мнению (транслитерация английского акронима *IMHO* (*In My Humble Opinion*; дословно ‘по моему скромному мнению’); «клише, которым в электронной переписке [...] подчеркивается, что то или иное суждение не претендует на объективность и является личным мнением автора» [Леон. 2005: 696]; в Сети отмечены косвенные формы слова: *без имха, по имху*, мн. ч. *имхи* [Калмыков, Коханова 2005: 231]. В молодежном общем сленге (записи устной речи): *Это полнейшее фуфло, имхо* [Ник. 1998: 161]; *Ты достал своими имхами, парень!* [Вальт. 2004: 133]; в художественном тексте (сохраняется орфография и пунктуация первоисточника): *Манстрадамус сказал что все определялица тем что ты видиш. Имхо если я вижу самое важное я и есть Тисей* [Пелевин 2005: 177—178].

- *интерфэйс* — 1) программа-посредник (различных специализаций), обеспечивающая взаимодействие пользователя с операционной системой, с сервером сети и др.; 2) (*шутл.*) внешний вид, одежда [Вальт. 2004: 135].

- *кйборг* — 1) робот; 2) некрасивая девушка [Левик. 2003: 197; Вальт. 2004: 145].

- *компьютер* — 1) электронно-вычислительная машина [Кузн. 2001: 447]; 2) голова, ср. *Компьютер болит* [Елистр. 2005: 182].

- *коннектиться* — 1) (*жарг.*) связываться при помощи модема [Ваул. 2005: 217]; 2) завязывать отношения; ср. в художественном тексте: *...получилось коннектиться с кучей московского теленарода* [Гаррос-Евдокимов 2005: 140].

- *ламер* (от англ. *lamer* ‘хромой’) — 1) (*разг., неодобр.*) неопытный пользователь (обычно о считающем себя достаточно сведущим в компьютерах) [Ваул. 2005: 225]; 2) человек, сильно переоценивающий свои способности; «низкопрофессиональный человек, хвастающийся своими знаниями» [Вальт. 2004: 175]; по данным [Левик. 2003: 239], *ламер* — полный дурак, тупица, «чайник»; дилетант; ср. также расширительное толкование слова в [Калмыков, Коханова 2005: 229]: *ламер* — ‘человек, который мало что знает, но не стремится научиться, так как считает себя неизмеримо крутым’¹⁶.

- *монитор* — 1) устройство компьютера, предназначенное для вывода на экран текстовой и графической информации; дисплей [Кузн. 2001: 555]; 2) групповой секс [Ник. 1998: 254; Левик. 2003: 270].

¹⁶ *Чайник*, в отличие от *ламера*, хотя «пока мало что знает, но стремится узнать, поэтому над ним хотя и подшучивают, но тем не менее относятся с уважением. Быть чайником не зазорно. Зазорно быть ламером» [Калмыков, Коханова 2005: 229].

▪ *ник* (англ. *nickname* — ‘прозвище; уменьшительное имя’) — 1) (*жарг.*) сетевое имя, псевдоним участника чата, форума, пользователя электронной почты [Ваул. 2005: 268]; 2) кличка, прозвище, псевдоним; запись 2001 г.: *И последняя просьба на этот раз, потрудитесь запомнить мой ник* [Вальт. 2004: 212].

▪ *ОК* — о’кей; частица, выражающая согласие; в устной и письменной речи предикатив со значением ‘все в порядке; хорошо; отлично, ладно’, напр., *Всё ОК, письмо пришло во-время* (буквы прописные, как на панели некоторых подменю, где имеет место выбор из двух команд: *ОК*, т. е. ‘согласен’, ‘ввод’ или рядом *отмена*, т. е. ‘не согласен’).

▪ *спам, спáмер, спáмерский, спáмить* — 1) (*неодобр.*) массовые почтовые рассылки (обычно рекламного характера), проводимые без согласия пользователя; сетевой мусор, выдача незапрашиваемой коммерческой рекламы и другой информации в Интернете [Ваул. 2005: 379]; 2) непрошенная рекламная почта [Калмыков, Коханова 2005: 231].

▪ *хáкер* — 1) компьютерный хулиган, проникающий в чужие информационные системы из озорства, с целью овладения информацией, введения в них ложных данных и т. п. [Кузн. 2001: 1438]; 2) человек, который моет посуду перед едой [Левик. 2003: 494].

▪ *хáчить* — 1) взламывать, изменять программу [Вальт. 2004: 365]; 2) что-либо исправлять [Левик. 2003: 498].

▪ *чáйник* — 1) начинающий, неопытный пользователь [Ваул. 2005: 425]; 2) (*шутл.*) неопытный человек, новичок в чем-л. [Кузн. 2001: 1466]; *чáйница* — ‘дилетантка’ [Левик. 2003: 511]. «Компьютерное» значение рус. *чайник* соответствует английскому жаргонному *dummy* ‘новичок’ (исходно *dummy* — это ‘кукла, чучело, манекен’). Сочетание *for Dummies* и *Dummies Man* в качестве зарегистрированного имени (со значком ®) фигурирует в книжной серии «... *for Dummies*» (например, *Parenting for Dummies* дословно ‘родительство для новичков’ и т. п.). Рус. *чайник* в значении ‘неопытный человек, новичок в чем-л.’ вышло за пределы компьютерного языка: как и желто-черно-зеленая гамма на обложках книг «для чайников» по информатике, слово *чайник* стало опознавательным знаком книг по самым разным специальностям и занятиям («Психология для чайников», «Квартирный ремонт для чайников», «Гитара для чайников» и т. п.). Со словом *чайник* уже есть и переиначенная поговорка: «Плох тот *чайник*, который не мечтает стать самоваром, то есть, я хотел сказать, профессионалом» [Гук. 2003: 479]. *Чайник* в значении ‘новичок’ имеет не компьютерное происхождение; в лагерном жаргоне *чайник* — ‘друг, приятель’; *полный чайник* — ‘богатая жертва картежного шулера’; ‘богатый человек’ [Балд. 1992: 183]. По данным [Елистр. 2005: 458], в русском сленге *чайник* применительно к человеку имеет несколько разных значений: 1) бездельник; 2) спортсмен-любитель; 3) нежелательный, небогатый посетитель ресторана, бара и т. п.; 4) плохой или неопытный водитель; 5) дурак, идиот, тупица; [...] 8) графоман. Однако именно информатика привела к вхождению этого слова в общий и литературный язык¹⁷.

¹⁷ С. Кузнецов в 1998 г., приведя веер этимологий «компьютерного» значения слова *чайник* и россыпь связанных с ним ассоциаций, писал: «Перечисленные компоненты в сумме дают образ, близкий к тому, что стоит за словом “чайник”. Изобретательный, как Эдиссон, и безумный, как пациент психбольницы; дорвавшийся до изменяющих сознание компьютеров и вконец от них одуревший; много-

▪ *юзать, юзйтъ, юзжътъ* — 1) (*жарг.*) пользоваться (программным обеспечением), а также дериваты: *юзверь* ‘пользователь’, *юзер* ‘пользователь’, *юзеровский* ‘относящийся к пользователю, к его деятельности’ [Ваул. 2005: 436]; 2) использовать, применять, употреблять [Ник. 1998: 540; Вальт. 2004: 393]; объектом может выступать также и человек: *Я тебя буду в этом деле юзжътъ* (и *южътъ*); *На этом юзжътъ некого* [Елистр. 2005: 492—493]; имеются также дериваты с семантикой, вышедшей за пределы информатики: *заюзать*, ‘использовать’ [Левик. 2003: 173], *поюзжътъ* ‘использовать, употребить, попользоваться’, *поюзанный* ‘бывший в употреблении’, *неюзабельный* ‘непригодный к употреблению, использованию’ с примером из студенческой песенки: *В море остров был тупой, неюзабельный такой* [Вальт. 2004: 212, 251]; ср. в художественном тексте: ... *оборотистые мужички, весьма активно юзавшие казенное оборудование* [Гаррос-Евдокимов 2005: 97].

Неспециальные значения развились также у некоторых компьютерных словосочетаний, в результате сочетания стали идиомами:

- *включи компьютер* — ‘подумай, пошевели мозгами’ [Елистр. 2005: 182].
- *диск отформатировать* — (*шутл.*) ‘избить кого-л.’ (чаще как угроза), запись 1999 г.: *Я тебе диск-то отформатирую!* [Вальт. 2004: 106].
- *по умолчанию* — ‘как обычно’ (поступать, действовать), если не было другой договоренности или указания; ср. «компьютерное» значение: ‘значение или действие используются или выполняются таким образом, если программистом или пользователем не указано иначе’ [Ваул. 2005: 404].
- *Ты что, картриджа объелся?!* — (*шутл.* или *неодобр.*) о странных поступках, действиях человека, который ведет себя подобно сумасшедшему (Образовано по аналогии с разговорным выражением *Ты что, белены объелся?*) [Вальт. 2004: 142].
- *файлы не сошлись* — (*молодежн., шутл.*) кто-л. недоумевает, не понимает чего-л., сильно удивлен чем-л.; [запись 1999 г.]: *И тут у нашего фазера файлы не сошлись, капитально крыша поехала* [Вальт. 2004: 334].

4.2. Синтагматические влияния Интернета на дискурс и предложение

Персональные компьютеры, Интернет, а также повсеместное преподавание информатики оказывают разнонаправленное влияние на синтагматическую организацию письменной и устной речи за пределами Сети. Представляется существенным различать ряд аспектов этого влияния.

Во-первых, в зависимости от того, какой объект испытывает влияние, целесообразно различать макро- и микросинтаксические изменения. Макросинтаксические изменения затрагивают композицию всего текста и та-

численный, как население КНР, и столь же непознаваемый для европейского ума, он триумфально высится в центре компьютерного мира, вытесняя на периферию профессионалов и хакеров. Будущее принадлежит ему. На смену каждому сгинувшему — обучившемуся — чайнику приходят двое новых, вооруженных, наподобие цитатника Мао, книжкой Фигурнова и серией “... для чайников”» [Кузнецов 2004: 403—404].

кие единицы организации текста, как сверхфразовое единство (или, в другой терминологии, сложное синтаксическое целое, абзац и т. п.), в то время как микросинтаксические изменения относятся к структуре предложения и реализации структурных схем в высказываниях.

Во-вторых, в зависимости от того, каков вектор (характер) влияния Интернета на синтагматику обычной речи, естественно различать, с одной стороны, «гипертекстовое» (усложняющее) влияние, а с другой стороны, — влияние «устности» и «неофициальности» частного интернет-общения, что делает его синтагматику если не проще, то доступнее, а отношение говорящих к синтаксической «невыврожденности» высказываний — терпимее.

Как показано в Таблице 2, комбинация четырех названных признаков, теоретически говоря, позволяет различать четыре класса синтагматических изменений. Однако в реальности наблюдаются только три из них: феномен текста (как некоторого «законченного целого»), за исключением «устных рассказов», не является жанром устного общения. Поэтому в соответствующей клетке стоит «минус».

Таблица 2

Классы синтагматических изменений,
обусловленных влиянием Интернета

Уровневая отнесенность наблюдаемых изменений	Вектор (характер) влияния	
	Усиление черт «гипертекстовости»	Усиление черт «устности»
Макросинтаксис (композиция текста; сверхфразовые единства, абзацы и др.)	+	–
Микросинтаксис (предложение и его речевые реализации в высказываниях)	+	+

4.3. Усиление «гипертекстовых» черт
письменной и публичной устной речи

Практически во всех жанрах письменного дискурса и в профессиональной устной публичной речи (представителей таких профессий, как преподаватель высшей и средней школы, юрист, теле- и радиожурналист, публичный политик, губернатор) усилились «гипертекстовые» и близкие к ним связанные с Интернетом черты. Растет рубрицированность текстов: авторы дробят текст на все более мелкие фрагменты, озаглавленные и/или пронумерованные. Абзацы становятся короче, при этом в наборе книг и статей стали популярны абзацы не с отступом, а с выступом. Различные

перечни (с преобладанием номинативов или инфинитивов) все чаще оформляются с помощью графических маркеров, входящих в компьютерные наборы дополнительных символов: >, √, •, ●, ○, ► и т. п. Возрастает и подчеркивается композиционная стандартность малых текстов одного жанра. Например, на одной газетной или журнальной полосе печатаются несколько небольших рецензий или аннотаций в «анкетной форме», что задает их стандартное строение: все рецензии образованы стандартной последовательностью разных «ответов» на одинаковые и повторяемые вопросы: типа «Главный козырь», «О чем кино», «Обратите внимание» и т. п.).

В печатных СМИ, на радио и телевидении все шире и интенсивнее используются различные виды метатекстовых компонентов: многоступенчатые рубрики, сложные заголовочные комплексы (заголовок и 1—2 подзаголовок, нередко с богатым смысловым взаимодействием), «врезки», ключевые или «ударные» цитаты за пределами текста (как на «своей» полосе, так и в других местах); всевозможные анонсы и многократное представление главной информации. Все шире используется табличная запись различных характеристик — в том числе в публикациях, где еще недавно такая стандартизация была невозможна, — например, в обзоре музыкальных направлений или школ живописи.

Некоторые из указанных черт встречаются также и в устной разговорной речи: например, не в лекции, а в частном разговоре человек, перечисляя свои доводы, может разделять их, «нумеруя» буквами: *Надо учесть, что, а); б); в) и т. д.* В недавнем прошлом такое средство упорядочения содержания в устной речи было редкостью.

Следует подчеркнуть, что феномен «гипертекста» на несколько тысячелетий старше Интернета: в древней и средневековой книге их гипертекстовые черты связаны с такими компонентами, как комплексы метатекстовых «ключей», обрамляющих собственно произведение (предисловие (иногда несколько предисловий, написанных разными авторами), посвящение(я), послесловие(я)); оглавления; указания относительно порядка чтения (например, указания на приуроченность отрывков из Библии к определенным датам в церковном календаре); указание на параллельные места (например, маргиналии в Новом Завете, отсылающие к соответствующим местам в Ветхом Завете); постоянные ссылки на прецедентные важные тексты (цитаты, упоминания, аллюзии, реминисценции); глоссы, глоссарии, конкордансы и т. п. С появлением книгопечатания гипертекстовые черты в книжно-письменной культуре стали более регулярны, весомы и разнообразны (ср. справочно-библиографический и критический аппарат в современных ученых историко-филологических изданиях). Поэтому Интернет отнюдь не является единственным источником «гипертекстовых» черт современного общения. Однако Интернет усиливает гипертекстовость общения; это касается и отдельных произведений, и коммуникации в целом, в том числе за пределами Сети.

4.4. Усиление устно-разговорных черт в синтаксисе СМИ и публичной устной речи под влиянием Интернета

В приватной сетевой коммуникации представлены практически все синтаксические и лексические особенности, характерные для разговорной речи, например, порядок слов, который соответствует очередности «всплываний» отдельных представлений в сознании пишущего. Эти черты легко проникают в служебную переписку по электронной почте и сетевую журналистику¹⁸. Из Интернета подобные аграмматизмы сторицей возвращаются в письменность за пределами Сети; в результате в лингвистической идеологии общества отношение к синтаксической невыстроенности письма становится всё более терпимым.

В качестве иллюстрации приведу две выдержки из интернет-общения, позже воспроизведенные в культурологической книге, т. е. ставшие фактами коммуникации также и за пределами Сети.

(1) Окончание электронного письма российского панка автору веб-статьи о двух рок-звездах (Киркорове и Летове): *«Вот сам же пишешь — фанера, а у Летова ты фанеру слышал? Короче, даже больше и писать не хочется, глупо это все. Честные и совершенно бескомпромиссные песни Летова невозможно сравнить с конъюнктурным спермопусканием мужа Пугачковой»* [Кузнецов 2004: 176].

(2) Из заметки [«Без названия»] С. Кузнецова, помещенной осенью 2000 г. на сайте «НасНет» и позже вошедшей в книгу автора: *«Так возникли веб-обзоры и веб-дизайн (понятие, куда менее известное в Америке, чем в России... и уж точно более известное в России, чем дизайн просто: не бывает сайтов без веб-дизайнера, а магазинов без дизайнера — пруд пруди)»* [Кузнецов 2004: 180].

5. Интернет усиливает и расширяет ряд важных тенденций в коммуникативном развитии человечества

В воздействии Интернета на естественные (этнические) языки и речевое общение полезно различать два аспекта. Во-первых, в языках сложились (или складываются) их компьютерно-интернетные подязыки (как правило, в двух основных версиях — нормативно-стандартной и жаргонной), и происходит прямое заимствование в обычный язык специальных слов и значений, новых оборотов и стилистических образцов; указанные инновационные процессы актуальны и достаточно заметны, хотя в масштабе всего языка они носят периферийный и поверхностный характер. Во-вторых,

¹⁸ В учебнике по интернет-журналистике приводится в качестве примера того, как не надо писать на форумах, следующая фраза профессионала Сети (генерального директора хостинг-компании): *«Это будет вывешено как откроется сайт автоматизированный по партнерским программам вот вот* (цит. по: [Калмыков, Коханова 2005: 202]).

Интернет усилил и расширил действие некоторых давних тенденций в истории коммуникации; влияние Интернета как бы влилось в более широкий поток информационно-семиотических процессов, определяющих историю языков и форм общения.

В этой связи можно указать на ряд многовековых коммуникативных тенденций, к которым подключился Интернет, тем самым форсируя тенденции и распространяя их вширь.

1) Интернет в небывалой прежде мере усиливает метаязыковую рефлексия говорящих и продолжает увеличивать насыщенность современной письменной и устной речи метаязыковыми значениями.

2) Интернет развивает гипертекстовые черты речи: а) он усиливает внутреннюю структурированность текстов; б) продуцирует, выявляет и подчеркивает внешние (интертекстуальные) связи текстов между собой.

3) Интернет вносит свой немалый вклад в усложнение естественных языков: возрастает количество знаков и правил их комбинирования; усложняется обычное (устное и письменное) общение; под влиянием престижных образцов интернет-коммуникации появляются новые «неписанные правила» жанрово-стилистической организации речи и речевого поведения, в том числе и за пределами Сети.

4) Интернет заметно усиливает интернациональность (или космополитичность) общения.

5) Интернет оказывает на литературные языки и культурное общение либерально-демократизирующее воздействие, что соответствует долговременным тенденциям социального развития в направлении к большей внутренней однородности социумов (путем нарастающей нейтрализации социальных различий¹⁹) и к усилению космополитических идей и практик (подробнее см. в [Мечковская 2006 (в печати)]).

С л о в а р и

Балд. 1992 — Д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. Исупов. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: Речевой и графический портрет советской тюрьмы. М., 1992.

Вальт. 2004 — Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, Х. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос. Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы. М., 2004.

Вул. 2005 — Е. Ю. Ваулина. Информатика. Толковый словарь. Около 3000 слов и устойчивых сочетаний русского языка. М., 2005.

¹⁹ Тенденция к ослаблению социальных различий, однако, не распространяется на возрастные различия между людьми. Напротив, несходства поколений усиливаются; никогда прежде в истории подростковая или молодежная субкультуры не были столь отличны от культуры «взрослой».

Гук. 2003 — Д. Гукин, С. Гукин. Иллюстрированный компьютерный словарь для «чайников». 4-е изд. М., 2003.

Елистр. 2005 — В. С. Елистратов. Толковый словарь русского сленга: Свыше 12000 слов и выражений. Арго. Кинемалогос. Жаргоны. М., 2005.

Кузн. 2001 — Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2001.

Левик. 2003 — С. И. Левикова. Большой словарь молодежного сленга. М., 2003.

Леон. 2005 — В. П. Леонтьев. Словарь «Сетезяз»: популярные аббревиатуры // В. П. Леонтьев. Компьютерная энциклопедия школьника. М., 2005. С. 751—752.

Миронч. 1997 — И. К. Мирончиков, В. А. Павловец. Англо-русский толковый словарь по сети «Интернет». Минск, 1997.

Ник. 1998 — Т. Г. Никитина. Так говорит молодежь: Словарь сленга. По материалам 70—90-х гг. СПб., 1998.

Скляр. 1998 — Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Гл. ред. Н. Г. Скляр евская. СПб., 1998.

Чад. 2004 — С. Г. Чадов. Краткий словарь русского компьютерного жаргона. Электронное издание. Версия 1.03. М., 2004. Режим доступа: <<http://chsoft.narod.ru>> (31.03.2006).

Щеп. 2004 — Т. Б. Щепанская. Краткий толковый словарь сленга Системы // Т. Б. Щепанская. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004. С. 265—287.

Л и т е р а т у р а

Вернидуб 2005 — А. Вернидуб. У языка есть афтар // Русский Newsweek. 2005. № 17 (16—22 мая). С. 45—50.

Гаррос-Евдокимов 2005 — Гаррос-Евдокимов. Серая Слизь. Роман. СПб., 2005.

Гусейнов 2000 — Г. Гусейнов. Заметки к антропологии русского Интернета: особенности языка и литературы сетевых людей // Новое литературное обозрение. 2000. № 43. С. 289—321.

Калмыков, Коханова 2005 — А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. Интернет-журналистика. М., 2005.

Костомаров 1999 — В. Г. Костомаров. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 1999.

Кузнецов 2004 — С. Кузнецов. Ощупывая слона: Заметки по истории русского Интернета. М., 2004.

Мечковская 1993 — Н. Б. Мечковская. Модальность и метаязыковой план высказывания // Russian Linguistics. 1993. Vol. 17. № 2. С. 279—297.

Мечковская 2004 — Н. Б. Мечковская. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. М., 2004.

Мечковская 2004а — Н. Б. Мечковская. Эстетические оценки языка и речи: генезис, диапазон, тенденции // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М., 2004. С. 355—368.

Мечковская 2006 — Н. Б. Мечковская. Демократизация языков: факторы, коллизии и альтернативы // *Acta Neophilologica*, t. VIII. Bez cenzury. Przejawy demokratyzacji w językach słowiańskich końca XX wieku (в печати).

Пелевин 2005 — В. Пелевин. Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре. М., 2005.

Смоленский 2001 — В. Смоленский. Русская сетевая литература // *Русская культура на пороге нового века*. Сапрого, 2001. С. 190—207.

А. А. ГИППИУС

СОЧИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА: ОПЫТ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ. III¹

§ 25. Летописную подборку сочинений Владимира Мономаха завершает молитвенный текст («Молитва»), происхождение которого составляет предмет длительной дискуссии. В то время как одни исследователи считали «Молитву» составленной Мономахом, отмечая ее смысловые созвучия с «Поучением», другие высказывали сомнения в такой атрибуции или даже решительно отрицали ее. В историографии XIX в. преобладала первая точка зрения, которую вполне отчетливо выразил В. А. Воскресенский [1893: VIII] и в развернутой форме обосновал Н. М. Шляков [1900: 230—234]. Последнему принадлежит также заслуга точного определения основных источников «Молитвы». Как установил Шляков, из четырнадцати фрагментов, составляющих «Молитву», девять представляют собой выписки из литургических текстов, входящих в последование богослужения сыропустной недели, а также первой и пятой недель Великого поста и извлеченные преимущественно из Постной триоди². Рассматривая «Молитву» как компиляцию из литургических цитат, составленную Мономахом по мотивам великопостного богослужения, Шляков видел в этом подтверждение своей гипотезы о написании «Поучения» в целом во время Великого поста 1106 г. [Шляков 1900: 230—234]. По мысли Шлякова, «Молитва» первоначально служила прямым продолжением «Поучения», но была оторвана от него текстом «Письма к Олегу» при составлении летописной подборки.

Рубежным событием в изучении «Молитвы» стала статья Н. Н. Воронина [1962], впервые связавшего проблему атрибуции текста с вопросом о времени и месте включения произведений Мономаха в летопись. К момен-

¹ Первые две части работы см. в: Русский язык в научном освещении. 2003. № 2 (6); 2004. № 2 (8). Исследование выполнено при финансовой поддержке РФНФ (грант № 04-04-0245а).

² Определение типа Постной триоди, использованного составителем «Молитвы», было дано М. А. Моминой, установившей, что использованный текст принадлежал к так называемому «Гимовскому» типу, отражающему наиболее ранний восточнославянский извод памятника [Момина 1992].

ту выхода работы Воронина среди исследователей господствовало восходящее к А. А. Шахматову представление о том, что это включение было связано с составлением третьей редакции «Повести временных лет» 1118 г. Между тем, как заметил Н. Н. Воронин, «если бы сочинения Мономаха были включены в “Повесть временных лет”, положенную в начало областного летописания во многих русских княжествах периода феодальной раздробленности, то и комплекс писаний Мономаха был бы не раз повторен в местных летописях. Однако этого нет — он уникален. Следовательно, он существовал долгое время вне летописи». Развивая эту мысль, Н. Н. Воронин писал: «Наличие интересующего нас комплекса сочинений только в отражающем владимирское летописание Лаврентьевском списке позволяет поставить вопрос: не могло ли произойти их включение в “Повесть временных лет” не на юге в 1118 г., а в том же XII в., но во Владимире, в ходе развития владимирского летописания» [Воронин 1962: 267].

Подтверждение этой мысли Воронин нашел в тексте «Молитвы». Схема его рассуждений такова. «Крайний пессимизм» и «мрачная тональность» «Молитвы» заставляют усомниться в принадлежности ее Мономаху, сочинениям которого такой настрой не свойственен. Между тем отдельные пассажи текста перекликаются с памятниками владимирской литературы XII в., связываемыми с именем Андрея Боголюбского: Службой и Словом на Покров Богородицы и Сказанием о празднике Спаса. Отсюда возникает предположение, что «Молитва» была составлена самим Андреем Юрьевичем в последний период его княжения, ознаменованный рядом политических неудач, усугубленных трагизмом надвигавшегося одиночества. С этим хорошо согласуется обращение в «Молитве» к Андрею Критскому, святому покровителю владимирского князя. Таким образом, «Молитва» — это «автограф Андрея, присоединенный им к сочинениям великого деда». По мысли Н. Н. Воронина, подборка сочинений Мономаха какое-то время существовала в виде отдельной тетрадки и только в 1177 г., дополненная «Молитвой», вошла в составленный во Владимире после смерти князя Андрея летописный свод.

Независимо от Н. Н. Воронина и основываясь на совсем иных соображениях, к отчасти сходным выводам пришел Р. Матьесен [1971], сделавший важнейший, после работы Н. Шлякова, шаг в идентификации источников «Молитвы». В последнем, 13-м фрагменте ее основного текста (14-й фрагмент составляют стандартные заключительные формулы), исследователь опознал 4-й тропарь 9-й песни «Канона молебного» Кирилла Туровского. Считая канон авторским произведением Кирилла, созданным заведомо позже 1125 г., Матьесен признал использование его «Молитвой» несовместимым с ее атрибуцией Мономаху. Как и Воронин, Матьесен предположил, что подборка сочинений Мономаха первоначально существовала вне летописи, в виде отдельной тетради. По Матьесену, «тетрадка первоначально содержала только “Поучение”, “Автобиографию” и “Письмо князю Олегу Святославичу” (...) Эти тексты не заполняли полностью

пергаменных листов тетради. Позже, после того как Кирилл Туровский написал свой “Канон молебный”, кто-то использовал пустые пергаменные листы, чтобы сохранить другой текст (или, может быть, ряд других текстов) по собственному выбору: это и есть “Молитва”. Еще позже вся тетрадка была переписана в летопись» [Матьесен 1971: 200].

Работа Матьесена окончательно утвердила в литературе взгляд на «Молитву» как текст, к Мономаху отношения не имеющий. Данный тезис и связанное с ним положение об относительно позднем, не ранее 1170-х гг., включении «Поучения» в летопись, являются в настоящее время общепринятыми, не вызывая разногласий среди исследователей³.

Совсем недавно проблема авторства «Молитвы» была вновь затронута А. А. Горским, и снова в связи с вопросом о времени включения текстов Мономаха в летопись. Исследователь обратил внимание на то, что «гипотеза Н. Н. Воронина оправдывает отсутствие произведений Мономаха только в части летописных памятников XII—XIV вв., а именно в памятниках южнорусского летописания. Остается вопрос — почему этих произведений нет во всех других летописях Северо-Восточной Руси, кроме Лаврентьевской» [Горский 2005: 118]. По мнению А. А. Горского, данное обстоятельство «может быть убедительно объяснено только отсутствием этих памятников в распоряжении более ранних летописцев: как в начале XIII в., когда впервые разошлись ветви северо-восточного летописания, так и в 1304 г., когда создавался протограф Лаврентьевской и Троицкой летописей. Скорее всего, первым летописцем, к которому они попали, был Лаврентий. Последний писал свой свод по заказу князя нижегородско-суздальского Дмитрия Константиновича, потомка Мономаха в 8-м или 9-м колене. Резонно предположить, что произведения Мономаха и молитва были получены Лаврентием от князя, а до этого они хранились как реликвии в нижегородско-суздальском княжеском семействе и именно поэтому не предназначались для распространения» [Там же: 119].

В связи с этим исследователем решается и вопрос об атрибуции «Молитвы». Как и Н. Н. Воронин, А. А. Горский придает большое значение двукратному упоминанию в тексте «града св. Богородицы» и особенно словам: «сѣблуди ѿ всако(го) плѣненья вражьа твои гра^ѣ, Бѣе». Автор «Молитвы», считает он, мог быть лишь представитель северо-восточной ветви Мономаховичей, носивший имя Андрей и княживший в городе, главный храм которого был посвящен Богородице и для которого в момент составления «Молитвы» актуальной была угроза «вражьего пленения». Последнее обстоятельство заставляет отклонить кандидатуру Андрея Боголюбского, в княжение которого Владимир не подвергался такой угрозе. Перебирая альтернативные возможности, А. А. Горский останавливается на двух равновероятных, по его мнению, кандидатах —

³ Из современных авторов, кажется, только П. П. Толочко [2003: 96] придерживается старой атрибуции «Молитвы» Мономаху. Эта точка зрения высказывается им, однако, без дополнительной аргументации.

брате Александра Невского Андрее Ярославиче и его среднем сыне Андрее Александровиче.

§ 26. Отдавая должное последовательности, с которой гипотеза А. А. Горского, отправляясь от идеи Н. Н. Воронина, доводит ее до логического завершения, мы не можем тем не менее разделить основных положений этой гипотезы. Как отказ от атрибуции «Молитвы» Мономаху, так и вывод о позднем включении комплекса в летопись представляются нам преждевременными и не учитывающими всей сложности этих вопросов.

Начнем с вопроса об атрибуции «Молитвы». Нахождение ее в составе «Избранного» Мономаха заставляет, пока не доказано обратное, исходить из презумпции того, что Мономах имел отношение к появлению этого текста. Тема молитвы в «Поучении» является одной из главных, что делает завершение подборки молитвенным текстом вполне логичным. С другой стороны, в формальном отношении «Молитва», представляющая собой мозаику из литургических фрагментов, демонстрирует тот же тип литературной работы, что и подборка выдержек из Псалтыри в начале «Поучения». Показательно, что большинство идентифицированных Н. М. Шляковым фрагментов «Молитвы» также происходят из одной книги — Постной триоди, которая цитируется Мономахом и в «Поучении». На этом фоне отказ от атрибуции «Молитвы» Мономаху может оправдываться лишь однозначными свидетельствами, делающими данную атрибуцию невозможной.

Такие свидетельства, на наш взгляд, до сих пор приведены не были. Соображения Н. Н. Воронина о «мрачной тональности» «Молитвы», якобы противоречащей авторству Мономаха, нужно решительно отклонить: за «крайний пессимизм» исследователем были приняты обычные для великопостного богослужения покаянные интонации. Большой интерес представляют наблюдения Воронина, призванные вписать «Молитву» в литературный контекст эпохи Андрея Боголюбского; однако отмеченные им параллели носят слишком общий характер, чтобы строить на них атрибуцию текста.

Факт использования в «Молитве» одного из тропарей канона Кирилла Туровского также не может рассматриваться в качестве непрекаемого аргумента против атрибуции «Молитвы» Мономаху. Отвести этот аргумент теоретически возможно тремя способами: 1) поставив под сомнение атрибуцию канона Кириллу Туровскому; 2) допустив, что «Молитва» и «Канон молебный» использовали общий источник; 3) предположив, что заимствованный из канона тропарь является позднейшим добавлением к композиции из литургических цитат, составленной Мономахом. В первых двух аспектах позиция Матвеева представляется, впрочем, вполне убедительной. Атрибуция канона перу туровского епископа подкрепляется новейшими наблюдениями Н. В. Поньрко [2004: 241—242], обнаружившей важные совпадения между каноном и притчами Кирилла Туровского в литературной технике. Использование в двух произведениях общего источ-

ника пока подтвердить не удастся⁴, хотя теоретически оно и остается возможным. С другой стороны, тот факт, что в обоих текстах соответствующий фрагмент является последним, делает весьма вероятным, что «Молитва» в этом пункте действительно зависит непосредственно от «Канона молебного», а не от его гипотетического источника.

Самого пристального внимания заслуживает, между тем, третья из указанных возможностей. Мозаика из литургических фрагментов, какой является «Молитва», обладает открытой структурой и вполне допускает распространение, которое могло быть осуществлено как до включения «Избранного» Мономаха в летопись, так и после этого, уже на ее страницах. Такая возможность до сих пор не учитывалась: все писавшие о «Молитве» рассматривали ее как единовременно составленный текст. Анализируя другие части «Поучения», мы пытались продемонстрировать выгоды стратификационного подхода к этому памятнику, направленного на выявление в нем разновременных слоев. Этот подход есть все основания распространить теперь и на «Молитву», с той разницей, что здесь мы можем предполагать не последовательные стадии авторской работы над текстом, но распространение компиляции, составленной Мономахом, произведенное уже после его смерти.

§ 27. Подтвердить высказанное предположение позволяет анализ композиции «Молитвы», до сих пор рассматривавшейся исключительно в плане идентификации ее источников. В настоящее время из тринадцати фрагментов, образующих основной текст «Молитвы», остаются не идентифицированными три (3, 11, 12, по нумерации Матъесена). При этом все опознанные фрагменты, за исключением тропаря из «Канона молебного», происходят, как установлено Н. В. Шляковым [1900], из одного, в широком смысле, источника — последования богослужения сыропустного воскресения (фрагмент 1), первой (фрагмент 2) и, в особенности, пятой (фрагменты 4—10) недель Великого поста. Очень важно, что относительное

⁴ В. М. Шаханова при обсуждении моего доклада на 2-й конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси» [Гиппиус 2003] указала на Октоих как источник «Молитвы» и «Канона». Предпринятый по ее совету поиск среди песнопений 5-го гласа Октоиха (именно этот глас обозначен в надписании канона Кирилла), действительно выявил ряд мест, текстуально перекликающихся с обсуждаемым фрагментом. Ср. с приводимым ниже текстом 13-го фрагмента «Молитвы» следующие пассажи из Октоиха: «Не ѡсѣди мене, ни ѡвѣржи мене ѡ лица твоегѡ, многомѡлѣтѣ: мѡлѣть та чѣстѡ рѡждша, и апѣльскїи собѡръ» (утреня четверга, канон св. апостолам, 5-я песнь); «Да не ѡсѣдиши мене во огнь негасимый, Хрѣсте Спсе мой, мольбами чѣты, рѡждша та» (повечерие четверга, канон св. Богородице, 5-я песнь) [Октоих 1991: 109, 121]. Как видим, совпадения имеют место на уровне отдельных оборотов и конструкций, используемых автором «Канона молебного» как «строительный материал»; о заимствовании целого тропаря говорить не приходится.

расположение фрагментов в «Молитве» соответствует их последовательности в богослужении. Каково бы ни было происхождение трех остающихся не идентифицированными фрагментов, очевидно, что они в эту последовательность не вписываются, как не вписывается в нее и заключительный 13-й фрагмент, заимствованный из «Канона молебного». Это дает нам основание, в качестве своего рода текстологического эксперимента, мысленно удалить из текста эти четыре фрагмента, сосредоточив внимание на оставшихся девяти. В приводимой ниже записи эти фрагменты пронумерованы римскими цифрами; в скобках дается определение источника по статье Р. Матъесена, с уточнениями на основе списка Триоди ГИМ, Син. 319, XII в.

1 (I). Прмдр̄̄ти наставниче и смыслу давче, несмыслены̄̄ казателю и нищӣ̄ заступниче, оутверди в разум̄̄ мое ср̄̄це, Вл̄̄ко, ты дажь ми слово, W̄че, се бо Ѹстнама моима не възбрани впити ти: мл̄̄тве, помилуй падшаго. (Кондак утрени сыропустной нед. 5)

2 (II). Оупованье мое Б̄̄, приб̄̄жище мое Х̄̄, покровь мои С̄̄ты Д̄̄х̄̄. (Молитва Иоаникия в конце великого повечерия в понед. после сыропустного воскресения.)

3. Надеже и покрове мои, не презьри мене, бл̄̄гаа, тебе бо имуще помощницу в печали и в бол̄̄зни, и ѿ злы̄̄ вс̄̄х̄̄, и тебе славлю, преп̄̄таа.

4 (III). И разум̄̄ите и видите, ѿко азь есмь Б̄̄, испытаа ср̄̄ца и св̄̄дѣи мысли, шбл̄̄чааи д̄̄ла, ѿпалааи гр̄̄хы, судаи сирот̄̄ и оубогу и нищю. (Тропарь 10, следующий за 2-м ирмосом 2-й песни канона св. Марии Египетской, утр. четв. 5-й нед. В. п.)

5 (IV). Всклониса, д̄̄ше моя, и д̄̄ла своа помысли, ѿже зд̄̄ѣа пре̄̄ ѿчи свои принеси, и капла испусти слезь своӣ̄, и пов̄̄жь ѿв̄̄ д̄̄ѣанья и вса мысли Х̄̄у и вчистиса. (Тропарь 3, следующий за 1-м⁶ ирмосом 4-й песни Великого канона Андрея Критского, утр. четв. 5-й нед. В. п.)

6 (V). Андр̄̄ѣа, ч̄̄тныи ѿтче, требл̄̄жныи пастоуше Критьскыи, не престаи моласа за ны чтущаа та, да избуде̄̄ вси гн̄̄ѣва и печали и тла, гр̄̄ха и б̄̄д̄̄ же, чтуще памать твою в̄̄рно. (Молитва, следующая за Великим канонном Андрея Критского, утр. четв. 5-й нед. В. п.)

7 (VI). Гра̄̄ свои схрани, дв̄̄е м̄̄ти ч̄̄таа, иже ѿ теб̄̄ в̄̄рно цр̄̄твуеть, да тобою кр̄̄пӣ̄са и тоб̄̄ са над̄̄е̄̄, поб̄̄жае̄̄ вса брани, испром̄̄тае̄̄

⁵ См. публикацию этого кондака с разночтениями по древним спискам Триоди и Кондакаря: [Момина и Трунте 2005: 537].

⁶ У Р. Матъесена — 3-м.

противныа и творить послушеньє⁷. (Вторая молитва, следующая за Великим канонем Андрея Критского, утр. четв. 5-й нед. В. п.)

8 (VII). Ѡ прѣѣтаа мѣи, рожышиа всѣ^х стѣхъ престѣго Слова, приимши нынешнее послушанье ѡ всакиа напасти заступи и грядущиа мѣы къ тебѣ вопыющи^х. (Кондак 13 акафиста Богородице, утр. суб. 5-й нед. В. п.)

9 (VIII). Молимъ ти са раби твои и прекланяе^м си колѣни срѣца на^шго, приклони оухо твое, чѣтаа, и спси ны въ скорбе^х погружающаса при^ч, и сблуди ѡ всако(го) плѣненья вражѣа твои гра^д, Бѣе. (Тропарь 5, след. за 1-м ирмосом 7-й песни канона, утр. суб.⁸ 5-й нед. В. п.)

10 (IX). Пошади, Бѣ^е наслѣдыа твоего, прѣгрѣшенья наша вса презри, нынѣ на^ш имѣа молаши^х та, на земли рожышаа та бе-сѣмене, земную млѣть изволивъ вбратиса, Хѣ^е, въ члѣвчество⁹. (Тропарь 5, след. за 1-м ирмосом 9-й песни канона, утр. суб.¹⁰ 5-й нед. В. п.)

11. Пошади ма, Спсе, рожышаса¹¹ и схранъ рожышюу та нетлѣннуоу по рожѣтвѣ, и югда садѣши судити дѣла моа, яко безгрѣшенъ и млѣтивъ, яко Бѣ и члѣвколюбець.

12. Дѣо прѣѣтаа, неискусна браку, бѣговбравованаа, вѣрны^м направленье, спс(и) ма погыбшаго, к снѣ си вопыющи.

13. Помилуи ма, Гѣи, помилуи, егда хоцѣши соудити, не всуди ме[не] въ угнь, ни ѡбличи мене яростью си, моли^т та дѣа чѣтаа рожышаа та, Хѣ, и мно^жство англѣ и мчнѣк зборѣ. (4-й тропарь девятой песни «Канона молебного» Кирилла Туровского.)

14. О Хѣе Ёсѣъ Гѣдѣ наше^м, емоуже подобае^т чѣть и слава, Ѡцѣю и Снѣу и Стѣму Дѣху, всегда і нынѣ, при^ч, вѣ^к [ПСРЛ 1: 255—256].

⁷ Текст сильно искажен. В Триоди (ГИМ, Син. 319): «Градъ свои схрани. дѣвице мати чистаа . иже о тобѣ вѣрно чьсарьствоуесть, да тобою крѣпимъ тебѣ са надѣемъ . побѣжають вса брани . испромѣтаесть противныа . и творить послушнюе». Здесь также не обошлось без ошибки: *побѣжають* вместо *побѣжасяетъ*. Причина искажения текста в Лавр. — переосмысление страдательных причастий *крѣпимъ* и *надѣемъ* как форм 1-го л. мн. ч.

⁸ У Р. Матъесена — воскресения.

⁹ Текст искажен; в Триоди (ГИМ, Син. 319): «Пошади боже наслѣдыа твоего . прѣгрѣшениа наша . вса прѣзѣра нынѣ . на се имѣа . оумалающа^т та на земли бе-сѣмене рожышюу та земельноу^ю милость изволивъ вьобразитиса христе въ чловѣчество». Ошибка: *оумалающа^т* вместо *оумалающюу*. Ср. в печатной Триоди: «на сне имѣа моляшюу тя» [Матъесен 1971: 195].

¹⁰ У Р. Матъесена — воскресения.

¹¹ Вместо *рожьса*.

Рассмотренные отдельно, девять идентифицированных Шляковым фрагментов составляют композицию очень своеобразной структуры. Прежде всего заметим, что число этих фрагментов равно числу песней литургического канона. Четыре фрагмента — III, IV, VIII, IX — представляют собой тропари, взятые соответственно из 2-й, 4-й, 7-й и 9-й песней канона¹². Обращает на себя внимание, во-первых, возрастающий порядок номеров песней, из которых берутся тропари; во-вторых, тот факт, что в двух случаях номер песни совпадает с номером фрагмента: фрагмент IV взят из 4-й песни, а фрагмент IX — из 9-й.

С точки зрения состава и содержания фрагментов, эта девятичастная композиция обнаруживает симметричное устройство. Занимающий в ней срединное положение фрагмент V является единственным, обращенным к святому, творцу великопостного канона Андрею Критскому. Относительно этого центрального фрагмента противопоставляются группы I—IV и VI—IX; обозначим их соответственно как А и В. В обеих группах третью и четвертую позицию занимают уже упомянутые тропари из четных (в группе А) и нечетных (в группе В) песней канона. В обеих группах имеется также кондак (на первой позиции в группе А и на второй в группе В). Наконец, в обеих группах присутствует фрагмент, определяемый Матьесеном как «молитва». Это определение создает впечатление полной тождественности составов двух групп (кондак + молитва + два тропаря), однако оно, скорее всего, является иллюзией: в действительности две «молитвы» представляют собой различные по своему литургическому статусу единицы. Впрочем, структурное сходство групп А и В и без того оказывается очень значительным.

На фоне этого сходства нельзя не заметить различия в содержании двух групп. Молитвословия группы В объединяет богородичная тематика: во всех фрагментах этой группы Богородица или является адресатом обращения (фрагменты VI, VII, VIII) или же упоминается, как во фрагменте IX. Между тем в группе А упоминания Богородицы отсутствуют, в этой части текста мысль молящегося обращена к Богу и лицам святой Троицы.

Симметричной относительно фрагмента V рассматриваемая композиция является и с точки зрения субъекта молитвословий. Во всех фрагментах группы А этот субъект индивидуален; во всех фрагментах группы В — коллективен. Можно сказать, что доминирующей темой в первой части композиции является личное покаяние перед лицом Господа, тогда как во второй — общее моление к Богородице о защите и предстательстве.

Кажется совершенно невероятным, чтобы эта упорядоченная в нескольких независимых друг от друга аспектах структура, которую мы получаем, исключив из рассмотрения три неидентифицированных фрагмента

¹² Фрагменты V и VI, определенные Матьесеном как молитвы, вообще говоря, также представляют собой тропари, однако относящиеся не к одной песни, а к канону в целом, что делает оправданным отделение их от «обычных» тропарей.

«Молитвы» и заключительный тропарь Кирилла Туровского, была лишь игрой случая. При «восстановлении» исключенных фрагментов от композиционной симметрии не остается и следа: вместо девяти фрагментов мы получаем тринадцать, единственное в своем роде обращение к Андрею Критскому перестает быть центром композиции, обращение к Богородице во 2-м фрагменте нарушает содержательное единство начала текста (группы А) и т. д. При этом никакой новой композиционной схемы, которая бы могла связать текст «Молитвы» в целом, выявить не удастся. Можно сказать, конечно, что в мозаике, какой является «Молитва», могло и не быть строгой композиции. Но чем объяснить тогда, что она столь явственно выступает, когда мы устраним из текста четыре фрагмента, не связанных с богослужением Великого поста?

Единственное объяснение, на наш взгляд, заключается в том, что три неидентифицированных фрагмента и тропарь из «Канона молебного» Кирилла Туровского являются позднейшими добавлениями к исходному тексту, представлявшему собой чрезвычайно оригинальную молитвенную композицию на темы великопостного богослужения.

§ 28. Главное следствие из предложенной выше стратификации «Молитвы» очевидно: разграничение в тексте исходной основы и позднейших дополнений устраняет препятствия к атрибуции первоначального текста Мономаху; идейная же созвучность «Молитвы» другим текстам Мономаха и ее связь с открывающей «Поучение» подборкой псалтырных цитат (текста также мозаичной композиции) делают такую атрибуцию более чем вероятной.

В свете этой атрибуции особый интерес представляет обращение к Андрею Критскому, выполняющее в реконструируемой первоначальной композиции «Молитвы» роль центра. Такое положение этого фрагмента позволяет с еще большей уверенностью, чем это делалось ранее, предполагать патрональный характер обращения. Не противоречит ли это авторству Мономаха? На наш взгляд, противоречия здесь нет. В принципе можно было бы предположить, что Мономах обращается к патрону своего отца — тот факт, что святым покровителем Всеволода Ярославича был, по-видимому, не Андрей Критский, а Андрей Первозванный, большого значения не имеет: как показали новейшие исследования, почитание соименных святых было распространено в древнерусской княжеской среде. «Не исключено, — замечают по этому поводу А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский [2006: 472], — что для самих Рюриковичей, живших на рубеже XI—XII вв., совокупный патронат святых тезок имел не меньшее значение, чем выделенное покровительство конкретного святого» (см. также: [Лифшиц 1983; Лосева 2001a]). В контексте «Молитвы» творец великого покаянного канона Андрей Критский выступал бы в таком случае естественным «заместителем» Андрея Первозванного как «главного» патронального святого Всеволода Ярославича.

Возможно, однако, и альтернативное объяснение, которое представляется нам более вероятным. Можно думать, что Мономах обращается здесь

к Андрею Критскому как патрону или, точнее, одному из патрональных святых своего сына Андрея (Доброго)¹³. Такая трактовка очень хорошо согласуется с разделяемым нами предположением Н. Шлякова, согласно которому «Поучение» в редакции 1117 г. было родительским благословением Мономаха отправлявшемуся на первое княжение во Владимир семнадцатилетнему Андрею (см. [Гиппиус 2003а: 92—93]). В этой ситуации завершение «Поучения» молитвенным текстом, выстроенным вокруг обращения к святому покровителю Андрея, оказывается более чем уместным. В других местах «Поучения» Мономах наставляет детей, как им следует молиться и приводит тексты молитв, которые им следует произносить. Заключительная «Молитва» органично входит в этот ряд. Составленная Мономахом, она может быть понята как предназначенная для чтения ее Андреем. Такая молитва, написанная отцом для сына, является для последнего не чем иным, как «отней молитвой», с упоминания которой начинается свое «Поучение» Мономах: «... колико бо сблюдь по мл̑ти своєи и по штни мл̑твѣ ѿ всѣ̑ бѣдъ» [ПСРЛ 1: 240].

Упоминания «отней молитвы» неоднократно встречаются в летописных рассказах о событиях XII в. (см. [Сазонов 1999]); характерно, однако, что все князья, которым она помогает в битвах, являются потомками Мономаха — «отня молитва» составляет, таким образом, своего рода семейную традицию Мономашичей [Литвина и Успенский 2006: 126—127]. В чем именно заключалась эта традиция, из летописных контекстов не вполне ясно; ее предложенная выше трактовка, очевидно, не исчерпывает данного понятия, которое к тому же могло, по-видимому, эволюционировать, наполняясь новыми смыслами. Думать так позволяет следующее обстоятельство. Во всех, кроме одного, контекстах с упоминанием «отней молитвы» (которая может быть также «молитвой отней и дедней», а в одном случае также и прадеда) так называется молитва умершего (и церковно не канонизированного) предка; это дало основание В. А. Комаровичу [1960: 87—89] предположить полуязыческий характер «отней молитвы» и связать ее с распространенным в русской княжеской среде культом рода. Исключение — очевидно, далеко не случайное, — составляет хронологически самое раннее упоминание данного явления. Замечательным образом, оно относится именно к Андрею Доброму, которому «молитва отца его» помогает еще при жизни Владимира Мономаха, в 1123 г.

¹³ В честь кого именно из святых Андреев был назван младший сын Мономаха, доподлинно не известно. Свидетельство Тверской летописи о наречении ему имени на память св. Андрея Стратилата, представляет собой, по-видимому, позднюю реконструкцию [Литвина и Успенский 2006: 128—129]. Впрочем, уже отмеченный факт синкретического почитания князьями домонгольского времени своих святых тезок лишает данный вопрос того критического значения, которое склонен придавать ему А. А. Горский [2005: 123], оспаривая нашу точку зрения.

Это происходит во время осады Владимира Волынского польско-чешско-венгерской ратью, приведенной к городу непокорным двоюродным племянником Владимира Мономаха Ярославом Святополчицем. Последний, согласно Ипатьевской летописи, «надѣяса на множество вои, и молваше тако Андрѣви и горожаномъ: “То есть градъ мой, оже са не отворите, ни выидете с поклономъ, то оузрите: завѣтра приступлю къ граду и възму городъ”. Андрѣи же, имаше надежу велику на Бѣ съ всеми людми своими и на ѿца своего млтву надѣяшеться». Возгордившийся Ярослав погибает от рук нанятых им поляков: «И тако оумре Ярославъ, единъ оу толцѣ силѣ вои, за великую гордость его, понеже не имѣаше на Бѣ надежи, но надѣяшеться на множество вои» [ПСРЛ 2: 287].

В том, что первым из русских князей, кому помогает «отня молитва», оказывается Андрей Добрый, для которого, как мы предположили, Мономахом была написана «Молитва», мы видим серьезное подтверждение нашей гипотезы. Нельзя не отметить также следующих фактов: Владимир Волынский, соборная церковь которого была посвящена Успению Богоматери¹⁴, безусловно был «городом св. Богородицы» и вплоть до смерти Ярослава Святополчича постоянно находился под угрозой «плененья вражьего» (ср. фрагменты 7 (VI) и 9 (VIII) «Молитвы»). Надежда на Бога является темой второго фрагмента «Молитвы» («Оупованье мое Бѣ...»), которая в этом пункте обнаруживает связь с подборкой псалтырных цитат в «Поучении» (ср. начало последней: «Вскую печална єси, дше моя? вскую смущаєши ма? Оупова на Бѣ, тако исповѣмса єму» [Пс. 41: 6, 12; 42: 5])¹⁵.

§ 29. Предлагаемая трактовка «Молитвы» проливает свет и на дальнейшую судьбу сочинений Мономаха. Тот факт, что «Молитва», как и в целом «Поучение» в редакции 1117 г., писалась Мономахом для Андрея, позволяет понять, почему «Избранное» Мономаха дошло до нас в составе одного из списков северо-восточной ветви рукописной традиции ПВЛ, восходящей к рукописи Сильвестра. Последний, как известно, был с 1118 г. до своей смерти в 1123 г. епископом Переяславля Южного, в котором впоследствии княжил и где умер в 1142 г. Андрей Добрый. Можно думать, что тетрадка с сочинениями Владимира Мономаха до смерти Андрея Доброго сохранялась в Переяславле, а после нее была присоединена к епископской летописи (о том, как именно это было сделано, см. ниже), вместе с которой в дальнейшем попала во Владимир при Андрее Боголюбском. Особо отметим, что, согласно предположению А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского

¹⁴ Каменная церковь Успения Богоматери была заложена во Владимире около 1156 г. [Раппопорт 1982: 106], однако есть все основания думать, что то же посвящение имел и предшествовавший ей деревянный храм.

¹⁵ Особо показательным это сходство делает тот факт, что «Молитва» здесь отступает от своего источника. В каноническом тексте «Молитвы Иоаникия» вместо «Оупованье мое Бѣ...» читается «Оупованье мое Отець...» (см. [Матѣсен 1971: 193]).

[2006: 80], третий сын Юрия Долгорукого был наречен Андреем в честь своего дяди Андрея Доброго, по «ряду», заключенному последним со своим братом Юрием. Переход заканчивавшейся «андреевской» молитвой подборки сочинений Мономаха из дома его сына Андрея в дом его внука Андрея выглядит на этом фоне закономерной судьбой семейной реликвии.

В связи с реконструируемой таким образом историей «Молитвы» заслуживают внимания уже упоминавшиеся наблюдения Н. Н. Воронина. Хотя предположение исследователя о составлении «Молитвы» в целом Андреем Боголюбским не подтверждается, крайне соблазнительно видеть в нем редактора, дополнившего текст «Молитвы» четырьмя новыми фрагментами. Несколько обстоятельств свидетельствуют, как кажется, в пользу этой возможности. Во-первых, само по себе распространение текста молитвы, составленной Мономахом, естественно считать делом рук кого-то из его потомков, и Андрей Боголюбский, чьи литературные занятия надежно свидетельствуются авторством слова о празднике 1 августа (см. [Забелин 1895; Филипповский 1983]), оказывается в этом смысле наиболее подходящей кандидатурой (заметим, что других «писателей» среди русских князей XI—XIV вв. попросту не известно). Во-вторых, введение в «Молитву» в качестве ее заключительного фрагмента тропаря «Канона молебного» Кирилла Туровского хорошо согласуется со сведениями проложного жития Кирилла [Никольский 1906: 63] о переписке, в которой туровский епископ состоял с Андреем Юрьевичем, имевшим, таким образом, возможность быть в курсе литературных трудов своего корреспондента.

Определенный интерес в данной связи могут представлять наблюдения над техникой включения в текст «Молитвы» дополнительных фрагментов. Нарушая реконструированную исходную композицию, эти фрагменты в то же время тематически и текстуально увязаны с предшествующими им фрагментами основного текста «Молитвы». Элементом, объединяющим фрагмент 3 с фрагментом 2 (II), является упоминание «покрова». Причем если в основном тексте «Молитвы» речь идет о покрове Святого духа, то в дополнительном фрагменте говорится о покрове Богородицы. Именно этот фрагмент в первую очередь имел в виду, говоря о параллелях к «Молитве» в Слове и Службе на Покров, Н. Н. Воронин, отстаивавший гипотезу об учреждении праздника Покрова Богородицы Андреем Боголюбским (см. [Воронин 1965]). Хотя в настоящее время данный вопрос остается дискуссионным¹⁶, причастность Андрея Юрьевича, если не к установлению, то во

¹⁶ Гипотезу Н. Н. Воронина об установлении праздника Покрова Богородицы Андреем Боголюбским в 1160-х гг. решительно поддерживает М. Б. Свердлов [2003: 616—617]; ее разделяют также О. В. Лосева [2001: 107—108], А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский [2006: 130]. Альтернативная точка зрения, восходящая к архиеп. Сергию [1898], предполагает появление праздника в Киеве в первой половине XII в.; см. из современных работ: [Александров 1983; Плюханова 1995: 23—62; Шалина 2005: 349—382].

всяком случае, к распространению праздника в Северо-Восточной Руси, кажется несомненной. Упоминание Покрова Богородицы в первом из дополнительных фрагментов «Молитвы» выглядит поэтому довольно симптоматичным.

Связующим звеном между вторым дополнительным фрагментом (11) и заключительным фрагментом основного текста является начальное *пощадн* *м.а.*, а также причастие *рожьшия*. Новым во фрагменте 11 является именование Христа Спасом (единственный раз в тексте «Молитвы!»), а также ряд эпитетов, один из которых — *милостивъ* — заставляет вспомнить о празднике Всемилоствитого Спаса, уже несомненно учрежденном в Северо-Восточной Руси Андреем Боголюбским. Разумеется, само по себе это сочетание не содержит в себе ничего специфического и может рассматриваться как исторически неслучайное лишь в связи с другими уже указанными фактами.

§ 30. Итак, мы находим вполне вероятным, что составленная Владимиром Мономахом для сына Андрея «Молитва» была впоследствии дополнена во Владимире Андреем Юрьевичем Боголюбским. Перспективным выглядит в связи с этим и предположение Н. Н. Воронина о включении подборки сочинений Мономаха во владимирский летописный свод 1177 г. Данному предположению противоречит, казалось бы, факт присутствия подборки в одном только Лаврентьевском списке. Согласно А. А. Горскому [2005], «Поучение», будь оно включено во владимирский свод 1177 г., непременно отразилось бы не только в Лаврентьевской, но и в других летописях, базирующихся на владимирской летописной традиции конца XII в.: Троицкой, Радзивиловской и Московско-Академической, а также Летописце Переяславля Суздальского. Коль скоро «Поучение» в этих памятниках отсутствует, считает исследователь, приходится предполагать его двукратное исключение из летописи: при составлении свода 1205 г. — протографа Радзивиловской летописи и Летописца Переяславля Суздальского, и при составлении Троицкой летописи в начале XV в. Находя вероятность этого ничтожно малой, А. А. Горский заключает, что в состав летописи «Поучение» включил сам Лаврентий в 1377 г.

Логика этого рассуждения понятна, но уязвима. Из числа летописей, в которых должно было бы обнаружиться «Поучение», вставленное во владимирский свод 1177 г., нужно прежде всего исключить Летописец Переяславля Суздальского. Этот памятник передает текст ПВЛ со значительными сокращениями, композиционно перерабатывая его; статья 1096 г. в нем как таковая отсутствует, а выдержки из нее, касающиеся половцев, включая и рассказ Гюряты Роговича, перед которым «Поучение» читается в Лаврентьевской летописи, внесены в статью 1091 г. Ожидать появления текстов Мономаха в этом контексте не приходится.

Нет также необходимости предполагать исключение «Поучения» при создании протографа Радзивиловской летописи. Считая такое допущение

необходимым для принятия тезиса о раннем проникновении текстов Мономаха во владимирское летописание, А. А. Горский исходит, очевидно, из представления о лаврентьевской и ипатьевской группах списков как двух параллельных и независимых друг от друга ветвях рукописной традиции ПВЛ. Между тем анализ разночтений ПВЛ недвусмысленно показывает, что при создании протографа Радзивилловского и Московско-Академического списков помимо списка «лаврентьевского» типа был использован также список «ипатьевского» типа, к которому восходит значительная часть текста ПВЛ в Радзивилловской летописи (см. [Гиппиус 2002]). Явные признаки ориентации на этот второй источник имеются и в статье 1096 г. (в том числе в рассказе Гюряты Роговича); следовательно, отсутствие сочинений Мономаха в Радзивилловской летописи нет необходимости объяснять исключением их при переписке: составитель ее протографа мог просто ориентироваться здесь на свой «ипатьевский» источник, в котором «Поучения» не было.

Допущение двух независимых друг от друга изъятий «Поучения» из летописи, становится, таким образом, излишним. Единственное, что действительно нужно для принятия тезиса Н. Н. Воронина, это предположение, что подборку произведений Мономаха, читавшуюся в своде 1304 г., изъязл из статьи 1096 г. составитель Троицкой летописи. Учитывая полную неуместность положения этой подборки в середине летописной статьи, а также митрополичий, а не княжеский, характер Троицкой летописи, такое поведение сводчика нужно считать вполне оправданным. Необходимо также иметь в виду, что в отличие от летописных сводов середины XV в. и более поздних, свободно вбиравших в себя самые разные тексты нелетописного происхождения, Троицкая летопись, как и ее предшественники, представляла собственно летописное начало в намного более «чистой» форме. В этом смысле включение текстов Мономаха в летопись было отступлением от традиции, а их исключение из нее — нормальной реакцией традиции на попадание в нее «инородного тела».

§ 31. В пользу достаточно раннего, до конца XII в., включения текстов Мономаха в летопись, свидетельствует, на наш взгляд, и анализ технической стороны этой операции. Положение, занимаемое подборкой в статье 1096 г., заключает в себе известный парадокс. С одной стороны, оно носит явно случайный характер: хотя помещение «Избранного» Мономаха именно под этим годом может объясняться тем, что в 1096 г. Мономахом было написано «Письмо к Олегу», летописец не мог сознательно поместить подборку между рассказом Гюряты Роговича и пассажем о происхождении половцев, комментарием к которому этот рассказ является. Это полностью оправдывает точку зрения, согласно которой тетрадь с текстами Мономаха была просто вложена в кодекс, заключавший в себе текст ПВЛ, и при последующей переписке была принята за одну из тетрадей этого кодекса. Именно так представлял себе дело М. Д. Приселков [1939: 186—188].

Отмеченный выше парадокс заключается в том, что, будучи, таким образом, кодикологически случайным, место вставки в летопись сочинений Мономаха, оказывается неслучайным текстологически. Дело в том, что следующий за вставленной подборкой рассказ Гюряты Роговича сам по себе имеет вставное происхождение. А. А. Шахматов связывает появление его в ПВЛ с составлением в 1118 г. ее третьей редакции, отразившейся в первую очередь в ипатьевской группе списков, но оказавшей воздействие и на лаврентьевскую ветвь традиции, восходящую ко второй, силвестровской редакции 1116 г. Присутствие Рассказа Гюряты в Лаврентьевской летописи А. А. Шахматов объяснял именно этим влиянием со стороны третьей редакции. Связывая с составлением третьей редакции ПВЛ и создание «Поучения» в его окончательном виде, Шахматов полагал, что в Лаврентьевскую летопись или ее протограф «Поучение» попало вместе с рассказом Гюряты из некоего «подсобного источника», использовавшего Владимирский полихрон начала XIV в., в котором отразилась и третья редакция ПВЛ [Шахматов 1938: 23—24]. Это сложное построение, однако, не в состоянии объяснить исчезновения «Поучения» из летописей Ипатьевской группы, где, казалось бы, оно и должно было в первую очередь читаться. С другой стороны, в настоящее время доказано, что «Владимирский полихрон», игравший столь значительную роль в реконструкциях Шахматова, в действительности никогда не существовал [Лурье 1976: 19—21]; да и отношения Лаврентия с его «подсобным источником» предстают в изображении Шахматова чересчур запутанными.

Справедливо отказавшись от шахматовского объяснения, М. Д. Приселков закрыл глаза на факт следования в Лаврентьевской летописи вставного комплекса сочинений Мономаха за вставным же рассказом Гюряты; проигнорировала этот факт и вся последующая историография. В сочетании этих двух вставок можно, конечно, увидеть случайное совпадение, но достоверность реконструкции от такого допущения не выигрывает. Не решает проблемы и отказ от трактовки рассказа Гюряты как вставки редакции 1118 г. Вопреки критике данного звена шахматовской реконструкции в работах [Мюллер 1967; Творогов 1997; Тимберлейк 2001] мы считаем существование «постсилвестровской» редакции ПВЛ убедительно доказанным Шахматовым и приводим ряд дополнительных доводов в пользу этой гипотезы (см. [Гиппиус 2007]).

Нахождение подборки сочинений Мономаха перед вставным рассказом Гюряты может объясняться двояко. С одной стороны, вслед за Шахматовым, его можно было бы объяснять одновременностью осуществления двух вставок, возведя их к общему источнику; однако, как мы видели, рассуждения в этом направлении не привели Шахматова к сколько-нибудь убедительным выводам. Альтернативное объяснение апеллирует к кодикологической специфике рукописи, в которую была вставлена тетрадь с сочинениями Мономаха: нужно предположить, что рассказ Гюряты открывал в этой рукописи новую тетрадь, добавленную к основному блоку книги.

Согласно реконструкции, подробно обосновываемой в [Гиппиус 2007], именно такой вид приобрел протограф лаврентьевской группы, после внесения в него наиболее существенных вставок редакции 1118 г. Явление, которое Шахматов описывает как «обратное» влияние третьей редакции на вторую в процессе взаимодействия летописных сводов XIV в., представляется нам как «обновление» самой рукописи 1116 г., осуществленное еще при жизни Сильвестра (возможно, даже им самим) путем замены нескольких тетрадей в конце кодекса; при этом первая из тетрадей, содержащих новый, отредактированный текст, начиналась рассказом Гюряты. В месте присоединения новых тетрадей блок отредактированного таким образом кодекса мог несколько распасться, и в этот распад впоследствии было проще всего вставить еще одну тетрадь, содержащую «Избранное» Мономаха. Произошло это, как мы предположили выше, в Переяславле Южном, где находилась рукопись Сильвестра и где у Андрея Доброго сохранялось Мономахово «Поучение». В таком виде, со вставленной внутрь него тетрадью с сочинениями Мономаха, рукопись (в которой текст ПВЛ был продолжен погодной летописью) могла быть использована составителем владимирского свода 1177 г. При переписке в его составе «Поучения» текст «Молитвы» был воспроизведен с добавлениями, к появлению которых, возможно, был причастен внук Мономаха, Андрей Юрьевич Боголюбский.

Л и т е р а т у р а

Александров 1983 — А. Александров. Об установлении праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Русской Церкви // Журнал Московской патриархии. 1983. № 10. С. 74—78; № 11. С. 69—72.

Воронин 1962 — Н. Н. Воронин. О времени и месте включения в летопись сочинений Владимира Мономаха // Историко-археологический сборник: А. В. Арциховскому к 60-летию со дня рождения и 35-летию научной, педагогической и общественной деятельности. М., 1962. С. 265—271.

Воронин 1965 — Н. Н. Воронин. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // Византийский временник. 1965. Т. 26. С. 208—218.

Воскресенский 1893 — Поучение детям Владимира Мономаха / Ред. и примеч. В. А. Воскресенского. СПб., 1893.

Гиппиус 2002 — А. А. Гиппиус. О критике текста и новом переводе-реконструкции Повести временных лет // Russian Linguistics. 26 (2002). P. 63—126.

Гиппиус 2003а — А. А. Гиппиус. Сочинения Владимира Мономаха: Опыт текстологической реконструкции. I // Рус. яз. в науч. освещении 2003. № 2 (6). С. 61—99.

Гиппиус 2003б — А. А. Гиппиус. К атрибуции молитвенного текста в «Поучении» Владимира Мономаха // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2003. 4 (14). С. 13—14.

Гиппиус 2007 — А. А. Гиппиус. К проблеме редакций Повести временных лет // Славяноведение (в печати).

Горский 2005 — А. А. Горский. К вопросу о судьбе произведений Владимира Мономаха // Неисчерпаемость источника: Сб. к 70-летию В. А. Кучкина. М., 2005. С. 117—123.

Забелин 1895 — И. Е. Забелин. Следы литературного труда Андрея Боголюбского // Археологические известия и заметки. М., 1895. № 2—3. С. 45—46.

Комарович 1960 — В. А. Комарович. Культ рода и земли в княжеской среде XI—XIII вв. // ТОДРЛ. 1960. Т. 16. С. 84—104.

Литвина и Успенский 2006 — А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Выбор имени у русских князей: Династическая история сквозь призму антропониимики. М., 2006.

Лифшиц 1983 — Л. И. Лифшиц. Об одной ктиторской композиции в росписи Нередицы // Древний Новгород: История, искусство, археология. М., 1993. С. 188—196.

Лихачев 1983 — Д. С. Лихачев. Текстология. На материале русской литературы XI—XVII вв. Л., 1983.

Лосева 2001 — О. В. Лосева. Русские месяцесловы XI—XIV вв. М., 2001.

Лосева 2001a — О. В. Лосева. Патрональные святые русских князей (летописи, месяцесловы, сфрагистика) // Восточная Европа в древности и средневековье. Генеалогия как форма исторической памяти: XIII чтения памяти В. Т. Пашуто. Москва, 11—13 апреля 2001: Мат-лы конф. М., 2001. С. 126—133.

Лурье 1976 — Я. С. Лурье. Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976.

Матъесен 1971 — Р. Матъесен. Текстологические замечания о произведении Я. С. Лурье // ТОДРЛ. 1971. Т. 26. С. 192—201.

Момина 1992 — М. А. Момина. Проблема правки славянских богослужебных книг на Руси в XI в. // ТОДРЛ. 1992. Т. 45. С. 200—219.

Момина и Трунте 2005 — Triodion und Pentekostarion. Nach slavischen Handschriften des 11.—14. Jahrhunderts. T. I: Vorfastenzeit / Hrsg. M. A. Momina und N. Trunte. Paderborn; München; Wien; Zürich, 2005 [Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 110].

Мюллер 1967 — L. Müller. Die «dritte Redaktion» der sogenannten Nestorchronik // Festschrift für Margarete Woltner zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1967. S. 171—186.

Никольский 1906 — Н. Никольский. Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (X—XII вв.). СПб., 1906.

Октоих 1991 — Октоих сиреч Осмогласник. Т. 2. М., 1991.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. М., 1962. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908.

Плюханова 1995 — М. Б. Плюханова. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.

Понырко 2004 — Н. В. Понырко. Покаянные каноны Кирилла Туровского (вопросы атрибуции) // ТОДРЛ. 2004. Т. 55. С. 240—263.

Приселков 1939 — М. Д. Приселков. История рукописи Лаврентьевской летописи и ее изданий // Учен. зап. Лен. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1939. Т. 19. С. 175—197.

Раппопорт 1982 — П. А. Раппопорт. Русская архитектура X—XIII вв. Каталог памятников. Л., 1982.

Сазонов 1999 — С. В. С а з о н о в. «Молитва мертвых за живых» в русском летописании XII—XV вв. // Россия в IX—XX вв. Проблемы истории, историографии и источниковедения. М., 1999.

Свердлов 2003 — М. Б. С в е р д л о в. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII в. СПб., 2003.

Сергий 1898 — С е р г и й, архиеп. Св. Андрей, Христа ради юродивый и праздник Покрова Пресвятыя Богородицы. СПб., 1898.

Творогов 1997 — О. В. Т в о р о г о в. Существовала ли третья редакция «Повести временных лет»? // In memoriam: Сб. памяти Я. С. Лурье. СПб., 1997. С. 203—209.

Тимберлейк 2001 — А. T i m b e r l a k e. Redactions of the Primary Chronicle // Рус. яз. в науч. освещении. 2001. № 1. С. 219—238.

Толочко 2003 — П. П. Т о л о ч к о. Русские летописи и летописцы X—XIII вв. СПб., 2003.

Филипповский 1983 — Г. Ю. Ф и л и п п о в с к и й. «Слово» Андрея Боголюбского о празднике 1 августа // Памятники истории и культуры. Ярославль, 1983. С. 75—84.

Шалина 2005 — И. А. Ш а л и н а. Реликвии в восточнохристианской иконографии. М., 2005.

Шахматов 1916 — А. А. Ш а х м а т о в. Повесть временных лет. Т. 1. Пг., 1916.

Шахматов 1938 — А. А. Ш а х м а т о в. Обзорение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938.

Шляков 1900 — Н. В. Ш л я к о в. О Поучении Владимира Мономаха // ЖМНП. 1900, май, ч. 329. С. 96—138; июнь, ч. 329. С. 209—258; июль, ч. 330. С. 1—21.

И. Б. ИТКИН, Ю. К. КОГАН

ОКОНЧАНИЕ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА *-ОВИ* В ДРЕВНЕНОВГОРОДСКОМ ДИАЛЕКТЕ

Как известно, на одном из этапов грамматической перестройки парадигм существительных типа *другъ, конь* в древних славянских языках возникает конкуренция двух окончаний дательного падежа ед. ч.: исконного *-у/-ю* и заимствованного из разрушающегося *и*-склонения *-ови/-еви*. Результаты этой конкуренции в разных славянских языках различны — от полного исчезновения окончания *-ови* (как, например, в современном русском языке) до его практически полного господства (как, например, в современном польском). Картина, наблюдаемая в этом отношении на великорусской территории в XI—XV вв., отличается исключительной пестротой; едва ли не в каждом говоре действовали свои тенденции в употреблении вариантов *-у* и *-ови* (нельзя исключать даже, что во многих рукописях фактически отражены не правила, характерные для той или иной диалектной зоны, а индивидуальные предпочтения писцов).

Одним из наиболее благодарных объектов для анализа здесь может служить древненовгородский диалект. Формы дат. ед. муж. часто встречаются в новгородских берестяных грамотах (в первую очередь — за счет присутствующей во многих из них адресной формулы «от X-а к Y-у»). Помимо грамот, ценным источником оказывается Синодальный список Новгородской первой летописи (далее — Синод. НПЛ), который, хотя во многом и ориентирован на церковнославянские нормы, все же содержит значительное число новгородских черт [ДНД₂: 12]. Важнейшее значение для рассматриваемой проблемы имеют наблюдения над материалом берестяных грамот и Синод. НПЛ, сделанные А. А. Зализняком, отметившим следующие особенности употребления окончания дат. ед. муж. в этих текстах:

— господствующим является окончание *-у*, окончание *-ови* встречается реже;

— «окончание *-ови* характерно в основном для начала письменной истории др.-новг. диалекта; в дальнейшем его роль быстро падает и в XIII в. оно практически исчезает» [ДНД₂: 108]; «... в Синодальном списке I Новг. лет. окончание *-ови* (выступающее как редкий вариант к господствующему *-у*) тоже тяготеет к начальной части летописи. Если не считать словоформ *сынови, отцеви* и книжного *цесареви* (а также изолированного *коневи* под

1268 г., в пассаже, отредактированном в книжном стиле), все примеры с *-ови*, *-еви* относятся к событиям не позже 1218 г.» [Зализняк 1986: 135];

— в берестяных грамотах окончание *-ови* «фактически ограничено именами собственными, обозначающими лиц, и словами *мужь*, *отьць*, а также *попъ*» [ДНД₂: 108].

Последнее утверждение едва ли может пониматься так, что окончание *-ови* было возможно **только** у этих трех нарицательных существительных, — ср. форму **БГОВИ**, встретившуюся в недавно найденной грамоте № 944; скорее речь идет все же об открытом списке. В Синод. НПЛ ситуация практически аналогична (данные Синод. НПЛ здесь и далее приводятся по изданию [НПЛ 1950]): исключение составляют только две формы — *по Дънови* (л. 17 об.) и уже упомянутое *коневи* (л. 146).

Между тем именно в отношении употребления окончаний *-у* и *-ови* церковнославянское влияние на текст летописи едва ли могло быть особенно значительным — в силу того, что для соответствующего фрагмента морфологической системы самого церковнославянского языка также была характерна нестабильность. Кроме того, столь резкого падения частотности форм на *-ови* в начале XIII в., отмеченного А. А. Зализняком, в этом случае не было бы — в церковнославянском языке это окончание, вообще говоря, сохраняется и до настоящего времени. Таким образом, нет никаких принципиальных препятствий к тому, чтобы рассматривать материал берестяных грамот и Синод. НПЛ как единый массив. Специально отметим, что материал новгородских пергаменных грамот для рассматриваемой проблемы не дает фактически ничего. Значительное большинство из них написано на стандартном древнерусском языке с включением большего или меньшего количества церковнославянских элементов, тогда как «новгородизмы появляются в них только как отступления (иногда сравнительно частые, иногда совсем редкие) от этих норм» [ДНД₂: 12]. Кроме того, почти все эти грамоты относятся к тому периоду (2-я четв. XIII—XV вв.), когда окончание *-ови* уже практически не встречается ни в берестяных грамотах, ни в НПЛ. Исключение составляет разве что данная Варлаама Спасо-Хутынского монастырю (ок. 1192 г. [ГВНП, № 104]; 1192—1210 гг. [Янин 1991: 207—211]), точнее, ее первая часть [ДНД₂: 458—460], однако интересующие нас формы в этом документе не представлены. Форма *Георгиеви* (Зх), встретившаяся (наряду с *сыну своему Всеволоду*) в грамоте великого князя Мстислава Владимировича и сына его Всеволода новгородскому Юрьеву монастырю (1130 г. [ГВНП, № 81; Янин 1991: 135]), представляет собой чистый церковнославянизм: в новгородском диалекте соответствующее имя выступало в виде *Гюрги*, ср. показательные *Гергью* (Зх), *Гергья* (о монастыре) и у *Гюрьгя* (о должнике-новгородце) в написанной более свободным языком духовной Климента (не позднее 1270 г. [ГВНП, № 105]; ок. 1255—1257 гг. [Янин 1991: 211—212]). Что касается единичного *Иванкови* в договорной грамоте Новгорода с тверским великим князем Ярославом Ярославичем (1266 г. [ГВНП, № 2]; 1264 г. [Янин

1991: 142—146]), то оно едва ли может рассматриваться иначе, чем случайное отклонение.

Вопрос о наличии каких-либо иных, кроме хронологических и семантико-стилистических, ограничений на употребление окончания *-ови* — как в берестяных грамотах, так и в каких-либо иных древнерусских памятниках, — насколько нам известно, обычно не ставился. Едва ли не единственное исключение в этом плане составляет давняя работа [Фролова 1955]. Обследовав Лаврентьевскую летопись и «Хронику Георгия Амартола», С. В. Фролова выдвинула предположение о том, что окончание *-ови*, *-еви* могут принимать только те существительные со значением лица, от которых образуются прилагательные на *-ов*, *-ев*. Однако уже Ф. П. Филин справедливо отметил, что это правило не выполняется ни на материале других памятников, ни на материале самой Лаврентьевской летописи, где представлены такие в высшей степени характерные для церковнославянского языка формы, как *богови*, *господеви* [Филин 1971: 290]. В самой работе Ф. П. Филина никаких правил употребления окончания *-ови* не предложено; отметим попутно, что приведенные в этой работе [Там же: 291] примеры из новгородских берестяных грамот не только по понятным причинам ограничены находками 1950—1960-х гг., но и во многом основаны на неверных интерпретациях.

Рассмотрим подробнее материал по древненовгородскому диалекту, ныне имеющийся в нашем распоряжении.

По данным ДНД₂, в ранних (XI — начало XIII в.) грамотах окончание *-ови* (без учета формы *сьнови*, где *-ови* исконно) представлено около 30 раз: (х^о)[т]ѣнови (№ 909), кѣ томоу моужевн (№ 109), несѣдницеви (№ 238), павѣлови (№ 745), (д)роценовн (№ 904), кѣ борисовн (№ 742), кѣ о[тѣ]чевн (№ 424), (кѣ) рагоуловн (№ 427), кѣ вышькови (№ 525), кѣ влъчьковн, кѣ рожѣнѣтовн (№ 336), кѣ васильвн (№ 9), кѣ рагоуловн, поповн (№ 831), кѣ петръвн (№ 870), гѣрьгевн, гюрьгевн (№ 854), кѣ василевн (Ст. Р. 15), миѣалевн (№ 79), миѣальвн (№ 682), бѣговн (№ 944), матъевн (№ 550), кѣ грециновн, дѣдѣвн (№ 603), к олисьевн (№ 502), моужевн (№ 531), ко лазоревн (№ 746), также менее надежные кѣ с[т]ав[ѣро](вн) (№ 613) и ко дурѣдѣв(н) (№ 867). К этому списку можно добавить кѣ отъцьвн и кѣ лазорѣвн в найденной в 2004 г. грамоте № 952 (3-я четв. XII в.), шиньцевн в найденной в 2005 г. грамоте № 954 (1-я четв. XII в.; датировки двух последних грамот сообщены нам А. А. Зализняком, которому мы приносим искреннюю благодарность), а также лазаревн в надписи на Воймерицком кресте (также XII в.) [ДНД₂: 457]. Окончание *-у* в этот период представлено более 100х; перечисление всех соответствующих примеров кажется нам излишним.

В более поздних грамотах окончание *-ови* встретилось всего дважды — к атцевн (№ 404, XIII в.) и кѣ ѡларевн (№ 615, 2-я пол. XIII в.) — на фоне полного господства окончания *-у*.

Кроме того, окончание *-ови* отмечено в трех бесспорно новгородских грамотах: **къ стоаьнови** (№ 246, 1-я пол. XI в.; А. А. Зализняк предполагает для этой грамоты смоленско-полоцкое происхождение [ДНД₂: 280]), **отецеве** (Твер. 1, конец XII — 1-я четв. XIII в.; ср. в этой же грамоте **ко михалоу ко домажировицоу**) и **ко нежилови** (Вит. 1, 2-я пол. XIII — 1-я пол. XIV в.); свидетельством ситуации в древненовгородском диалекте эти грамоты, разумеется, служить не могут.

Ситуация в Синод. НПЛ оказывается чрезвычайно близкой к ситуации в берестяных грамотах даже в количественном отношении: в записях, относящихся к 1016—1218 гг. (т. е. в хронологических рамках, очерченных А. А. Зализняком), окончание *-ови* (опять-таки без учета формы *сынови*) встретилось 20 раз: *Рагуилови*, *Судилови*, *къ Одрееви* (2х), *къ Одрѣви* и *Адрееви*, *къ Гюргеви* (2х), *Якунови*, *Михалеви* (2х), *Давыдови*, *Иванькови*, *Исакови*, *Филипови*, *цесареви* и *цесареви*, *богови* (2х), *дужеви*. Окончание *-у* в этот период представлено около 100х.

Во многих случаях два окончания дат. ед. муж. бесспорно являются свободными вариантами. Одни и те же существительные регулярно выступают и с *-у*, и с *-ови*, ср. приведенные выше списки и, с другой стороны, например, **къ павьл[ъ]** (№ 725), **къ борисѸ** (№ 819), **ко борисоу** (№ 581), **къ гюргю** (№ 239), **ко ѿеларю** (№ 443) в грамотах, *Гюргю*, *Якуну* (2х), *Давыду*, *Иванку* (2х), *цесарю* (2х), *отцю* (6х) в Синод. НПЛ. Нередки примеры использования обоих этих окончаний при назывании — несомненно или с высокой вероятностью — одного и того же лица, ср. **(хо)[т']ѣнови** (№ 909), но **хотѣноу** (№ 912), **къ хотѣноу** (№ 902); **къ грецинови** (№ 603), но **ко грициноу** (№ 502), **къ гръциноу** (№ 549), **ко гръциноу** (№ 558); **къ петръви** (№ 870), но **къ петру** (№ 885), **къ п[ь]троу** (№ 889); в Синод. НПЛ отметим хотя бы *Иванькови Захарииницю* (л. 38 об.) и чуть раньше *Иванку Захарииницю* (л. 38). Кроме того, окончания *-у* и *-ови* могут встречаться в одной и той же грамоте, ср., например, **павъллови**, но **братонѣжъкѹ**, **кънлзю** (№ 745); **къ рагоуьлови**, **попови**, но **писк(оу)[п]оу**, **посада[ник]о(у)** (№ 831); **матѣви**, но **к аврамоу**, **собыславоу** (№ 550); **моужеви**, но **коснатчиноу** (№ 531); **шилцьеве**, но **къ вѣдовиноу** (№ 954).

Несмотря на это, есть некоторые основания полагать, что меньшая частота встречаемости варианта *-ови* вызвана не просто его маргинальностью, но тем обстоятельством, что на его употребление наложен ряд достаточно жестких запретов.

1) **Окончание *-ови* практически не встречается при основах, содержащих более двух слогов.**

Следует заметить, что, поскольку речь идет об эпохе падения редуцированных, вопрос о правилах подсчета слогов в той или иной основе нередко оказывается отнюдь не тривиальным. Как показывают примеры **несѣдницеви** (№ 238), **къ рожънѣтови** (№ 336), *Иванькови* (Синод. НПЛ, л. 38 об.), слабый редуцированный в таких случаях не учитывался. Как от-

клонение выглядят только формы **къ рагоулови** (№ 831), *Рагулови* (Синод. НПЛ, л. 14). Однако в заимствованных именах с исходом на гласную + *ил* гласный *и* мог морфологически восприниматься как {j̄}; соответственно в косвенных падежах таких имен за этим *и* стоит не слогаобразующий гласный, а {j̄}. Об этом свидетельствуют как многочисленные примеры отражения в грамотах основы имени *Михаиль* в виде *Михал-* и *Михал'-*, иногда распространяющиеся и на форму им. пад., и форма **рагоулови** (№ 427), так даже и данные современного русского языка, ср. *Михаил* — *Михайлович*, *Михайлов*; *Измаил* — *Измайлович*, *Измайлов*; *Самуил* — *Самойлович*, *Самойлов*. Таким образом, бесспорных исключений из сформулированного правила нет.

Примеры употребления при трех- и более сложных основах окончания -у нередки, ср., например, **къ братонѣжъкоу** (№ 745), **ко хотеславокоу** (№ 654), **къ вълъдѣноу** (№ 891), **къ посадьникоу** (№ 605), **мнкиѡроу**, **пльсковитиноу** (№ 926); *Яроулку*, *Всѣволоду*, *Володимиру*, *митрополиту* (Синод. НПЛ) и т. д.

Причина данного запрета понятна — присоединение к многосложным основам двусложного окончания -ови приводило бы к появлению «слишком длинных» словоформ, тогда как использование окончания -у позволяло этого избежать. Именно этим обстоятельством объясняется почти полное отсутствие окончания -ови в отчествах. И если данные Синод. НПЛ в этом плане не очень показательны, поскольку отчества здесь представлены практически только вместе с именами (см. о таких конструкциях ниже), — ср. бесчисленные *Судилови Иванковицу*, *Михалеви Степаницу*, *Костянтину Микульцицу*, *Дмитру Мирошкиницу*, *Якуну Мирославицу*, *Завиду Неревеницу*, *Мъстиславу Мъстиславицу* и т. д., то в ранних берестяных грамотах отчества встречаются редко и без предшествующего имени, ср. **гюргевициу** (№ 119), **гюлопинициу** (№ 926). Однако форма **несъдициви** (№ 238), образованная от имеющего двусложную (по позднерусскому счету) основу отчества **несъдичь**, показывает, что речь идет не о специфическом ограничении, касающемся именно отчеств, а лишь о частном случае действия правила о длине основы.

2) Окончание -ови невозможно при основах с исходом на -в.

Вследствие ограниченности круга имен, представленных в летописи, материал Синод. НПЛ в данном отношении оказывается почти бесполезен. Почти все имеющиеся примеры основ на -в представляют собой трехсложные имена со вторым компонентом -слав, ср. *Святославу*, *Изяславу*, *Ярославу*, *Мирославу*, *Твърдиславу*, *Жирославу*; появление в них окончания -ови невозможно в силу многосложности основы. Единственным исключением является форма *Мъстиславу* (Зх): основа этого имени по позднерусскому счету двусложна. Тем не менее этот пример никак нельзя считать показательным сам по себе — отсутствие формы **Мъстиславови* может объясняться простой случайностью или влиянием прочих имен на -слав.

Однако в берестяных грамотах дело обстоит иначе. Помимо все тех же трехсложных имен на *-слав* — *къ хотеславоу* (Ст. Р. 35), *(к)ъ дома[сл](а)воу* (№ 556), *къ монславоу* (№ 548), *[к] мирославоу* (№ 603), *станиславоу* (№ 601), — в них представлены и двусложные — *къ лоудьславоу* (№ 113), *совыславоу* (№ 550), — а также имена иной структуры: *къ дрист[ьл]ивоу* (№ 736а), *[л]ковоу* (№ 890), *ко лковоу* (№ 627, 705).

Наглядным подтверждением невозможности присоединения окончания *-ови* к именам с исходом на *-в* могут служить следующие примеры, в которых формы на *-у* и *-ови* соседствуют в пределах одной фразы (и даже одной сочиненной группы), ср.: *а Мирославу даша посадьницяти въ Пльскове, а Рагуилови въ городъ* (Синод. НПЛ, л. 14), *къ грецинови* и *[к] мирославоу* (берестяная грамота № 603), *вѣоу славоу* и *лазаревѣ* (надпись на Воймерицком кресте). Соответственно, утраченный конец адресной формулы (*покланан*)[и](ѣ) *Ѡ матери ко миросла...* в грамоте № 747, для которого А. А. Зализняк не предлагает никакой реконструкции, следует восстанавливать как *ко миросла(воу)*; теоретически возможна также реконструкция *ко миросла(вѣ)* (ср. *мѣти мирослава* в надписи на Воймерицком кресте), вариант же *ко миросла(вови)* практически исключен.

Природа этого ограничения также вполне понятна. Действующий здесь механизм, весьма сходный с диссимиляцией, актуален и для современного русского языка: ср. запреты на сочетаемость суффикса абстрактных существительных *-ость* с основами на *-ст* (*густой* — *густота*, *простой* — *простота*, *пустой* — *пустота*, *толстый* — *толщина* и т. д.; не **густость*, **простость*, **пустость*, **толстость*), притяжательного суффикса *-ин(ый)* — с основами на *-н*, *-нь* (*слон* — *слоновый*, *окунь* — *окуневый*, *кабан* — *кабаний*; не **слоновый*, **окуновый*, **кабаний*), окончания род. п. мн. ч. *-ей*, выступающего после мягких согласных, — с основами на *-й* (*сарай* — *сараяв*, *соловей* — *соловьев*, *гений* — *гениев* и т. д.; не **сарайей*, **соловьевей*, **генией*) и др. под., см. [Иткин 2005].

3) В неоднословных наименованиях лиц (имя + отчество, имя + прозвище, титул + имя и т. п.) **окончание *-ови* может иметь только один из компонентов, а именно личное имя.**

В отличие от двух предыдущих ограничений, появление которых легко было предсказать, для только что сформулированного правила трудно подобрать какие-либо аналоги; возможно, речь опять-таки идет о своего рода диссимиляции — в данном случае, так сказать, межсловной. Число примеров, иллюстрирующих его действие, не слишком велико, однако весьма существенным представляется полное отсутствие исключений, ср.:

— в берестяных грамотах: *дѣдѣви кн(зю)* (№ 603; реконструкция *кн(зевѣ)* невероятна — как по размеру лакуны, так и потому, что ни в берестяных грамотах, ни в Синод. НПЛ слово *князь* вообще никогда не выступает с окончанием *-евѣ*), *к олисѣви ко грициноу* (№ 502);

— в Синод. НПЛ: *Судилови Иванковицю, брату Исакови, къ ... цесарю Филипови, Михалеви Степаницю* (2х).

Разумеется, *-ови* в составе таких наименований может вовсе отсутствовать, ср. в Синод. НПЛ *Дмитру Мирошкиницу, Якуну Мирославицю (2х), Завиду Неревеницю, Михалку Степаницю, Дьмитру Якуничю, Гльбу князю, князю Роману* и др.; в берестяных грамотах примеров нет.

Конечно, картина, наблюдаемая в ранних древненовгородских памятниках, ни в коем случае не может быть экстраполирована на другие, даже территориально и хронологически близкие, диалектные системы. Тем более это относится к позднерусской эпохе. Мнение Ф. П. Филина о том, что «в XIV—XV вв. на севере окончание *-ови, -еви* вовсе выходит из употребления, в письменности по традиции сохраняясь как стилизованная книжная форма» [Филин 1971: 298], представляется более чем спорным. В частности, едва ли подобное объяснение приемлемо для многочисленных форм на *-ови*, представленных в Ипатьевской летописи, ср. [Зализняк 2004: 106]. В связи с этим представляют интерес данные об употреблении окончания *-ови* в самом, пожалуй, знаменитом древнерусском памятнике — «Слове о полку Игореве». По мнению значительного большинства исследователей, «Слово...» представляет собой памятник конца XII в., диалектная принадлежность которого неясна, сохранившийся в списке XV—XVI в., созданном на северо-западе Руси (нередко говорят просто о псковской зоне), ср., например, [Зализняк 2004: 94—111]. Замечательным образом, оказывается, что с этой точки зрения «Слово...» ничем не отличается от Синод. НПЛ, а именно:

— окончание *-ови* представлено почти исключительно у существительных, обозначающих лиц; единственное исключение — *по Дунаеви* 169 (здесь и далее цифра указывает номер фрагмента «Слова...» в соответствии с нумерацией, предложенной Р. О. Якобсоном и принятой в [Зализняк 2004: 336—350]), ср. *по Дьнови* в Синод. НПЛ;

— даже и в этой группе слов окончание *-ови* встречается заметно реже, чем окончание *-у*: на 7 примеров *-ови* (*Романови* 4, *Игореви* 15, 184, *королеви* 130, *Хрѣсови* 159, *Кончакови* 203, 207) приходится не менее 18 примеров *-у* (без учета неясных случаев вроде знаменитого фрагмента *слава Игорю Святъславличь, буй туру Всеволодѣ, Владиміру Игоревичу* 216, представляющего собой чередование дативов и вокативов): *Ярославу* 4, 156, *Мстиславу* 4, *Святъславличю* 4, *Святъславличю* 39, *Всеславу* 144, *Игорю* 186, *Кончаку* 193, *князю* (не менее 6х), *внуку* 15, *брату* 77, *деду* 144, также *сыну* 122;

— одни и те же слова могут встречаться и с окончанием *-у*, и с окончанием *-ови*, ср. *Игореви* ~ *Игорю*, *Кончакови* ~ *Кончаку*, также *по Дунаеви* 169 ~ *Дунаю* 130;

— окончание *-ови* представлено только у существительных с не более чем двусложной основой, существительные с большим числом слогов неизменно имеют окончание *-у*: *Ярославу*, *Святъславличю*;

— окончание *-ови* невозможно у слов с исходом на *-в*: *Ярославу*, *Мстиславу*, *Всеславу*;

— в составных наименованиях лиц окончание *-ови* может принимать только личное имя: *Романови Святъславличю* 4, *Игореви того внуку* 15, *Игореви князю* 184; однако встречаются и такие наименования, в которых окончание *-ови* вообще отсутствует: *князю Игорю* 186.

Фраза *старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы касожьскими, красному Романови Святъславличю* 4, где единственная форма на *-ови* выступает в окружении трех форм на *-у*, может служить наглядной иллюстрацией действия всех трех сформулированных выше ограничений.

Небольшой объем памятника и неясность истории его текста заставляют воздержаться от каких-либо решительных выводов о природе этого сходства. В принципе количество форм на *-ови* в «Слове...» под пером его последнего переписчика могло как уменьшиться, так и увеличиться. Однако отнюдь не исключено, что именно в этом отношении никаких существенных изменений при переписывании текста «Слова...» не произошло — в том случае, если правила употребления окончаний *-у* и *-ови* у автора XII в. и у писца XV в. в основном совпадали. Так или иначе, такое сходство между «Словом...» и древненовгородскими документами, как кажется, заслуживает внимания.

В заключение позволим себе высказать еще одну гипотезу, касающуюся судьбы окончания *-ови* в древненовгородском диалекте. Можно думать, что процесс его исчезновения во второй половине XII — начале XIII в. в мягкой разновидности *о*-склонения происходил медленнее, чем в твердой. Если использовать в качестве условного ориентира границу между подразделами Б I и Б II книги [ДНД₂], т. е. примерно 1160 г., то картина оказывается такой. В грамотах, написанных до этой даты, соотношение примеров окончания *-ови* у слов с твердой и мягкой основой составляет 12:9, а в грамотах, написанных в 1160—1220 гг., — 3:8, а именно: **къ грецинови**, **дѣдѣви** (№ 603), **бѣгови** (№ 944), но **михалеви** (№ 79), **михальви** (№ 682), **матѣви** (№ 550), **к олнсьевн** (№ 502), **моужеви** (№ 531), **ко лазоревн** (№ 746), **къ отьцьви**, **къ лазорьви** (№ 952). При этом первые два примера встретились в одной и той же грамоте № 603, а выражение **а то бѣгови и тобѣ** (№ 944) может представлять собой просто достаточно архаичную устойчивую формулу (хотя, конечно, к такой же устойчивой формуле может восходить **тобе не сѣтра** (sic!) **а моужеви не жена** в грамоте № 531). К тому же хронологическому интервалу, по-видимому, относится и **лазаревн** в надписи на Воймерицком кресте. Наконец, оба примера окончания *-ови* в еще более поздних грамотах также отмечены в словах мягкого склонения: **к атцевн** (№ 404), **къ ѡларевн** (№ 615); последнее А. А. Зализняк оценивает как «может быть, не новгородское» [ДНД₂: 108], но если наше наблюдение верно, такое объяснение становится несколько менее обязательным.

Что касается Синод. НПЛ, то в записях, относящихся ко времени после 1218 г., представлены только *отцевн* (2х), *цесаревн* (3х) и то самое зага-

дочное *коневи* на фоне единственной формы *богови*, встретившейся буквально на последней странице летописи (л. 168 об., под 1352 г.; в [Зализняк 1986: 135] эта форма не упомянута). Разумеется, каждый из этих примеров допускает различные объяснения; тем не менее факт принадлежности слов *отьць*, *цесарь* и *конь* к мягкой разновидности *о*-склонения может и не быть простой случайностью.

Сокращения и условные обозначения (кроме общеизвестных)

х — (столько-то) раз

Вит. — берестяная грамота из Витебска

Ст. Р. — берестяная грамота из Старой Руссы

Твер. — берестяная грамота из Твери

Л и т е р а т у р а

ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.

ДНД₂ — А. А. З а л и з н я к. Древненовгородский диалект. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.

Зализняк 1986 — А. А. З а л и з н я к. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В. Л. Я н и н, А. А. З а л и з н я к. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951—1983 гг.). М., 1986.

Зализняк 2004 — А. А. З а л и з н я к. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2004.

Иткин 2005 — И. Б. И т к и н. Об одном ограничении на сочетаемость суффиксов с основой в современном русском языке // Славяноведение. 2005. № 4. С. 50—57.

НПЛ 1950 — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

Филин 1971 — Ф. П. Ф и л и н. К истории форм дательного падежа единственного числа имен существительных мужского рода в восточнославянских языках // Фонетика. Фонология. Грамматика: (К семидесятилетию А. А. Реформатского). М., 1971.

Фролова 1955 — С. В. Ф р о л о в а. Об одной грамматической особенности древнерусского языка // Учен. зап. Куйбышевского гос. пед. ин-та. Вып. 13. Куйбышев, 1955.

Янин 1991 — В. Л. Я н и н. Новгородские акты XII—XV вв. (хронологический комментарий). М., 1991.

А. А. ПЛЕТНЕВА

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ XVIII—XIX ВВ.*

В истории русского языка и литературы XVIII век рассматривается как некий рубеж, как начало нового этапа. Это время смены культурной и языковой парадигмы, время созидания новой словесности и нового литературного языка. Но новаторство эпохи ощущается лишь тогда, когда мы рассматриваем культурные и языковые процессы с позиции элитарной¹ культуры, представители которой читают и пишут на русском литературном языке. Изменение угла зрения меняет перспективу исследования.

Если рассматривать словесность XVIII века не как предысторию современной литературы и языка, а как самостоятельную систему, если не фиксироваться только на этапах формирования современной грамматики, современного словоупотребления и т. д., а сосредоточиться на описании языковой ситуации, перед нами будет совершенно другая картина. Обращаясь к анализу ситуаций, когда письменный текст порождается или используется, мы не можем оставаться в рамках той культуры, к которой принадлежат тексты Державина, Пушкина и Толстого. Ведь невозможно отрицать, что письменная культура в России существовала не только среди тех, кто принадлежал к социальной элите. Поэтому прежде чем делать выводы о том, что единственным письменным языком в России XVIII—XIX вв. был русский литературный, необходимо иметь некоторое представление о социальной структуре общества, типах образования и его распространенности, а также о круге чтения разных социальных групп.

I

В период между петровскими преобразованиями и осуществленной большевиками в первой трети XX в. культурной революцией культура

* Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований ОИФИ РАН «Русская культура в мировой истории».

¹ Здесь и далее элитарной культурой мы будем называть культуру людей с образованием не ниже среднего, а культуру остальной части населения России — народной или же массовой.

России имела отчетливо сословный характер. При этом языковая компетенция людей, получивших образование не ниже среднего, очень сильно отличалась от языковой компетенции остальной части населения страны. Письменный язык и круг чтения людей, получивших среднее и высшее образование, примерно соответствует нашим представлениям о русской культуре XVIII—XIX вв. Именно дворянско-разночинская образовательная модель легла в основу большевистской программы ликвидации неграмотности и постепенному переходу к всеобщему среднему образованию. И жителям современной России, чей круг чтения и языковая компетенция формировались на основе именно этой модели, дворянско-разночинская культура кажется единственно возможной. Между тем в дореволюционной России был представлен и иной тип языковой компетенции. Дело в том, что вплоть до начала XX в. в крестьянской среде (а в XVIII — нач. XIX вв. и в городах) существовала система домашнего обучения церковнославянской грамоте². Первой учебной книгой был церковнославянский Букварь, который традиционно содержал несколько разделов: алфавит с названием букв, двухбуквенные и трехбуквенные слоги, слова под титлами, цифирь, некоторые молитвы и вероучительные тексты³. Вначале учащиеся заучивали названия букв, а потом учились составлять из них слоги (буки + аз — ба, буки + люди + аз — бла). Сначала слова читались «по складам», а затем — «по верхам» (то есть без названий букв). После того как Букварь выучивался наизусть, переходили сначала к Часослову, а затем к Псалтири. В результате этого начального курса грамотности ученик не только обучался чтению, но и осваивал довольно большой корпус церковнославянских текстов. Естественно, что при таком обучении церковнославянский был более понятным и привычным, чем русский литературный язык, который, как известно, имел значительные отличия от диалектной речи и не изучался как самостоятельная система.

² Подробнее об этом см. [Громыко 1991: 286—293; Кравецкий, Плетнева 2001: 25—41].

³ Букварь, несомненно, был очень распространенной книгой. Первым полным дошедшим до нас Букварем является Букварь Ивана Федорова 1574 г., однако считается, что рукописные буквари эпохи до книгопечатания не сохранились, потому что зачитывались до дыр в прямом смысле этого слова. Весьма вероятно, что Букварь и до XVI в. имел то же содержание и ту же структуру, что и в последующие века. Иначе трудно объяснить то единообразие, которое прослеживается в букварях вплоть до начала XX в. Чрезвычайно широким распространением этой учебной книги и, соответственно, ее влиянием можно объяснить тот факт, что собственные буквари издавали как приверженцы культурных новшеств, так и традиционалисты. Известны буквари, изданные Василием Бурцевым, Симеоном Полоцким, Федором Поликарповым, Феофаном Прокоповичем, Платоном Левшиным. Издать свой букварь — означало иметь влияние на очень большую аудиторию из простого народа. Те изменения, которые различные авторы вносили в эту учебную книгу, являлись не только демонстрацией личных представлений, но и своеобразным способом формирования общественного мнения.

II

Современному исследователю крестьянский тип образования кажется экзотикой, однако не следует забывать, что именно этот тип был господствующим вплоть до первой четверти XX века. Для того чтобы пояснить это утверждение, следует сказать несколько слов о социальной структуре русского общества в интересующий нас период. Необходимость такого экскурса связана с тем, что в большинстве случаев тип образования зависел от того, к какому сословию принадлежал человек. Дворяне, духовенство и разночинцы получали образование, ориентированное на европейскую модель, в то время как крестьяне и мещане, как правило, учились по традиционной системе.

Для анализа языковой компетенции жителей Российской империи нам понадобится привести данные о социальной структуре общества (Таблица 1) и о сословном составе учащихся средних учебных заведений (Таблица 2).

Таблица 1

Социальная структура российского общества по данным на 1870 г.⁴

Дворянство поместное, личное и служащее	1,2 %
Духовенство	0,9 %
Городские сословия	9,2 %
Сельские сословия	81,5 %
Военные сословия	6,5 %
Иностранцы	0,27 %
Лица, не принадлежащие к названным сословиям	0,43 %

Таблица 2

Распределение учащихся в средних учебных заведениях по сословиям по данным на 1895 г.⁵

Дети из семей	В мужских гимназиях и прогимназиях (в %)	В реальных училищах (в %)
Потомственных и личных дворян и чиновников	56,39	37,3
Духовного звания ⁶	3,72	0,8
Городских сословий	31,68	43,8
Сельских сословий (и нижних чинов)	6,75	11,6

⁴ Данные приводятся по [Россия: 86]

⁵ Данные приводятся по [Россия: 399].

⁶ Большая часть детей духовенства училась в духовных или учительских семинариях, программа которых более или менее соответствовала гимназической. В данной таблице духовные и учительские семинарии не учтены.

Иностранцев	1,32	4,8
Других сословий	0,14	1,8

Из этих таблиц отчетливо видно, что среднее образование получали преобладающее большинство дворянского населения и преобладающее меньшинство сельского. Поскольку вплоть до середины 30-х гг. XX в. Россия оставалась страной по преимуществу крестьянской, не следует удивляться тому, что, согласно данным переписи населения 1897 г., среди русского населения образование выше начального получили 1,47 % мужчин и 0,96 % женщин⁷. Из этого числа 97,5 % получили среднее образование. Нужно также отметить, что подавляющее большинство людей, получивших образование выше начального, жило в городах [Общий свод I: XVIII; II: XXXVI].

Здесь следует еще раз напомнить, что русским литературным языком активно владели лишь те жители России, которые получили образование не ниже среднего⁸. Таким образом, мы видим, что во второй половине XIX в. привилегированное меньшинство — около 2,5 % населения — в качестве письменного родного воспринимали русский литературный язык, а для большинства непривилегированного населения (крестьян и части мещан) письменным языком, а следовательно и языком культуры, оставался церковнославянский язык.

III

Промежуточное положение между теми крестьянами, которые обучались дома по Часослову и Псалтири и выпускниками гимназий занимали крестьяне и горожане, получившие начальное образование. Да и сама система начального образования имела промежуточный характер. Государство, конечно же, стремилось при помощи школы приобщить население к европейской культуре и, соответственно, к гражданской азбуке и новой русской литературе. Однако традиции домашнего церковнославянского образования были очень сильными, и во многих случаях в школу приходи-

⁷ «На вопрос “где обучался или кончил курс образования?” следовало отвечать: “дома”, “у причетника”, “у солдата”, “в полку”, “в 2-классном училище Министерства народного просвещения”, “в земской одноклассной школе”, “в церковно-приходской школе”, “в городском училище”, “в гимназии”, “в женском институте”, “в духовной академии” и т. д.» [Краевецкий 2003: 149, Наставление I: 23—24; Наставление II: 17—18].

⁸ Само собой разумеется, мы говорим лишь о статистически значимых величинах. Понятно, что среди крестьян встречались гениальные самоучки, а среди дворян — типичные недоросли. Однако на общую картину подобные исключения повлиять не могут.

ли дети, научившиеся дома читать церковнославянские тексты. Так что в реальности начальная школа лишь постепенно эволюционировала от традиционной образовательной модели к европейской. Такая эволюция быстрее происходила в школах, подчиненных Министерству народного просвещения, и медленнее в школах, относящихся к ведомству Синода. При этом в сельской местности школы, принадлежащие духовному ведомству, преобладали. К тому же количество этих школ к концу XIX в. заметно увеличилось. В 1884 г. Александр III утвердил «Правила о церковно-приходских школах», в которых предусматривалось создание самостоятельного общероссийского ведомства по управлению церковно-приходскими школами: в епархиях организовывались училищные советы, а общее руководство осуществлял Училищный совет при Святейшем Синоде. Церковь получала значительные правительственные ссуды на строительство новых школьных зданий, и церковно-приходские школы стали быстро распространяться. С 1884 по 1894 г. количество церковно-приходских школ выросло почти в семь раз (1884 г. — 4640, 1894 г. — 31835) [Абдуллина 1998: 41].

Находящиеся в ведении Синода начальные учебные заведения [РП IV: 684] подразделялись на школы грамоты и церковно-приходские школы, которые в свою очередь подразделялись на двухлетние (они назывались одноклассными) и четырехлетние (двухклассные). Курс школ грамоты продолжался один год. Здесь изучались Закон Божий, церковное пение (с голоса), чтение на русском и церковнославянском языке, элементарный курс арифметики (счет). В церковно-приходских школах к этому добавлялись церковное пение по нотам, русская грамматика и синтаксис (с написанием диктантов), чистописание, четыре арифметических действия, счет и меры, а также (в двухклассных школах) начальные сведения по русской истории.

В учебных заведениях, принадлежащих Министерству народного просвещения, церковнославянский язык тоже изучался, однако в меньшем объеме, чем в церковно-приходских школах. К тому же среди преподавателей министерских школ было довольно много людей либеральных убеждений, видевших в школьном образовании средство приобщения крестьянских детей к той культуре, к которой принадлежали сами министерские деятели. В связи с этим учителя могли смотреть на церковнославянский язык как на предмет факультативный и необязательный. На недовольство крестьян недостаточно высоким уровнем преподавания в министерских школах церковнославянского языка указывал в 1854 г. И. В. Киреевский [Кравецкий, Плетнева 2001: 35], хотя вопрос о том, как реагировали крестьяне на разрыв с традиционной системой образования, нуждается в дополнительном исследовании. Из вышесказанного можно заключить, что дети, получившие начальное образование в государственных школах, имели начальные сведения как по русскому, так и по церковнославянскому языку. В зависимости от типа школы пропорция этих сведений могла быть различной.

Очевидно, что начальное образование закладывает лишь фундамент языковой культуры и говорить о свободном владении письменной формой русского литературного языка здесь не приходится. Независимо от таланта и педагогических пристрастий учителей, окончившие один или два класса церковно-приходской школы могли читать сказки или басни Крылова, но никак не Пушкина или Толстого. К тому же в жизни русского крестьянина было больше возможности обратиться к книгам, написанным на церковно-славянском языке. В деревнях имелись богослужебные книги, молитвословы, а также рукописные сборники, включавшие достаточно архаичные тексты, в то время как «Белинского и Гоголя» в деревенских избах не было, о чем свидетельствуют и данные этнографов.

IV

В последней четверти XIX в. было проведено значительное количество обследований крестьянского быта, организаторы которых, среди прочего, исследовали и вопросы грамотности крестьянского населения. Одним из наиболее масштабных проектов такого рода был опрос, проведенный в последней четверти XIX в. Этнографическим бюро князя В. Н. Тенишева. Задача, которую ставил перед собой В. Н. Тенишев, мало отличалась от тех задач, которые решают современные социологические опросы. Его конечной целью было получение реальной информации о положении дел в деревне, что осознавалось важным для задач управления государством [БВК: 5]. Сотрудники Тенишевского бюро разослали по стране анкету, состоящую из 500 вопросов. Среди людей, отвечавших на вопросы Тенишевского бюро, преобладало сельское духовенство и по разным причинам оказавшиеся в деревнях разночинцы [БВК: 27—30]. Таким образом, материалы Тенишевского общества фиксируют взгляд на различные стороны крестьянского быта представителей элитарной культуры⁹, хорошо знакомых с жизнью деревни.

В 1993 г. некоторые из ответов на эти анкеты были опубликованы. Вот какие ответы давали тенешевские информанты на вопрос: «Как велико число грамотных и полуграмотных? (...)» [БВК: 418; 162—163]:

Людей грамотных около половины. Грамотность приобретается путем передачи знаний в пределах семьи — от старших к младшим, а также в домах причта. (Вязниковский уезд Владимирской губ.)

Почти все крестьяне моложе 30 лет — грамотные. Начиная с 1875 г. в селе Ляхи действовала приходская школа, где обязанности учителя и законоучителя в течение 20 лет выполнял священник (...). (Меленковский уезд Владимирской губ.)

⁹ Среди отвечавших на вопросы было и несколько грамотных крестьян, но их ответы составляют незначительную часть от общего массива информации.

Из общего числа прихожан (мужчин 492 души, женщин 590 душ) грамотны одна треть мужчин и одна девятая женщин. ⟨...⟩ (Шуйский уезд Владимирской губ.)

В Шуйском у. на деревню — двое-трое (иногда больше) грамотных. В «промышленных» деревнях¹⁰ процент грамотных выше, встречаются грамотные и среди нищих.

Примеры такого рода можно умножать до бесконечности [Кравецкий, Плетнева 2001: 25—41]. Приведенные выше высказывания показывают, что ни составители вопросов, ни их корреспонденты не разделяли церковнославянскую и русскую грамотность. При этом в первом ответе речь идет о церковнославянской грамотности, поскольку нет свидетельств о допустимости домашнего обучения по русскому Букварю. В то же время во втором, третьем и четвертом ответах — о школьном образовании, которое предполагало обучение и русскому, и церковнославянскому языкам. При этом из трех последних ответов отнюдь не следует, что крестьяне до школы не учились читать по церковным книгам. Русская и церковнославянская грамотность смешиваются и в вопросе «Как пишут крестьяне? ⟨...⟩ Часто ли пользуются крестьяне своим знанием грамоты? Кто пишет за безграмотного письмо, прошение?»:

Писать приходится редко. Однако есть «писаки по-церковному». К ним всегда обращаются за помощью (напр., внести имена в поминанье, плата — 15—20 к.), поскольку мужики к 40 годам полностью разучиваются писать, а могут поставить только имя и фамилию. Лишь немногие сохраняют навык к письму: так, переписываются между собой члены общества трезвости, мужчины в возрасте 30—35 лет. Совершенно не имеют случаев писать женщины. Прощения крестьянин составляет волостной писарь, беря за труды от 50 к. до 2 р. Есть три крестьянина, которые пишут корреспонденции в «Сельский вестник» и «Вестник трезвости» о нетрезвости фабричного деревенского люда и невежестве крестьянского быта. (Шуйский уезд Владимирской губ.)

Любопытно, что женщины не умеют писать. По всей видимости, это означает, что в деревне домашнее образование, не дающее навыков письма, было адресовано и мальчикам, и девочкам, а школьное — преимущественно мальчикам.

V

Констатируя корреляцию языковой компетенции с сословной принадлежностью и типом образования, прежде чем говорить о письменном языке непривилегированного социума, нужно представить себе круг чтения представителей этого социума. Если более или менее понятно, что чи-

¹⁰ Т. е. в таких деревнях, где основной вид экономической деятельности не сельское хозяйство, а различные промыслы.

тало московское и петербургское дворянство, то круг чтения провинциального дворянина мы представляем себе уже не так хорошо. Не имея возможности коснуться этой темы более подробно, остановимся лишь на одном хрестоматийном примере. Как мы помним, воспитанная на французских романах, Татьяна Ларина литературы на русском литературном языке не читала («Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном»). В то же время ее любимой книгой был лубочный сонник Мартына Задеки [Ровинский II: № 467, 472]. При анализе круга чтения грамотных мещан и крестьян мы сталкиваемся с еще большими проблемами. Если дворянской культуре была свойственна рефлексия и, анализируя многочисленные мемуары и дневниковые записи, восстановить круг чтения провинциального дворянства можно, то крестьянская и мещанская культура по поводу прочитанных книг не рефлексировала. Поэтому у нас возникает соблазн механически перенести на XVIII—XIX вв. современную языковую ситуацию, считая, что русский литературный язык и тогда был общенациональным.

Миф о том, что, научившись читать, крестьяне сразу же принимались за Пушкина и Толстого, разрушают не только наблюдения этнографов, но и свидетельства писателей. В этом отношении большой интерес представляет известное Некрасовское описание книг, пользующихся популярностью у крестьян:

Купец (...)
 Спустил по сотне Блюхера,
 Архимандрита Фотия,
 Разбойника Сипко,
 Сбыл книги: «Шут Балакирев»
 И «Английский милорд»...
 [Некрасов V: 34].

Современникам Некрасова перечисленные здесь тексты и картинки были хорошо известны. Лубочные портреты прусского генерал-фельдмаршала Г.-К. Блюхера печатались в разных вариантах [Ровинский II: № 565, 585]. «Архимандрит Фотий» — это пользующийся в народе большой популярностью архимандрит Новгородского Юрьевского монастыря Фотий (Спасский). Его изображения распространялись офенями по всей стране. «Повесть о приключении аглицкого милорда Георга и о брандбургской маркграфине Фридерике Луизе» — это появившаяся в 1782 г. обработка рукописной повести, относящейся к середине XVIII в. Повесть перепечатывалась вплоть до 1918 г. [Комаров 2000: 339—344]. Дешевые сборники анекдотов о И. А. Балакиреве, ставшем при Анне Иоанновне шутком, и истории об авантюристе, выдававшем себя за капитана И. А. Сипко, выходили многими изданиями [Некрасов V: 637]. Сетования Некрасова на то, что народ читает массовую литературу, а не «Белинского и Гоголя» несколько отличаются от жалоб начала XX в. на то, что народ вместо Достоевского

читает приключения сыщика Ната Пинкертон¹¹, и сожалений сегодняшнего дня по поводу того, что книжный рынок наводнен детективами Марининой и Незнанского. Принципиальное отличие культурной ситуации середины XIX в. от современной заключается в том, что русские крестьяне (а это подавляющее большинство населения страны) испытывали при чтении произведений русской классической литературы серьезные языковые трудности. Поэтому круг чтения грамотного крестьянина во второй половине XIX в. принципиально отличался от круга чтения дворянства и русской интеллигенции (естественно, что в XVIII — нач. XIX в. эти отличия еще более значительны).

При знакомстве с материалами Тенишевского бюро обращает на себя внимание тот факт, что книги религиозного содержания имели куда большее распространение, чем книги светские. Чтение таких книг не считалось пустым времяпрепровождением. Вот как корреспонденты Тенишевского бюро отвечали на вопрос: «Какие именно книги встречаются у крестьян известного вам села или деревни? <...>» [ББК: 418; 164]:

В грамотной семье имеются книги для церковного богослужения: Псалтырь, Святыцы, Часовник, Жития святых, реже можно встретить Евангелие, иметь которое крестьяне считают даже неприличным. Поскольку оно лежит на св. Престоле, то касаться его должно только духовенство. Светские книги не включают в инвентарь своего «книжного богатства». Их читают единжды. (Суздальский уезд Владимирской губ.)

У многих крестьян есть в доме Библия, Часослов, Псалтырь, Жития святых, встречаются также календари и песенники... (Шуйский уезд Владимирской губ.)

Мы видим, что ответы на вопросы, касающиеся книжных пристрастий крестьян, содержат больше информации о языковой компетенции крестьян, чем вопросы об умении читать и писать. Хотя корреспонденты и не указывают, на каком языке крестьяне читают Библию, Часослов и Псалтырь, очевидно, что это церковнославянские тексты. Таким образом, оказывается, что церковнославянские тексты были куда больше распространены, чем русские. Об этом свидетельствуют и ответы на вопрос «Чем следует объяснить распространенность тех или иных книг: тем ли, что крестьяне предпочитают известные книги другим или же просто тем, что эти книги легче достаются им, чем другие? <...>» [ББК: 418—419; 165]:

Книги божественного содержания народ любит. Ни базар, ни офени ничего иного, кроме перечисленных выше книг, не предлагают. (Меленковский уезд Владимирской губ.)

¹¹ «В одном только Петербурге за один только май сего года — по официальным сведениям сыщицкой литературы разошлось 622300 экземпляров. <...> И тут мне вспомнилось, что при жизни Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание” вышло в двух тысячах экземпляров и что эти жалкие две тысячи продавались с 1876 по 1880 год и все никак не могли распродаться» [Чуковский VI: 131].

В особом почете у крестьян книги религиозного содержания. За их покупку даже безграмотные бабы не ругают. Книги нерелигиозные покупают исходя из требования, чтобы они были подешевле, но содержали побольше страниц. (...) (Шуйский уезд Владимирской губ.)

Чтение книг на церковнославянском языке в деревне считали делом душеполезным и его всячески поощряли, в то время как чтение русских (= светских) книг воспринималось как бессмысленная трата времени. Об этом свидетельствует ответ на вопрос «Как вообще народ относится к чтению? (...)» [БВК: 419; 254]:

Грамотные крестьяне относятся к чтению с любовью и охотой. Книги божественного содержания считают «сурьезным чтением». Гражданское чтение вообще считается забавой. Книги светского содержания либо по вопросам сельского хозяйства часто встречаются с недоверием, ввиду их полной непригодности жизни крестьян. (Меленковский уезд Владимирской губ.)

Чтение — полезное и приятное развлечение, но делом его назвать нельзя. О книгах рассуждают по-своему, например, о новом способе ведения хозяйства говорят: «Хорошо, но не для нас». Вообще к книгам не религиозного содержания относятся не слишком доверчиво («мало ли чего выдумают»). (Шуйский уезд Владимирской губ.)

Отношение к чтению соответственно возрасту читателей: молодежь читает светскую литературу «для скуки», люди постарше читают религиозную «ради души». К школьной хрестоматии относятся как к забавному чтиву, от которого мало толку... (Суздальский уезд Владимирской губ.)

Характерно, что те книги, которые попадают в деревню, в первую очередь благодаря учителям, воспринимаются как баловство и детское чтение. Об этом, в частности, свидетельствует ответ на вопрос «Какие именно книги предпочитают: духовные или светские? Не замечается ли различия в отношении к тем или другим книгам со стороны мужчин и женщин, а также детей, взрослых и стариков? (...)» [БВК: 419; 166]:

Взрослые читают книги божественного содержания. Дети, обучавшиеся в школе, любят повести, рассказы и сказки. (Меленковский уезд Владимирской губ.)

Очевидно, что случаи чтения произведений русских классиков в крестьянской среде единичны, притом что в тенишевской анкете об этом есть специальные вопросы, и подобного рода информация фиксируется. Из прозаических произведений крестьяне знали лубочные повести и рассказы приключенческого характера, а также иногда сказки. Стихи им были трудны и непонятны, и это лишний раз подчеркивает, что силлабо-тоническая стихотворная эстетика и сами темы светской поэзии не были восприняты в народной среде. Драматургия как вид словесности вообще не была известна среди крестьян.

«Какие сказки более всего нравятся детям и взрослым? Как они к ним относятся? Известны ли народу сказки Пушкина, Жуковского и графа Л. Н. Толстого, и как он относится к этим сказкам?» [БВК: 419; 166—167]:

Взрослые к сказкам относятся брезгливо, дети — с любовью. Они знакомы со сказкой Пушкина «О попе и его работнике Балде»¹², читали «Чем люди живы» Л. Н. Толстого, но Жуковский даже детям неизвестен. (Меленковский уезд Владимирской губ.)

На сказки смотрят, как на пустую болтовню. Со сказками Пушкина, Жуковского, Л. Н. Толстого не знакомы. (Суздальский уезд Владимирской губ.)

Взрослые сказок не любят и говорят, что это одно баловство. Считается, что дети зря обувь носят, если в школе задают на дом учить сказки. Сами дети сказки любят, особенно «Снегурочку» и «Спящую красавицу», но о сказках Пушкина, Жуковского и Толстого не имеют понятия. (Шуйский уезд Владимирской губ.)

К сожалению, публикаторы материалов Тенишевского бюро поместили в свой сборник лишь два ответа, относящихся к лубочной литературе. Из них видно, по крайней мере, то, что эта литература известна крестьянину.

«Как относятся читатели разных возрастов к повестям, рассказам и романам лубочного характера? (...)» [БВК: 419; 167]:

«Милорда Аглицкая» у кого-то была, понравилась, но пропала. (Шуйский уезд Владимирской губ.)

Романы и рассказы лубочного характера особенно нравятся молодежи — «страсть занятны». (Шуйский уезд Владимирской губ.)

Но произведения русских классиков крестьянам известны значительно хуже. «Известны ли народу какие-нибудь произведения: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. В. Кольцова, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, И. С. Никитина, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, А. К. Толстого, Т. Г. Шевченко, М. Е. Щедрина (Салтыкова), Д. В. Григоровича, Г. И. Успенского, В. М. Гаршина, В. Г. Короленко? Укажите, какие именно произведения этих писателей известны народу, и приведите отзывы о них читателей» [БВК: 419—420; 167]:

Дети знают несколько басен И. А. Крылова¹³. (Меленковский уезд Владимирской губ.)

Писатели-классики неизвестны. Правда, среди молокан, что живут неподалеку от села, есть крестьяне, знакомые с книгами Льва Толстого. (Меленковский уезд Владимирской губ.)

Классиков знают немногие. Известен лишь один дотошный читатель-крестьянин, который сказал: «Смерть люблю Гоголя». Но и он при этом прочел лишь «Ревизора», «Сорочинскую ярмарку» и «Майскую ночь», не более того. (Шуйский уезд Владимирской губ.)

¹² В несколько адаптированном варианте эта сказка бытовала в лубочной традиции, причем во всех известных С. Клепикову лубочных обработках этой сказки фигурирует не поп, а купец Кузьма Остолоп [Клепиков 1949: 38—39].

¹³ Басни Крылова бытовали и в лубочной традиции, см. [Клепиков 1950].

Недоступна крестьянам и современная поэзия. «Любят ли крестьяне читать стихи или же предпочитают прозу?» [БВК: 420; 167]:

Прозу крестьяне предпочитают стихам. (Меленковский уезд Владимирской губ.)

До стихов крестьянин не охотник. Их плохо понимают даже при хорошем чтении. Попытки читать поэтические произведения обращались неудачей: «Это баловство одно», — говорят крестьяне. Или: «Ставят в Москве памятник Пушкину, неужели за это одно, что он стихи сочинял? ... Кака в том заслуга?» (Суздальский уезд Владимирской губ.)

Читают стихи народ не любит и не умеет. Исключение в данном случае составляют стихи духовного содержания, которые печатаются в журналах «Кормчий» и «Паломник». (Шуйский уезд Владимирской губ.)

Точно так же обстоит дело и с драматургией, о чем свидетельствуют ответы на вопрос: «Известны ли крестьянам какие-нибудь драматические произведения, например Островского? Как они вообще относятся к драматической форме изложения? Не затрудняет ли она их при чтении?» [БВК: 420; 167]:

Островский неизвестен, как и сама драматическая форма. (Меленковский уезд Владимирской губ.)

С драматургией не знакомы. (Суздальский уезд Владимирской епархии)

О драматургии и понятия нет. (Шуйский уезд Владимирской губ.)

Такое игнорирование крестьянами произведений русской классической литературы объясняется не только тем, что проблематика, волнующая русских писателей XIX в., оставалась крестьянам чужда, но и тем, что произведения русских классиков представляли для крестьян сложность в языковом отношении. В связи с этим любопытно свидетельство С. А. Рачинского о круге чтения и интересах детей сельской школы, которую он возглавлял:

Имею случай много читать с ними, много говорить с ними о том, что они читают. Что же делать, если вся наша поддельная народная литература претит им, и мы принуждены обращаться к литературе настоящей, неподдельной? Если при этом оказывается, что Некрасов и Островский им в горло не лезут, а следят они с замиранием сердца за терзанием Брута, за гибелью Кориолана? Если мильтоновский сатана им понятнее Павла Ивановича Чичикова? («Потерянного рая» я и не думал заводить, они сами притащили его в школу) [Рачинский 1991: 48].

Чтобы представить себе, как выглядел язык русского перевода «Потерянного рая», приведем небольшой фрагмент этого текста:

Адаме! сѣя-то есть и вина пришествія моего, рекъ Ангель. Состояніе, въ которомъ сотворенъ ты, и мѣсто, въ коемъ обитаешь, могутъ довольно обязывать небесныхъ духовъ посѣщать тебя. Пойдем! Я препровожду съ тобою остатокъ дня сего. Они вошли в сельное свое уединеніе, которое плѣняло взоръ, какъ сѣнь Помоны, украшенная цвѣтами и благовоніями. Евва, пріятнейшая единою своею красоюю, нежели Діана, или прекраснѣйшая оная

изъ трехъ богинь, по преданію баснословія, открывшихъ нѣкогда на горѣ Идѣ всѣ прелести свои; — Ева дабы почитать небеснаго гостя, стояла предъ нимъ. Она не имѣла нужды въ одѣяніи, но довольно была одѣта добродѣтелию своею. Никакая безчинная мысль не измѣняла цвета ланитъ ея. — Ангель привѣтствовалъ ее святымъ цѣлованіемъ, готовящимъ въ послѣдствіи времянь дочь Іессееву къ воспріятію въ утробу свою Сына Превѣчнаго. «Цѣлую тебе, мати рода человѣческаго, которая благоплодная утроба подастъ міру болѣе обитателей, нежели различные роды деревьевъ, отъ коихъ собрала ты плоды сіи, могутъ произвести цвѣтовъ и листвія!» [Мильтон 1820: 190—191].

Этот прозаический перевод был сделан архиеп. Амвросием (Серебренниковым) с французского перевода Мильтона, и был впервые напечатан в 1780 г. в типографии Н. Новикова, а затем многократно переиздавался [Одаховский 1976: 510]. Издание, по которому мы приводим процитированный выше текст, вышло в свет в 1820 г., то есть одновременно с поэмой «Руслан и Людмила». Разница между этими произведениями в языковом отношении очевидна. При этом прозаические переводы архиеп. Амвросия переиздавались вплоть до конца XIX в. и пользовались в народе огромной популярностью. Книга «Потерянный и возвращенный рай» упоминается среди десятка книг, имеющих в домах владимирских крестьян [ББК: 164]. О популярности Мильтона свидетельствует и курьезный рассказ Н. М. Ежова о книжной торговле на Сухаревской площади:

Вообще Сухаревка полезна для осторожного покупателя, но для просто-го народа, являющагося сюда купить «какую ни на есть книжицу для прочтения», Сухаревка весьма вредна. Я сам был свидетелем, как мужик купил «Потерянный и возвращенный рай», полагая, что приобрел «Молитвенник» [Ежов 1909: 91].

Тексты, подобные «Потерянному раю», имели хождение, по крайней мере, до конца XIX в. Их востребованность означает, что вкусы и языковые пристрастия массовой аудитории отставали от вкусов аудитории элитарной на 100—150 лет. Если иметь в виду это отставание, то становится понятным, почему народная литература XVIII — нач. XIX вв. в значительной степени ориентирована на церковнославянский язык, и лишь во второй половине XIX в. становятся востребованными тексты литературной традиции столетней давности.

VI

Приведенные выше сведения, на наш взгляд, достаточно убедительно доказывают несовпадение круга чтения представителей разных социальных групп. Однако при выделении языковых признаков текстов, пользующихся популярностью среди массового читателя, мы сталкиваемся с большими трудностями. Часто мы не имеем возможности сказать, что текст А

соответствует языковым пристрастиям массового читателя, а текст **Б** не соответствует. Ситуация осложняется еще и тем, что в конце XIX в. появляется массовая литература, ориентированная не на средневековую, а на новую культуру, вроде детективов про Ната Пинкертон¹⁴. В деревнях эти детективы не читались, но формальных критериев для противопоставления этой литературы произведениям Мильтона у нас нет.

Единственным типом письменности, чья принадлежность к массовой культуре не вызывает никаких сомнений, является лубочная письменность. В лубочной литературе, как и в любом другом виде словесности¹⁵, существует множество жанров. Однако здесь эти жанры связаны не с функциональными стилями одного языка, а с двумя языками: русским (в варианте городского просторечия) и церковнославянским. Причем содержание текста определяет ориентацию на один из этих языков [Плетнева 2001: 275—278].

Фрагменты Священного Писания, жития, молитвы в целом ориентированы на церковнославянский язык. Но церковнославянский в лубочной традиции отличается от языка богослужебных книг этого времени. В конце XVII в. (при патриархах Никоне и Иоакиме) сильно был изменен орфографический облик богослужебных текстов, значительно сократилась орфографическая и грамматическая вариативность церковнославянского языка. Эта нормализация орфографии ни коим образом не затронула лубочных текстов, которые в XVIII — первой половине XIX в. обладали заметной орфографической свободой¹⁶. Но при всей вольности орфографии, ни гра-

¹⁴ В 1908 году К. И. Чуковский опубликовал статью «Нат Пинкертон», критикующую массовую криминальную литературу примерно в тех же выражениях, в каких писатели второй половины XIX в. критиковали народную литературу [Чуковский VI: 117—147].

¹⁵ Н. И. Толстой полагал, что лубочная литература занимает промежуточное место между художественной литературой и фольклором. Он писал: «Ее выделение в отдельную совокупность письменных произведений редко практикуется в русском литературоведении, а входящие в ее состав произведения и памятники XIX в. и начала XX в. в наше время почти не изучаются. Между тем в польской и хорватской исследовательской традиции ей уделялось серьезное внимание. (...) Подобно просторечию, адаптировавшему по своим меркам литературный язык, народно-городская, или “лубочная”, литература приспособила ряд произведений, сюжетов и тем элитарной литературы к народным представлениям и мещанским вкусам Никольской улицы» [Толстой II: 14—15].

¹⁶ Так, например, очень часто знаки титла ставятся над словами, которые могут писаться под знаком титла, но в данном контексте должны быть без него: члѣвъкъ, ѡць, гднѣ, снѣ — «Притча о блудном сыне» [Ровинский III: № 695]. Таким образом, знаменщик, учившийся читать по церковнославянскому Букварю, где есть специальный раздел о словах под знаком титла, знал те слова, которые пишутся сокращенно, но выделить случаи, когда эти слова пишутся полностью, он не мог, так как не имел специальной грамматической подготовки. Слово механически воспроизводилось в том виде, в каком оно было знакомо с детства, а его значение при

фика, ни грамматика церковнославянских лубочных текстов не претерпевали существенных изменений. При этом в текстах других жанров вариативность наблюдается не только на орфографическом, но и на всех остальных уровнях языка.

Особо можно отметить тексты, которые Д. Ровинский объединяет в раздел «Забавные листы». Тематика большинства из них не имеет никакого отношения к церковной культуре. Эти тексты весьма физиологичны. В них широко распространены темы еды, пьянства, испражнения, любовных походов и т. д. По своему происхождению эти листы, несомненно, связаны с городскими народными праздниками и площадным театром¹⁷, и поэтому они оказываются уникальным источником по истории московского просторечия¹⁸. Однако «Забавные листы» не являются прямой фиксацией городского фольклора. Об этом говорят представленные в них церковнославянские грамматические формы и лексика¹⁹. Славянизмы связывают «Забавные листы» с письменной традицией предыдущих эпох.

этом не учитывалось. Раздела о значении слов в Букваре не было, так как задача этой книги была научить правильно произносить слова, а не правильно писать. То же самое касается правил распределения дуплетных букв и / ĭ, ѿ / ѿ, о / ѡ, ѳ / е, оу / ѳ. Они не работают, т. к. им не учили тех, кто составлял лубочные тексты. Правила оставались в ведении специалистов, справщиков синодальных и лаврских типографий. Только они, научившиеся специальным навыкам, могли следить за тем, чтобы облик церковнославянского текста богослужебных книг соответствовал грамматическим предписаниям и сложившейся в конце XVII в. традиции. Более подробно об этом см.: [Плетнева 2003: 226—228].

¹⁷ Об ориентации лубочных листов на культуру городских площадных праздников см. [Лотман 1999].

¹⁸ Элементы просторечия встречаются как на лексическом уровне (вякать [Ровинский I: № 97], грубны слова [Там же: № 97], две хари [Там же: № 101], токмо [Там же: № 110], вчерась [Там же: № 112], истакова страму [Там же: № 114], скрость [Там же: № 115] и т. д.), так и на грамматическом уровне: меняется родовая принадлежность, тип склонения и т. п. (мою пузу [Там же: № 99] утоляй брат *свои скуки* [Там же: № 102], свинья имеет такоиже *манерь* [Там же: № 111], на *постелю* [Там же: № 111], много утебя *затеевъ* положено [Там же: № 111] и т. д.). Об этом также см. [Плетнева 2003: 229—231].

¹⁹ Лексические славянизмы: расуди самъ себѣ и *внемли* какъ можно поднять зземли [Ровинский I: № 97]; *повеждѣми* какая в немъ есть сила, что оно тебе кажется мило [Там же: № 111]; а бесъ сталь ево *лстить* (= обманывать) [Там же: № 111] и т. д. Отдельные грамматические славянизмы: онъ тебя охмелить и адъцкими *челюстми* наградить [Там же: № 114], и *приближися* вечеръ [Там же: № 115], *рече* диаволь [Там же: № 115], *обрегати*, *невдати*, *пити*, *дуплити* [Там же: № 107] и т. д. Славянизмы как средства синтаксической связи: поднела рыло *ибо* ей стало мило [Там же: № 111]; видишъ пишатъ трубы *яко* кошки [Там же: № 102]; усердно прѣими *дабы* тебѣ было вѣстно [Там же: № 119]; *аще* содружится со мною кая власть, постигнетъ его лютая напасть, *аще* содружится сомною протопопъ, и внѣ будеть глупый пустопопъ [Там же: № 107] и т. д.

* * *

Лубочные тексты создавались именно для народной аудитории, и вплоть до середины XIX в. были свободны от каких бы то ни было воздействий элитарной культуры²⁰. Основной массив лубочных текстов доцензурной эпохи собран и издан [Ровинский I—V], и это дает возможность описать, в чем именно заключаются различия языка элитарной и народной письменности. Выделив эти особенности, вероятно, мы получим критерий для формального противопоставления языка Сказки о Бове-королевиче языку книг про Ната Пинкертона. Литература, которую читало подавляющее большинство грамотного населения России, достойна внимания, а особенности языка этой литературы — осмысления и изучения.

Л и т е р а т у р а

Абдуллина 1998 — Т. Ю. А б д у л л и н а. Из истории становления светской школы в России на рубеже XIX—XX вв. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 1998. № 1—2 (№ 13—14).

БВК — Быт великорусских крестьян. Описание материалов этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. (На примере Владимирской губернии) / Авт.-сост. Б. М. Фирсов, И. Г. Киселева. СПб., 1993.

Громыко 1991 — М. М. Г р о м ы к о. Мир русской деревни. М., 1991.

Ежов 1909 — Н. М. Е ж о в. Записки москвича: (Картинки, встречи, впечатления) // Исторический вестник. 1909. Октябрь.

Живов 1996 — В. М. Ж и в о в. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.

Клепиков 1949 — А. С. Пушкин и его произведения в русской народной картине / Науч. описание, коммент. и вступит. ст. С. Клепикова. М., 1949.

Клепиков 1950 — И. А. Крылов и его произведения в русской народной картине / Науч. описание, коммент. и вступит. ст. С. Клепикова. М., 1950.

Комаров 2000 — М а т в е й К о м а р о в. История мошенника Ваньки Каина. Милорд Георг / Подгот. текста и коммент. В. Д. Рака. СПб., 2000.

Кравецкий 2003 — А. Г. К р а в е ц к и й. Альтернативные системы в истории русской письменности XVIII—XIX века // Славянское языкознание: Мат-лы науч. конф. (Москва, июнь 2002 г.): К XIII Международному съезду славистов. М., 2003. С. 147—155.

Кравецкий, Плетнева 2001 — А. Г. К р а в е ц к и й, А. А. П л е т н е в а. История церковнославянского языка в России (конец XIX—XX вв.). М., 2001.

²⁰ В середине XIX в. лубочные тексты начинают подвергаться цензурской правке. Процесс включения лубочных текстов в сферу интересов цензоров проходил в 1839—1851 гг. [Хромов 1998: 162]. Отсутствие вмешательства цензоров важно для нас потому, что для церковнославянского [Кравецкий, Плетнева 2001: 19—21] и, в меньшей степени, для русского литературного языка XVIII—XIX вв. [Живов 1996: 473—479] цензура выступала в качестве мощного нормообразующего фактора. Сознательно или несознательно цензоры исключали формы или грамматические конструкции, не соответствующие их представлениям о норме.

Лотман 1999 — Ю. М. Л о т м а н. Художественная природа русских народных картинок // Мир народной картинки. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина: Мат-лы науч. конф. «Вишерские чтения — 1997». Вып. 30. М., 1999.

Мильтон 1820 — Потерянный рай, поэма героическая. Творение Г. Мильтона. Перевод с иностранного языка. 5-е изд. Москва: В типографии Августа Семена, 1820.

Наставление I — Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Наставление сельским счетчикам. Б. м., 1896.

Наставление II — Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Наставление городским счетчикам. Б. м., 1896.

Некрасов V — Н. А. Н е к р а с о в. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Т. 5. Л., 1982.

Общий свод I—II — Первая всеобщая перепись... Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения. Ч. I. СПб., 1905.

Одаховский 1976 — Джон Мильтон. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец / Примеч. И. Одаховского. М., 1976. (Библиотека всемирной литературы. Сер. 1. Т. 45).

Плетнева 2001 — А. А. П л е т н е в а. Социолингвистика и проблемы истории русского языка XVIII—XIX веков // Жизнь языка: Сб. ст. к 80-летию Михаила Викторовича Панова. М., 2001.

Плетнева 2003 — А. А. П л е т н е в а. О языке народной письменности XVIII—XIX веков // Славянское языкознание: Мат-лы науч. конф. (Москва, июнь 2002 г.): К XIII Международному съезду славистов. М., 2003. С. 224—232.

Рачинский 1991 — С. А. Р а ч и н с к и й. Сельская школа: Сб. статей. М., 1991.

Ровинский I—V — Д. А. Р о в и н с к и й. Русские народные картинки. Т. I—V. СПб., 1881.

Россия — Россия: Энциклопедический словарь. Л., 1991 [= Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 54—55].

РП IV — Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь. Т. 4. М., 1999.

Толстой I—III — Н. И. Т о л с т о й. Избранные труды. Т. I—III. М., 1997—1999.

Хромов 1998 — О. Р. Х р о м о в. Русская лубочная книга XVII—XIX веков. М., 1998.

Чуковский VI — К. Ч у к о в с к и й. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М., 1969.

ПОЛЕМИКА

М. Б. ПОПОВ

К ВОПРОСУ О НАПИСАНИЯХ ТИПА ТРОТ < *ТЬРТ В РУКОПИСЯХ XIV—XV ВВ.: СЛГОВЫЕ ПЛАВНЫЕ ИЛИ ВТОРОЕ ПОЛНОГЛАСИЕ?

В статье рассматриваются древнерусские написания типа ТРОТ, ТРЕТ, ТЛОТ (грошокъ, чренило, млонна и др.), передающие рефлексy праславянских сочетаний редуцированных с плавными типа *ТЬРТ, *ТЬГ, *ТЬТ. Указанные написания, обнаруженные, в частности, в ряде списков XIV—XV вв. «Жития Андрея Юродивого» (ЖАЮ), уже явились предметом серьезного исследования в серии статей М. Н. Шевелевой, интерпретировавшей их как отражение слоговых плавных в говоре писца [Шевелева 1995; 1996; 1997; 2001], а также совершенно независимо от М. Н. Шевелевой в работе Е. Н. Болониной¹, которая видит в таких написаниях отражение диалектного произношения /trot, tret/ [Болонина 2003].

Написания типа ТРОТ, ТРЕТ, ТЛОТ особенно широко представлены в двух древних списках ЖАЮ: в Типографском списке конца XIV в. (Тип. № 182; РГАДА, Типографское собрание № 182, 66 лл.) и в представляющем его весьма точную непосредственную копию Соловецком списке самого конца XV в. (Сол. № 216; РНБ, Соловецкое собр. № 216, 195 лл.; около 1494 г.). Оба списка новгородского происхождения.

На основании этих и некоторых других написаний (напр., в берестяных грамотах XII—XIII в.: мловина, во брозѣ = мълвина, въ бързѣ и дѣжьнѣ, вѣчьковн = дѣлжьнѣ, вѣлчьковн), а также диалектного материала (*ослон* ‘дубина’, *кروطь* ‘штопать’, *мрода* ‘рыболовная сеть’ и др.) А. А. Зализняк выдвинул гипотезу, что «наряду с двумя описанными типами рефлексов (*ТЬРТ* и *ТЬГ*) в др.-новг. зоне существовал еще один тип, а именно, *ТЬТ*» [Зализняк 1995: 41]. Относительно написаний, представленных в списках ЖАЮ, на которые обратила внимание М. Н. Шевелева, А. А. Зализняк считает, что такие написания «не могут быть объяснены как орфографическая условность: они отличаются как от стандартных позднедр.-р. написаний с *ор, ол, ер*, так и от орфограмм южнославянского проис-

¹ В тезисах Е. Н. Болониной отсутствуют какие-либо ссылки на работы М. Н. Шевелевой и А. А. Зализняка, посвященные рассматриваемой проблематике, а при ссылке на работу [Крысько 1994] указана другая публикация данного автора.

хождения с *рѣ, лѣ*. За ними явно стоят сочетания с [ро], [ло], [р'е], развившиеся нормальным фонетическим путем из рефлексов типа *ТръТ*» [Зализняк 1995: 42].

Мы не будем обсуждать здесь гипотезу А. А. Зализняка о наличии третьего типа рефлекса псл. *ТЪРТ в части древнерусских говоров. Отметим лишь, что теоретически она правдоподобна и не противоречит имеющемуся материалу памятников и говоров, хотя материал этот невелик и может служить основанием для альтернативных гипотез, в частности, орфографических, позволяющих объяснить написания в памятниках. Более подробно в статье будет рассмотрена основательно разработанная гипотеза М. Н. Шевелевой о слоговых плавных, скрывающихся за написаниями типа ТРОТ, которая представляется нам внутренне противоречивой. Особое внимание уделим орфографии списков ЖАЮ XIV—XV вв., послуживших основанием для выводов М. Н. Шевелевой (а в какой-то степени и для А. А. Зализняка), которая, на наш взгляд, может быть интерпретирована иначе, в частности, без опоры на реконструкцию гипотетических слоговых плавных и гипотетического же особого рефлекса *ТРЪТ < псл. *ТЪРТ.

Главная идея М. Н. Шевелевой заключается в том, что написания ТОРТ — ТРОТ — ТОРЪТ² — ТОРОТ — ТЪРТ — ТРЪТ — ТЪРЪТ — ТРТ в списках ЖАЮ «фонетически эквивалентны» и «**основная вокальность сосредоточена на самом плавном, т. е. что мы имеем дело с вариантными способами передачи слогового плавного**» [Шевелева 1996: 45—46]. В некотором противоречии с этим, однако, находится ее утверждение, что все перечисленные написания являются фонетическими, но главное для М. Н. Шевелевой заключается в том, что они не могут быть признаны чисто орфографической условностью (в этом с ней согласен А. А. Зализняк). Итоговым выводом является следующий: «рефлексы сочетаний *търт реализовались в рассматриваемой диалектной системе в слоговом плавном (= плавном, сопровождавшемся нефонологическими вокальными призвуками) с тенденцией к нейтрализации противопоставления по палатализованности / непалатализованности плавного (а гласных призвуков, соответственно, по ряду), с одной стороны, и к вокализации гласных призвуков при плавном, с другой» [Шевелева 1996: 55]. В отличие от М. Н. Шевелевой, А. А. Зализняк, видимо, понимает рефлекс *ТръТ* как результат метатезы (*ТръТ* < **Търт*³) с последующим «прояснением» в процессе и после падения редуцированных (независимо от сильной или слабой позиции в сложной группе согласных). В. Б. Крысько считает, что *трѣт* удовлетворительно выводится из общевосточнославянского рефлекса *trьt* < **trьt*, предлагая следующую реконструкцию: «сочетания типа *trьt* совпадали в некоторых

² Первые три типа написаний в рассматриваемых рукописях наиболее частотны, остальные — единичны.

³ Возможно, через промежуточный этап *ТъръТ*, хотя А. А. Зализняк скорее противопоставляет рефлексы *ТъръТ* и *ТръТ*, чем усматривает преемственность между ними.

новгородских говорах с формами типа *trьt* (*дрьва*) и претерпевали в дальнейшем такую же эволюцию: в сильной позиции редуцированный вокализовался, тогда как в слабой утрачивался, в результате чего плавный приобретал слоговость, а затем после него развивался неорганический гласный (*trьta > trta > tьta > tnota*)» [Крысько 1994: 19]. Если все же приходится реконструировать рефлекс *trьt* (< **trьt*), то, соглашаясь с В. Б. Крысько в том, что наиболее естественно этот рефлекс выводить из общевосточнославянского ТЪРЪТ, т. е. из второго полногласия, отметим некоторую искусственность реконструкции промежуточных этапов развития ТРЪТА > ТRТА > ТЪТА > ТRОТА, предполагающей выпадение слабого редуцированного и возникновение слогового плавного⁴.

Выводы М. Н. Шевелевой относительно реконструкции системы со слоговыми плавными представляются нам недостаточно обоснованными, а материал проанализированных ею рукописей позволяет, на наш взгляд, предложить другую интерпретацию и выдвинуть гипотезу о том, что большинство написаний указанных двух списков ЖАЮ отражают **второе полногласие** в говоре писцов⁵, а разнообразие способов его передачи на письме в корнях типа *ТЪРТ вызвано сложным переплетением фонетических, орфографических, лексических и стилистических факторов, сопровождавших развитие первого и второго полногласия на северо-западе Руси.

Такой вывод должен показаться парадоксальным, поскольку Тип. № 182 вообще не содержит написаний типа **ТОРОТ** и **ТЄРЄТ**, которые, отражая второе полногласие, и могли бы считаться фонетическими (адекватнофонемными). Впрочем, наше предположение не покажется столь уж странным, если принять во внимание, что Типографский список не содержит ни одной формы и с первым полногласием. Однако полногласные формы встречаются в Сол. № 216, где имеются написания и с первым, и со вторым полногласием. Эта поразительная согласованность в очевидном стремлении писца (редактора) во что бы то ни стало избежать написаний, отражающих первое и второе полногласие, при весьма толерантном отношении к передаче таких ярких диалектных особенностей, как цоканье, смещение **Ѣ** / **и** и некоторые другие (см. [Шевелева 1996: 24—26]), и наводит на мысль, что за написанием типа **ТРОТ** в языке писца скрывается произношение [torot], которое является рефлексом второго полногласия, совпавшего с первым, и которое он последовательно стремится маскировать.

⁴ Е. Н. Болонина также исходит из формы **trьtь*, предполагая механизм возмездительного удлинения: «После плавного развивался гласный призвук (вставочный по своей природе). Постепенно он усилился за счет исконного гласного» [Болонина 2003: 63].

⁵ Справедливости ради отметим, что М. Н. Шевелева ставит вопрос об отношении рефлексов со слоговыми плавными ко второму полногласию и даже подчеркивает, что корни, которые в ЖАЮ встречаются с написаниями типа **ТРОТ**, в других северных рукописях отмечены со вторым полногласием [Шевелева 1996: 48—49].

Ключевыми для такой фонетической интерпретации написаний типа ТРОТ нам представляются следующие факты.

Во-первых, в обоих списках подавляющее большинство написаний — нормативные для того времени древнерусские написания типа ТОРТ, ТЕРТ. Написания ТРОТ, ТРЕТ, хотя и не являются, как справедливо замечает М. Н. Шевелева, спорадическими, все же их количество не может быть признано сколько-нибудь существенным: 23 бесспорных примера на 66 листов Типографского и 39 на 195 листов Соловецкого списка. Практически отсутствуют написания типа ТРЪТ, традиционно рассматриваемые как «старославянские», но которые должны были бы быть представлены в списках значительно шире, если бы речь действительно шла о передаче слоговых плавных (и тогда не происходило бы совпадения в передаче на письме фонологически разных единиц — *проць* [pročʹ] и *проты* [pɾty = pɾtyu] < *пърты*). М. Н. Шевелева настаивает, что даже в языке писца Сол. № 216 конца XV в. «**основная вокальность продолжает быть сосредоточена на плавном** и гласный после плавного еще не фонологизовался и не тождествен *о*, *е*» [Шевелева 1996: 47]. С фонологической точки зрения, маловероятным представляется попытка писца передать [tɾt] посредством ТРОТ и ТРЕТ, если учесть наличие противопоставления [tort] < *горъка* — [trok] < *гровъ* — *[tɾt] < *гървъ*.

Во-вторых, с учетом сказанного особое значение приобретают написания типа ТОРЪТ и ТЕРЪТ, которые представлены также достаточно широко: например, в Тип. № 182 отмечено 20 таких написаний. Их количество вполне сопоставимо с количеством написаний типа ТРОТ и ТРЕТ. Написания с ъ и ь после плавного особенно показательны для рассматриваемых списков XIV—XV вв., последовательно отражающих падение редуцированных гласных. «Важной особенностью этих написаний является обусловленность выбора ъ/ь после плавного характером предшествующего плавному гласного и независимость от твердости / мягкости последующего согласного» [Шевелева 1996: 39]. Такая орфография должна предполагать фонологическое различие твердых и мягких слоговых плавных. Однако различие палатализованных и непалатализованных слоговых плавных не характерно ни для старославянских памятников, ни для западнославянских и южнославянских диалектов, сохраняющих слоговые плавные⁶. Соответственно выдержанность орфографии в отношении выбора ъ/ь в написаниях типа ТОРЪТ/ТЕРЪТ — явный признак того, что за ними не скрывается слоговой плавный.

Мягкость /rʹ/ в рефлексах псл. *ТърТ, долго сохранявшаяся в ряде великорусских диалектов перед губными и заднеязычными (ср. старомосковское произношение *веръх*, *серън*), возникла перед гласным переднего ряда

⁶ В одном западномакедонском диалекте представлен палатализованный плавный [lʹ] (но не [rʹ]!), причем только в тех случаях, где он чередуется с [l]: *blʹva* 'рвет 3 sg' — *blʹuv-* и др., но *sʹza* < *slʹza* [Koneski 1983: 32].

/ь/, который развивался после /т/ перед согласным: *tʲɛrt > tʲɛrt > tʲɛrʲɛt > tʲɛrʲɛt, и таким образом не связана с сохранением различия твердого и мягкого слоговых плавных. Некая промежуточная стадия в виде слоговых плавных, которые к тому же еще и различались по твердости/мягкости, со времен Фортунатова и Шахматова часто реконструируется для древнерусского: ср. псл. *tʲɛrt > др.-рус. *tʲɛr|t и псл. *tort > др.-рус. *to|r|t [Сидоров 1966: 16—22]⁷. Концепция М. Н. Шевелевой находится в русле данной традиции, но в отличие, например, от В. Н. Сидорова, она считает, что редуцированный при плавном был неслоговым и нефонологическим призвучком, т. е. реконструирует не *tʲɛr|t, а *tʲɛr|t или *tʲɛrʲɛ|t, что с позиций типологии, возможно, и более реалистично, но исторически малоубедительно (см. критику такой реконструкции уже в [Сидоров 1966а: 12—14]).

Подчеркнем, что сама по себе возможность существования в древнерусском языке (включая новгородский диалект) говоров со слоговыми плавными теоретически не должна исключаться. В то же время нет никакой необходимости реконструировать их в качестве промежуточных рефлексов *TRʲT даже для украинского (ср. *кривавий*) и белорусского (ср. *кывавы*), как это делал А. А. Шахматов и его последователи. Н. С. Трубецкой вполне резонно считал, что слабые редуцированные здесь «сначала исчезали и лишь позднее неудобные для произношения группы “согласный + плавный + согласный” устранились с помощью вставного гласного» [Трубецкой 1925: 150].

Полагаем, что необязательно реконструировать слоговой плавный *tʲ или *tʲɛ и для ближайших рефлексов псл. *tʲɛrt. В одних диалектах слог здесь мог оставаться закрытым, в других — изменяться в *tʲɛrt, развивая вставной гласный /ь/. В первом случае сохранялось противопоставление редуцированного «нулю звука» TʲRT ↔ TʲRʲT = смʲркъ ↔ борькъ, вьрѣа ↔ борьѣа. Долгое сохранение закрытого слога в *TʲR|T, т. е. продление так называемого предстояния открытого слога, когда еще не все слоги открыты, но сохраняются внутрисловные закрытые слоги на плавные (и, возможно, носовые) [Чекман 1979], задерживало падение редуцированных, которое было реакцией именно на превращение диахронической тенденции к открытости слога в синхронический закон открытого слога, когда пал последний бастион закрытых слогов в корнях типа *TʲRT и слабые редуцированные перестали противопоставляться нулю звука, превратившись в нуль звука функционально (фонологически).

Вернемся к материалу ЖАЮ. М. Н. Шевелева справедливо отмечает, что ъ и ь в написаниях **ТОРЪТ/ТЕРЪТ** «указывают на наличие какого-то вокального элемента после плавного, причем четко связанного с качеством вокального элемента перед плавным» [Шевелева 1996: 39]. Однако, с нашей точки зрения, это не «какой-то вокальный элемент», а фонемы /e/ и /o/ второго полногласия /ogo/, /olo/ и /ere/. Именно поэтому более поздние не-

⁷ См. также обсуждение проблемы в [Сидоров 1966а].

новгородские списки нарушают отмеченную закономерность (ОРЪ — ЕРЪ), используя ъ/ь для обозначения твердости/мягкости плавного [Шевелева 1996: 40], поскольку в говорах этих писцов не было второго полногласия.

Интересную параллель к материалу древних списков ЖАЮ представляет новгородский Пролог 1431—1434 гг.⁸, где наряду с господствующими написаниями типа ТОРТ широко представлены написания типа ТОРЪТ и ТОРОТ:

1) долъжни 18об, толъста 36, волъхвѣть 33, деръзнухъ 95об, выполъзнуша 53, 54, пополъзнетса 53об (ср. въсползнетса 167об), коръмленни 164, столъпникъ 179об (ср. столоницѣ 179об), ото/лъстѣвъшию 212об, въ оутолстѣ 74об, коръм/ники 175, безмолвъ/ство 215, толъкнѣшию 140об, оумереть/влю 172 (ср. ме/ртвѣ 173), терплю 216об, 233об (ср. терплю 234), жерътвами 226, перьстью 143, верьвми 216, волъхвъ 26, волкъъ 220об, столъпъ 139, 180, отверь/сть 53, съ/мереть 214, 240, паперьтъ 142об, верьху 219, перьси 17, верътепъ 182об, долъженъ 219;

2) ввереженъ 144, ввѣре/женъ 100б, -а 68об, вверегоша 208, коро/митель 32об, коро/машеса 219об-2, мерезъскими 46, свѣре/шага 80, свере/шениа 207об, скоро/вить 84об, оскоро/вимъ 138, -ниа 250, отверезаютса 94, доло/готерпѣнье 104об, оумолачавъ 135, в молочанни 214об, меретвыа 231, оумеретвие 221, -а 207, сме/рети 245об, свере/шениа 207об, полокъмъ 208, на торо/зѣхъ 210, толо/кѣщемѣ 239об, терепѣти 242, перевыи 247об, горо/достъ 253об, дере/знухъ 217, пороплица 227 (ср. скорпию, скарпини 63); ср. также моланья 130об с а (но молни 129об).

Отметим, что среди примеров с о, е отсутствуют такие, где бы эти графемы отражали вставочную гласность перед группой согласных или в новом закрытом слоге (т. е. перед выпавшим слабым редуцированным); наоборот, среди примеров с ъ, ь такие случаи преобладают.

Принципиальное отличие Пролога 1431—1434 гг. от списков ЖАЮ заключается в том, что в нем довольно часто встречаются написания с вставкой о и е в группах согласных, не связанных с вторым полногласием: во/лижняго 19, сто/ворю 20об, то/вердо 26об, посраме/ленъ 23, земе/лю 213об, по/рочими 28, те/реми 23, сково/зѣ 51, посо/лѣднѣа 137, ане/гелъ 180об, похуванѣста 208об, помышѣ/лаа 210, распелевавши 210, мѣсо/то 226, со/вою 254, хворастье 193об (ср. хврастье 231), бысе/трину 216об, сѣщесте/вомъ 41, свонсто/вѣхъ 213об, множьсе/тво 47, велѣми 141, велѣ/ми 29, 112, 133, 207 (ср. вельми 237, велми 207), велеможа 253, оста-вель 248; в именах собственных только после сонанта: ано/дрѣанѣ 144, ано/тѣпатъ 235 (ср. антипатъ 235об), ано/тониа 97об, гере/мана 97об, самосоново 88об, аре/сенья 127, серегниа 109об, варо/сонофѣа 128 (ср. варсонофѣи 128об), варофоломѣемъ 235об (ср. варфоломѣи 235об).

⁸ Пролог, РНБ, Ф. п. I. 48, 1431—1434 гг., Новгород, устав, переходящий в полуустав, 255 лл. (40 x 29,5 см) в 2 столбца, пергамен [Гранстрем 1953: 63—64]. По-видимому, рукопись писана несколькими почерками.

Частые написания с «неэтимологическими» *о*, *е* на конце строки свидетельствуют о фонетической подоплеке таких написаний, так как условие конца строки, видимо, обостряет фонетическое внимание писца [Марков 1964: 216—217].

Приведем некоторые дополнительные соображения, которые косвенно подкрепляют наш вывод об отражении в списках ЖАЮ второго полногласия, во всяком случае, не противоречат ему.

Во-первых, диалектологи давно отметили, что не все слова, в которых ожидалось бы второе полногласие, отмечены в соответствующих говорах. В частности, Н. П. Гринкова указывает, что не встречаются со вторым полногласием такие слова, как *волк*⁹, *волна*, *горло*, *толстый*, *твердый* [Гринкова 1950: 227] (в говорах также отмечены формы сравнительной степени *тверяже*, *твереже*, которые в [Николаев 2001: 103] объясняются влиянием форм типа *короче*). Н. П. Гринкова объясняет отсутствие второго полногласия в этих словах характером звуков, следующих за плавным¹⁰. Показательно, что из перечисленных слов, которые в говорах, отражающих второе полногласие, не отмечены со вторым полногласием, в списках ЖАЮ представлены все, но ни для одного из них не имеется написаний типа ТРОТ.

Во-вторых, поразительным в условиях отсутствия полногласных написаний в списках ЖАЮ является обилие древнерусских написаний с начальным РО- < *ort-: ср. в Тип. № 182 *рову*, *роженын*, *роспадеса*, *розм'бракѣть*, *розмышлѣхъ* и др. [Молдован 2000: 153]. Таких форм в Тип. № 182 приблизительно столько же, если не больше, чем написаний типа ТРОТ. Это явно указывает на то, что у писца была аллергия именно на отражение полногласия: РО — можно, а ОРО — нельзя!

Последнее обстоятельство подводит нас к ответу на вопрос, почему же писец избегает фонетических (адекватнофонемных) написаний типа ТОРОТ, ТОЛОТ и ТЕРЕТ на месте второго полногласия. Ответ на этот вопрос представляется очевидным. Такие написания отсутствуют по той же причине, по какой в рукописях отсутствуют и написания, отражающие первое полногласие. Но если для замены формы с первым полногласием у него под рукой почти всегда была соответствующая неполногласная форма, освященная церковнославянской письменной традицией или сконструированная по привычным моделям, то диалектные формы со вторым полногласием приходилось заменять стандартными общерусскими (ТОРТ, ТОЛТ, ТЕРТ) или маскировать написаниями типа ТОРЪТ, ТОЛЪТ, ТЕРЪТ и ТРОТ, ТРЕТ, ТЛОТ, которые для писца, видимо, были все же предпочтительнее полногласных написаний типа ТОРОТ, ТЕРЕТ, ТОЛОТ.

⁹ В псковских говорах встречается уменьшительная форма *волочо́к* [ПОС-4: 134]. Примечательно, что в Тип. № 182 отмечено написание *влочечь* 'колючее сорное растение'.

¹⁰ См. обсуждение этой проблемы в [Колесов 1963: 154; Марков 1964: 233—236].

Как было отмечено, Тип. № 182 не содержит ни одной формы с первым полногласием. При этом в нем имеются «неполногласные» написания типа ТРОТ и ТЛОТ: **дрогок**, **словик**¹¹, **охлоставъ**¹². Формы с первым полногласием исчерпываются буквально единичными примерами и в Сол. № 216: **скоронь** (2 раза), **скоронью**, **скоропниа** [Молдован 2000: 152—153]. В сущности, речь идет лишь об одной лексеме **скоронь** ‘шека’, поскольку форма **скоропни** лишь отчасти может считаться полногласной¹³. В Сол. № 216 имеется одно «неполногласное» написание типа ТЛОТ — **влоди** М. ед. (собирательное **володь** — ц.-сл. **владь** ‘волосы’), а также написания с вторым полногласием — **моловлэху** и **молонниами** (при наличии параллельных написаний типа ТЛОТ и ТОЛТ: **млонниа**, **-ю** и **молниннъ родъ**). Полагаем, что наличие «неполногласных» форм типа ТРОТ и ТЛОТ, соответствующих неполногласным ТРАТ и ТЛАТ, свидетельствует против вывода о наличии слоговых плавных не только в качестве промежуточных рефлексов *ТЬРТ, но и в качестве рефлексов псл. *ТОРТ, указывая на фонологическое совпадение в говоре писца форм первого и второго полногласия, т. е. на совпадение рефлексов псл. *ТОРТ и *ТЬРТ.

Таким образом, отталкивание писца от общерусских форм первого полногласия выражается в использовании церковнославянских неполногласных форм типа ТРАТ, ТРЕТ при спорадическом появлении написаний типа ТРОТ, возможно, отражающих промежуточные этапы формирования первого полногласия¹⁴, а отталкивание от форм второго полногласия — в использовании традиционных написаний типа ТОРТ, ТЕРТ и ТОРЪТ, ТЕРЪТ, а также не совсем традиционных написаний типа ТРОТ, ТРЕТ. Особенно естественной представляется передача второго полногласия при помощи написания ТРЕТ. В этом случае параллелизм первого и второго полногласия проявляется наиболее отчетливо, если учесть, что неполногласные рефлексы *ТЕРТ в этих списках часто передаются написанием ТРЕТ, а не ТРЪТ (впрочем, в Тип. № 182 есть и форма с **ѣ**: **чрѣмно** б1об вместо **чремно** < **чърмно**).

Как и А. А. Зализняк, предполагающий, что написание ТРОТ является адекватнофонемным и передает /trot/¹⁵, М. Н. Шевелева, которая считает,

¹¹ Этой формы нет в Тип. № 182, так как соответствующий лист утрачен, но в Сол. № 216 эта форма, видимо, восходит к Тип. № 182.

¹² А. М. Молдован относит это слово к лексике с первым полногласием (ср. ц.-сл. **охлоставти**) [Молдован 2000: 152]. М. Н. Шевелева вслед за [ЭССЯ-8] предполагает псл. *хъlstati.

¹³ Ср. ст.-сл. **скоръпни**, **скоръфини** < гр. *σχορπίος*. В русском церковнославянском **скрапни** — функциональный славянизм. Формы **скрань**, **владь** в рукописях старославянского канона как будто не встречаются.

¹⁴ Об этих формах см. [Колесов 1980: 69—75; Крысько 1994: 18—19].

¹⁵ К аналогичному выводу приходят В. Б. Крысько и Е. Н. Болонина [Крысько 1994; Болонина 2003].

что за написанием **ТРОТ** скрывается произношение $[t^{b_1}t^b]$ (фонематически, видимо, /trt/), объединяет развитие рефлексов *ТЪРТ и *ТОРТ, склоняясь к тому, что рефлексы обоих этих типов сочетаний совпали в обсуждаемых говорах. Предположение М. Н. Шевелевой о наличии слоговых плавных как промежуточной стадии развития псл. *ТОРТ является, на наш взгляд, наиболее уязвимым тезисом в ее концепции.

Говоря о говоре первого (основного) писца Синайского патерика XI в. (Син. Пат.₁), отраженного в орфографии этого памятника, она приходит к выводу, что вполне вероятно, «мы имеем дело с системой, где рефлексы сочетаний *ТЪРТ и *ТОРТ развивались каким-то сходным образом через стадию сосредоточения слоговости на плавном и нефонологичности вокальных элементов при плавном, обнаруживая тенденцию к совпадению» [Шевелева 2001: 192]. Аналогичная реконструкция предполагается и для системы, отраженной в списках ЖАЮ [Шевелева 1997: 26—27]. Предположив преэсущественность орфографических систем отражения рефлексов *ТЪРТ и *ТОРТ в Син. Пат.₁ («раннедревнерусский вариант») и ЖАЮ («позднедревнерусский вариант»), М. Н. Шевелева вынуждена распространить тезис о совпадении рефлексов *ТЪРТ и *ТОРТ и на говор Син. Пат.₁, а также всячески подчеркивать хотя бы теоретическую возможность северо-западной локализации говора Син. Пат.₁ [Шевелева 2001: 187, 195]¹⁶. Однако материал Син. Пат.₁ не дает достаточных оснований для реконструкции слоговых плавных на месте рефлексов псл. *ТЪРТ и *ТОРТ, как не дают таких оснований списки ЖАЮ. В особенности нет никаких оснований предполагать совпадение рефлексов *ТЪРТ и *ТОРТ в Син. Пат.₁, поскольку рефлексы этих сочетаний передаются в памятнике совершенно по-разному: *ТЪРТ посредством **трѣтъ**, **тѣрътъ** и изредка **тѣръѣтъ**, а *ТОРТ посредством **тратъ** и изредка **тротъ**, **торотъ**¹⁷. Можно говорить о некотором параллелизме в развитии *ТЪРТ > *ТЪРЪТ и *ТОРТ > *ТОРОТ, отражаемом в Син. Пат.₁, но не о совпадении рефлексов, см. [Воронцова 1986].

Можно согласиться с М. Н. Шевелевой, что передача рефлексов *ТЪРТ в Син. Пат.₁ посредством написаний типа **трѣтъ**, **тѣрътъ**, т. е. «по-старославянски», отражает фонетическую реальность, но отражает ее лишь частично, и эта реальность — не слоговые плавные, а сочетания /tʲɛtʲ/, /tʲɛtʲ/. Таким образом, «фонетичность» этих написаний заключается в том, что они адекватнофонемно обозначают качество редуцированных гласных, нахо-

¹⁶ Шаткость оснований такой локализации отмечена в [Крысько 2003: 242—243].

¹⁷ М. Н. Шевелева формулирует свой вывод весьма предположительно: «[В]ариантность при передаче рефлексов сочетаний *ТОРТ указывает на наличие при плавном гласных, более кратких, чем нормальные *o*, *e*, — скорее всего, с обеих сторон плавного. Может быть, это были гласные, сходные с (или тождественные) ѣ (...) и может быть, эти гласные не были фонологичны, что могло послужить основанием для сближения рефлексов *ТЪРТ и *ТОРТ» [Шевелева 2001: 196].

дившихся рядом с плавным. Исключение — корень **скръь-**, в котором, видимо, отражена межслоговая ассимиляция гласных, поскольку в следующем слоге всегда гласный переднего ряда (своего рода морфологически изолированная позиция)¹⁸. Как уже было отмечено выше, фонетический характер передачи редуцированного свидетельствует скорее против реконструкции слогового плавного.

Второй по частотности (114 против 526 «старославянских» и 5 «двуеровых», которые и являются фонетическими) способ передачи рефлексов *ТЪРТ — написания типа **тър'т** с надстрочным знаком над плавным. М. Н. Шевелева полагает, что «писец Син. Пат.₁ воспринимает плавный в рефлексах сочетаний *ТЪРТ скорее как гласный, чем как согласный, после которого пропущен редуцированный... “паерок” над плавным в данной орфографической системе — это указание на вокальность плавного» [Шевелева 2001: 178]. Однако, учитывая, что аналогичный знак ставится «над второй из двух рядом стоящих букв гласных», а «при наличии рядом трех гласных знак ставится и над второй, и над третьей буквой» [Там же: 177], можно интерпретировать его как указание на элемент слога в тех случаях, когда он графически не обозначен отдельной буквой. Таким образом, оказываясь над гласным (ср. **о'чищаа'са**¹⁹ 118об.), диакритика обозначала протетический или эпентетический согласный, а будучи поставленной над согласным, указывала на следующий за ним гласный, не обозначенный на письме (ср. **в'сако** 118об., **м'нози** 118об., **пър'вѣихъ** 118об., **мър'твааго** 12об., **мър'твѣимъ** 121об. и др. в Син. Пат.₁). Мысль о том, что надстрочный знак, заимствованный из греческой графики, был использован древнерусскими книжниками в условиях действия закона открытого («идеального») слога для обозначения протетических и эпентетических согласных независимо от их фонетической реализации, т. е. для передачи своего рода «недифференцированной согласности», была высказана Ю. С. Кудрявцевым. Он, в частности, обратил внимание на то, что диакритика не ставится над вторым гласным в нестяженных формах имперфекта и полных прилагательных (ср. приведенные выше примеры из Син. Пат.₁), что указывает на их фонетическую, а не графическую природу [Кудрявцев 1985: 144—155].

Итак, написания типа **ТРОТ**, **ТРЕТ** в новгородских списках ЖАЮ XIV—XV вв. не отражают диалектных форм со слоговыми плавными на месте рефлексов *ТЪРТ. Они представляют собой искусственные, маскирующие второе полногласие написания, которые возникли вследствие отталкивания от полногласных форм в диалекте с развившимся вторым полногласием, с отсутствием яркого церковнославянского соответствия вто-

¹⁸ Следует также учитывать роль сочетания /sk/, после которого в древнерусском мог находиться гласный переднего ряда и в котором *k не изменялся по 2-й палатализации во всех древнерусских диалектах (ср. **дъскѣ**, **роуьскѣ** и т. п.). Ср. также в Сол. № 216 **нс кресты** 138об., но **кросту** 138.

¹⁹ Знак «паерка» в рукописи схож по написанию со знаком ударения.

рому полногласию. Вопрос о том, можно ли написания **ТРОТ**, **ТРЕТ** в соответствующих списках связать с реконструируемыми для части древненовгородского диалектного ареала формами типа /trot/, /tret/ [Зализняк 1995; Крысько 1994; Болонина 2003], остается открытым.

Л и т е р а т у р а

Болонина 2003 — Е. Н. Болонина. Рефлексы праславянских групп *ТьгГ, *ТоГ в «Житии Андрея Юродивого» конца XIV века // II Международные Бодуэновские чтения: Казанская лингвистическая школа: традиции и современность (Казань, 11—13 декабря 2003 г.): Труды и материалы: В 2 т. Т. 2. Казань, 2003. С. 61—63.

Воронцова 1986 — Т. А. Воронцова. Полногласные и неполногласные сочетания в Синайском патерике // Литературный язык Древней Руси. Проблемы исторического языкознания. Вып. 3. Л., 1986.

Гранстрем 1953 — Е. Э. Гранстрем. Описание русских и славянских пергаменных рукописей. Л., 1953.

Гринкова 1950 — Н. П. Гринкова. О случаях второго полногласия в северо-западных говорах // Труды Института русского языка. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 211—227.

Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.

Колесов 1963 — В. В. Колесов. Развитие второго полногласия в русских северо-западных говорах // Учен. зап. ЛГУ. Вып. 68. 1963. № 322. С. 148—159.

Колесов 1980 — В. В. Колесов. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.

Крысько 1994 — В. Б. Крысько. Заметки о древненовгородском диалекте (II. *Varia*) // ВЯ. 1994. № 6. С. 16—30.

Крысько 2003 — В. Б. Крысько. Русско-церковнославянские рукописи XI—XIV вв. как источник по истории старославянского и древнерусского языков: новые данные // Славянское языкознание: XIII Международный съезд славистов. Люблина, 2003 г.: Доклады российской делегации. М., 2003. С. 339—355.

Кудрявцев 1985 — Ю. С. Кудрявцев. Консонантные протезы и звуковое значение диакритических знаков над гласными в древних славянских рукописях // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 719. 1985. С. 144—155.

Марков 1964 — В. М. Марков. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.

Молдован 2000 — А. М. Молдован. «Житие Андрея Юродивого» в славянской письменности. М., 2000.

Николаев 2001 — С. Л. Николаев. Из исторической фонетики и просодии северо-западных говоров // Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М., 2001. С. 86—121.

ПОС-4 — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 4. Л., 1979.

Сидоров 1966 — В. Н. Сидоров. Редуцированные гласные *ъ* и *ь* в древнерусском языке XI в. // В. Н. Сидоров. Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 5—37.

Сидоров 1966а — В. Н. Сидоров. Из истории сочетания типа **tbrt* в русском языке: (Возникновение мягкости *r'* перед заднеязычными и твердыми губными со-

гласными) // В. Н. Сидоров. Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 38—97.

Трубецкой 1925 — Н. С. Трубецкой. О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства // Н. С. Трубецкой. Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 143—167.

Чекман 1979 — В. Н. Чекман. Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Минск, 1979.

Шевелева 1995 — М. Н. Шевелева. Новые данные церковнославянских рукописей о рефлексах сочетаний редуцированных с плавными и развитии «второго полногласия» // ВЯ. 1995. № 4. С. 78—93.

Шевелева 1996 — М. Н. Шевелева. «Житие Андрея Юродивого» как уникальный источник сведений по исторической фонетике русского языка // Актуальные проблемы современной русистики: Диахрония и синхрония. М., 1996. С. 20—65.

Шевелева 1997 — М. Н. Шевелева. Еще раз об орфографии церковнославянских рукописей и проблеме реконструкции системы говора писца // Русские диалекты: история и современность. М., 1997. С. 16—46.

Шевелева 2001 — М. Н. Шевелева. Орфография сочетаний гласных с плавными в Синайском Патерике и проблема его диалектной локализации // Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М., 2001. С. 168—221.

ЭССЯ-8 — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 8. М., 1981.

Koneski 1983 — В. Koneski. A historical phonology of the Macedonian language. Heidelberg, 1983.

ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Международная научная конференция: «Язык и общество в синхронии и диахронии»

15—16 ноября 2005 года в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского проходила международная научная конференция «Язык и общество в синхронии и диахронии», посвященная 90-летию со дня рождения профессора Лидии Ивановны Баранниковой (1915—2005) — основателя Саратовской лингвистической школы. Конференция была организована факультетом филологии и журналистики СГУ, в ее подготовке также принимали участие ученики Л. И. Баранниковой из Педагогического института СГУ, других вузов Саратова.

Всего на пленарных и секционных заседаниях было представлено и обсуждено 60 докладов и сообщений.

Первое пленарное заседание открыл доклад В. Е. Гольдина (Саратов) «Л. И. Баранникова — основатель Саратовской лингвистической школы». В нем рассматривалось понятие научной школы и было показано, как трудами Л. И. Баранниковой закладывались основы Саратовской лингвистической школы, для которой характерны функционализм, анализ частных проблем на фоне общей лингвистической теории, подход к русскому языку во всех его разновидностях как к единому целому (неадекватность изолированного изучения социально-функциональных вариантов языка), особое внимание к устной речи в ее диалектной, просторечной и литературной формах.

Одна из основных теоретических проблем, которую неизменно пропагандировала в своих работах Л. И. Баранникова, — проблема социальной дифференциации языка — была обозначена в докладе Т. И. Ерофеевой (Пермь) «Речевая продукция социальных групп в контексте вариативности». В Пермской школе социолингвистики рассмотрение вариаций языковых речевых единиц в пределах социальных групп привело к необходимости введения понятия «социолект», понимаемого как совокупность речевых кодов и формирующегося в речевой деятельности той или иной социальной общности под влиянием социологических параметров — пола, возраста, места жительства, образования, специальности и т. д. В качестве примеров приводились результаты исследования регионального варьирования литературного языка г. Кунгура Пермской области, находящегося в зоне активного влияния диалекта.

В докладе О. Б. Сиротининой (Саратов) «Сленг и его место в системе социальных и функциональных компонентов русского языка» была представлена попытка упорядочить терминологическое обозначение социальных компонентов языка. Предлагалось литературный язык, просторечие и диалекты считать разновидностями языка, арго — социальным компонентом лексической системы (одной из

разновидностей), выступающим в функции конспирации, жаргон — социальным компонентом, выполняющим парольную функцию, а сленг — не столько социальным, сколько экспрессивным компонентом литературного языка. Социолект был определен как обобщающий термин любого социально ограниченного варианта.

Тема доклада И. В. Шалиной (Екатеринбург) — «Просторечие как тип речевой культуры». Лингвокультурологический аспект позволяет выявить нормы, ценности, конвенции просторечной культуры (ПК) через обращение к стереотипам. Среди этих стереотипов могут быть абсолютно специфические (маркеры собственно просторечной культуры), относительно специфические (общие для ПК и традиционно народной или жаргонизированной ПК) и общекультурные.

Ряд докладов, прочитанных на первом пленарном заседании, был посвящен проблемам речеведения и лингвокультурологии.

В. И. Карасик (Волгоград) в докладе «Теория лингвокультурных типажей» показал, что в рамках лингвоперсонологии — теории языковой личности — получило развитие несколько научных направлений, в частности теория речевого портрета, теория коммуникативной компетенции, теория авторских лингвоконцептов и теория лингвокультурных типажей. Лингвокультурный типаж был обозначен докладчиком как обобщенный образ человека, в основе которого — реальные или фикциональные прототипы, выступающие как узнаваемый характерный знак определенной этнокультуры (американский ковбой, русский интеллигент, немецкий офицер и т. д.). Лингвокультурные типажы можно рассматривать как концепты с выделением у них понятийных, образных и ценностных характеристик.

Доклад Г. Г. Слышкина (Волгоград) «Лингвокультурный концепт и идеология» был посвящен рассмотрению идеологемы как целенаправленно формируемого социальными институтами элемента концепта. Предложена классификация способов внедрения идеологем в концепты. Осуществлен анализ способов стереотипизации путем постоянного повтора, манипуляции лексикографическим значением и законодательной регламентации узуса.

Задача доклада В. А. Салимовского (Пермь) «Речеведение и философия диалога» — выявление связи ключевых представлений философии диалога с бахтинской методологией изучения языка. Обсуждалась проблема специфики сфер общения. Был поставлен вопрос о систематизации коммуникативных категорий.

В выступлениях второго пленарного заседания отражалась широкая научная проблематика.

В докладе С. П. Лопушанской (Волгоград) «Смысловая доминанта научной парадигмы» проблемы диахронической лингвистики получили свое объяснение с позиций комплексного рассмотрения эволюции темпоральной системы глагола во взаимосвязи с конкретно-пространственными или абстрактно-пространственными представлениями древних русичей об объективном времени.

В докладе О. Ю. Крючковой (Саратов) «Функционально-стилистическая динамика русского языка как фактор словообразовательной эволюции» развивалось положение о том, что стилистические предпочтения в письменном и устном дискурсах различных социально-исторических эпох играют значительную роль в эволюции словообразовательных средств, значений, моделей. В истории русского языка взаимодействие жанрово-стилистических тенденций и словообразовательных процессов в целом развивается в русле ослабления

книжных стилей и усиления разговорного начала во всех коммуникативных сферах русского национального дискурса. Сила стилистического фактора, воздействующего на словообразовательный процесс, отмечалось в докладе, проявляется не только в смене словообразовательных моделей, затухании одних и росте продуктивности других словопроизводственных образцов, но и в стилистической переориентации прежних словообразовательных моделей и их производных.

Э. П. Кадькалова (Саратов) в докладе «О перспективах изучения вариантных единиц языковых систем» рассматривала вопрос о вариантности в языке на разных его уровнях как один из базовых вопросов лингвистики и как источник совершенствования лингвистической методологии. Анализ разных подходов к изучению названного явления и результатов собственного исследования *словообразовательных вариантов* в границах *словообразовательных категорий* приводит автора к выводу о перспективности того понимания данной проблематики, которое уже в 1971 году было представлено в статье Л. И. Баранниковой «О вариантных единицах диалектных систем».

В докладе Л. В. Балашовой (Саратов) «Концептуальная метафора в истории русского языка» объектом исследования явилось модальное метафорическое поле, сформированное на базе лексико-семантического поля со значением целостности и стабильности формы неодушевленных объектов и вещей. В результате анализа концептуальной метафоры выявлены устойчивые (базовые) типы концептуализации метафорических переносов, а также системный характер изменений внутри поля как концептуально значимых признаков, так и средств их реализации.

В докладе Л. Г. Гынгазовой (Томск) «Картина мира языковой личности диа-

лектоносителя: наивная религия» рассматривалась проблема описания наивной религии как одного из факторов, определяющих мировоззрение языковой личности диалектоносителя и характер традиционной культуры, преломленной индивидуальным сознанием.

А. Б. Летучий (Москва) в докладе «Диалектные тексты в Национальном корпусе русского языка: принципы представления и разметки» рассмотрел систему помет, присваиваемых словоформам диалектных текстов и отличающихся от традиционно используемых для описания фактов литературного языка.

Доклад Л. А. Шестак (Волгоград) затрагивал проблему славянских языковых картин мира. Доказывалось, что новые метафорические ракурсы (открытия научно-технического прогресса, новые социальные реалии, художественные установки) практически не меняют традиционного отношения к константам бытия, что роль концепта как «гена» национальной метафорики, культурной символики и эмблематики остается определяющей.

За два дня работы секции «**Принципы и методы лингвистических исследований**» на ее заседаниях было прослушано 9 докладов.

В докладе В. В. Дементьева (Саратов) «Поэтика человеческого общения и коммуникативная лингвистика» доказывалось положение о том, что эстетические коммуникативные смыслы не являются прерогативой письменных художественных текстов. Обосновывалось противопоставление двух типов эстетически значимых текстов устной речи с общим диалогическим принципом расширения смысловой позиции автора и адресата речи.

Доклад О. Н. Дубровской (Саратов) «Понятие “событие” в лингвистических теориях» был посвящен дефиниции и лингвистической интерпретации поня-

тия «событие» в аспекте коммуникативной грамматики, теории коммуникации, логической лингвистики, где данный феномен рассматривается в связи с понятиями «ситуация» и «факт».

В докладе В. Е. Гольдина и А. П. Сдобновой «К типологии динамики ассоциативных полей» рассматривались возрастные изменения ассоциативных полей и выделялись типы возрастных последовательностей полей, или динамические типы: динамический тип «стандартизации», обнаруживающий высокую степень стабильности ассоциаций; динамический тип «вхождения в словарь»; тип «усложнения поля», характеризующийся постепенным усложнением структуры ассоциативного поля, усилением разброса реакций; тип «периферийного развития», демонстрирующий в основном стимулы, относящиеся к абстрактной лексике.

В докладе А. П. Сдобновой (Саратов) «Индивидуальный тезаурус в развитии» концептуальные положения предыдущего сообщения применены к исследованию динамики индивидуального ассоциативного словаря (ИАС) подростка, полученного от испытуемого в возрасте 11, 13 и 15 лет по одному и тому же списку стимулов. Обнаружено, что становление ассоциативно-вербальной сети подростка, преобразования в ней, связанные с возрастными изменениями языковой картины мира, проявляются в том, что растет число ядерных, стандартных национальных единиц.

Е. П. Захарова (Саратов) в докладе «Коммуникативная норма и коммуникативно-речевой стереотип» изложила результаты исследования речевых стереотипов полуофициального и неофициального общения, формирующихся в рамках узальной нормы. В отличие от жестко регламентированного набора коммуникативно-речевых стереотипов в официальной сфере рассматриваемые

единицы обладают большей вариативностью, подвижностью, постоянно обновляются.

Ряд докладов секции был посвящен проблемам морфонологии (Н. И. Данилина (Саратов) «О принципах позиционного описания морфонологических явлений (на материале русского и древнегреческого языков)»), дериватологии (О. И. Дмитриева (Саратов) «Новые пути изучения словообразования и проблемы глагольной префиксации»), Ю. Г. Кадькалов (Саратов) «О понятии словообразовательная категория»), истории науки (М. В. Черепанов (Саратов) «Неограмматизм и Казанская лингвистическая школа»).

На секции «Социально-функциональное варьирование языка» обсуждался целый ряд актуальных проблем.

Характеризуя русский литературный язык XX века как культурный феномен, А. П. Романенко (Саратов), показал, что специфика языкового стандарта XX века определяется его принадлежностью массовой культуре. Современный языковой стандарт представлен, по крайней мере, двумя вариантами — элитарным и массовым (при доминировании последнего).

Основной вывод доклада Т. Н. Колокольцевой (Волгоград) «Взаимодействие функциональных стилей современного русского языка» заключается в том, что в процессы межстилевого взаимодействия на современном этапе развития русского языка вовлечены все функциональные стили. При этом разговорный стиль, для которого характерны предельная открытость и наибольшая свобода языкового выражения, максимально задействован в межстилевом обмене, влияя не только на «нестрогие» (художественный, публицистический), но и на «строгие» (например, официально-деловой) стили.

Результаты анализа семантических категорий «субъект — деятель», «объ-

ект — товар», «коммерческая деятельность — процесс», на материале устной речи предпринимателей Саратова, нашли отражение в докладе Т. А. Милехиной (Саратов) «Семантическое своеобразие устной речи предпринимателей».

В докладе М. А. Ярмашевич (Саратов) «Аббревиация в контексте молодежного и профессионального жаргонов» были представлены результаты исследования, выполненного на материале русского, немецкого, английского и французского языков. Сделана попытка выявить общее и этноспецифическое в развертывании аббревиационного процесса для языков с различным строем. Установлено, что социальный статус играет важную роль в дифференциации аббревиатур и служит связующим звеном между ситуативной и стратификационной вариативностью, что сленговые социолектные сокращения выступают маркерами тональности речевого акта и неофициальных отношений между коммуникантами, являясь символами их общей принадлежности к определенному социальному микромиру.

Проблеме соотношения стандарта и субстандарта был посвящен доклад В. Т. Клокова (Саратов) «Французский стандарт, французское просторечие и всеобщий французский язык».

Вопросы социально-функционального варьирования русского языка в диакроническом аспекте обсуждались в докладах О. А. Горбань (Волгоград) «Книжные и народно-разговорные языковые единицы в Камышинской летописи» и Е. Н. Бекасовой (Оренбург) «О специфике сосуществования и взаимодействия гетерогенных рефлексов в текстах церковнославянского и русского языков». О. А. Горбань было показано взаимодействие элементов книжной языковой традиции, живой разговорной речи, местного наречия на лексическом и грамматическом уровнях. Е. Н. Бекасова рассмотрела механизмы генетиче-

ской организации системы языка на материале церковнославянских, древнерусских и фольклорных текстов и доказала зависимость отбора лексем с диагностическими признаками от реципиентных свойств текста.

Работа секции «**Стилистика художественной речи**» была сосредоточена на проблемах идиостиля, отдельных языковых единиц в организации художественной речи, на принципах анализа художественного текста.

В докладе Н. И. Бахмутовой (Саратов) «Смеховой мир романа Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание” на основе фреймового анализа» были рассмотрены способы и приемы обозначения разных видов смеха в тексте произведения (рефлексирующий смех, шутовской смех, смех-умолчание, циничный смех и др.).

М. Б. Борисова (Саратов) посвятила свой доклад «Жанровая специфика словаря драмы и идиостиль писателя» рассмотрению лексикографических способов отражения идеологического аспекта слова в «Словаре языка Горького», составляемого, в соответствии с концепцией Б. А. Ларина, в два этапа — как словарь толковый и идеологический. Автор уже на стадии толкового словаря предлагает ввести для раскрытия идеологического содержания слова ряд новых лексикографических помет, обусловленных своеобразием жанра драмы и спецификой идиостиля писателя: перекличкой ключевых слов — контекстных синонимов и антонимов, содержательным и имплицитным (подтекстовым) параллелизмом реплик, композиционным взаимодействием целых диалогических фрагментов.

В докладе Т. А. Бочкаревой (Саратов) «Перцептуальность и индивидуальный стиль писателя» на материале «Дневника» Ю. Нагибина рассматривались связи перцептуальных модальных проявлений (специфических способов

постижения писателем окружающей действительности в широком смысле) с его индивидуально-стилем. Выявляются индивидуально-психологические установки, определяющие творческую концепцию писателя и их языковую (модальную) реализацию.

Анализируя в своем докладе просторечные элементы, встречающиеся в ранней прозе Андрея Платонова, З. С. Санджи-Гаряева (Саратов) пришла к выводу, что своеобразие отношения писателя к народному слову состоит в авторской трансформации и модификации речевых единиц.

Ряд докладов секции был посвящен рассмотрению отдельных принципов и методов анализа художественного текста, в первую очередь, когнитивного.

И. А. Тарасова (Саратов) в докладе «Лингвистические парадигмы в анализе поэтического текста» предложила ряд интерпретаций стихотворения Г. Иванова «Хорошо, что нет Царя...», выполненных в рамках структурно-семиотического, лингвосинергетического и когнитивного подходов.

Доклад Г. В. Звездовой (Липецк) «Концептуальный анализ художественного текста в свете изучения национальной ментальности» был посвящен рассмотрению развития концепта «закон» в творчестве А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и Н. С. Лескова.

Т. Е. Яцуга (Томск) в докладе «К вопросу о способах лексической репрезентации индивидуально-авторского концепта “несказанное слово” в лирике З. Гиппиус» выявила факторы, обуславливающие появление нового ментального образования в концептосфере поэта. Вербализация концепта «несказанное слово», по мнению докладчика, может осуществляться в тексте за счет лексических репрезентантов концептов «молчание» и «слово».

Роль отдельных фразеологических, синтаксических, морфологических еди-

ниц в организации художественной речи рассматривалась в ряде докладов: И. С. Воронина (Самара) «Роль библейских фразеологизмов в речи Савелия Туберозова (на материале романа-хроники Н. С. Лескова «Соборяне»)»; О. А. Уфимцева (Саратов) «Соотношение потока сознания и внутренней речи персонажа на примере номинативных конструкций»; Е. В. Терентьевой (Волгоград) «Функционирование литературной и диалектной глагольной лексики в прозе Е. А. Кулькина».

Изучение диалектной речи до последнего дня жизни оставалось главным направлением научной деятельности Л. И. Баранниковой. С докладами в рамках секции «Диалектная речь» выступили ее ученики и последователи, которые говорили о месте современных диалектов в социально-функциональной парадигме русского языка, об особенностях отдельных говоров и отдельных диалектных явлениях.

В докладе Т. И. Мурзаевой (Саратов) «Владимирско-поволжские говоры Саратовской области в их современном состоянии» на основе сопоставления данных, полученных во время экспедиций начала XXI века, с материалами «Атласа русских народных говоров Среднего и Нижнего Поволжья» подтверждались выводы Л. И. Баранниковой о высокой степени устойчивости владимирско-поволжского диалектного комплекса на территории позднего заселения.

Р. И. Кудряшова (Волгоград) в докладе «Особенности функционирования социально изолированных диалектов» сравнила особенности функционирования ранних переселенческих донских казачьих говоров Волгоградской области с территориально изолированными диалектами и с переселенческими говорами неизоллированного типа. Было отмечено, что социально изолированные говоры сохраняют наиболее существ-

венные черты в своей системе и практически не испытывают воздействия иноязыковых и инодиалектных систем, подвергаясь влиянию главным образом только литературного языка.

Е. М. Шептухина (Волгоград) в результате проведенного анализа общелитературной и диалектной глагольной лексики предложила новую типологию древнерусских глаголов со связанными основами, опирающуюся на разграничение модуляционных либо деривационных изменений в смысловой структуре производящего слова.

В докладе А. А. Калининой (Волгоград) «Аффрикаты *ц* и *ч* в современных волгоградских говорах (исторический аспект)» говорилось о цоканье как черте перешепновско-крайшевского говора Волгоградской области, характеризующей историю развития данного говора.

Доклад Д. И. Лалаевой (Волгоград) «Функционирование номинативных единиц с темпоральной семантикой в казачьих говорах Дона» был посвящен рассмотрению диалектных лексем и фразем с общей семантикой времени, отражающих этнокультурное своеобразие лексики казачьего диалекта.

В работе секции **«Семантика и прагматика языковых единиц»** было несколько доминирующих тем.

Обсуждалась семантика и прагматика единиц разных уровней: семантическая специфика словообразовательных единиц (Т. В. Кузнецова (Саратов) «Лексические значения производных глаголов семантико-словообразовательной категории ‘становление / приобретение признака’»), грамматических (Р. Д. Урунова (Казахстан, Уральск) «К вопросу о способах и средствах маркирования общих для евразийского ареала грамматических процессов»), лексических (Л. Г. Хижняк (Саратов) «Забытые топоосновы в топонимии Саратовского края»), синтаксических (В. Ф. Ильина (Саратов) «Субъектно-объектные отношения и их измерение»).

Ряд докладов секции был посвящен рассмотрению семантического и прагматического своеобразия текстов разных жанров: учебной лекции (Т. Н. Казеко (Тара) «Ментальные перформативы в дискурсе научно-учебной лекции»), телерекламы (Т. Н. Медведева (Саратов) «Особенности номинации лиц в современной телерекламе»), газеты (Т. Н. Ступина и А. В. Небайкина (Саратов) «Явления двуязычного переключения кода как средства речевого воздействия в газетном тексте (на материале текстов газеты поволжских немцев “Der Kolonist” 1917—18 гг.)»), SMS. А. Ю. Дремина (Пермь) говорила о параметрах SMS как письменного текста. Жанр SMS представлен текстами, специфические свойства которых (экономия плана выражения, «наивная» латинизация русских текстов, использование невербальных средств передачи информации) работают на сохранение основных параметров текстуальности — связности и цельности — и на обеспечение успешной коммуникации.

В ряде сообщений был представлен анализ семантико-прагматических характеристик языковых единиц в лингвокультурологическом аспекте.

Тема доклада Н. В. Крючковой (Саратов) — «Лексико-семантические репрезентации концепта МОЛОДОСТЬ / JEUNESSE в русском и французском языках по данным лексикографии». Лексическая организация концепта находит выражение в таких параметрах, как лексический объем, лексическая плотность (удельный вес однокоренных слов), грамматическое варьирование (частеречная принадлежность лексем с семей ‘молодой возраст’), стилистическое варьирование (наличие стилистических синонимов). Семантическая организация концепта выявляется при анализе лексикографических толкований лексем-репрезентантов анализируемого концепта (собственно возрастных номина-

ций в их прямых и переносных значениях; однокоренных с ними слов; лексем, имеющих семантику возраста только в своих переносных значениях).

И. И. Прибыток (Саратов) в докладе «Соотношение языковых и речевых единиц в английской речи» предложила разграничивать два вида речевых единиц: предикативные высказывания и непредикативные коммуникативы. Предикативные высказывания классифицируются в зависимости от характера заключенных в них предикативных схем, что позволяет выделить высказывания-предложения, высказывания-репрезентанты предложений и высказывания-сентенсоиды.

Н. В. Друзина (Саратов) в докладе «Роль фундаментального глагола бытия в вербализации концепта “бытие человека”» рассматривает составляющие концепт элементы в составе некоего целого, условно именуемого моделью. Ядро концепта, или его первый уровень, определяется по семантическим признакам ключевой леммы, далее располагаются последующие слои концепта, возникающие по мере его усложнения.

В рамках секции **«Терминосистемы: формирование и функционирование»** был заслушан ряд докладов.

Доклад С. И. Богомоловой (Саратов) «Влияние различных факторов на формирование и развитие терминологической системы математической кибернетики» показал специфику влияния экстра- и интралингвистических факторов в процессе становления терминологиче-

ских систем молодых развивающихся наук.

В докладе Н. М. Орловой (Саратов) «Терминология в аспекте пуристических тенденций» было рассмотрено отношение к терминологическим заимствованиям морского подъязыка, их лексикографическое освоение и дальнейшее функционирование в общелитературном языке.

В докладе З. С. Патральной (Саратов) затрагивались вопросы фразеологизации сочетаний в терминологии. В истории русского языка на разных этапах его развития существовали различные по степени спаянности компонентов, разложимости и неразложимости атрибутивные терминологические (устойчивые) сочетания.

Выступления Е. С. Максименко (Саратов) «Изменения значения юридических терминов и их влияния на системные отношения в терминологии» и Е. Н. Загрековой (Саратов) «Происхождение и развитие медицинской терминологии (на греко-латинской основе)» были посвящены анализу специфики развития отдельных терминологических подсистем. Гендерный аспект формирования и функционирования правовой терминологии английского языка явился предметом рассмотрения в сообщении Е. В. Волгиной (Саратов).

По материалам конференции опубликован сборник «Язык и общество в синхронии и диахронии» (Саратов: Научная книга, 2005. — 454 с.).

О. И. Дмитриева, О. Ю. Крючкова

Международная научная конференция: «Проблемы языковой нормы» (Седьмые Шмелевские чтения)

С 24 по 26 февраля 2006 г. в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН проходили ставшие уже тра-

диционными очередные Шмелевские чтения — седьмые по счету, которые были посвящены проблемам языковой

нормы. В этом году Чтения совпали с 80-летней годовщиной со дня рождения академика Д. Н. Шмелева.

Конференция была открыта приветственным словом директора Института чл.-корр. РАН А. М. Молдована. Он отметил юбилейный характер проводимых Чтений, говорил об огромном вкладе в науку академика Д. Н. Шмелева и об актуальности его трудов в настоящее время.

На конференции было прослушано 93 доклада, из них 43 на пленарных и 50 на секционных заседаниях.

На утреннем пленарном заседании ряд докладов был посвящен общим проблемам изучения языковой нормы. Л. П. Крысин (Москва) в докладе «Литературная норма и речевая практика» указал на разную природу нормы в некодифицированных vs. кодифицированных подсистемах языка и, как следствие, разное соотношение в них нормы и узуса. В первом случае норма приравнивается к узусу, а во втором противопоставляется ему как результат целенаправленной кодификации.

В докладе О. Б. Сиротининой (Саратов) «Узуальная норма и ее роль в развитии языка» анализировалось современное состояние узуальной нормы, были рассмотрены основные пути ее расширения, а также влияние этого процесса на языковую систему. Докладчица указала на необходимость избирательной кодификации узуальных норм с учетом закономерностей развития системы.

Многие докладчики особое внимание уделяли анализу новых тенденций развития современного русского литературного языка. Так, Е. А. Земская (Москва) в своем докладе «Новое в современном русском языке: соотношение узуса и нормы (на материале словообразования)» рассмотрела наиболее продуктивные модели образования слов и различия в коммуникативных функ-

циях новообразований, возникающих по этим моделям.

Тема выступления И. Т. Вепревой (Екатеринбург) — «Мода и норма в современной культурно-речевой ситуации». Она обратила внимание на то, что в современных условиях из всей совокупности факторов, влияющих на выбор нормативного образца, в качестве приоритетного выбирается вкус, формирующийся под влиянием моды. Указав на характерное для современного русского языка расшатывание нормы (как следствие стремления к неконтролируемой свободе выражения), докладчица наметила основные пути ее стабилизации.

Особенности современного словоупотребления в нормативном аспекте рассматривались в докладах М. А. Кронгауза («Семантическая норма и ее разрушение: расширение значения слов и конструкций в современной коммуникации») и В. И. Беликова («Русское языковое пространство и технический прогресс»). М. А. Кронгауз (Москва) говорил о семантических сдвигах (в частности, о «зачеркивании» некоторых семантических признаков) в наиболее частотных, в том числе «модных», словах, характерных для современного словоупотребления. В. И. Беликов (Москва) на примере разных наименований мобильного телефона показал территориальную и социальную вариативность лексических средств, отметив при этом, что каждый из подобных вариантов не нарушает существующую литературную норму.

В докладе В. И. Карасика (Волгоград) «Культурные доминанты поведения: нормы в языке» была продемонстрирована взаимосвязь между культурным и языковым существованием человека. Автор выделил четыре типа ценностей (святое, приличное, целесообразное и принятое) и привел примеры соответствующих этим типам адекват-

ных коммуникативных действий и коммуникативных табу.

М. Я. Дымарский (Санкт-Петербург — Ольденбург) в докладе «Речевая культура и речевая манера (к проблеме оценки нормативности речевой практики)» обратил внимание на недостаточную разработанность критериев, по которым в теории типов речевой культуры, предложенной О. Б. Сиротининой, оценивается нормативность речевой практики конкретных носителей языка. По мнению докладчика, следует разграничивать явления, характеризующие тип речевой культуры, с одной стороны, и речевую манеру — с другой.

Вечернее пленарное заседание открылось серией докладов, посвященных проблемам современной орфоэпической нормы. Доклад Л. Л. Касаткина (Москва) «Предмет орфоэпии» был посвящен уточнению предмета и задач орфоэпии как самостоятельного раздела науки о языке; в связи с этим были подробно проанализированы некоторые случаи орфоэпической вариативности в русском языке.

Р. Ф. Касаткина (Москва) в докладе «Произносительная норма и фразовые позиции» отметила, что эллипсис отдельных звуков и целых слогов в слове свойствен не только разговорной, но и официальной спонтанной речи, где он проявляется в слабых фразовых позициях. Было дано определение слабых и сильных фразовых позиций и намечена их классификация.

В докладе М. Л. Каленчук (Москва) «Об одной из норм произношения заимствованных слов в русском языке» были представлены результаты анализа позиционного распределения безударного звука [о] и редуцированных гласных в корнях заимствованных слов. Было высказано предположение, что произношение безударного [о] имеет разную функциональную нагрузку в случае новых vs. старых заимствований.

Проблема освоения нормы носителями других подсистем русского языка затрагивалась в докладе О. Йокоямы (Лос-Анджелес) «Норма и нормализация “наивных” писем крестьян конца XIX века». На материале аутентичных текстов, написанных представителями одной крестьянской семьи в период с 1881 по 1896 гг., исследовательнице удалось проследить динамику освоения (а затем и частичного разрушения) языковой нормы в речи носителей диалекта и поставить ряд актуальных вопросов, затрагивающих проблему языковой интерференции.

Вопросы межкультурной коммуникации получили отражение в выступлении Р. Ратмайр (Австрия) «Изменение скрытой нормы в научно-деловой речи (на примере немецко-русских переговоров о сотрудничестве университетов)». Она показала, каким образом культурные различия влияют на ход переговоров о сотрудничестве и как изменилось речевое поведение участников переговоров начиная с 1989 г.

Актуальные вопросы лексической семантики и лексикографии рассматривались в докладах М. Я. Гловинской («Неконвенциональная оценка у безоценочных слов — система или узус?»), В. Ю. Апресян («Русское *не судьба...*»), Ю. Д. Апресяна («Об активном словаре русского языка»), которые и завершили первый день работы конференции. Выступление М. Я. Гловинской (Москва) было посвящено оценочным смысловым компонентам, возникающим при использовании в речи некоторых слов, в лексическом значении которых такие компоненты не зафиксированы (ср. употребление в последние годы слов *спорный*, *неоднозначный* в значении ‘плохой, отрицательно оцениваемый’ или глаголов *заявлять*, *объявлять* при выражении несогласия говорящего со словами субъекта). Были перечислены лексико-семантические, текстовые и праг-

матические условия появления оценочных наращений; обсуждался вопрос о том, следует ли относить подобные явления к системе языка или к узусу.

В. Ю. Апресян (Москва) представила анализ выражения «*Не судьба...*», являющегося, по мнению докладчицы, одним из ключевых понятий в русской языковой картине мира. Его лингвоспецифичность была обоснована путем контрастивного анализа синонимической пары *не судьба vs. не суждено* по таким параметрам, как грамматикализованность и фразеологизованность выражения, а также его прагматические особенности: временная ориентация, интерпретационность, негативность, импликация «покорность судьбе» и др.

В докладе Ю. Д. Апресяна (Москва) была изложена концепция нового типа толкового словаря, при разработке которого должны быть учтены и описаны все существенные свойства слова, обеспечивающие возможность для говорящего активно использовать слово в речи. На ряде примеров докладчик показал, какие лингвистические, коммуникативные, прагматические и иные свойства слов имеются в виду.

Утреннее пленарное заседание второго дня конференции открыл доклад Е. Ю. Протасовой (Хельсинки) «Языковая норма: извне и изнутри», посвященный проблеме функционирования русского языка в Финляндии в условиях сильной интерференции со стороны финского языка и финской культуры.

Тему существования языка за пределами этноса продолжил доклад Н. Ю. Авиной (Вильнюс) «Региональные особенности русского языка: вопрос о нормативном статусе (на материале русского языка в Литве)». Докладчица говорила о том, что система и норма в условиях языкового контактирования (имеющего как положительные, так и отрицательные последствия для языка меньшинства) взаимосвязаны

не столь однозначно, как в исконной среде.

Тема доклада Д. О. Добровольского (Москва) — «К сопоставительному анализу культурно-специфичных концептов (на материале русского и немецкого языков)». Им были рассмотрены русские глаголы *обидеть* и *оскорбить* и их немецкие квазиэквиваленты *beleidigen* и *kränken*. Было показано, что семантические различия между данными глаголами заключаются не в наборе, а скорее в акцентном статусе семантических компонентов (имеется в виду выделенность отдельных семантических компонентов в противоположность другим).

Активные языковые процессы, происходящие в различных функционально-речевых сферах с точки зрения их нормативности (узуальности) рассматривались в ряде докладов. О. П. Ермакова (Калуга) посвятила свой доклад «Языковые механизмы иронии в отношении к норме и узусу» анализу различных видов иронических употреблений слова в аспекте сознательных нарушений говорящими языковых норм и привычного употребления слов.

А. П. Чудинов (Екатеринбург) в докладе «Нормативная оценка метафорического употребления слова» рассмотрел ряд типичных для нашего времени политических метафор, среди которых, по мнению докладчика, преобладают метафоры с негативным оценочным компонентом.

Доклад Б. Ю. Нормана (Минск) «Название, регламентация, идеология» затронул весьма актуальную проблему номинационной деятельности государственной власти как способе ее влияния на общество. Рассмотрев новые наименования различных государственных и общественных объектов, докладчик отметил некоторые общие тенденции, характерные для «номинативной политики» белорусских властей: продолжение и развитие традиций канцелярского

стиля, попытка применения к языку определенной государственной идеологии.

Доклад Г. Е. Крейдлина «Эмфатические ответные реплики в диалоге» был посвящен анализу способов языкового выражения эмфатического отказа — типичным некооперативным реакциям адресата на иллокутивное вынуждение со стороны говорящего. Автор рассмотрел характерные особенности некоторых из таких языковых форм и перечислил невербальные средства, сопровождающие их в устном диалоге.

На конференции работало несколько секций. Большая часть секционных докладов была посвящена анализу конкретных языковых явлений с точки зрения соответствия их норме, а также новых тенденций развития современного русского языка, позволяющих судить о возможных изменениях нормативных установок под влиянием речевой практики. Перечислим тематику секций и прочитанных докладов.

Секция 1. Норма и узус в фонетике, интонации, орфографии: Е. Л. Арзиани (Москва) «Нормы релизации /j/ в существительных в позиции после согласного перед гласным в заударной части слова»; С. В. Зотова (Москва) «Нормы произношения односложных предлогов с гласными непереднего ряда в современном русском литературном языке»; Е. С. Скачедубова (Москва) «Варьирование согласных по месту и способу образования на конце первой основы композитов в современном русском литературном языке»; О. А. Кузнецов (Москва) «Норма реализации зияний в словах с сочетаниями *-циа-* и *-цио-*»; О. В. Антонова (Москва) «О нормах произношения возвратного постфикса в русском литературном языке»; Л. В. Парубченко (Барнаул) «Русская пунктуация: норма и узус»; И. А. Шаронов (Москва) «Письменная норма употребления междометий (к постановке проблемы)»; И. В. Нечаева

(Москва) «Орфографическая нестабильность иноязычных заимствований и проблема кодификации»; Т. М. Григорьева, С. В. Науменко (Красноярск) «Норма — узус — кодификация в русской орфографии (до Свода 1956 г.)».

Секция 2. Языковая норма и текст: В. Д. Черняк (Санкт-Петербург) «Рефлексия о языковой норме в новейшей отечественной прозе»; Н. А. Николina (Москва) «Норма и “антинорма” в современной драме»; М. В. Ляпон (Москва) «Антинорма и идионорма: интуитивная лингвистика стилесозидающего субъекта»; Л. Л. Шестакова (Москва) «Стилистические пометы в словарях языка писателей»; В. П. Григорьев (Москва) «Перевертень нормы: *норма > мрон* в поэтическом языке»; Н. Н. Перцова, Н. В. Перцов (Москва) «О нестандартном синтаксисе у Хлебникова»; В. Н. Виноградова (Москва) «Об отклонениях от нормы в поэтических окказионализмах»; Н. А. Фатеева (Москва) «Норма, потенциальность и новаторство (К новому изданию книги Г. О. Винокура “Маяковский — новатор языка”»); З. С. Санджи-Гаряева (Саратов) «Нормативное, узуальное и окказиональное в языке А. Платонова».

Секция 3. Норма в различных сферах речевого общения: Е. П. Захарова (Саратов) «Коммуникативные нормы повседневного общения»; М. А. Кормилицина (Саратов) «Узуальные нормы текстов современных газет»; Э. Рудник-Карватова (Варшава) «Смягчение языковой нормы в масс-медиа»; Л. З. Подберёзкина (Красноярск) «Современное деловое письмо в фокусе языковых и коммуникативных норм»; И. А. Букринская, О. Е. Кармакова (Москва) «Языковая норма в территориальных диалектах»; Н. Л. Голубева (Москва) «Об изменении узуса говора (синтаксический уровень)»; Е. В. Осетрова (Красноярск) «Недостовверная информация в СМИ: соотношение нормы и узуса»; Т. И. Еро-

феева (Пермь) «Нормы литературного языка “куются и накапливаются в кузнице разговорной речи” (Л. В. Щерба)».

Секция 4. Норма на разных уровнях языковой структуры: Г. И. Кустова (Москва) «Нормы и семантические правила (на материале прилагательных)»; Е. Белая (Нант) «О некоторых контекстных условиях употребления глаголов совершенного вида»; И. Б. Левонтина (Москва) «Механизмы семантической деформации заимствованных слов»; Е. М. Лазуткина (Москва) «Транспозиция глагольных форм (речевые образцы, норма, система)»; Н. К. Онипенко (Москва) «Полипредикативность и проблемы современной пунктуации»; Е. Н. Никитина (Москва) «Возвратные глаголы с точки зрения синтаксической нормы»; Юань Цуй (Москва) «О двух типах разговорного словообразования (на материале языка газет)»; Е. В. Маринова (Нижний Новгород) «Особенности формирования новых словообразовательных гнезд в современном русском языке»; О. Ю. Крючкова (Саратов) «Динамика словообразовательной нормы в донациональный период развития русского литературного языка»; И. И. Макеева (Москва) «К вопросу о вариативности в древнерусском тексте»; В. А. Шмелев (Москва) «Лексика государственно-го управления: узус и норма».

Секция 5. Норма и языковое сознание говорящих: А. П. Романенко (Саратов) «Культурный детерминизм речевой и языковой нормы»; И. А. Стернин (Воронеж) «Стилистическая характеристика слова в языковом сознании рядового носителя языка (по результатам экспериментального исследования)»; Е. Н. Геккина (Санкт-Петербург) «Изменения языковых норм в наблюдениях и оценках говорящих (по материалам Службы русского языка ИЛИ РАН)»; О. В. Фролова (Москва) «Норма и стереотипы (русская литература в ассоциативном эксперименте)»; Г. Г. Слыш-

кин (Волгоград) «Типы нарушителей коммуникативной нормы в смеховой картине мира»; Л. Найдич (Иерусалим) «Понятие нормы, национального варианта и речевых регистров в применении к русскому языку за рубежом».

Утреннее пленарное заседание последнего дня конференции открылось докладом Е. В. Ерофеевой (Пермь) «Взаимоотношения идиомов в социуме и идиолекте», в котором рассматривалось функционирование языковой системы в гетерогенном коллективе носителей. Было показано, что компоненты такой системы — идиомы (языки, диалекты, жаргоны, арг) — влияют друг на друга как в речи отдельных носителей, так и в языке в целом, вследствие чего возникают промежуточные зоны языка, в пределах которых норма носит вероятностный характер.

В докладах В. Е. Гольдина (Саратов) «Нормативный аспект лексических ассоциаций» и А. П. Сдобновой (Саратов) «Варьирование лингво-концептуальных норм (по данным ассоциативных словарей)» была затронута проблема «ассоциативной нормы». В первом из них ассоциативные нормы были рассмотрены в аспекте их социальной базы и тенденций изменения, а во втором — в аспекте их варьирования в процессе становления языковой и речевой компетенции школьников. Материалом исследования послужил Ассоциативный словарь школьников Саратова и Саратовской области, данные которого сопоставлялись с данными других ассоциативных словарей.

В докладе Е. Я. Шмелевой (Москва) «Языковая норма глазами носителя языка» на материале писем радиослушателей в редакцию передачи «Грамотей» исследовались представления «рядовых» носителей русского языка о современной речевой ситуации, литературной норме и ее вариантах.

И. Фужерон (Франция) в своем выступлении «“Я-ли, не я-ли”: местоиме-

ние я в роли подлежащего» проанализировала употребление местоимения я при глаголе в форме настоящего и прошедшего времени, которое обычно считается факультативным. Докладчица показала, что наличие vs. отсутствие местоимения я позволяет передавать различные отношения между участниками и элементами ситуации (в частности, отношение оппозиции) и тем самым обеспечивает логическую связность текста.

В совместном докладе Л. П. Быкова и Н. А. Купиной (Екатеринбург) «Лингвистический натурализм текстов массовой литературы как проблема ортологии» речь шла о негативном влиянии «низовой» массовой литературы на языковое сознание читателя. Были выделены основные тенденции развития массовой литературы (к обеднению речи, к стереотипности, к нелитературности); охарактеризован и отрицательно оценен лежащий в ее основе принцип натуралистической фиксации языковой действительности.

Г. А. Золотова (Москва) в своем выступлении «Д. Н. Шмелев и проблемы “нормы” в грамматической теории» обратилась к научному наследию академика Шмелева. Она остановилась на некоторых смелых и для теперешнего времени синтаксических размышлениях ученого. Особое внимание им было уделено исследованию ранее неизученных, нестандартных моделей экспрессивно-разговорной речи, которые не укладывались в привычную фортуатовскую дихотомическую классификацию. Как отметила докладчица, Д. Н. Шмелев «со свойственным ему проникновенным чувством языка» выявляет особенности этих предложений: порядок следования компонентов и интонация, логическое ударение, синтаксическая членимость, лексический состав, участие частиц, связь с контекстом. В заключение своего выступления Г. А. Золотова отметила,

что академик Шмелев оставил нам интереснейшие работы, в которых представлена научная, теоретическая «норма», живая, динамичная, а главное — стимулирующая.

Темой исследования Т. Е. Янко (Москва) «Русская интонация: норма и стиль» стали инновационные нарушения нормы в ораторской речи как один из способов воздействия на слушателя. Были рассмотрены некоторые типы интонационных инноваций (мена носителя интонационного пика, расширение функций интонационной конструкции) и предложены критерии выделения данного класса явлений.

Х. Пфандль (Австрия) в своем выступлении «Реформа немецкой орфографии и необходимость нормы» на конкретных примерах продемонстрировал компромиссный и во многих отношениях непоследовательный характер реформы орфографической системы немецкого языка. Докладчик предложил временно отказаться от попыток кодифицировать орфографическую норму, предоставив носителям языка в своей речевой практике осуществить выбор между новыми и старыми формами написания слов.

Доклады заключительного вечернего пленарного заседания затрагивали целый ряд актуальных проблем культуры речи, орфографии, лексической семантики в нормативном аспекте.

Объектом лингвистического анализа в докладе С. И. Гиндина (Москва) «Бытовые тексты с ошибками как предмет научного изучения и как педагогическая задача» явились разного рода явления о купле-продаже, об обмене и т. п., представляющие собой результат «самодетельного творчества» граждан и не прошедшие редакторской обработки. Эти тексты, безусловно, интересны для исследователя живой речи, т. к. они отражают языковое сознание «наивных» носителей языка, их речевые

пристрастия и представления о литературной норме.

Выступление Р. И. Розиной (Москва) «“Нормативные” и “ненормативные” семантические переносы: метонимия» было посвящено нарушению нормы при семантической деривации за пределами литературного языка. Докладчица показала, что производные «нелитературные» (разговорные и сленговые) значения слова могут отличаться от литературных не только моделью управления (как это принято считать), но и некоторыми другими параметрами, связанными с использованием такого способа деривации, как метонимический перенос. Р. И. Розина отметила, что рассмотренные ею особенности характерны также для метонимических значений, возникающих при авторском словоупотреблении в художественной речи.

А. Д. Шмелев (Москва) в докладе «Парадоксы языковой нормы» говорил о реальной речевой практике современных носителей литературного языка и соотношении их «речевых произведений» с нормативными рекомендациями, а также затронул проблему «образцового» носителя литературной нормы.

В докладе Е. В. Падучевой (Москва) «Единство дейктического центра как критерий выбора концептуализации» рассматривались семантические различия в отрицательных предложениях бытийного типа с генитивным и номинативным субъектом (*Коля был в Лондоне* — *Коли не было в Лондоне*) в зависимости от позиции наблюдателя.

Проблемы дифференциации значений многозначного слова были затронуты в докладе Е. В. Урысон (Москва) «Многозначное слово СОЗНАНИЕ». Рассматривая семантическую структуру слова *сознание*, автор выявляет принципы ее организации и на основе этого уточняет выражаемое данным словом смысловое содержание. Докладчица разграничивает логическую vs. реаль-

ную структуру полисемии и намечает пути перехода между ними.

Тема выступления Т. М. Николаевой (Москва) — «Базовые конструкции и дробная категоризация словосочетаний в русском языке». Были рассмотрены так называемые базовые категории (термин Дж. Лакоффа), составляющие концептуальную основу человеческого мышления. Докладчица показала, что за пределами концептуальной базы открываются широкие возможности стратификации элементов действительности (объектов и действий), которые в объективистской теории традиционно считались гомогенными и равноправными.

В. А. Успенский (Москва) в полемическом докладе «Может ли норма быть неправильной?» говорил о субъективности понятий «правильность» / «неправильность». Опираясь на статистический критерий в определении нормы, докладчик считает нормативными те языковые факты, которые соответствуют определению: «все так говорят», «все понимают в таком смысле». В. А. Успенский обратил внимание на довольно распространенные случаи ненормативного словоупотребления (ср. *Макбет* с ударением на 1-м слоге или *владыко* в номинативной позиции), а также неверного использования различных языковых клише и устойчивых выражений, входящих в «норму знания» носителей русского языка (ср. ошибочно цитируемую известную пушкинскую фразу «Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом»). Приведенные многочисленные примеры «неправильностей» позволили автору сделать следующий вывод. Общую для большинства носителей русского языка единую картину мира, отличающуюся в отдельных деталях от реальной картины мира, можно было бы назвать виртуальной, или мифологической. Именно эта мифологическая, а не реальная картина мира образует норму

знания и именно она обеспечивает функционирование языка.

Вечернее заседание завершилось выступлением председателя Оргкомитета заместителя директора ИРЯ РАН Л. П. Крысина, который в своем заключительном слове подвел итоги конференции.

По материалам чтений издан сборник: Русский язык сегодня. Вып. 4. Проблемы языковой нормы. Сб. статей. М., 2006. — 653 с.

А. С. Киселева, Н. Н. Розанова

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Что такое научные школы и как они рождаются (Уральская топонимическая школа: к 80-летию ее основателя)

В 2006 году исполняется 80 лет члену-корреспонденту РАН, профессору Уральского государственного университета им. А. М. Горького, доктору филологических наук Александру Константиновичу Матвееву, стоящему во главе признанной не только в стране, но и за рубежом Уральской топонимической школы. Пусть рассказ именно об этой школе — главном детище выдающегося ученого и педагога¹ — будет подарком юбиляру!

Что создает школу? Совершенно ясно, что прежде всего в ней должен быть учитель и должны быть ученики. Очевидно, школа начинается тогда, когда учитель и ученики делают первый шаг навстречу друг другу. В этом отношении университеты находятся в гораздо более благоприятном положении, чем академические учреждения, поскольку союз учителя и учеников складывается здесь естественнее — юные горячие головы тяготеют к выбору авторитета среди преподавателей, увлекаются яркой речью, внешним обаянием, притягиваются человеческой добротой, широкой эрудицией... Александр Константинович Матвеев в полной мере обладал

всеми этими качествами, и студенты-филологи далеких пятидесятих годов, конечно, не могли не обратить внимания на молодого преподавателя, который блестяще читал лекции по античной и зарубежной литературе, вдохновенно цитируя Овидия и Шекспира, а на занятиях по латыни слегка ироническим лиризмом смягчал академическую жесткость латинской грамматики, великолепно играл в волейбол и любил выводить студентов в походы по родному краю. Во внеучебное время для желающих он проводил занятия по греческому и мансийскому языкам (вспоминая при этом слова Вольтера о том, что «знать много языков значит иметь много ключей к одному замку»), вел кружок сравнительно-исторического языкознания. И неудивительно, что к нему с интересом потянулись студенты.

Но был ли именно этот интерес «школообразующим»? Наверное, еще нет. Несомненно, у учителя должна быть Идея, вспыхнувшая тем начальным огоньком, который затем станет мощным костром, высвечивающим ясный круг познанного, в сполохах которого видны пока скрывающиеся во тьме перспективы будущего пути. (Образ может показаться излишне выпяренным, но, наверное, ученики всегда становятся выпяренными, когда говорят об Учителе. Кроме того, костер в ночи как

¹ Обзоры научной деятельности самого Александра Константиновича и соответствующую библиографию см. в [Аникин 2001; Рут 1996б; Матвеев БиблУ 1996, 2001].

символ будоражащего душу прорыва к свету знания, к свету подлинной культуры, особенно дорог А. К., и не случайно на кафедре висит подаренная им фотография, на которой нервно и неистово горит ночной костер среди темно-осеннего леса.)

Организующая школу идея сформировалась тогда, когда беспечные походы-экскурсии на природу превратились в поход за Словом. В 1960 году во время летних каникул группа студентов из четырех человек выехала первый раз в экспедицию на реку Чусовую, приток Камы, для сбора названий «камней» (прибрежных скал) и диалектной уральской лексики. Это были чудесные дни тесного общения со старожилами, много знавшими и много пережившими, помнившими различные предания, отразившиеся в топонимах, говорившими на удивительно ярком языке. Именно тогда студенты ощутили, что экспедиция — это не просто романтика дороги, красота природы, песни и стихи до утра — это борьба за сохранение народного слова и собирание по крупицам правды о народной истории и культуре.

В недрах домашних архивов первых «матвеевцев» нашелся рукописный листок со стихами Шефа (как все его называли и называют):

А в бездонном хранилище времени
По складам я читаю рассказ
О судьбе и о гибели племени,
Кровь которого, может быть, в нас.

Это было написано где-то в самом начале, этого никто не слышал, кроме тех немногих, кому тогда у костра стихотворение было прочитано, но на протяжении всех лет существования школы в экспедиционных песнях живет тезис о спасении слова ради спасения культуры, потому что он важен каждому:

1970-е годы:

Есть трудная работа, труднее
всех работ —
Из нас ослабнет кто-то, и слово
пропадет!²

80-е годы:

Мы откроем тайну слова, мы поймем
за хвост чужь и мерю,
Иероглифов тайные смыслы разберем
на пергаменте сером...

90-е годы:

Слово нетленным останется.
Просто —
Мы на бумаге, оно на бересте...
Как сохранить это дивное диво
Вечно свободным и вечно правдивым?

Эта переписка не случайна: настоящей школе дано чувство внутреннего единения учителей и учеников, осознание общности «дела, которому ты служишь», верности основным принципам. Ей всегда присуща «Мы-тема», ощущение собственной коллективной самостоятельности и уникальности. Но чтобы это ощущение было оправданным, идея должна подпитываться и развиваться строгой и плодотворной научной Концепцией.

Концепция школы проявила себя уже тогда, когда по результатам дипломных сочинений, выполненных под руководством А. К. Матвеева, в 1962 году вышла скромная брошюра «Вопросы топониматики» со знаменательным подзаголовком: «Доклады кружка сравнительно-исторического языкознания». В этом первом из существовавшей более 40 лет межвузовской научной серии сборников, служившей своеобразным полигоном ономастических исследований в стране [ВТ/ВО], уже намечена

² Это строки из гимна филологов факультета Уральского университета, но матвеевцы сразу сказали: «Это про нас». К тому же А. К. учил не только лингвистов...

программа плодотворной научной поисковой работы, у истоков которой стоял и которую до сих пор возглавляет удивительный ученый, труженик, щедрый педагог и интереснейший человек — Александр Константинович Матвеев. «Все мы вышли» из этого маленького сборника и, надеемся, пошли вперед и дальше.

Сегодня тематика научных исследований школы широка и разнообразна (она стала гораздо шире названия школы, которое теперь указывает на истоки и ядро изучаемых проблем). Этот многоцветный комплекс не эклектичен, а объединен органическими внутренними связями. «Этимологизируя» новые направления исследований, постоянно появляющиеся в рамках школы, их следует так или иначе выводить из работ Александра Константиновича, но выводимость эта может быть непосредственной, прямой, связанной даже с конкретными темами и сюжетами, а может быть весьма опосредованной, предполагающей наследование *общих принципов анализа языковых данных*. Эти принципы возникли и были апробированы в первую очередь в ходе ономастических (топонимических) исследований, а затем применялись по отношению к анализу диалектной лексики и других языковых сфер.

Приверженность к изучению «своего», собранного в полевых условиях материала. Эта принципиальная установка появилась у А. К., возможно, в какой-то мере под влиянием отца — известного геолога. «Поисковость», по мнению А. К., является основной «чертой характера» лингвиста. Если А. К. и почитает какие-либо культы, то это в первую очередь культ языкового факта, который для него самоценен, несмотря на возможность упреков в излишнем эмпиризме. Об этом — не совсем серьезная притча, которую А. К. рассказал

как-то своим студентам: «Лингвист и литературовед нашли алмаз. Что будет делать с ним литературовед? Он пристально рассматривает каждую грань, подставляет алмаз лучам солнца, наблюдает, как играют на этих гранях лучи, и описывает свои впечатления. Лингвист же откладывает первый алмаз — и идет искать следующий». Полевые штудии позволяют установить наиболее крепкие внутренние связи между всеми этапами научного исследования — сбором фактов, описанием и интерпретацией их. Нет необходимости говорить об образовательной и воспитательной ценности полевых исследований, которые, помимо всего прочего, наилучшим образом учат ответственности перед наукой. Среди участников экспедиции до сих пор ходят легенды о том, как 20 лет назад Александр Константинович заново послал полевую группу «на край света», в далекий и глухой Ленский район Архангельской области, для того, чтобы сотрудники экспедиции «рас- слышали» (проверив по косвенным падежам) то, что «недослышали» в прошлый раз: какой звук, глухой или звонкий, стоит на конце топонимов типа Базлу[к] и Матлу[к].

Сбор материала, как полевой, так и «кабинетный», должен быть фронтальным. Установка на фронтальность была порождена особенностями сбора топонимии. Она означает необходимость работать в каждом населенном пункте заранее известно, что там проживают далеко не самые сведущие информанты. Подразумевается, что от них можно записать те «крупницы» узлокальной топонимии и диалектной лексики, которые больше нигде не известны. Этот весьма трудоемкий принцип расходится с практикой некоторых других диалектологических экспедиций, которые работают «феноменологически», отыскивая

наиболее знающих и контактных информантов в отдельных населенных пунктах исследуемой зоны.

Данный принцип, повторим, касается не только собственно полевой работы. А. К. приучал своих последователей во всех областях научного поиска работать с большими массивами фактов, исчерпывающе представлять результаты, по возможности избегая спасительных «и т. п.», «и т. д.». Первый вопрос, который задает Александр Константинович во время любых обсуждений научных тем (книг, статей, курсовых работ, дипломов и диссертаций): «А достаточно ли материала?». При этом, по мнению А. К., следует особо ценить маргиналии. То, что кажется странным и ненадежным в узком фактическом пространстве, может быть верифицировано в пространстве более широком, снимающем с гапакса налет уникальности и подключающем его к регулярным языковым моделям.

Собирать и интерпретировать материал следует направленно. Установка на направленность родилась тоже в практике полевых исследований. Она заключалась в применении активной, «целесолагающей» методики опроса. Выявляется, во-первых, вся известная информанту местная топонимия (а также другие разряды ономастики) и, во-вторых, диалектная лексика, при поиске которой собиратель отталкивается от установленной ранее идеографической сетки, постоянно пополняющейся в ходе полевых сборов. Такой вид опроса, в отличие от пассивной записи текстов, приводит к более точным результатам, поскольку позволяет проверять многократно один и тот же языковой факт, уточнять географические привязки, представления о реалиях и типах географических объектов, а также фиксировать различные варианты словоформ (что особенно важно для топонимии) и

примеры словоупотребления, актуализируя тем самым функциональный аспект исследований. С другой стороны, данный вид сбора материала является более творческим, поскольку направленность опроса «от понятия к слову» предполагает постоянное моделирование новых ситуаций использования слов и обнаружение новых лексем и семантических областей, важных для традиционного сознания. Все это приобретает особую значимость в современных условиях разрушения традиционной народной культуры и «размывания», «разложения» диалектной лексической системы. На сегодняшний день активный запас диалектоносителя очень часто бывает представлен общеизвестными, близкими к просторечию единицами, обычно относящимися к бытовой сфере; специфическая же в плане семантики, узколокальная лексика оказывается вытесненной на периферию словаря. В такой ситуации именно направленный сбор дает возможность актуализировать неустраиваемые области знания и предотвратить утрату целого ряда диалектных фактов.

Этот принцип, как и предыдущий, выходит за рамки методики полевого сбора. Он является и собственно исследовательским, находя конкретизацию, к примеру, в процедуре «направленной этимологизации компонентов топонимических систем», которая была разработана А. К.: исходя из того, что проживающие на одной территории народы (например, русские и финно-угры) должны иметь сходный по семантике набор топонимов (хотя бы наиболее частотных, отражающих особенности местной флоры, фауны, ландшафта etc.), на русском материале выстраивается словарь важнейших семем, предположительно употребляемых и в субстратной топонимии данной территории; затем этот словарь переводится на язык, факты которого наилучшим обра-

зом объясняют субстратную топонимию (язык-эталон); наконец, сетка лексем языка-эталона накладывается на субстратную топонимию. Тем самым этимологический поиск становится направленным и дает более надежные результаты [Матвеев 1976а: 66, 68—69].

Лингвистическое исследование должно носить комплексный характер. Эта установка для школы имеет разные мотивировки, но исторически первая, должно быть, вытекала из задачи обнаружения финно-угорского наследия в русской топонимии. Субстрат и заимствования суть явления системные, поэтому сам характер материала показал А. К. необходимость фиксировать не только топонимические данные, но и вести комплексные наблюдения системно-языкового свойства (в первую очередь лексикологические, а также в определенной мере фонетические и морфологические). Соответственно в поле зрения участников экспедиции были вовлечены другие разряды ономастики — этнонимия и антропонимия, затем астронимия, на современном этапе — еще и хрононимия. С другой стороны, невозможно было не обратить внимания на функционирующие в составе топонимов диалектные слова — прежде всего географические термины. Экспедиция стала направленно собирать терминологию, а затем расширила сферу сбора и стала фиксировать те пласты лексической системы, где финно-угорские заимствования могли проявить себя наиболее полно, — лексику охоты и рыболовства, лесного хозяйства, метеорологической сферы и др. Затем стало понятно, что для реконструкции целостной картины заселения и обживания, «окультуривания» территории по языковым данным необходимо работать и с другими, «несубстратными» пластами лексики (тем более что иногда заимствования обнаруживались

там, где их поначалу «не ждали», — например, в сфере экспрессивных характеристик человека, в обозначениях отходов при обмолоте и даже в названиях детских игр etc.). Постепенно сбор диалектной лексики перерос в отдельную и базовую задачу экспедиции. Более того, коль скоро языковой субстрат существует «рука об руку» с субстратом культурным, экспедиция неминуемо стала обращать внимание на сведения, лежащие вне системы языка, т. е. на информацию фольклорно-этнографического свойства: собирались топонимические легенды о летописной чуди и мере, сведения о культовых камнях (например, известные всем участникам экспедиции *Синие Камни*, — в тех зонах, где они образуют скопления, — можно считать, по мнению Александра Константиновича, переведенными названиями мезрянских мольбищ [Матвеев 1998]) и т. п. Постепенно такая информация стала собираться все более и более системно, что поддерживается развивающимися на кафедре этнолингвистическими исследованиями.

Разумеется, расширение проблематики небезопасно, ибо комплексность нетрудно превратить в верхоглядство (одно из самых ругательных слов в лексиконе А. К.) и всеядность, но, думается, другие черты «матвеевской системы» служат здесь противовесом.

Лексикологическое исследование должно быть представлено в словаре. Присущая научной идеологии А. К. системность и стремление к полной экспликации языковых данных побудили его к созданию разного рода лексических и ономастических словарей. Авторские словари А. К. написаны на материале топонимии Урала и Тюменского Севера [Матвеев 1980, 1984, 1987а, 1990а, 1997, 2000]. Они сочетают в себе качества толкового и этимологического словарей, а также выдерживают ред-

чайший баланс научности и ясности манеры изложения, делающей их доступными не только этимологической элите, но и «широкому читателю». Лексические словари, в которых участвовал и участвует А. К., являются трудами коллективными, выполняемыми сотрудниками кафедры под редакцией Матвеева. Закончено масштабное описание диалектной лексики Среднего Урала [СРГСУ], в настоящее время осуществляется гораздо более крупный многолетний проект — Словарь говоров Русского Севера [СГРС]. Кроме того, А. К. редактирует словарь этимологический, посвященный интерпретации финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера [МФУЗ]. Закономерным «ответвлением» стал этноидеографический словарь говоров Свердловской области, картотека которого создавалась сотрудниками кафедры, а авторская работа и редактирование велись О. В. Востриковым и В. В. Липиной [ЭИС]. «Словарное мышление» присуще всем ученикам А. К.: приложениями ко многим диссертациям стали словари, посвященные отдельным территориально и тематически ограниченными пластами лексики и ономастики. В настоящее время словарные «потребности» школы планируется реализовать в новом проекте, задуманном совместно с Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН: лексикографической обработкой и публикацией огромных ономастических материалов кафедры займется учебно-научный комплекс «Русский ономастикон», призванный в будущем объединить исследовательские силы и за пределами этих научных центров (помогая тем самым журналу «Вопросы ономастики», который тоже является совместным проектом УрГУ и ИРЯ, имеющим всероссийское значение).

Жизнь языковых фактов должна описываться в про-

екции на карту. А. К. ввел в язык своей школы словечко *привязка*, которое означает фиксацию топографических сведений об объекте, означаемом топонимом (километраж, румб, сведения о принадлежности к бассейну той или иной реки etc.). Это слово обретает и более широкий смысл: привязка — это языковая «прописка» слова, его адрес, точнее — жизненное пространство в пределах того или иного языка. Без привязки невозможно восстановление биографии слова, поэтому в экспедиции принято «дублировать» найденные лексемы по всей зоне полевых работ и добиваться точных данных о местонахождении географических объектов (это данные не только об «абсолютном» адресе объекта, но и разного рода «относительная» информация, т. е. сведения системного характера, позволяющие увидеть, в каких случаях смежным объектам местности соответствует семантическая, метонимическая, словообразовательная связь названий). Как и в предыдущих случаях, собирательский принцип перерастает в интерпретационный: ареальный фактор является весомым аргументом при верификации той или иной этимологии; обнаружение коррелирующих ареалов у элементов-маркеров становится основным способом воссоздания региональной лингвоэтнической истории и т. п.

Лингвистическое исследование должно быть связано с реконструкцией истории и культуры народа. А. К. часто называет себя историком (и не всегда добавляет *языка*). В заголовках его работ нередко встречаются сочетания *лингвоэтническая история, древние миграции, топонимические древности, древние контакты, древнейшие места расселения* и др., а на весь «сверхтекст» научного творчества Матвеева можно было бы перенести название одной из его книг: *«Вверх по реке*

забвения». Эти слова наилучшим образом определяют для А. К. общее направление исследовательского пути лингвиста. Та история, которая восстанавливается по данным излюбленного основателем школы материала для анализа — русской ономастики и диалектной лексики, — есть история этническая, позволяющая установить перипетии обживания земель племенами и народами и особенности этнических взаимоотношений в проекции на карту. Этим определяется появление двух основных аспектов исследований школы — этимологического и контактологического. Этническая история тесно связана с этнической культурой, и наряду с реконструкцией «материальной жизни» народов участники школы постепенно включили в круг своих исследовательских задач реконструкцию «жизни духовной» — основных параметров традиционной языковой картины мира. Тем самым среди направлений научной деятельности школы получил прописку этнолингвистический аспект исследования.

Охарактеризовав общие принципы, назовем *основные линии исследований школы*. Конечно, в краткой публикации представить 45-летнюю научную жизнь большого коллектива можно лишь эскизно и схематично; мы будем опираться на самые крупные работы — монографии, диссертации, словари, серийные сборники, практически оставляя в стороне сотни статей, дипломных и курсовых работ (иные из которых «везят» не меньше хорошей диссертации).

Как уже говорилось, ядро исследовательской деятельности матвеевцев — ономастика (топонимия). Вслед за трудами А. К., в которых осуществлена этимологическая интерпретация и лингвоэтническая стратификация больших пластов топонимии севера Европейской России, Урала и Западной Сибири, позволившая существенно дополнить и

уточнить наши представления о былом расселении народов, в том числе летописной мере [Матвеев 1970, 1985, 2001, 2004; цикл статей в журнале «Вопросы языкознания», в ВТ/ВО, ЭИ, ОДЛ и мн. др.], появляется крупный массив работ его учеников — комплексные региональные топонимические исследования, сочетающие структурный, семантический, этимологический и лингвоэтнический аспект анализа [Баранова 1994; Глинских 1972; Иванова 1993; Кабинина 1997; Киришева 2006; Муминов 1970; Нечай 1989; Смирнов 1997; Фомин 1985; Хромова 1985]. Объектами описания стали топонимиконы различных территорий Русского Севера, Урала, Зауралья, Западной Сибири, которые, как правило, являются «проблемными» зонами в контактологическом смысле и характеризуются активным взаимодействием русских с финноуграми, тюрками и другими аборигенными народами. Принципы комплексного топонимического анализа воплощаются не только на русском материале, но и на иноязычных топонимиконах, что особенно ярко отразилось в фундаментальном исследовании Т. Н. Дмитриевой, воссоздающем детальную картину бытования топонимии одного из малых уральских народов — хантов [Дмитриева 2005]. Поскольку географические названия консервируют богатейшие лексические пласты (особенно географическую терминологию), которые нередко оказываются утраченными в современной системе говора, большое внимание представители школы уделяют реконструкции диалектной лексики, а также внетопонимических разрядов ономастики (например, календарных имен) по данным топонимии [Алабугина 1989; Гусева 1974; Дерягина 1985; Смирнова 2001; Субботина 1984].

Отдельный блок исследований посвящен особым и значимым явлениям, составляющим структурно-семантиче-

ское своеобразие русской топонимии: семантическим микросистемам топонимов [Березович 1992], топонимическим полукалкам [Гусельникова 1994], составным наименованиям [Просвирнина 1999]. Освоены школой и нетопонимические разряды традиционной ономастики: астрономия [Рут 1975, 1987, 1990, 1992, 1994], этнонимия [Попова 1999], коллективно-территориальные прозвища [Воронцова 2002].

Богатство и многогранность привлекаемого к анализу материала и разноаспектность ономастических исследований позволили участникам школы сформулировать ряд положений в области теории ономастики, касающихся статуса имени собственного, его места в языке, своеобразия его семантического наполнения, соотношения имен собственных и нарицательных, типологии имен собственных, методологии ономастического исследования [Матвеев 1974, 1986б, 1987б; Березович 1998а, 1998б, 2000а, 2001; Глинских 1982, 1987; Голомидова 1998а, 1998б; Рут 1992, 1994, 2001 и др.]. Особое внимание в теоретическом осмыслении имен собственных отводится вопросам мотивации и ономастиологии, поэтому активно изучаются различные типы и принципы ономастической номинации — образной, символической, искусственной [Рут 1992, 1994; Матвеев 1977; Голомидова 1998а, 1998б].

Из названной выше проблематики закономерно вырастает этнолингвистический аспект исследования имен собственных, предполагающий реконструкцию своеобразия народной картины мира: представлений о земном и небесном пространстве, об этнических и территориальных соседях, о мире сакрального и др. [Березович 1998а, 1998б, 2000а, 2003; Воронцова 2002; Родионова 2000; Рут 1992, 1994].

Выработанные на материале традиционной ономастики принципы и приемы исследования могут быть примене-

ны (с закономерной корректировкой) по отношению к новым ономастическим явлениям — эргонимии (эргоурбонимии), прагмонимии и др.: определяется статус новых разрядов в общем ономастическом пространстве, дается мотивационно-семантическая характеристика, анализируется роль прагматических факторов при создании и функционировании имен, что позволяет отнести такого рода работы к новому направлению — прагматической ономастиологии [Матвеев 1986а, 1991; Голомидова 1998а, 1998б; Горяев 2000; Козлов 2000; Шимкевич 2002]. Seriously заявила о себе в матвеевской школе и литературная ономастика (см. цикл статей А. А. Фомина в [ОДЛ, ВО]; особенно [Фомин 2005]).

Другая составляющая народного языка — диалектная лексика — тоже изучается прежде всего в мотивационном, этимологическом и контактологическом ключе. Наиболее характерны для школы два способа формирования объекта анализа. В первом случае исследователи идут от лингвистической генетики к семантике, выбирая для изучения группы слов с общим происхождением. Чаще всего это заимствования в русских говорах Русского Севера, Поволжья, Урала, и Западной Сибири — финно-угорские и тюркские [Востриков 1979, 1990; Дмитриева 1981; Кожеватова (Теуш) 1997; Матвеев 1959; МФУЗ], а также западноевропейские [Ивашова 1999]. Осваивается также славянская проблематика, что предполагает выявление семантического своеобразия корневых гнезд исконной диалектной лексики на основе этимологического анализа последней [Галинова 2000]. Во втором случае направление поиска иное: изначально задается тематическая группа лексики, а в ходе исследования устанавливается ее лингвогенетическое и семантическое своеобразие, ср. работы по диалектным названиям лесных локусов [Мищенко 2000], птиц [Лысова

2002], рыб [Березовская 2006], погодных явлений [Суспицына 2000], танцев [Берг 1999]. Разработка семантического аспекта исследования народного лексикона потребовала, во-первых, создания диалектного идеографического словаря и экспликации принципов идеографического описания лексики [ЭИС; Липина 2000]; во-вторых, формулировки общих принципов анализа диалектных семантических систем в аспекте взаимодействия исконного и заимствованного пластов лексики (см. цикл работ О. В. Мищенко в ОДЛ, ФУН, ЭИ, а также [Мищенко 2001]), а также теоретического осмысления семантического аспекта этимологического анализа диалектной лексики (см. серию статей О. А. Теуш в ОДЛ, ФУН, ЭИ, а также [Теуш 2003, 2004]). Как логическое расширение и обогащение проблематики диалектных лексикологических исследований возникает этнолингвистическое направление, ср. работы о лексике, обозначающей интеллектуальные способности человека [Леонтьева 2003], его отношении к труду [Еремина 2003], выражающей семантику исчезновения [Феоктистова 2003], о своеобразии лексики фольклорной (заговорной) традиции [Гулятьева 2000]. Некоторые общие принципы этнолингвистического анализа диалектной лексики сформулированы в [Березович, Рут 2000; Березович 2004].

Важная составляющая деятельности школы, тесно связанная с преподавательской работой ее участников, — популяризация ономастических и этимологических исследований, мотивированная стремлением поделить их результатами со школьниками, учителями, краеведами (помимо упомянутых выше словарей А. К. Матвеева, см. также популярные книги [Матвеев 1990б, 1976б, 1979; Рут 1990, 1996а], этимологические словари для школьников [Березович 2000б; Рут 2003], цикл публикаций

в журналах «Уральский следопыт», «Русская речь», в местных газетах).

Итак, школа А. К. Матвеева сегодня — это крупное научное объединение, разрабатывающее широкий спектр проблем из области русской ономастики, диалектологии, контактологии, этимологии и этнолингвистики. Школа рада поздравить своего Учителя и пожелать ему продолжения славного пути. К поздравлениям присоединяются многочисленные друзья и коллеги Александра Константиновича.

Л и т е р а т у р а

Алабугина 1989 — Ю. В. Алабугина. Календарные имена в топонимии Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1989.

Аникин 2001 — А. Е. Аникин. От Чуди до Мери (к 75-летию А. К. Матвеева) // ВЯ. 2001. № 6. С. 3—12.

Баранова 1994 — Т. А. Баранова. Топонимия Тобольска и его окрестностей: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1994.

Берг 1999 — Е. Б. Берг. Хореографическая терминология в русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1999.

Березович 1992 — Е. Л. Березович. Семантические микросистемы в русской топонимии: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1992.

Березович 1998а — Е. Л. Березович. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 1998.

Березович 1998б — Е. Л. Березович. Топонимия Русского Севера: Этнолингвистические исследования. Екатеринбург, 1998.

Березович 2000а — Е. Л. Березович. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000.

Березович 2000б — Е. Л. Березович. Этимологический словарь русского языка для школьников. Екатеринбург, 2000.

- Березович 2001 — Е. Л. Березович. К построению комплексной модели топонимической семантики // Изв. Урал. гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. 4. 2001. № 20. С. 5—13.
- Березович 2003 — Е. Л. Березович. Топонимическая этносемантика // Славянское языкознание: XIII Междунар. съезд славистов: Докл. рос. делегации. М., 2003. С. 19—35.
- Березович 2004 — Е. Л. Березович. К этнолингвистической интерпретации семантических полей // ВЯ. 2004. № 6. С. 3—24.
- Березович, Рут 2000 — Е. Л. Березович, М. Э. Рут. Ономаσιологический портрет реалии как жанр лингвокультурологического описания // Изв. Урал. гос. ун-та. № 17. Гуманитарные науки. Вып. 3: Филология. Екатеринбург, 2000. С. 33—38.
- Березовская 2006 — Е. А. Березовская. Ихтиологическая лексика в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2006.
- ВО — Вопросы ономастики: Всероссийский научный журнал. 2004—2005 —. № 1—2 —.
- Воронцова 2002 — Ю. Б. Воронцова. Коллективные прозвища в русских говорах: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002.
- Востриков 1979 — О. В. Востриков. Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1979.
- Востриков 1990 — О. В. Востриков. Финно-угорский субстрат в русском языке. Свердловск, 1990.
- ВТ/ВО — Вопросы ономастики (вып. 1—6 под названием Вопросы топонимости): Сер. сб. науч. тр. Свердловск (Екатеринбург), 1962—1991 / Под ред. А. К. Матвеева (вып. 1—18), М. Э. Рут (вып. 19). Свердловск. Вып. 1—19.
- Галинова 2000 — Н. В. Галинова. Этимолого-словообразовательные гнезда праславянских корней со значениями 'гнуть', 'вер-
 теть', 'вить' в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.
- Глинских 1972 — Г. В. Глинских. Русская топонимия мансийского происхождения в бассейне р. Тавды: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1972.
- Глинских 1982 — Г. В. Глинских. Классификации нарицательной лексики и топонимия // Вопросы ономастики. Свердловск, 1982. Вып. 15. С. 3—21.
- Глинских 1987 — Г. В. Глинских. Топонимическая система и структурно-семантические признаки исходных апеллятивов // Формирование и развитие топонимии. Свердловск, 1987. С. 29—43.
- Голомидова 1998а — М. В. Голомидова. Искусственная номинация в ономастике. Екатеринбург, 1998.
- Голомидова 1998б — М. В. Голомидова. Искусственная номинация в русской ономастике: Дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 1998.
- Горяев 2000 — С. О. Горяев. Номинативные интенции субъекта ономастической номинации (на материале русских прагмативов): Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.
- Гультяева 2000 — Н. В. Гультяева. Язык русского заговора: Лексика: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.
- Гусева 1974 — Л. Г. Гусева. Географическая терминология Каргопольского края: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1974.
- Гусельникова 1994 — М. Л. Гусельникова. Полукальки в топонимии Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1994.
- Дерягина 1985 — З. С. Дерягина. Гидрографическая терминология в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1985.
- Дмитриева 1981 — Т. Н. Дмитриева. Лексические заимствования в русских говорах Нижнего Прииртышья: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1981.
- Дмитриева 2005 — Т. Н. Дмитриева. Топонимия бассейна реки Казым. Екатеринбург, 2005.

Еремина 2003 — М. А. Еремина. Лексико-семантическое поле «Отношение человека к труду» в русских народных говорах: этнолингвистический аспект: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.

Иванова 1993 — Е. Э. Иванова. Топонимия среднего течения реки Чусовой: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1993.

Ивашова 1999 — Н. М. Ивашова. Западноевропейские заимствования в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1999.

Кабинина 1997 — Н. В. Кабинина. Топонимия дельты Северной Двины: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1997.

Киришева 2006 — Т. И. Киришева. Русская топонимия финно-угорского происхождения на территории Онежского полуострова: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2006.

Кожеватова (Теуш) 1997 — О. А. Кожеватова. Заимствования в лексике говоров Русского Севера и проблема общего регионального лексического фонда: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1997.

Козлов 2000 — Р. И. Козлов. Эргоурбонимы как новый разряд городской ономастики: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.

Леонтьева 2003 — Т. В. Леонтьева. Интеллект человека в зеркале русского языка: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.

Липина 2000 — В. В. Липина. Региональный диалектный идеографический словарь: Принципы построения и семантическая структура (на материале быговой лексики говоров Среднего Урала): Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.

Лысова 2002 — Е. В. Лысова. Орнитонимия Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002.

Матвеев 1959 — А. К. Матвеев. Финно-угорские заимствования в русских говорах Северного Урала. Свердловск, 1959. [Учен. зап. Урал. гос. ун-та. Вып. 32].

Матвеев 1970 — А. К. Матвеев. Русская топонимика финно-угорского происхождения на территории севера европейской

части СССР. Дис. ... д-ра филол. наук. М., 1970. Т. 1—2. Приложения. Карты.

Матвеев 1974 — А. К. Матвеев. Тезисы о топонимике 1—2 // Вопросы ономастики. Свердловск, 1974. Вып. 7. С. 5—18.

Матвеев 1976а — А. К. Матвеев. Этимологизация субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем // ВЯ. 1976. № 3. С. 58—73.

Матвеев 1976б — А. К. Матвеев. Нероики караулят Урал. Свердловск, 1976.

Матвеев 1977 — А. К. Матвеев. Общее народное видение и проблемы этимологической и ономазиологической интерпретации топонимов // Вопросы ономастики. Свердловск, 1977. С. 5—20.

Матвеев 1979 — А. К. Матвеев. Семь названий на карте Урала. Свердловск, 1979.

Матвеев 1980 — А. К. Матвеев. Географические названия Урала. Свердловск, 1980.

Матвеев 1984 — А. К. Матвеев. От Пай-Хоя до Мугоджар: Названия уральских хребтов и гор. Свердловск, 1984.

Матвеев 1985 — А. К. Матвеев. Топонимия Урала. Свердловск, 1985.

Матвеев 1986а — А. К. Матвеев. К интерпретации одной условной топонимической системы // Этимология 1984. М., 1986. С. 132—136.

Матвеев 1986б — А. К. Матвеев. Методы топонимических исследований. Свердловск, 1986.

Матвеев 1987а — А. К. Матвеев. Географические названия Урала. 2-е изд., перераб. и доп. Свердловск, 1987.

Матвеев 1987б — А. К. Матвеев. Топонимические древности 1—3 // Формирование и развитие топонимии. Свердловск, 1987. С. 4—29.

Матвеев 1990а — А. К. Матвеев. Вершины Каменного Пояса: Названия гор Урала. Челябинск, 1990.

Матвеев 1990б — А. К. Матвеев. Вверх по реке забвения. Свердловск, 1990.

Матвеев 1991 — А. К. Матвеев. В роли создателя топонимов // Номинация в ономастике. Свердловск, 1991. С. 13—27.

Матвеев 1997 — А. К. М а т в е е в. Географические названия Тюменского Севера. Екатеринбург, 1997.

Матвеев 1998 — А. К. М а т в е е в. Морянская топонимия на Русском Севере — фантом или феномен? // ВЯ. 1998. № 5. С. 90—105.

Матвеев 2000 — А. К. М а т в е е в. Географические названия Свердловской области: Топонимический словарь. Екатеринбург, 2000.

Матвеев 2001, 2004 — А. К. М а т в е е в. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. 1. Екатеринбург, 2001; Ч. 2. Екатеринбург, 2004.

Матвеев БиблУ 1996 — Матвеев Александр Константинович: Библиографический указатель трудов. Екатеринбург, 1996.

Матвеев БиблУ 2001 — Матвеев Александр Константинович: Указатель трудов (1996—2001) // Изв. Урал. гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. 4. 2001. № 20. С. 266—269.

Мищенко 2000 — О. В. М и щ е н к о. Лексика лесных локусов в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.

Мищенко 2001 — О. В. М и щ е н к о. К вопросу о методике анализа диалектных семантических систем // Изв. Урал. гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. 4. 2001. № 20. С. 141—150.

Мунинов 1970 — М. Т. М у м и н о в. Русская топонимия субстратного происхождения в междуречье Тавды и Исети: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1970.

МФУЗ — Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера / Под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург, 2004—. Вып. 1—.

Нечай 1989 — М. Н. Н е ч а й. Русская топонимия лесной зоны Среднего Прииртышья: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1989.

ОДП — Ономастика и диалектная лексика: Сер. сб. науч. тр. / Под ред. М. Э. Рут. Екатеринбург, 1996—2005—. Вып. 1—5—.

Попова 1999 — Э. Ю. П о п о в а. Этнонимия Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1999.

Просвирнина 1999 — И. С. П р о с в и р - н и н а. Составные наименования в русской топонимии: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1999.

Родионова 2000 — И. В. Р о д и о н о в а. Имена библейско-христианской традиции в русских народных говорах: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.

Рут 1975 — М. Э. Р у т. Русская народная астрономия и ее связи с астрономией других народов СССР: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1975.

Рут 1987 — М. Э. Р у т. Русская народная астрономия. Свердловск, 1987.

Рут 1990 — М. Э. Р у т. Звезды рассказывают о Земле. Свердловск, 1990.

Рут 1992 — М. Э. Р у т. Образная номинация в русском языке. Екатеринбург, 1992.

Рут 1994 — М. Э. Р у т. Образная ономастика в русском языке: ономаσιологический аспект: Дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 1994.

Рут 1996а — М. Э. Р у т. Имена и судьбы. Екатеринбург, 1996.

Рут 1996б — М. Э. Р у т. [Предисловие] // Матвеев Александр Константинович: Библиографический указатель трудов. Екатеринбург, 2001. С. 5—8.

Рут 2001 — М. Э. Р у т. Антропонимы: размышления о семантике // Изв. Урал. гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. 4. 2001. № 20. С. 59—64.

Рут 2003 — М. Э. Р у т. Этимологический словарь русского языка для школьников. Екатеринбург, 2003.

СГРС — Словарь говоров Русского Севера / Под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург, 2000—2005—. Вып. 1—3—.

Смирнов 1997 — О. В. С м и р н о в. Русская топонимия северной части горнозаводского Урала. Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1997.

Смирнова 2001 — О. С. С м и р н о в. Термины полеводства и их отражение в топонимии Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2001.

СРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала / Под ред. А. К. Матвеева.

Свердловск, 1964—1988. Т. 1—6. Дополнения. Екатеринбург, 1996.

Субботина 1984 — Л. А. С у б б о т и н а. Заимствования в географической терминологии Белозерья: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1984.

Суспицына 2000 — И. Н. С у с п и ц ы н а. Метеорологическая лексика в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.

Теуш 2003 — О. А. Т е у ш. Этимологизация финно-угорских заимствований в русском языке и семантический анализ // ВЯ. 2003. № 1. С. 99—108.

Теуш 2004 — О. А. Т е у ш. Опыт этимологического анализа лексического ряда // Материалы и исследования по русской диалектологии. II (VIII). М., 2004. С. 441—449.

Феоктистова 2003 — Л. А. Ф е о к т и с т о в а. Номинативное воплощение абстрактной идеи (на материале русской лексики со значением 'пропасть, исчезнуть'): Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.

Фомин 1985 — А. А. Ф о м и н. Семантическая типология озерных гидронимов Зауралья: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1985.

Фомин 2005 — А. А. Ф о м и н. Литературная ономастика в России: итоги и пер-

спективы // Вопросы ономастики. 2004. № 1. С. 108—120.

ФУН — Финно-угорское наследие в русском языке: Сер. сб. науч. тр. / Под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург, 2000—2002—. Вып. 1—2—.

Хромова 1985 — Н. В. Х р о м о в а. Топонимия бассейна реки Вагай: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1985.

Шимкевич 2002 — Н. В. Ш и м к е в и ч. Русская коммерческая эргонимия: прагматический и лингвокультурологический аспекты. Екатеринбург, 2002.

ЭИ — Этимологические исследования: Сер. сб. науч. тр. / Под ред. А. К. Матвеева (вып. 1—7), Е. Л. Березович (вып. 8). Свердловск (Екатеринбург), 1978—2003—. Вып. 1—8—.

ЭИС — О. В. В о с т р и к о в. Опыт этноидеографического словаря русских говоров Свердловской области. Екатеринбург, 2000. Вып. I—V; В. В. Л и п и н а. Опыт этноидеографического словаря русских говоров Свердловской области. Екатеринбург, 2004—. Вып. VI/1—.

*Е. Л. Березович, Ж. Ж. Варбот,
Л. Г. Гусева, М. Э. Рут*

РЕЦЕНЗИИ

Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII веков. Выпуск 1: А — Бязь / Под ред. О. С. Мжельской. СПб.: Наука, 2004. — 334 с.*

Ряд издающихся в настоящее время исторических словарей русского языка¹ пополнился вышедшим в 2004 г. в Санкт-Петербурге Словарем обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII веков (вып. 1 — 35 а. л.). Немедленно вслед за изданием 1-го выпуска (редактор О. С. Мжельская, «научный координатор проекта» С. Св. Волков) в сборнике «Русское слово в историческом развитии (XIV—XIX века)» (СПб., 2005), изданном О. С. Мжельской и С. Св. Волковым, появились пять (!) рецензий на Словарь, различающихся лишь степенью панегиричности. Очевидно, однако, что выход

столь давно анонсированного, ожидавшегося и обсуждавшегося (см. [Материалы 2002]) издания, как СОРЯ, заслуживает не только семейно-дружеской популяризации, но и серьезного рецензирования.

Идея создания «Материалов для словаря старого языка Московской Руси по памятникам литературы, законодательства и делопроизводства, оригинальным и переводным XV—XVII вв.» была выдвинута акад. А. И. Соболевским (1857—1929) в докладной записке 1925 г. «О составлении словарей древнерусского и старорусского языка», опубликованной в 1960 г.² Работа над Древнерусским словарем на основе словарной картотеки, созданной при деятельнейшем участии и под руководством Соболевского, после разгрома отечественной славистики и уничтожения либо изоляции сподвижников Со-

* Рецензия написана в рамках проекта «Русская историческая лексикография (XI—XVII вв.)», поддержанного ОИФН РАН.

¹ К сожалению, ни один из них на данный момент не завершен: в Словаре древнерусского языка (XI—XIV вв.), выходящем с 1988 года, к 2004 г. опубликованы лексические материалы до середины буквы П (том VII: *поклепанъ — пращуръ*); Словарь русского языка XI—XVII вв., первый выпуск которого вышел в 1975 г., в 27 выпуске (2006) продолжает издание материалов по букве С; 15-й вып. (2005) Словаря русского языка XVIII в., выходящего с 1984 г., включает отрезок *непочатый — обломаться*.

² Докладная записка А. И. Соболевского о составлении словарей древнерусского и старорусского языка // Вопросы языкознания. 1960. № 2. С. 110; см. комментированное переиздание: *Соболевский А. И.* Труды по истории русского языка. Т. 2: Статьи и рецензии / Сост., подгот. текста, предисл., коммент. и указ. В. Б. Крысько. М., 2006. С. 413—414, 620—622.

болевского — обвиняемых по так называемому «делу славистов» — в 1934—1949 г. возглавлялась Б. А. Лариным, и «дальнейшим развитием идеи» (рецензируемое издание, с. 4) Древнерусского словаря как раз и явился замысел «Словаря обиходного языка» (примечательно, что в предпосланном 1-му выпуску СОРЯ очерке об истории создания словаря докладная записка Соболевского даже не упоминается). Первоначальный замысел Соболевского при этом был хронологически несколько подкорректирован: от XV в. в списке источников СОРЯ осталось лишь 4 текста, в то же время в него включен ряд памятников первых двух десятилетий XVIII в. (см. об этом ниже) — однако предусмотренная в записке Соболевского ориентация на оригинальные и переводные «памятники литературы, законодательства и делопроизводства» сохранилась: среди источников СОРЯ фигурируют официально-деловые памятники (судебники, Уложение 1649 г., указы, документы делопроизводства, хозяйственные и таможенные книги, вести-куранты, ставейные списки посольств и т. п.), памятники частно-деловой письменности (челобитные, вотчинно-поместная переписка, отписки старост и т. п.), семейная и дружеская переписка, повести XVI—XVII вв., демократическая сатира XVII в., записи былин и исторических песен в поздних записях XVIII—XIX вв., сборники пословиц XVII в., записи русской речи иностранцами, представленные в многочисленных разговорниках и глоссариях XVI—XVII вв. (с. 5—6). При этом, правда, осталось так и не определенным само понятие «обиходный язык»³, и ссылки на написанные в ус-

ловиях своего времени работы Б. А. Ларина, с формулировками типа «обычный разговорный обиход русских народных масс» (с. 4), едва ли способны объяснить, какое отношение к языку «народных масс» имеют, с одной стороны, цитаты из творений отцов церкви в сочинениях Ивана Грозного и протопопа Аввакума, с другой — окказиональные полукальки иностранных слов в переводившихся для царя и высшего боярства в одном экземпляре вестях-курантах, типа *аугсбургский*, *бразильянский* (передача нем. *brasilianisch*, на что вовсе не указывается в словаре), *боннский*, *бристольский*, *брюгский* (но из того же III тома Вестей-Курантов не взяты столь же «обиходные» *азейский*, *алеграфский*, *альгецирский*, *алькантарский*, *ангальтский*, *арагонский*, *ардаский*, *арнейский*, *арцикампер*, *ашмарский*, *бамберский*, *бомельский*, *борсейский*, *боценбяргский* и мн. др.), а также экзотизмы, названия, обозначающие предметы и явления, которые характеризовали жизнь и быт других народов (*азнау* ‘дворянин в средневековой Грузии’ — с цитатами из статейного списка посольства; китайской подьячей *бичечи* — в статье *бичечи*), и просто транскрипции иностранных слов (ср. в статье *байярт* ‘сорт сукна’: Еще дѣлають въ томъ же городѣ сукно, по-нѣмецки зовуть: байяртъ; в статье *биязик* ‘обруч’: 4 обруча, по татарску биязики; в статье *бланкетен* ‘вид шерстяной ткани’: по нѣмецки зовуть: бланкетенъ). Эти иностранные слова, против включения которых в словарь выступал Б. А. Ларин [Ларин 1993: 8—9], являются фактами письменного языка, но не

³ В этом отношении ситуация совершенно не изменилась по сравнению с обсуждением Проекта СОРЯ в 2000 г., когда Г. В. Судаков заметил: «Сформулированные составителями основания отбора лексики для

СОРЯ не слишком строги, а временами — откровенно расплывчаты. Что входит в содержание таких понятий, как “живая разговорная лексика”, “народное, русское, обиходное”, “общенародная обиходно-разговорная речь”?» [Материалы 2002: 9].

«обиходного» русского языка того времени⁴.

Вместе с тем в корпусе источников отсутствуют тексты, содержащие бесспорные примеры народно-разговорной лексики, например, записи (отчасти опубликованные) в бесчисленных рукописных книгах описываемого периода, ср. выборочный материал только из одного издания: променил сию книгу... на самопал да на саблю да на сукно черное да на завесу простую (запись 1600 г. к Толкованию Феофилакта Болгарского на Евангелие от Марка конца XVI в.); подписал своею рукою власною (запись 1670 г.); прежде сего была сия (доска переплета) в затылку, переплел ея архимарит Христофор (запись XVI в.); на Троицкой вечерни хвораст липовой слали, а на нем не токмо листу, но и пурь (?), не была. А о купальници два великия мрза были, скотина и птица на лесе многая мерла (запись 1540 г.); куплены двои рукавицы, куплены три возжи да бич (записи XVII в.; в СОЛЯ слова *бич* нет); Слезник без оплошки (запись XVII в.) [Протасьева 1980: 105, 108, 126, 149, 200, 212]⁵.

Всего для СОЛЯ было отобрано 160 текстов и сборников текстов, подвергшихся, как утверждается, «полному расписыванию» (с. 6)⁶; кроме того, око-

ло 80 памятников для СОЛЯ не расписывались, «но цитаты из них в картотеке есть» (с. 7). Значительная часть отобранных источников была издана в 50—90-е годы XX в., хотя в списке источников представлены и издания XIX в. — обычно в тех случаях, когда источники не имеют более точных в научном отношении современных переизданий; одно из досадных исключений в данном аспекте представляет книга Г. Котошихина, расписанная не по образцовой публикации Анны Пенningтон 1980 г., а по 2-му изданию 1859 г.⁷ Однако не всегда новые издания бывают лучше старых: сошлемся, например, на содержащуюся в «Текстологии» Д. С. Лихачева [Лихачев 2001: 443] критику ошибок издания Аввакумова Жития 1960 г., использованного в СОЛЯ (Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960), по сравнению с точно воспроизведенным текстом Жития в «Памятниках истории старообрядчества» [РИБ 39].

Важное место среди источников СОЛЯ занимают записи русской речи, делавшиеся иностранцами, которые посещали Россию в XVI—XVII вв. Таких источников в списке 14. Это прежде всего издания записей русской речи в трудах Б. А. Ларина: Русская грамматика Лудольфа 1696 г. (Л., 1937), Парижский словарь московитов 1586 г. (Рига, 1948), Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618—1619 гг.) (Л., 1959), а также Разговорник Тённиса Фенне (Copenhagen, 1970) и вышедшие в последние годы словари-разговорники XVI в.: «Ein Rusch Boeck...». Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundert.

⁴ По определению Г. А. Лилич [Материалы 2002: 12], название «обиходный» «вообще не подразумевает один стиль речи, это разговорный язык разных слоев общества»; трудно представить, чтобы все упомянутые выше слова входили в «разговорный язык» какого бы то ни было слоя.

⁵ А. С. Герд при обсуждении Проекта СОЛЯ справедливо указал на то, что «и в житиях, и в повестях много слов обиходных, а порой есть и слова диалектные» [Материалы 2002: 29].

⁶ Со времени обсуждения Проекта СОЛЯ этот список увеличился на 40 единиц.

⁷ Еще при обсуждении Проспекта О. В. Творогов заметил: «Но стоит ли брать старые издания, как правило, очень неточные? Я имею в виду, например, сочинения Котошихина» [Материалы 2002: 32].

Hrsg. von A. Falowski (Köln; Weimar; Wien, 1994) и русско-немецкой словарь Т. Шрове «Einn Russisch Buch» (издание под ред. А. Фаловского, Kraków, 1997). Однако с учетом исключительной важности записей русской речи, свободной от церковно-книжной традиции, для истории обиходного русского языка XVI—XVII вв. этот список мог бы быть расширен. Так, в списке источников не учтены: Глоссарий русского разговорного языка конца XVII в., изданный Уллой Биргегорд (Russian Linguistics 2, 1975), и подготовленный ею же многотомный словарь И. Г. Спарвенфельда (Uppsala, 1987—1990), Венский немецко-русский словарь конца XVII — начала XVIII в. (Teutscher und Reussischer Dictionarium... Hrsg. von G. Birkfellner. Berlin, 1984) и словарь Марка Ридлея (A Dictionarie of the Vulgar Russe Tongue. Attributed to Mark Ridley. Edited from the late-sixteenth-century manuscripts and with an introduction by Gerald Stone. Köln; Weimar; Wien, 1996).

Из перечисленных источников особый интерес для рецензируемого словаря должен представлять словарь Ридлея (Ридли) XVI в., оставшийся до сих пор за пределами внимания русской исторической лексикологии и лексикографии. Правда, как и все записи иностранцев, записи, сделанные Ридлеем, требуют больших разысканий на предмет их достоверности, что, однако, не должно останавливать составителей обиходного словаря русского языка из-за ценности этих записей именно для истории живого разговорного языка XVI в. (Марк Ридлей был придворным врачом в 1594—1599 гг., и зафиксированная им лексика актуальна по крайней мере до конца XVI в.).

Разговорники Невенбурга и Хемера (не Хеймера, как в СОРЯ), расписанные в картотеке СОРЯ по предварительной ротап rintной публикации 1964 г., сле-

довало бы теперь цитировать по новейшим изданиям Эрики Гюнтер: Das deutsch-russische Sprachbuch des Heinrich Newenburgk von 1629. Frankfurt/Main etc., 1999; Das niederdeutsch-russische Sprachbuch von Johannes von Heemer aus dem Jahre 1696. Frankfurt/Main etc., 2002.

К сожалению, при цитировании материала разговорников и записей иностранцев, написанных латиницей, составители СОРЯ транслитерировали текст «на современную графику» (с. 16), что таит угрозу весьма ненадежных реконструкций; особенно досадно цитирование целых иноязычных фраз в русском переводе, заставляющее читателя рассматривать современный текст как воспроизведение языка XVI—XVII вв.; ср., например, в статье **анцифер** (со странным толкованием *Бранно*) передачу следующей фразы из словаря Ричарда Джемса (не приводимой в СОРЯ): *anciferus*, people said to M Car, as though wee kept no ceremonie of times in religion — как: «Анциферы», так люди тут говорили мистеру Кару, потому что мы не соблюдали в свое время надлежащих религиозных обрядов (аналогично — в статье **башкиры**).

Совсем не представлены в списке источников СОРЯ записки иностранцев о России XVI—XVII вв. (Герберштейна, Барберини, Маржерета и др.), которые содержат многочисленные русские языковые вкрапления, в том числе и отражающие живую языковую стихию этого времени. Между тем обращение к свидетельствам С. Герберштейна, Ж. Мааржерета, А. Олеария и др. помогло бы составителям СОРЯ уточнить одно из выделенных ими употреблений в словарной статье **бог** — ‘об иконе, изображающей Иисуса Христа’, проиллюстрированное цитатой из Домостроя: «По три поклоны в землю предь Богомъ (слово следовало бы написать со строчной буквы) положить» (с. 202). Описываемая религиозный быт русских, ино-

странцы-путешественники XVI—XVII вв. отмечают характерное для русских простолудинов употребление слова *бог* в значении ‘икона (любая)’ в соответствии со словом *образ* в речи образованных людей [Рушинский 1871: 75; Абгрян 1993: 60]. Материалы СРНГ также свидетельствуют о том, что в народе богом называлась всякая икона, кого бы она ни изображала [СРНГ 1968, 3: 41].

Из Записок о Московии С. Герберштейна⁸ в первый выпуск СОЛЯ могли бы быть включены слова *басалык*, *батыр*, *белорыбица*, названия народов — *абхазы* и *босняки*, а словарные статьи *брить* и *белуга* могли бы быть проиллюстрированы более ранними цитатами (XVI в. вместо XVII в.).

Неоправданным представляется использование в СОЛЯ хрестоматий. Учебным пособием для юридических вузов является, например, многотомное собрание «Памятники русского права», в основу которого положены лучшие существующие публикации юридических памятников, и только немногие памятники, плохо изданные или неизданные совсем, издаются в собрании с привлечением рукописного материала. В списке источников это издание отражено в целом как ПРП IV—VII* (звездочка означает источник, специально расписанный для Словаря)⁹ и отдельно по памятникам: А. мест. упр.*; Новоторг. устав*, Улож. 1649 г.*; Св. судебник*, Судебник 1550 г.*; Судебник 1589 г.*; однако Судебник 1497 г.* расписан, в виде исключения, по академическому изданию: Судебники XV—XVI

вв. / Под общ. ред. Б. Д. Грекова. М., 1954. Такой же хрестоматией является издание Н. Н. Ключкова «Памятники истории крестьян XIV—XIX вв.» (М., 1910; в СОЛЯ обозначено как Гр. ук. о крест.): все документы по истории крестьянства перепечатаны в нем с изданий, также фигурирующих в корпусе источников СОЛЯ (ААЭ, АИ, АХУ, АМГ и др.).

В одном ряду с привлечением неавторитетных и прямо ненадежных изданий находится общая установка словаря на упрощенную подачу материала — начиная с осовремененной формы заголовочных слов (порой даже не находящей поддержки в материале, см., например, статьи **байерский**, **басурманство**, **брабантский**, **бречь**, **бургомистр**) и кончая воспроизведением цитат из лингвистических изданий без учета их эдических принципов: так, курсив, служащий в изданиях Отдела лингвистического источниковедения Института русского языка РАН для выделения выносных букв (за которыми иногда скрываются от 2 до 3 букв), в словаре просто снимается, результатом чего становятся дезориентирующие написания типа *полутретья* (вместо *полутрет(ь)я*, статья **аршин**), *явился... вдова Даря* (вместо *явил(а)ся... вдова Дар(ь)я*, статья **бабий**), *бешеня* (вместо *бешен(ь)я*, статья **бешение**), *безчестя* (вместо *безчест(ь)я*, статья **блядь**³); см. также ниже о форме *болез*¹⁰. Модерни-

⁸ *Rerum Moscoviticarum Commentarii Sigismundi Liberi Baronis in Herberstein. Basileae, per Ioannem Oporinum, 1556*; см. Список слов, транслитерированных С. Герберштейном // *Герберштейн С. Записки о Московии*. М., 1988. С. 388.

⁹ Здесь и далее приводятся сокращенные названия источников, принятые в СОЛЯ.

¹⁰ О. В. Творогов в 2000 г., как оказалось, втуне заметил: «... хотя в центре внимания СОЛЯ, безусловно, лексика, можно ли пренебрегать орфографией?.. Надо подумать и о том, не стоит ли вносимую в строку выносную выделять курсивом» [Материалы 2002: 32]. При подготовке 1-го выпуска не были учтены и сомнения Г. В. Судакова: «... следует ли в историческом словаре давать заголовок словарной статьи в современной орфографии, предельно упрощать

зация орфографии и пунктуации, однако, осуществляется непоследовательно: так, в статье **барбарини** в первой цитате перед союзом *чтоб* поставлена запятая, отсутствующая в издании, а во второй цитате запятая перед союзом *что* отсутствует; статья **бухаретин** ориентирована на написания в источниках, тогда как при модернизации заголовка следовало бы исходить из наличия в русском языке суффикса *-итин*, а не *-етин*.

В названии рецензируемого словаря обращает на себя внимание несоответствие «нижней» границы словаря (XVI в.) с широко распространенной периодизацией истории русского литературного языка (язык Киевской Руси XI—XIII вв., язык Московской Руси XIV—XVII вв., русский язык XVIII в.). Этой периодизации придерживался и Б. А. Ларин, идеями которого руководствовались составители Словаря обиходного русского языка XVI—XVII вв. [Ларин 1977: 163—175]. Ограничение границ обиходного языка XVI—XVII веками никак не объясняется во Введении. В заметках о «Словаре обиходного языка Московской Руси» Б. А. Ларин писал, что хронологические рамки такого словаря «ясны из термина Московская Русь — это период серед(ины) XV — к(онца) XVII в.» [Ларин 1993: 5]. Впоследствии Б. А. Ларин изменил эту установку по той причине, что «за эти полтора века (XV и первую половину XVI в.) мы смогли собрать (по имеющемуся опыту первого ДРС) гораздо меньше материала, чем за одну лишь вторую половину XVI в.»¹¹. Из Введения к словарю сле-

дует, что, несмотря на строгий подход к отбору памятников, в картотеке отражены и при составлении словаря все же учитываются (с. 7) четыре памятника XV в.: Хождение за три моря А. Никитина, Речь тонкословия греческого, Судебник 1497 г. и трехтомный сборник «Актов социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в.», содержащий сотни документов именно XV в. Однако документы XV в. обильно представлены в многочисленных и тоже много- томных собраниях актов, которые отмечены в списке источников СОРЯ, хотя и не расписывались для него специально (ААЭ I—IV, А. гражд. распр. I—II, АИ I—V, Арх. Стр. I—II, АХУ I—III, АЮ, АЮБ I—III, ДАИ II—XII), а также в издании двинских грамот XV в. А. А. Шахматова (Гр. Дв.), в «Грамотах Великого Новгорода и Пскова» (вообще не учтенных в СОРЯ) и мн. др. По объему эти документы в несколько раз превышают объем отобран-

отметил: «Для обоснования временных границ Словаря (у авторов Проекта: XVI—XVII вв.; у Б. А. Ларина: вторая половина XVI — первая треть XVIII в.) недостаточно только цитаты из Б. А. Ларина. Для него был принципиален вопрос о границах начального этапа образования национального русского языка, он говорил о “характерных признаках начального этапа образования национального русского языка (устного и письменного)”, правда, не назвав этих “характерных признаков”. Было бы разумно попытаться назвать эти признаки, обосновав тем самым и хронологические рамки Словаря. Хотя и сам Б. А. Ларин, как нам представляется, в конце концов проектировал хронологию Словаря только по одному основанию — период, достаточно хорошо обеспеченный “памятниками, содержащими обиходную лексику и фразеологию”» [Материалы 2002: 8—9]. К сожалению, и пожелание Г. В. Судакова оставлено втуне.

графику в цитатах и вводить дополнительную пунктуацию?.. Такая подача материала будет сильно дезориентировать серьезного читателя» [Там же: 10].

¹¹ Там же. С. 8. При обсуждении Проекта СОРЯ в 2000 г. Г. В. Судаков справедливо

ных и расписанных для СОРЯ документов. Относительно источников, не снабженных в списке звездочками, во Введении сказано, что выписки из них были предоставлены в картотеку СОРЯ исследователями лексики и фразеологии русского языка (с. 7), однако соотношение их с материалами, расписанными непосредственно для картотеки, не показано. Думается, что исключение памятников XV в. из состава источников словаря все же было сделано искусственно. От XV в. до нас действительно дошло меньше памятников письменности, отражающих народно-разговорную речь, чем от XVI в., но они, большей частью, относятся к тем же жанрам, которые широко используются рецензируемым словарем в рамках письменности XVI—XVII вв.

Среди источников СОРЯ представлены также 8 памятников XVIII в. Это небольшие частные документы, письма и фольклорные материалы в записях XVIII и даже XIX—XX вв., например, «Исторические песни XIII—XVI веков» (М.; Л., 1960). Использование фольклорных материалов в поздних записях иногда приводит к неправомерному удревнению слов. Так, в СОРЯ помещена словарная статья *бравый* с пометой *флк.* (фольклорное) и этимологической справкой [фр. brave (из итал. bravo)], проиллюстрированная цитатой из исторической песни якобы XVI в. Если бы это не было досадным просмотром, прилагательное *бравый* оказалось бы одним из первых случаев заимствования лексики из французского языка. Однако обращение к Словарю русского языка XVIII века (вып. 2, с. 120) показывает, что это заимствование следует отнести лишь к последней четверти XVIII в., когда заимствования из французского стали обычным явлением. Едва ли XVI веком можно датировать возникновение у слова *башка* просторечного употребления ‘голова (человека)’. Само слово *башка*

зафиксировано в русском языке с конца XVII в. в значении ‘голова большой рыбы, головизна’, и только в XVIII в. у него появляется вышеупомянутое фамильярное употребление (см. Словарь русского языка XI—XVII вв., вып. 1, с. 82; Словарь русского языка XVIII века, вып. 1, с. 152). Столь же сомнительно отнесение к XVI в. слова *берлин* ‘берлина, вид кареты’, фигурирующего в записи исторической песни об Иване Грозном: этот тип экипажа появился в Берлине лишь в начале XVIII в. [Netlexikon]. Использование в словаре фольклорных материалов вообще вызывает сомнения не только по причине фиксации текстов былин преимущественно в поздних списках XVIII—XIX вв., но и в силу особого характера фольклорной лексики. И уж совсем недопустимо внесение в СОРЯ статьи **аккуратно** с цитатой из «Официальных актов», изданных С. Шумаковым, — однако не из публикации текста 1694 г., а из комментария издателя 1908 г. (Хотя Тимофей и подавал заручных челобитных акуратно раз в три мѣсяца).

Разрабатывая концепцию разговорно-обиходного словаря Московской Руси, описывающего лексику живого языка позднего средневековья, Б. А. Ларин предлагал отбирать все, что является «не чисто книжным, не словами узкоцерковного применения или назначения, не выдуманными, “кованными” писательскими словами, не окказиональными кальками с иностранных речений, вводимыми неискусными переводчиками, а лишь то, что можно считать народным русским и обиходным, а не случайным и исключительным» [Ларин 1993: 8—9]. Он видел будущее лексикографическое предприятие как дифференциальный словарь в 4—5 томах. Однако критерии отбора обиходно-разговорной лексики из средневековых памятников письменности ввиду чрезвычайной трудности их выделения из

общего письменного языка не были выработаны ни Б. А. Лариным, ни его учениками.

Представленный научной общест-венности на рассмотрение Словарь обиходного русского языка XVI—XVII вв. не является словарем дифференциального типа. Это — по крайней мере декларативно — полный словарь, ориентированный на описание всех знаменательных и служебных слов, которые зафиксированы в его источниках и зарегистрированы в картотеке, и рассчитанный, судя по помещенному в первом выпуске отрезку на А—Б, выпусков на тридцать. Описываемая лексика (при наличии достаточного материала в картотеке) получает стилистическую характеристику с помощью помет: *книж.-церк.* для книжно-церковной лексики, *дел.* для лексики, относящейся к делопроизводству, и *флк.* для лексики из фольклорных записей; экспрессивно-эмоциональная лексика сопровождается пометами *шутл.*, *неодобр.* и др.¹²

Сравнение с публикуемыми в Приложении к 27 выпуску Словаря русского языка XI—XVII вв. дополнениями к 1-му выпуску показывает, однако, что в поле зрения составителей СОРЯ попали далеко не все слова обиходно-разговорного характера из памятников, представленных в списке источников СОРЯ, даже из источников со звездочкой (*), специально и, как утверждается, полностью расписанных для картотеки СОРЯ. Так, отсутствуют слова из Вестей-Курантов: *адмиральный* В-К II, 112, 200 (хотя зафиксировано *адмиральский* из того же памятника), *адмиральство* В-К III, 162, 178, *адмиралнт* В-К III, 102, 115 (хотя есть *адмирал*), *арциарцугов* В-К II, 14 (при наличии в СОРЯ *арциарцуг* из того же памятника), *арцуков* (но есть

арцуг), из V тома В-К не взяты слова *агентов*, *адвокат*, *арматный*, *арцика-значейство*, *бережанье*, *бургмейстров* и др. Не обнаруживается целый ряд слов из других памятников, являющихся источниками СОРЯ: *артикульный* ДАИ V, 277 (есть *артикуль* Пов. о Савве Грудц., 94); *архипастырь* АИ IV, 257 (в то время как есть *архипастырский* из Сл. Перм. I, 19); *брюзга* Англ. д., 122; *багряноносный* Авв. Кн. толк.*, 541 (пропуск тем более странный, что при предварительном обсуждении Проекта СОРЯ О. В. Творогов особо настаивал на том, чтобы «избранные источ-ники не препарировались, а представлялись, как есть. Ведь убрать из языка Аввакума книжные славянизмы — значит выхолостить его» [Материалы 2002: 32], — и это пожелание, судя по всему, было принято к исполнению) и др. Пропущены многие слова из Травника Николая Любчанина (Травник Любч., эта же рукопись цитируется и в СлРЯ XI—XVII вв.): *астидов*, *афедроновый* (при наличии *афедрон*), *багряностный*, *багряность* (зафиксированы другие слова этого корня), *бальсамовый*, *банки*, *барвинка*. Первоначально авторы СОРЯ отказывались повторять в своем словаре слова, представленные одной общей цитатой со СлРЯ XI—XVII вв., однако все выступавшие на обсуждении Проекта единогласно настаивали на отказе от этого принципа, так что во Введении к СОРЯ мы уже не обнаружили соответствующего положения; между тем на практике, по-видимому, старая установка была сохранена, иначе невозможно объяснить отсутствие в СОРЯ слов: *аспра* Курб. Ист., 191; *базарец* Крым. д. I, 118; *базарский* Крым. д. I, 367; *базаряне* Крым. д. I, 254, Крым. д. II, 356; *базилик* Заб. Мат. ист., 102; *бай-беречик* Посольство Васильчикова, 196 (при хорошо документированном *бай-берек*); *байберечный* АЮБ III, 312; *бай-дачный* ДАИ X, 99; *байнишко* Заб. Дом.

¹² Иногда применение таких помет вызывает вопросы: например, трудно интерпретировать как *ласк.* слово *бесчестыце*.

быт. I, 442; *балаганец* Авв. Ж.*, 181; *баламутный* Польшк. д. II, 90 (в СОРЯ есть *баламутъ*); *баламутня* АИ II, 257; *банделерный* АМГ III, 51 (при наличии *банделеръ*); *банкетовати* Шерем., 1591 (хотя есть *банкет*); *баранинка* Сказ. о куре*, 199 и др.

Вместе с тем в СОРЯ насчитывается более 200 слов, не вошедших в СлРЯ XI—XVII вв., что объясняется известной уязвимостью Картотеки ДРС (в силу ее выборочности).

В СОРЯ широко привлекается лексика деловой письменности XVII—XVIII вв. отдельных регионов Московского государства, зафиксированная в нескольких региональных исторических словарях. Это словари воронежских, мангазейских, нерчинских, пермских, смоленских памятников письменности, а также словари народно-диалектной речи Сибири, в том числе народно-разговорной речи Томска. Материалы региональных словарей отражаются в СОРЯ в полном объеме, включая тексты первых двух десятилетий XVIII в. При воспроизведении словарных статей из этих словарей допускаются только некоторые изменения технического характера и редкие случаи редактирования толкований значений (см. Введение, с. 17). Такой подход нельзя признать удовлетворительным, поскольку указанные словари далеко не свободны от ошибок. Особенно это относится к словарным материалам на последние буквы алфавита, начиная с буквы С, которые не обработаны академическими словарями — Словарем русских народных говоров и Словарем русского языка XI—XVII вв. Но ошибок достаточно и в словах на первые буквы алфавита, причем это в равной степени относится и к заголовочной форме слова, отражающей иногда неправильно прочтенное слово в рукописном тексте, и к определению грамматической формы слова, и к толкованию слова. Остановимся на

некоторых примерах неудачного использования словарных материалов из региональных и исторических словарей в СОРЯ. Вслед за Словарем языка мангазейских памятников СОРЯ включает статью на слово *бадьюный*, до этого не отмеченное ни в диалектных словарях, ни в памятниках русской письменности. В иллюстративной части словарной статьи помещена цитата из рукописных книг и столбцов Сибирского приказа 1634 г.: Четыре пуда олова бадьюных и в торелях, цена тритцеть два рубли [СЯМП 1971: 31]. В СОРЯ слово *бадьюный* определяется как прилагательное к *бадья*. Однако невозможность образования подобного прилагательного от слова *бадья* в русском языке (ср. *ладья* — ***ладьюный*, *судья* — ***судьюный*) заставляет искать другие причины появления такой формы. В действительности оно связано с неправильным прочтением в скорописном тексте слова *блюдный*, где буква *д*, написанная над строкой, была при публикации вставлена не на свое место, а буква *л* прочитана как *а* (из-за схожести их написания в скорописи)¹³. Сочетания *блюдное олово*, *олово в блюдах и торелях (тарелках)* нередко встречаются в перечнях товаров, находившихся в обращении на территории Русского государства XVII в.¹⁴

¹³ Такое прочтение слова подтверждено Л. Ю. Астахиной, разыскавшей процитированный документ в РГАДА, несмотря на ошибку в выходных данных у Н. А. Цомакион (цитата находится на листе 426 об., а не 414 об.).

¹⁴ Таможенные книги Московского государства XVII в. Т. 1—3. М.; Л., 1950—1951. Попутно заметим, что в СОРЯ в статье *блюдный* помещены две цитаты на сочетание *блюдное олово* в двух значениях: 'предназначенный для изготовления блюд' и 'относящийся к блюду как мере металла, идущего на изготовление блюд'. Поскольку олово в средние века использовалось пре-

Совершенно ошибочно выделение союза абымь ‘то же, что *абы*’: в (напрасно) заимствованной из [Сл. Смол. 2000: 22] цитате из сильно полонизированного текста (Ксендзь Воевоцкий (почему с прописной?) принес до мене абым въ него купиль мунстранцию) представлено обычное явление польской грамматики — присоединение личного окончания глагола-связки при перфекте к первому полноударному слову синтагмы (например, у А. Мицкевича в балладе «Czaty»: *Więc już wszystko, jam wszystko utraci!*), ср. другие личные окончания при том же союзе *aby*: *abyśmy, abyście*.

Другие случаи ошибок относятся к установлению начальной формы слова. На основании цитаты из воронежского документа, некритично заимствованной СОРЯ из учебного пособия по исторической и диалектной лексикологии [Хитрова 1987: 14]: *двъсте белезей*, — выведена заголовочная форма *белеза*, тогда как на самом деле оба примера в пособии В. И. Хитровой и цитата из воронежских же актов, представленная в СлРЯ XI—XVII вв., вып. 1, с. 131 (*шестьсот сорок три белези*), однозначно указывают на начальную форму *белезь*, которая и выделена в СлРЯ XI—XVII вв. Справедливости ради следует отметить, что в материалах В. И. Хитровой слово *белеза* дано с вопросительным знаком, который не был воспроизведен в СОРЯ. Форма *белеза* с другим родовым окончанием позднее действительно зафиксирована в южнорусских говорах (*белеза, белиза* — СРНГ, вып. 2, с. 209, 212), но такая форма не выводима из имею-

имущественно как материал для изготовления посуды, представляется, что значение у прилагательного *блюдный* одно — ‘изготовленный в виде или форме блюда’, т. е. *блюдным оловом* называлось олово уже в готовых изделиях (блюдах). То же самое относится и к сочетанию *олово в торелях* (*тарелках*).

щихся в нашем распоряжении актовых материалов XVII в.

Критическому рассмотрению и редактированию, на наш взгляд, должны подвергаться и толкования, представленные в региональных исторических словарях и используемые в СОРЯ. Так, на первых страницах словаря помещена статья с двойным заголовочным словом **абаш** и **абаша**, заимствованная из Словаря русской народно-диалектной речи в Сибири [СРНДРС 1991: 7], с толкованием ‘священнослужитель у мусульман’, причем и автором сибирского словаря, и составителями СОРЯ совершенно игнорируется тот факт, что в цитатах речь идет о калмыках, которые не были мусульманами, да и до сих пор исповедуют буддизм (ламаизм). Здесь просматривается стремление составителей искусственно восстановить форму *абаш*, чтобы связать ее с похожей по звучанию формой *абыз* (из тюрк.; ср. тат. *абуз* ‘мулла’) и дать ей толкование, аналогичное с *абыз*. Впрочем, и определенное заимствование *абыз* ‘священнослужитель у мусульман’ не совсем точно, так как у последователей самой молодой мировой религии нет освященных посредников между Богом и верующими, как у христиан. Представляется, что *абыз* лучше было бы истолковать как ‘служитель религиозного культа у мусульман’. Что же касается слова *абаша*, м. (а не *абаш!*), стоящего в одном ряду с подобными же калмыцкими заимствованиями в русском языке *тайша, контайша, бакша*, то оно, судя по приведенным цитатам, означало какого-то родового начальника (старшину) у калмыков рангом ниже, чем тайша. К сожалению, точное значение этого слова не удалось выяснить даже с помощью специалистов по монгольским языкам.

Безусловно не должны быть включены в СОРЯ, да и в любой другой словарь русского языка, статьи **архиеписп**, м. и **архиер**, м., некритически заимст-

вованные СОРЯ из Словаря пермских памятников [СПП 1993: 1, 18]. Эти формы являются не чем иным, как сокращенными (посредством выносных букв) написаниями слов *архиепископ* и *архиерей*.

Все вышесказанное приводит к мысли о том, что во избежание подобного рода ошибок включению в СОРЯ словарного материала из региональных словарей должен предшествовать критический анализ каждого представленного там слова во всех его аспектах.

Однако неправильное прочтение отдельных букв и слов вместе с неправильным словоделением является, к сожалению, недостатком не только региональных словарей, но и вообще самой распространенной ошибкой издателей и лексикографов, имеющих дело со средневековыми рукописями, что часто приводит к появлению в исторических словарях никогда не существовавших в языке слов. Таким несуществующим словом является, например, *аккос*, засвидетельствованный в СОРЯ единственной цитатой из изданного в конце XIX в. А. Н. Зерцаловым документа 1633 г. «О неправдах и непригожих речах» новгородского митрополита Киприана: Послѣ ектеньи начали заутреню аккосы и псалмы (Чт. ОИДР, 1896, кн. 1, с. 10). Составители словаря увидели в этом слове некий вариант слова *икос* из греч. *ὄικος*, и толкуется оно так же, как *икос*, — ‘церковное песнопение, в котором прославляется святой или празднуемое событие’. Обращение к рукописному тексту документа¹⁵ показывает, что это место совершенно отчетливо читается как *начали заутреню аксапсалмы* с написанием

последнего слова через «кси». Слово *аксапсалмы* представлено в СОРЯ, правда, с неправильным грамматическим оформлением и неточным толкованием (см. замечание 1 в конце рецензии).

В СОРЯ впервые сделана попытка дать этимологические справки к заимствованным словам так полно, как это возможно. Другие исторические словари русского языка делают это от случая к случаю, когда контекст не дает возможности более точно установить семантику слова (Словарь русского языка XI—XVII вв.), либо только при заимствованиях из греческого или латыни (Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.)); часто, но далеко не всегда этимологическая справка сопровождает словарную статью на заимствованное слово в Словаре русского языка XVIII века (при заимствованиях из восточных языков таких справок нет).

Как правило, этимологические справки к хорошо изученным западно-европейским заимствованиям в СОРЯ не вызывают замечаний¹⁶. Хуже обстоят дела с этимологическим комментированием восточных, прежде всего тюркских заимствований, включенных в словарь. Этимологизация тюркизмов вызывает обычно больше затруднений у лексикографов как из-за плохой изученности тюркских языков раннего периода, почти не оставивших письменных памятников, так и из-за чрезвычайной близости и нерасчлененности тюркских языков и диалектов, не позволяющей точно определить, из какого именно языка или диалекта было заимствовано то или иное русское слово. Ссылки на большое количество тюркских языков с приведением форм, часто

¹⁵ Кропотливый труд по разысканию в РГАДА соответствующего документа и его прочтению взяла на себя Л. Ю. Астахина, за что авторы рецензии выражают ей искреннюю благодарность.

¹⁶ Впрочем, не вполне понятно, почему в качестве источника прилагательного *амбургский* указано ниж.-нем. *Namborg*, хотя большинство цитат демонстрируют огласовку *-бур-*.

весьма отличающихся по звучанию от русских слов, не спасают положения. Например, при слове *аул*, которое, на наш взгляд, определено слишком широко как ‘селение на Кавказе’, дана этимологическая справка по Этимологическому словарю М. Фасмера: [тат., казах., кыпч. *aul* ‘деревня; юрты, находящиеся на одном месте’]. Но то, что хорошо для этимологического словаря, не всегда подходит для словаря исторического, в котором этимологическая справка должна способствовать лучшему пониманию представленных в словарной статье текстов: тат. *авыл*, казах. *ауыл* не подходят в нашем случае территориально, а кыпчакский (т. е. половецкий) язык не подходит для цитат из памятников письменности XVII в. хронологически. Эту не совсем удачную этимологическую справку можно было бы заменить указанием на тюркские языки в целом и на территориально близкий (в отношении возможности заимствования) язык: [тюрк.; ср. ногайск. *авыл* (аул)].

При слове *алам* перечислено пять тюркских языков, хотя в данном случае было бы достаточно сослаться только на турецкий язык, поскольку речь идет о торговом термине [тюрк.; ср. тур. *алам*].

При слове *арба* приводится целая строчка из Этимологического словаря М. Фасмера с перечислением шести тюркских языков: [крым.-тат., казах. *arba*, тур., азерб., чагат., караим. *araba*], но оставлено без внимания уточнение переводчика словаря О. Н. Трубачева, где со ссылкой на статью Н. К. Дмитриева, который обоснованно возводит русскую форму к татарскому языку [Дмитриев 1958: 16], источником русского *арба* называется татарский язык. Таким образом, этимологическая справка к слову *арба* могла бы быть значительно короче: [тюрк.; ср. тат. *арба*].

Составителям СОЛЯ остался неизвестным капитальный и профессио-

нально сделанный «Этимологический словарь русских диалектов Сибири» А. Е. Аникина (Новосибирск, 2000) — по крайней мере, он отсутствует в списке этимологических словарей и специальных работ, используемых при составлении этимологических справок (с. 30). Между тем этот словарь мог бы быть с успехом использован для этимологических справок к словам *аблаут*, *алман*, *аман*, *аракчин*, *ахреяне*, *балаган*, *базлук*, *бакиша* (*бакиши*), *бахча* (*бакча*) и др., помещенным в СОЛЯ без этимологического комментирования. Авторам СОЛЯ был бы полезен также «Словарь народных географических терминов» Э. М. Мурзаева (М., 1984), например, при толковании слова *бакалда*, включенного в СОЛЯ с вопросительным знаком.

Рецензируемый словарь выгодно отличается от других исторических словарей и даже словарей современного русского языка включением в корпус словаря названий народов и племен, лиц по месту их жительства и службы, а также прилагательных, образованных от этнонимов, названий жителей и топонимов. Но если толкования прилагательных, образованных от названий жителей и топонимов, в целом замечаний не вызывают, то этого нельзя сказать о толкованиях названий народов и племен и образованных от них прилагательных. Такие толкования, какие мы находим в СОЛЯ при слове *багасары* ‘название одной из народностей Сибири’ (с. 73) или *алтырцы* ‘название одной из неславянских народностей Сибири’ (с. 46), ничего не добавляют к пониманию текстов XVII в. В толковании слова *браты* ‘название народностей или племен в верховьях Енисея’ отсутствует всякая связь с современным названием этого народа — бурятами. Существительное *барбаринцы* и прилагательные *барбарейский*, *барбаринский*, *барбариский* никак не соотносены с обитателями Северной и Северо-Запад-

ной Африки берберами, промышленными в XVII в. пиратством, отчего тексты, приведенные в словарных статьях, остаются не вполне понятными. Все эти слова в СОРЯ определяются через слово *барбаринцы* с толкованием под знаком вопроса ‘жители стран северо-восточной Африки’; ср. словарь Брокгауза—Ефрона: «**Берберия** — общее географическое обозначение северо-западной Африки, от Средиземного моря до Сахары, заселенной преимущественно берберами... Когда в XVI ст. господство Османов распространилось и на эту часть северной Африки и с ним получило прочную организацию пиратство, страна эта стала известна под названием Барбария». Неудачно определены прилагательные *аравийский*, *аравитский* ‘то же, что **арапский**’: понятие *арапский* шире понятия *аравийский*; в самом же словаре *арапский* пояснено как прилагательное к *арапы*, а последнее, в свою очередь, определяется как ‘народ, проживающий на Ближнем Востоке и в Северной Африке’, а не только на Аравийском полуострове. Без надежного консультирования групп лексикологи, относящихся к названиям племен и народов, у соответствующих специалистов сильная сторона СОРЯ (новаторское включение в корпус словаря этнонимов) очень быстро может обернуться его слабой стороной.

Впрочем, тот факт, что в словаре отсутствует редакционная коллегия, что в качестве рецензентов I-го выпуска Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII вв. были приглашены, с одной стороны, ведущий эксперт по эпиграфике XI—XIV вв., а с другой стороны — специалист по лексикографии XIX—XX вв., а также неадекватная реакция «научного координатора проекта» на критику, прозвучавшую на Всероссийской академической школе-семинаре «Актуальные вопросы исторической лексикографии и

лексикологии» (ИЛИ РАН, октябрь 2005 г.), едва ли свидетельствуют о заинтересованности авторов СОРЯ в квалифицированном консультировании и критических замечаниях.

Несмотря на это, далее все же прилагается, в дополнение к уже разобранному недочетам, список поправок и критических наблюдений над текстом словаря, которые кажутся нам небесполезными для дальнейшей работы над СОРЯ.

1) **Аксапсалом**, м. (с. 42) — это не ‘церковное песнопение’, а шесть псалмов, которые читаются в начале утрени, так наз. шестопсалмие. Заголовочную форму лучше было дать во мн. ч. — **аксапсалмы**, мн., с приведением греч. *ἑξάψαλμοι*.

2) Статья **алебарда** содержит цитаты с формами, которые отнюдь не поддерживают такую реконструкцию заголовочного слова: род. пад. мн. ч. *алебардовъ* однозначно указывает на муж. род *алебардъ*, а вин. пад. мн. ч. *алебарды* грамматически малоинформативен — это может быть как мужской, так и женский род. В СлРЯ XI—XVII вв. соответствующая статья имеет заголовок **алебардъ** и **алебарда**, при том что приведенный материал с надежностью указывает только на муж. род (*алебардъ свой* при непоказательном *7 алибардъ*).

3) Слово *аманатство* не совсем точно истолковано как ‘состояние заложника’, в цитате речь идет скорее об институте заложничества — обычае у некоторых восточных народов брать заложников для обеспечения верности договору (о ясачных нерчинских людях, которым «без аманатства верит(ь) нел(ь)зя»).

4) Словарная статья **аполоник**, м. *Разливательная ложка*, заимствованная из [Сл. Смол. 2000], должна быть перемещена на другое алфавитное место, поскольку вынесенная в заголовок

форма является акающим вариантом рус. диал. *ополоник* ‘половник, уполовник’ (ср. также укр. *ополоник*). В первом же выпуске СОРЯ, в соответствии с его инструкцией, на месте указанной статьи должна быть отсылочная строка: **аполоник см. ополоник**.

5) В статье **апостол** в качестве 1-го значения выделено: ‘Каждый из двенадцати учеников Христа, избранных им и посланных для проповеди своего учения’. Авторы не смутила цитата (в оттенке ‘название церкви’): А еще есть на Москвѣ семьдесятъ Апостоловъ, — указывающая на расширительное употребление слова *апостол* применительно к 70 другим ученикам Христа.

6) *Архикнязь* (и *арцикнязь*) — не неопределенный «титул правителя в Западной Европе», а строго ограниченный Австрией титул (владетельного) эрцгерцога, что и явствует из приведенной в цитате титулатуры императора Священной Римской империи: Шлявонскому и иным королю и архикнязю Аустрийскому.

7) *Арциарцуг* (нем. *Erzherzog*) — не ‘великий герцог’ (нем. *Großherzog*), а ‘эрцгерцог’ — титул принца Австрийского дома (в цитате речь идет о полководце времен Тридцатилетней войны эрцгерцоге Леопольде-Вильгельме, сыне императора Фердинанда II).

8) У слова *афедрон* не следовало выделять второе значение *обычно мн. Ягодицы*; значение в двух представленных в СОРЯ цитатах одно — первое: ‘задний проход, anus’.

9) Толкование слова *ахреяне* ‘отступники от христианской веры’ не совсем точно: *ахреяне* в процитированных текстах — это ‘казаки-запорожцы, перешедшие в мусульманство’ (см. Аникин, указ. соч., с. 433).

10) Выделение статьи **аще**² представляется излишним. Наречия *аще* в значении «до сих пор, пока» нет: приведенные в словаре цитаты демонстри-

руют фонетическое изменение — «выпадение гласной после гласной» [Ягич 1889: 62; Зализняк 2004: 71] в сочетании *а еще*. Приведенные же под цифрой II употребления *аще* якобы в значении усилительной частицы вполне вписываются во второе, уступительное значение союза *аще*.

11) Существительное *барбарини*, переданное в словаре, в соответствии с изданием Вестей-Курантов, со строчной буквы (причем зафиксированный в курантах вариант *барберини* в СОРЯ почему-то не отражен) и отождествленное с *барбаринцами*, т. е. берберами (см. выше), в действительности должно писаться с прописной буквы и в словарь включаться не должно, так как означает представителей княжеского семейства Барберини, находившихся в описываемое время (1645—1646 гг.) в конфликте с папой Иннокентием X, но пользовавшихся поддержкой Франции, о чем и идет речь в обеих приведенных цитатах. Кстати, ситуация разъяснилась бы уже при продлении второй цитаты на одно придаточное предложение: Корол(ь) и королева и думные люди Французские земли о томъ дѣле что на Барбаринов посегают к папе римскому писали. что хотят внове за *тот домъ* стояти (В-К III, 66); впрочем, и абзац, из которого взята первая цитата, тоже содержит недвусмысленные указания на семью Барберини: Кардиналу Барбарину (Антонио Барберини) да дон(у) Тадью (Таддео Барберини) срокъ учинень что имъ ЕИ днь спустя отчотъ свои положит(ь). а будеть отчоту своего не положат. і имъ на всякой днь по Ф золотых заповеди дават(ь)... король французской папы просить чтоб онъ Барбаринов берег и жаловал и в отчете им налоги не чинил (В-К III, 72).

12) У прилагательного *барский* не может быть варианта *барыский*: соответствующее прилагательное демонстрирует регулярное фонетическое пре-

образование формы *барышский* — от реки Барыш, притока Суры (в цитируемом письме упоминаются крестьяне различных симбирских вотчин: барышские, засарские — от названия рек Большая и Малая Сарка, тоже притоков Суры).

13) В статье **басурманство** существительное *бусурманство* означает не ‘переход в мусульманскую веру’ (совершенно непредставимый для полковника, направленного на усмирение разинского бунта), а ‘бесчестные (недостойные христианина) поступки’.

14) Прилагательное *бацькинский* не может означать ‘принадлежащий отцу’, даже с вопросительным знаком, так же как невозможны притяжательные прилагательные ***маткинский, **браткинский, **сынкинский*, — да в цитате и нет такого слова, а есть форма *бацкинский* — видимо, производное от какого-то топонима: Жереб(ь)я по Бацкиньской земли по Космачему болоту.

15) При наличии существительного *обмѣна* (см. СлРЯ XI—XVII вв.) не следовало бы превращать обычное предложно-падежное сочетание *без обмѣны* в наречие **безобмены**.

16) Прилагательное *безыменов* — с характерным притяжательным суффиксом *-ов-* — не может означать ‘не имеющий названия’, но может быть только посессивом от прозвища *Безымѣн(ный)* ‘бедный, неимущий’.

17) *Белый* (точнее, *бѣлий*) — прилагательное не от *белка*, а от *бѣла*.

18) В статьях **бельский** (1-е значение — ‘живущий в городе Бельске (?)’ с оттенком ‘проходящий в городе Бельске или его уезде’, 2-е значение — ‘изготовленный в городе Бельске (?)’) и **беляне** (‘жители города Бельска или Белого (?)’) соединены два города — Бельск (ныне Бельск-Подляски в Подляском воеводстве Польши), в XVII в. находившийся в глубине польской территории, и неоднократно переходивший

в XVII в. от Польши к России и обратно уездный город Смоленской земли Белый (крепость Белая), в котором в XVII в. был составлен «*Бельский* летописец»; под 1613 г. в нем сообщается о том, как «послал царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии от себя с Москвы на Белую на польских и на литовских людей князя Дмитрея Мамстриюковича Черкасского да Михаила Матфеевича Бутурлина со многими ратными людьми. И пришедши под Белую, князь Дмитрей Мамстриюкович Черкасской да Михайла Бутурлин польских и литовских людей на встрече побили и языки многие поимали, и Белую, пришедши, осадили. И Белую русские люди, *беляне*... князю Дмитрею Мамстриюковичу Черкасскому и Михайлу Бутурлину Белую здали» [ПСРЛ: 34, 262]¹⁷. Именно эти события отражены в цитируемых в указанных статьях документах: 122-го [1614 г.] октября в 8 день стол(ь)нику Михайлу Бутурлину за бельскую службу и за рану дано... кубок с покрышкою (1619 г.), бьет челом холопы твои беляня (1613 г.), шло литовских людей Бельским уездом... с шездесят человек (1619 г.). «Бѣл(ь)ской шляхтич Левонтеи Поплонской», упоминаемый в письме из Ржева (ПНРЯ, 110), — также, очевидно, не обитатель далекого от Ржева заграничного Бельска, а житель близлежащего города Белого; еще яснее соотносительность прилагательного *бельский* с городом Смоленской земли выявляется в другом контексте из того же издания, не учтенном в СОРЯ: Продал г(о)с(у)д(а)рь мне смоленской шляхтич Левонтеи Ивановъ с(ы)нъ Поплонской вотчинных своих кр(е)стьян Бел(ь)ского

¹⁷ Ср. также упоминание *белян* рядом с другими жителями Смоленской земли — дорогобужанами, рославцами, серпянами — в «Повести о победах Московского государства» XVII в. по списку середины XVIII в. (Л., 1982. С. 13, 51).

уѣзду (ПНРЯ, 28). Единственный контекст, в котором географическая отнесенность существительного *бельенинь* не вполне ясна, по-видимому, должен быть выделен в особую статью **бельянин (?)**, так как вставка [j] (обозначенного посредством ь) в обычный катойконим *бельянин* (житель Белого) сомнительна; со значительной степенью уверенности можно предположить, что упоминаемый в Курской таможенной книге 1646 г. (не 1647 г., как указано в СОРЯ) «бельенинь» Тимофей Марин (Южн. тамож. кн., 227) был родом из села Бельска, находящегося к северу от Полтавы, в те времена — на польско-русской границе¹⁸.

19) Маловероятна заголовочная форма *берковск*, приведенная наряду с *берковско*: из формы род. пад. мн. ч. *берковсков*, зафиксированной в разговорнике Фенне, с большим основанием можно было бы вывести фонетически закономерный номинатив *берковеск* (кстати, указанный в конце статьи).

20) Для слова *биричь* в СОРЯ, вслед за М. Фасмером (I, 167), выдвинуто предположение о возможности его заимствования из тюркских языков. Рано зафиксированное в древнерусской письменности и имеющее соответствия в других славянских языках, слово *биричь* лучше объясняется как исконное. Тюркская этимология по фонетическим причинам сомнительна (см. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 2, М., 1975. С. 97—98; кстати, этот словарь вообще не фигурирует в списке этимологических словарей и специальных работ, использованных при составлении этимологических справок, см. с. 30).

21) Статья **бирюзовый** имеет отсылочное определение *прил. к бирюза*, что с точки зрения словообразования неправильно. Обращение к словарной

иллюстрации, содержащей несколько диминутивов, показывает, что прилагательное *бирюзовый* образовано от уменьшительного *бирюзка* (также отмеченного в словаре), а не *бирюза*: На поясу тридцать пять *искорок* яхонтовых и *лаликовых изумрудцовых* и *бирюсковых*.

22) В соответствии с инструкцией СОРЯ форму *богдохан* и производное *богдоханов* следовало бы заменить на *богдыхан*, *богдыханов*, поскольку они не только совпадают с написаниями этих слов в современном литературном языке, но и представлены в письменности XVII в. В связи с этим можно отметить, что принцип ориентации на современный язык при определении формы заголовочного слова, заявленный составителями во Введении, выдерживается непоследовательно (ср. также статью **боярak** с вариантом **буарак**).

23) Статья **боденой**, *прил.* должна быть исправлена на **боденый**, *прич.* — это обычное причастие от глагола *бости*.

24) Формы *болез* как варианта к *болезнь* (*болъзнь*) не существует — она возникла в словаре как результат неверного раскрытия выносной буквы в написании *болез*, где *з* означает *знь*, так же как *пѣс* означает *пѣснь*.

25) Книжная форма *болий* — сравнительная степень не к *большой*, а к *великий*.

26) В статье **болт** в заголовке выделен также вариант **боут**, однако в цитате зафиксировано написание *баут*, которое передает произношение нидерл. *bout*.

27) Из формы род. пад. мн. ч. *борловь* едва ли можно вывести заголовочную форму **борла**; более вероятно, что в контексте: петдесят шубок крашенинных пять борловь — мы имеем дело с именным прилагательным *борловь* (ср. в СлРЯ XI—XVII вв.: Штаны зеленые *борловы*).

28) Непонятно, почему толкование к статье **бразильяне** — «жители Брази-

¹⁸ Жители Белева в этом источнике регулярно именуются белевцами.

лии⁷ — снабжено вопросительным знаком: в «вестях из Фернабука» (т. е. из бразильской провинции Пернамбуку) речь, разумеется, идет именно о бразильцах. Попутно заметим, что указанный в следующей статье, **бразильянский**, вариант **бразилианский** не имеет права на существование: он возник как результат неверного раскрытия курсивной (т. е. выносной) буквы *л* в издании В-К III.

29) **Браненосия**, *жс.* — заголовок неверный: в цитате из Ивана Грозного представлены регулярные церковнославянские формы им. пад. мн. ч. сред. рода на *-а*, *-ая*, и форма ед. ч. должна звучать *браненосие*.

30) **Браславский** (с. 270) в цитате из «белорусского письма» — прилагательное не к Браславль (совр. Вроцлав), а к Браслав (до сих пор сохранивший свое название город на территории Белоруссии).

31) Заголовочная форма **будей**, *м.* ‘кинжал’ никак не выводится из фиксируемой в цитате формы тв. пад. *будями*. В заголовке следовало бы вынести форму **буди**, *мн.* (см. статью Г. Ф. Одиноцова о древнерусских названиях боевых ножей // *Этимология* 1980. М., 1982, с. 130; толкование он предлагает другое — ‘вид боевого ножа’).

32) Форма **бытья**, *жс.*, приведенная как вариант в статье **бытье**, необоснованна: в цитатах с формами *бытья* и в *бытиях* представлено мн. ч. от *бытие*.

Список неточностей и исправлений к первому выпуску СОРЯ, очевидно, мог бы быть продолжен при сплошном просмотре текста. Бесспорно, неточности и шероховатости неизбежны в большом лексикографическом предприятии, однако создается впечатление, что петербургские коллеги, затеяв столь фундаментальный, рассчитанный на десятилетия проект на принципах, выработанных в основных чертах в 1930—40-е

гг.¹⁹, вольно или невольно проходят тот же путь, что и московские исторические словари, имеющие более длительную историю [см. Крысько 2005: 8—14], — путь проб и ошибок, на начальных этапах которого игнорируется завет В. В. Виноградова, справедливый, конечно, не только для древнерусского, но вообще для всякого исторического словаря: «Составление древнерусского словаря требует основательной историко-литературной подготовки, глубокого знакомства с исторической лексикологией и семасиологией и широкого этимологического кругозора» [Виноградов 1968: 22] — а также, добавим, кругозора общеисторического и географического.

Из лексикографической практики хорошо известно, что совершенствование принципов словаря и расширение его источниковедческой базы происходят и после выхода в свет первого выпуска. Несмотря на высказанную в рецензии критику некоторых теоретических положений и замечания по отдельным словарным статьям, хотелось бы надеяться, что рецензированный словарь со временем обретет свое лицо и найдет свое место в ряду словарей исторического жанра, не дублируя их, не повторяя их ошибок, а дополняя квалифицированно описанной лексикой, отражающей обиходно-разговорный язык русского средневековья.

¹⁹ При обсуждении Проекта СОРЯ А. С. Герд отметил: «Словарь создается в XXI в. Проект ДРС Б. А. Ларина был опубликован в 1936 г. Источниковедение, фольклористика, историческая лексикология прошли за этот период (65 лет) немалый путь своего внутреннего развития, достигли своего порой совсем нового понимания многих проблем. Именно этот хроноразрыв всегда будет висеть над авторами СОРЯ и все время — от выпуска к выпуску — порождать споры и дискуссии» [Материалы 2002: 29].

Л и т е р а т у р а

Абгарян 1993 — А. В. А б г а р я н. Русское слово у капитана Маржерета // Слово, его значение и употребление в истории русского языка. М., 1993.

Виноградов 1968 — В. В. В и н о г р а д о в. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // ВЯ. 1968. № 1.

Дмитриев 1958 — Н. К. Д м и т р и е в. О тюркских элементах русского словаря // Лексикографический сборник. Вып. 3. М., 1958.

Зализняк 2004 — А. А. З а л и з н я к. Древненовгородский диалект. М., 2004.

Крысько 2005 — В. Б. К р ы с ь к о. Русская историческая лексикография (XI—XVII вв.): проблемы и перспективы // Актуальные вопросы исторической лексикографии и лексикологии. СПб., 2005.

Ларин 1977 — Б. А. Л а р и н. Разговорный язык Московской Руси // История русского языка и общее языкознание. М., 1977.

Ларин 1993 — Б. А. Л а р и н. Заметки о «Словаре обиходного языка Московской Руси» // Вопросы теории и истории языка. СПб., 1993.

Лихачев 2001 — Д. С. Л и х а ч е в при участии А. А. А л е к с е е в а и А. Г. Б о б р о в а. Текстология на материале русской литературы X—XVII веков. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 2001.

Материалы 2002 — Материалы обсуждения «Проекта Словаря обиходного русского языка Московской Руси (XVI—XVII вв.)». СПб., 2000. СПб., 2002.

Протасьева 1980 — Т. Н. П р о т а с ь е в а. Описание рукописей Чудовского собрания. Новосибирск, 1980.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. 34. М., 1978.

РИБ 39 — Русская историческая библиотека. Т. 39. Л., 1927.

Русинский 1871 — Л. В. Р у щ и н с к и й. Религиозный быт русских по сведениям иностранных писателей XVI—XVII веков. СПб., 1871.

Сл. Смол. 2000 — Региональный исторический словарь второй половины XVI—XVIII вв. (по памятникам письменности Смоленского края) / Отв. ред. Е. Н. Борисова. Смоленск, 2000.

СПП — Словарь пермских памятников XVI — начала XVIII в. / Сост. Е. Н. Полякова. Вып. 1. Пермь, 1993.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 3. Л., 1968.

СРНДРС 1991 — Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII — первой половины XVIII в. / Сост. Л. Г. Панин. Новосибирск, 1991.

СЯМП 1971 — Словарь языка мангазейских памятников XVII — первой половины XVIII в. / Сост. и автор Н. А. Цомакион. Красноярск, 1971.

Хитрова 1987 — В. И. Х и т р о в а. Русская историческая и диалектная лексикология: Материалы к практическим занятиям по истории русского литературного языка и русской диалектологии (А—Ж). М., 1987.

Ягич 1889 — И. В. Я г и ч. Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889.

Netlexikon — Электронный ресурс: Netlexikon von akademie.de: <http://www.lexikon-definition.de/Berline>.

*В. Б. Крысько, Г. Я. Романова,
М. И. Чернышева*

Н. А. Еськова. Лингвистический комментарий к «Орфоэпическому словарю русского языка».

М.: ООО Издательский центр «Азбуковник», 2005. — 141 с.

Передо мной книга, удивительная во многих отношениях. Прежде всего нужно сказать, что уникальным является

сам жанр, определить который называется совсем не просто. Как мне кажется, слово «комментарий» в названии

книги дает не полное представление о жанре. Точнее говоря, слово «комментарий» применимо к этой книге, но в нескольких разных смыслах. Сюда вошли и метарассуждения о понятии орфоэпического словаря, о терминологическом и понятийном аппарате, а также совершенно конкретные исследования избранных мест акцентуации и морфологии. Несколько особняком стоит исследование норм русского литературного языка XVIII—XIX веков. Объединяет все эти части то, что они так или иначе выросли из работы над «Орфоэпическим словарем русского языка» [ОС 1989] или просто связаны с ней.

Здесь следует сказать, что это один из лучших словарей русского языка прошлого века, который, безусловно, можно назвать новаторским и по предлагаемому лингвистическому аппарату, и по эксплицитности и подробности описания материала, и по отношению к важнейшему лексикографическому понятию — норме.

Одним из главных и, пожалуй, наиболее принципиальных качеств словаря является полнота описания слов с точки зрения их фонетических и морфологических характеристик. Как пишет в предисловии к «Комментарию» Наталья Александровна Еськова, «словарь ставит своей задачей (с ограничениями, определяемыми тем, что он нетолковый) исчерпывающе представлять состав парадигм слов, избегая «приемов умолчаний», к которым прибегают в своих грамматических частях толковые словари» (с. 4). По степени полноты и эксплицитности только «Орфоэпический словарь» можно поставить рядом с «Грамматическим словарем русского языка» А. А. Зализняка [Зализняк 2003], в котором впервые ставились и решались подобные задачи, но «Орфоэпическим словарем» в силу традиционности его построения проще пользоваться.

Среди других удивительных черт следует отметить глубину и полноту рассматриваемого материала, что, кажется, противоречит небольшому объему книги. Но противоречие это мнимое. Как уже сказано, в книге рассматривались избранные «трудные» места русской грамматики, и уж они-то представлены всесторонне и полно. По существу, именно «Комментарий» показывает, что «Орфоэпический словарь» с научной точки зрения представляет собой своего рода айсберг, поскольку обычному пользователю словаря большая часть работы не видна. Для лингвиста же интерес представляет не только результат, но и путь исследователя, то есть то, почему в словаре были приняты те или иные решения. Самые интересные проблемы и исследовательские стратегии как раз и раскрываются в «Комментарии». Именно этим и обусловлена подчеркнутая асимметричность изложения. Отдельные разделы книги посвящены достаточно изысканным грамматическим формам, а про основные и самые частотные формы говорится кратко и как бы мимоходом или не говорится вовсе. Акцент сделан на не вполне решенных, малоописанных, нетривиальных и, попросту говоря, трудных моментах морфологического и фонетического описания.

И наконец, о еще одном удивительном свойстве скорее автора, чем самой книги. Наталья Александровна Еськова как исследователь обладает двумя редкими сочетающимися качествами. С одной стороны, это увлечение конкретным материалом и желание охватить его как можно более полно, с другой — это стремление разобраться в фундаментальных и достаточно абстрактных проблемах лексикографии с тем, чтобы представить конкретный материал в максимально точной и строгой форме.

«Комментарий» состоит из трех частей. Первая невелика по объему (с. 6—

28) и называется «Общие вопросы», что вполне отражает ее содержание. В ней обсуждаются само понятие орфоэпического словаря и объем его информации. Здесь безусловный интерес представляет рассуждение о том, что реальный «Орфоэпический словарь» фактически объединяет два словаря, темой одного из которых является акцентуация, а другого — произносительные нормы. Далее в этой части говорится о принципах составления словника, об объеме и способе подачи грамматической информации, о подаче сведений о произношении и побочном ударении, о нормативной характеристике слов и о хронологических рамках словаря.

Необходимо отметить очевидный общелексикографический интерес сравнения «Орфоэпического словаря» с «Грамматическим словарем русского языка» А. А. Зализняка, последовательно проведенный Н. А. Еськовой. И все же, пожалуй, самым ценным нужно признать рассуждение о нормативной оценке и обоснование необходимости шкалы нормативности, ведь именно в этом вопросе «Орфоэпический словарь» оказался абсолютно новаторским и заложил основы нового подхода к лексикографическому описанию нормы. Особый интерес представляет шкала запретительных помет («не рекомендуется», «неправильно» и «грубо неправильно») и ее обоснование. Статус нормативных помет по существу присваивается и пометам «не свободно» и «неупотребительно», поскольку нормой признается также выбор между существованием и несуществованием в языке слова или формы (а не только выбор между разными существующими формами). Нетрадиционность такого взгляда очевидна, и она заставляет автора «воздержаться от прямого включения их в нормативные пометы в предисловии к ОС, адресованном широкому читателю» (с. 26).

Вторая и наиболее объемная часть «Комментария» называется «Характеристика конкретных явлений» (с. 29—114). Здесь придется лишь повторить, что каждый раздел этой части представляет собой образец строгости и полноты описания явлений совершенно разного масштаба и разных уровней. Образно говоря, эта часть предлагает изысканную и разнообразную пищу для лингвистических гурманов. Среди тем — краткие формы и сравнительная степень прилагательных, формы партитива и второго предложного падежа существительных, формы повелительного наклонения глаголов, варианты предлога *о/об/обо* и многое другое.

Эта часть содержит квинтэссенцию описания трудных проблем, возникших в работе над «Орфоэпическим словарем», и показывает мастерскую лингвиста-лексикографа. Как профессиональный преподаватель я могу только порекомендовать своим коллегам включить весь этот материал в курсы «Морфологии» и «Фонетики» русского языка, поскольку именно реальными «трудностями» можно заинтересовать и увлечь студентов.

Третья часть «О нормах русского литературного языка XVIII—XIX веков» (с. 115—122) занимает в книге совершенно особое место. Она в меньшей степени является комментарием к «Орфоэпическому словарю», а скорее представляет читателю другой словарь, первоначально рассматривавшийся как приложение к первому. Различаются прежде всего хронологические рамки этих словарей и, как следствие, источники орфоэпической информации. Для словаря старых норм такими источниками стали в первую очередь художественные тексты, которые дополнялись данными словарей и грамматик. В этой части, безусловно, интересна полемика с издателями, тпечами и даже исследователями, допускавшими неточности в определении ударения, и порой (это ка-

сается, естественно, ученых) делавших на основании этого и более далеко идущие неправильные выводы.

В заключение можно поделиться еще одним «удивлением», возникающим в процессе чтения «Комментария»: как удается автору так увлекательно представлять казалось бы рутинную лексикографическую работу! Именно поэтому я готов еще раз посоветовать преподавателям использовать эту книгу при чтении соответствующих курсов и включить ее в список рекомендуемой литературы.

Л и т е р а т у р а

Зализняк 2003 — А. А. З а л и з н я к. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. 4-е изд., испр. и доп. М., 2003.

ОС 1989 — Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. Авторы: С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова. М., 1983. 5-е изд., исп. и доп. М., 1989.

М. А. Кронгауз

Є. М. Степанов. Російське мовлення Одеси: Монографія /

За ред. д-ра філол. наук, проф. Ю. О. Карпенка / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2004. — 496 с.

В рецензируемой монографии Е. Н. Степанова представлены результаты разнообразных по проблемам и методам исследований языка Одессы. В центре внимания автора находятся история и языковое своеобразие последнего по времени койне Одессы (на русской основе), начиная от того времени, когда Одесса стала городом Российской Империи (в 1794 г.) и до наших дней. Изданию предшествовали более 35 публикаций автора 1992—2004 гг. (включенных в библиографический список в конце книги).

В основу исследования Е. Н. Степанова положены данные разного рода. Во-первых, это письменные источники: 1) памятники языка — созданные и напечатанные в Одессе сочинения различных родов и жанров, относящиеся ко всему времени российской колонизации Одессы (художественная и иная литература, публицистика, одесские газеты и журналы и др.); 2) материалы Государственного архива Одесской области (в том числе такие экзотические источники, как, например, Фонд Ришельевского Лицея за 1817—1860 гг.

или «Ведомости и таблицы распределения нацменьшинств по районам и округам Одесской губернии» за 1923 г.), а также частные письма и дневники; 3) опубликованные первоисточники и исследования по истории, этнографии, экономике, статистике, демографии, законодательству, относящиеся к жизни Одессы изучаемого периода; 4) опубликованные художественные тексты, очерки, мемуары, эссе об Одессе XIX—XXI вв. (назову для примера четыре книги из нескольких десятков: [Губарь 1994; Шайкевич 1995; Утёсов 1999; Пойзнер 2001]); 5) словари, диалектологические атласы, грамматики, лингвистические исследования (в том числе полужоэистические издания, как [Стецюченко, Осташко 1999] или [Смирнов 2003]). В корпус лингвистических трудов, на которые опирается Е. Н. Степанов, вошли работы на 15 языках (подстать разнообразию одесской языковой ситуации). Представляется существенным, что исследования Е. Н. Степанова развивались в русле научной школы профессора Ю. А. Карпенко. В связи с этим особенно важен двухтомный

«Словарь русских говоров Одесщины», созданный под редакцией Ю. А. Карпенко (Одесса, 2000—2001), и затем исследования звуковой организации украинского языка, включая его супrasegmentные средства (см. в этой связи первое на Украине учебное пособие для вузов по фонетике-фонологии украинского языка: [Карпенко 1996]).

Всё это разнообразие письменных источников (почти 800 позиций) дано единым алфавитным списком (с. 447—495). Отсутствие разделения библиографии на жанровые рубрики можно понять: языковые факты и лингвистический анализ, документ и юмореска, статистика и лирика часто соседствуют не только под одной обложкой, но и в тексте одного автора (как, например, в книге киевского профессора стилистики и литературного редактирования М. Д. Феллера (см. [Феллер 1994]).

Во-вторых, кроме письменных источников, Е. Н. Степанов исследует устную речь (на основе примерно 10 часов магнитофонного звучания речи 38 коренных одесситов, а также записей на бумаге спонтанных одесских разговоров). Кроме того, привлекаются материалы социо- и психолингвистических опросов и анкетирования жителей Одессы, в том числе ответы информантов на вопросы и задания метаязыкового характера (оценки тех или иных фактов языка, конкурирующих вариантов и т. п.).

Впечатляющее разнообразие и широта источников в работе Е. Н. Степанова явились предпосылкой многоаспектного исследования, в котором продуманно сочетаются диахрония и синхрония, социолингвистика и поуровневая систематизация отличительных черт койне Одессы от русского языка на его основной территории. Книга достаточно глубоко структурирована: в ней пять основных разделов, имеющих, как правило, два, иногда три уровня внутреннего подразделения. На-

звания рубрик терминологичны и информативны, так что трехстраничное оглавление компенсирует отсутствие в книге предметного указателя.

Первый раздел «Речь одесситов на фоне колонизации города и формирования современных литературных языков» (с. 15—91) представляет собой широкое историческое и социолингвистическое введение в проблематику книги. Здесь рассмотрены три основные проблемы: 1) история колонизации Одессы и динамика в сосуществовании этнических языков ее жителей; 2) способы межэтнического общения одесситов, формирование городского койне Одессы на русской языковой основе и его тип; 3) периодизация истории одесского койне.

По данным переписей и некоторых других источников автор показывает, как менялось количественное соотношение разных этнических групп в народонаселении города, начиная с 90-х гг. XVII в. и до 2001 г. (год всеукраинской переписи населения; см. [Національний склад 2003]). История 12 этнических групп прослежена в таком порядке: украинцы, русские, белорусы, молдаване, греки, поляки, евреи, французы, итальянцы, болгары, немцы, армяне. В этом списке, по-моему, невозможно увидеть логику перечисления: это и не хронология заселения, и не генеалогическая близость языков, и не удельный вес этнических групп в народонаселении современной Одессы; вместе с тем это и не жеребьевка: уверена, над очередностью перечисления автор долго думал.

На протяжении XX в. до распада СССР ощутимо возрастал удельный вес двух этнических групп: украинцев и русских (при сокращении остальных групп), однако, по данным переписи 2001 г., количество русских снизилось (по сравнению с переписью 1989 г.) с 39,4 % до 28,9 %, в то время как количество украинцев за тот же период выросло с 48,9 % до 61,7 %. В 1923 г. (пер-

вая советская перепись) евреи составляли 44,4 % населения Одессы; в 2001 г. (первая украинская перепись) — 1,2 %.

Одесское койне складывалось в общении не только разноязычных жителей, но и часто людей с генетически далекими родными языками. Это дает основание Е. Н. Степанову относить одесское койне к типу койне, близких к пиджинам и полупиджинам и отличающихся от наддиалектных койне как средства внутриэтнической коммуникации.

Проводя периодизацию истории одесского койне (в терминологии автора, «этапы функционирования»), Е. Н. Степанов принимает во внимание онтологически разные черты наблюдаемой реальности: для первых двух периодов (1790—1820-е и 1830—1890-е гг.) — это дивергентно-конвергентное взаимодействие языков и диалектов в языковой ситуации самой Одессы: начало формирования одесского городского койне на основе русского языка; начиная с 1830-х гг. — ослабление влияния греческого языка и усиление значимости идиша; от 1860-х — ослабление роли итальянского и усиление украинского и польского языков, а также южнорусских диалектов. Однако, характеризуя 3-й этап в истории языка Одессы (1900—1930-е гг.), автор уходит от одесской языковой ситуации за ее границы и пишет о процессах на основной территории русского: это был «период имплантации, внедрения одессизмов (в частности, многочисленных лексических и фразеологических единиц, некоторых фонетических, словообразовательных и грамматических особенностей одесского городского койне) в жаргонизированную разговорную речь, общеупотребительное просторечие, а часто и в литературный русский язык» (с. 86). Понятно, что для истории одесской речи ее влияние на русский язык — это важная черта «внешней» (социолингвистической) ис-

тории койне, однако для лингвиста это влияние в принципе не должно бы заслонять процессы в языковой ситуации собственно Одессы и ее койне.

Четвертый этап (от 1940-х гг. до наших дней) Е. Н. Степанов ностальгически называет временем его «угасания» (с. 89). При всей предсказуемости нивелирующих трендов в жизни современных региональных идиомов (в Одессе, особенно постсоветской, к нивелирующим факторам СМИ и глобализации добавляется также массовая эмиграция, прежде всего еврейская), в языковом развитии города могут быть выявлены черты не только «угасания» (т. е. «утраты» каких-то особенностей), но и инновационные процессы «прибавления» новых черт, в первую очередь, в связи с расширением присутствия в общественных сферах жизни украинского языка, но также и в свете новой, постсоветской, жизни русского языка (см. подробно [Мечковская 2005]).

Во 2-м разделе книги — «Фонетические особенности» (с. 92—188) — рассмотрены одесские черты русской речи в области вокализма, консонантизма и просодики (раздельно по ударению и по интонации). Одесские особенности вокализма представлены в соответствии с их релевантностью в таком порядке: 1) сближение звуков [Ы] и [И], в котором автор видит, во-первых, упрощение вокализма, типичное для ситуаций контактирования нескольких несхожих языков, и, во-вторых, влияние украинского просторечного произношения, гиперкорректного по отношению к русской орфоэпии (простореч. [р'ыба] 'рыба' в соответствии с нормативным укр. [рыба]; 2) восходящая дифтонгичность ударных гласных — с [ы/и]-образным призвуком в начале их артикуляции [ты с'иб'á пл'óхл в'ид'óш'] (*ты себя плохо ведёшь*); эта черта, унаследованная одесским койне от молдавско-русского

пиджина, часто утрируется, ассоциируясь с речью городских низов и одесским «воровским шиком»; 3) редукция, в том числе качественная, безударных гласных; 4) дополнительная вокализация (*дай мне капитана; щили; корабэль* и т. п.).

Для консонантизма русской речи в Одессе характерен ряд явлений, которые, по-видимому, можно обобщить как следствие ослабления оппозиции по твердости-мягкости; затем колебания с [й]-эпентетиком: иногда [й] пропадает (*Клавдй, милён* — ‘миллион’), иногда, напротив, возникает ([мйач] ‘мяч’, [вйечер] ‘вечер’) и т. п. Серия колоритных одесских особенностей сохраняется в произношении консонантных групп с шипящими: вместо аффрикаты [ч] произносится фрикативный [ш], как мягкий, так и твердый: [шѐ], [шо], [шѐб], [шоб] ‘что, чтоб’; наблюдается «графикализованное» произнесение буквенных сочетаний *чн, чт* — как [ч’н, ч’т] (*коне[ч’]но, ни[ч’]то*); сочетания *жд* (*дождик, рождение*) произносятся по-разному: как [ж’д’], [ж’ж’] или [ж’д’ж’].

В русской речи, далекой от Одессы, давно есть оборот *с одесской интонацией*, т. е. с ироническим подтекстом, с оттенком вопроса в утверждении, неторопливо и задумчиво; так, как говорят в Одессе старые мудрые евреи. По представлению одесской интонации в книге Е. Н. Степанова, суть различий состоит в том, что вместо относительно ровных, «спокойных» интонационных конструкций, в одесской речи используются более экспрессивные, внутренне контрастные и вместе с тем замедленные интонации: в повествовательном высказывании у одессита москвич услышит вопросительную интонацию; вместо нейтрального «спокойного» вопроса — более резкую и сложную интонацию (как при сопоставлении, или при повторении вопроса, или при иронии, не-

одобрении и подобных эмоциональных и модальных оттенках). Эти особенности одесской интонации автор объясняет влиянием идиша и немецкого языка (через посредство идиша) — именно тем, что восходящая интонация вопросительных предложений на идише характеризует всё предложение, а не только его интонационный центр (как в русских вопросительных высказываниях). По данным Степанова, интонационное влияние идиша и немецкого «на русскую речь одесситов с самого начала XIX в. и до середины XX в. было очень естественным» (с. 179). «Интонационные приоритеты участвуют в формировании и поддержке определенного ментально-поведенческого стереотипа одессита. Так, тяготение к ИК-6 (интонационная конструкция вопроса с оттенком восклицания, иногда для привлечения внимания или выражения недоумения, по номенклатуре “Русской грамматики”. — *Н. М.*; см. [Русская грамматика 1980, I: 118]) представляет одессита как человека жизнерадостного и неутомимого; ИК-4 (интонация, характерная для сопоставительного вопроса. — *Н. М.*) — как человека с высоким чувством собственного достоинства; ИК-5 (интонация оценочного вопроса. — *Н. М.*) — как человека с ироническим мировосприятием» (с. 185). Информанты Степанова (жители Одессы), как и сам исследователь, считают, что интонационное своеобразие одесской русской речи составляет ее самую яркую и устойчивую черту (наряду с некоторыми синтаксическими конструкциями).

В 3-м, самом большом разделе книги, — «Лексические и словообразовательные особенности» (с. 189—369) — в синхронно-результатирующем виде представлены главные исторические силы, обусловившие лексическое своеобразие русского языка Одессы, и здесь же, в иллюстрациях, представлены наиболее

яркие факты одесского словаря. Е. Н. Степанов рассматривает четыре группы факторов. Во-первых, это влияние языков тех этнических групп, чья жизнь составила историю Одессы, на русскую основу койне. Вклад отдельных языков рассмотрен в следующем порядке: украинский, еврейский (фактически показано влияние двух еврейских языков — идиша и иврита), французский, английский, итальянский, новогреческий, польский; кроме того, в отдельном параграфе («Влияние других языков») рассмотрены одессизмы из японского (*гейша* 'еда, блюдо', с примером из Утёсова: *Порцию гейши составляла тарелка варёного картофеля, половина селёдки и неограниченное количество чёрного хлеба*), латыни, молдавского, румынского, турецкого. Во-вторых, это широко понимаемый автором географический фактор, который связан не только с природой, но и социально-экономической географией Одессы. Последний аспект детализирован автором в отдельном подразделе, где представлены лексические пласты, связанные с хозяйственной деятельностью, занятиями и профессиями одесситов: мореходство и рыбная ловля, коммерция и финансы, сфера обслуживания и повседневного быта, контрабанда и другие незаконопослушные занятия. В отдельном подразделе рассмотрены факторы формирования одесской урбанотопонимии.

Новизна и достоинство раздела о лексике койне состоит в самой систематизации лексических одессизмов по их источникам; это подлинная историческая лексикология одесского языка (хотя для компактности изложения она представлена в синхронной плоскости лексической наличности в сегодняшнем языке). Замечу, что для любителей одесской экзотики этот раздел способен заменить исторический словарь одессизмов, с выразительными иллюстрациями

и точными комментариями. Раздел насыщен также историко-этимологическими разысканиями, приведшими автора к находкам, уточнениям и пересмотрам существующих этимологий и семасиологических версий. Однако, осознавая широту лингвистической проблематики книги Е. Н. Степанова и видя разрастающийся объем рецензии, я воздержусь от обсуждения лексикологических решений автора.

За лексикологическим разделом монографии вполне предсказуемо следует раздел о фразеологии (с. 370—410), однако по своей проблематике он существенно отличается от очерка лексикологии. Кроме систематизации материала по источникам фразеологии (что как раз созвучно подходу к материалу в предшествующем разделе книги), во фразеологическом разделе автор ставит вопрос о своеобразии той концептуализации мира, которая отобразилась в языке Одессы.

Постановка вопроса об одесской языковой картине мира представляется вполне правомерной: Е. Н. Степанов прав, когда пишет: «Многостороннее взаимодействие нескольких этносов в условиях колониального города приводит к формированию определенной межэтнической городской субкультуры» (с. 397), однако он сужает проблему (и обедняет искомую картину мира), когда связывает концептуализацию только с фразеологией. Весь лексикологический материал предшествующего раздела, как и фразеология, — всё это компоненты той языковой мозаики, в которой представлена языковая концептуализация мира, характерная для одесского менталитета. То, что для суждений о языковой картине мира релевантны как фразеология, так и лексика, мне кажется настолько очевидным, что я не думаю, что Е. Н. Степанов с этим не согласен. Поэтому то, что в его книге о концептуализации мира говорится

только в разделе о фразеологии, мне представляется каким-то техническим сбоем, связанным с нехваткой печатной площади или времени.

Однако в вопросе о концептуализации мира есть еще один аспект, которого автор рецензируемой книги не затрагивает. Это вопрос об узуальности тех вербальных фактов, в мозаике которых и вырисовывается картина мира. В интереснейшем материале книги встречаются словоупотребления настолько неожиданные, что у меня не раз возникал вопрос: может быть, это окказионализм? индивидуальная речевая находка? острое словцо *ad hoc*?, т. е. факт индивидуальной речи конкретного одессита, но еще не факт одесского узуса? Понятно, однако, что не на все вопросы об одесском языке можно найти ответы в одной книге, даже в такой продуманной и информационно насыщенной книге, как рассматриваемая монография.

В 5-м, самом небольшом по объему разделе, — «Грамматические особенности» (с. 411—443) — представлены факты морфологии и синтаксиса одесской речи, отличные от кодифицированного русского языка. Морфологические явления в целом не выходят за пределы южнорусского просторечия и следов интерференции украинского языка. В деталях, однако, имеются междометия греческого происхождения *она!* и *класс!*, по версии автора (с которой не могу согласиться), от *καλά* 'хорошо, как надо'; итальянского *вира!*, *майна!*, *банда!*; еврейского *ша!*; контаминированные частицы *ни боже мой*, *таки да*; украинизмы *нехай*, *хай* 'пусть', *отó*, *от* 'вот' и некоторые другие. Замечу, что всё это факты не морфологии, а лексики.

Круг синтаксических одессизмов достаточно широк. Е. Н. Степанов выделяют 7 групп таких явлений: 1) особенные конструкции управления (возник-

шие под влиянием идиша или украинского языка): *Тогда за меня заботилась родина; Не скучаете за театром?; Брось этих глупостей, Бенья!; Их не печёт наших болезней и страданий; Вы мне, пожалуйста, извините; претензии до моей сантехники* и др.; 2) контаминации словосочетаний: *И подшипники смазал, чтоб не играли на нервы* (контаминат двух клише: *играть на нервах + действовать на нервы*); 3) употребление конструкций с *иметь* (*Они могут иметь три кило*), значительно более широкое по сравнению не только с русским языком, но и украинским; 4) безличнопассивные конструкции с непереходным глаголом или причастием от такого глагола (*Вас тут не стояло; Тут подействовано всё по закону*); 5) давнопрошедшее время (*А помнишь, как продавали были цыганки петушков на палочках?*); 6) «новый супин» (*Папа, брось молоток для забить гвоздь; На бутылку хватает, а на закурить — нет*); 7) употребление союза *или* для выражения вопроса (*Проверьте, или готов уже приказ*), а также в риторических вопросах-восклицаниях в значении 'неужели, разве' (*Боже мой! Или я не узнал! Это же наш Толик!*). Как отмечает Е. Н. Степанов, до середины XX в. в одесском койне все перечисленные синтаксемы были вполне узуальны, однако в настоящее время употребительны преимущественно те из них, которые связаны с южнорусским и/или украинским языковым влиянием.

В кратких «Выводах» автор резюмирует основные результаты и теоретические положения своей книги. Остановлюсь на последнем, 8-м, пункте авторских формулировок. Подчеркивая культурологическое значение одесской урбанотопонимии, Е. Н. Степанов пишет, что эта особая семиотика «отображает дуалистическую природу этого города — эксцентрического по отношению к Европе, к российским, украин-

ским и европейским средневековым концентрикам, однако концентрического по отношению к Северному и Западно-мю Причерноморью» (с. 447). Эта замечательная характеристика Одессы указывает на геополитические корни своеобразия Одессы, одесского языка и ментальности: два века Одесса жила вне старых («родительских») концентриков и была вместе с тем объединяющим центром «Новороссии», самодостаточным и независимым от «старых» столиц. Однако эта характеристика противоречит авторскому же определению языка Одессы как островного (ср., в частности, слова Е. Н. Степанова об «островном функционировании русского языка» в Одессе (с. 147)). Быть «островом» и одновременно быть объединяющим центром Северо-Западного Причерноморья едва ли возможно. Тезису об «островном» статусе русского языка Одессы противоречат также этнолингводиографические процессы — постоянный в XX в. рост населения города, в том числе и вследствие украинско- / русскоязычной иммиграции.

Отмеченное противоречие — не столько «недосмотр» или «неувязка», сколько свидетельство масштабности проблем, поставленных и успешно решенных и решаемых в книге Е. Н. Степанова. Далеко не все термины и категории, используемые автором, общепризнанны; некоторые из них еще не имеют надежного определения. Это черта развивающегося, актуального знания. Именно такова монография Е. Н. Степанова: это новаторское, поисковое и вместе с тем надежное в своих результатах и выводах исследование. Книга представляет собой значительный вклад в социоллингвистику и славистику. Что касается Одессы, думаю, для одесситов монография Е. Н. Степанова и несомненный успех, ожидающий книгу, — это настоящий праздник.

Л и т е р а т у р а

Губарь 1994 — О. И. Г у б а р ь. 100 вопросов «за Одессу». Одесса, 1994.

Карпенко 1996 — Ю. О. К а р п е н к о. Фонетика і фонологія сучасної української мови: Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. Одеса, 1996.

Мечковская 2005 — Н. Б. М е ч к о в - с к а я. Постсоветский русский язык: новые черты в социолингвистическом статусе // Russian Linguistics. 2005. Vol. 29. № 1. P. 49—70.

Национальный склад 2003 — Національний склад населення Одеської області та його мовні ознаки: Статистичний збірник. Одеса, 2003.

Пойзнер 2001 — М. Б. П о й з н е р. С Одессой надо лично говорить... (Из подсмотренного и подслушанного). Одесса, 2001.

Русская грамматика 1980 — Русская грамматика. Т. I. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация, Словообразование. Морфология. М., 1980.

Смирнов 2003 — В. П. С м и р н о в. Большой полутолковый словарь одесского языка. Одесса, 2003.

Стецюченко, Осташко 1999 — А. С т е - ц ю ч е н к о, А. О с т а ш к о. Самоучитель полуживого одесского языка с комментариями, дополнениями, толковым словарем. М.; Одесса, 1999.

Феллер 1994 — М. Д. Ф е л л е р. Пошуки, роздуми і спогади єврея, який пам'ятає своїх дідів, про єврейсько-українські взаємини, особливо же про мови і ставлення до них. Дрогобич, 1994.

Утёсов 1999 — Л. О. У т ё с о в. Спасибо, сердце! М., 1999.

Шайкевич 1995 — Б. О. Ш а й к е в и ч. Одеса — огнище на българската култура: Літературно-краєзнавчі нариси. Одеса, 1995.

В. В. Химик. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб.: Норинт, 2004. — 762 с.

В наши дни, когда чрезвычайно остро ощущается расхождение между «уличной» речью и существующим в фонде культуры русским литературным языком, сохранение языковой среды становится одной из важнейших общественных задач. Не случайно вопросы культуры русской речи обсуждаются в радиопередачах, на страницах газет и журналов и в повседневной жизни. В деле поддержки и защиты русской языковой культуры велика роль словарей, особенно таких, которые охватывают зоны, подверженные ускоренным изменениям и смещениям.

Думается, что задача таких словарей — не только объективистское описание фактов, но и их оценка, помогающая читателям преодолевать коммуникативные затруднения и судить о возможном продолжении наметившихся тенденций.

К сожалению, опубликованный недавно «Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи» (далее БСЭР), являющийся, как пишет его составитель в «Предисловии», «специальным собранием слов и выражений... обиходного общения во всем его разнообразии» [БСЭР: 7], не соответствует уровню современной лексикографии, вследствие чего не может обогатить культурный языковой опыт читателей и, тем более, помочь при решении научных задач.

Составитель БСЭР принимает очень неординарное определение разговорной речи. Напомним, что разговорная речь в современной русистике понимается как особая функциональная разновидность литературного языка, которой свойственна разговорная норма, хотя и неосознанная, проявляющаяся в речи тех, кто владеет соответствующими навыками кодифицированного языка (см.

[Крысин 2004: 335—336], там же литература вопроса). Совершенно другое содержание связывает с понятием разговорной речи В. В. Химик. Утверждая, что «к началу XXI столетия в русском культурном и языковом пространстве произошла смена нормативной основы» [БСЭР: 5] и идеалы «высокой элитарной культуры» уступили место «массовой, общезначимой» (в связи с чем сейчас положение «нейтрального стиля» занимают разговорные и разговорно-сниженные элементы национально-русского языка» [Там же: 8]), автор исходит далее из того, что современная национальная языковая норма ориентирована на «звучащую публичную речь средств массовой информации» [Там же: 6].

Основой современной речевой культуры, по В. В. Химику, является устная публичная речь, почти всегда экспрессивная. Так как многие экспрессивные средства русской устной речи (а некоторые из них «до недавнего времени были функционально или нормативно ограниченными либо даже запретными» [БСЭР: 7] и оставались за пределами словарей), не могли быть отражены в лексикографической традиции, то, считает В. В. Химик, возникает потребность полной их фиксации.

Автор рецензируемого Словаря поставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность, объединив в рамках одного лексикографического представления сниженную экспрессивную лексику «общезначимой повседневной устной речи», ядерную часть которой образуют «грубые, вульгарные и непристойные слова и идиомы» (способные, как пишет В. В. Химик, «эффективно снимать эмоциональное напряжение», помогающие «расслабляться» [Там же: 7]). «Пестрый состав» общерусского «субстандарта» — в за-

висимости от характера его отношения к литературному языку — представляется в виде трех слоев: 1) разговорно-делового, 2) традиционного, к которому примыкает «старое» просторечие, включающее социально-просторечные и областные элементы, и 3) общежаргонного [Там же: 7—11].

Принципиальный отказ от любых ограничений при описании «низких» слов и выражений практически полностью снимает противопоставление допустимого / недопустимого в разговорной речи. БСЭР оказывается зеркалом, отражающим преимущественно элементы, служащие средством выражения резко отрицательных эмоций, а именно — непристойные слова и выражения, употребление которых нарушает существующие в обществе запреты. Характерно, что ни одно из трех весьма употребительных в русском языке слов — *подлец*, *мерзавец*, *негодяй*, — являющихся экспрессивными, разговорными и обиходными негативными оценками человека [Вежбицка 1996: 81], в БСЭР не представлено. По-видимому, они оказались недостаточно яркими, уступающими по силе нецензурным. Зеркало оказалось кривым еще и потому, что в Словаре очень мало информации о разговорных и разговорно-сниженных словах, выражающих положительные экспрессивные оценки¹. Поэтому предложенная в нем коллекция слов и выражений создает искаженное представление о русском как о человеке грубом, вульгарном, отличающемся безразличием к эстетической оскорбительности лексики, свободно употребляющейся в закрытых мужских группах и криминальном сообществе.

Малоэффективными являются пометы, с помощью которых составитель

пытается раскрыть общественный статус описываемых слов и выражений. Частично номенклатура этих меток совпадает с традиционной, хотя их расстановка во многих случаях отражает ценностные ориентации автора. Так, помета *разг.* ('разговорное') нередко сопровождает единицы, которые в современных толковых словарях или вообще не фиксируются (так как подобные слова и фразеологизмы лежат за пределами литературной разговорной речи), либо квалифицируются как просторечные² (см. *бубнёж*, *пластаться* 'много, до изнеможения, работать', *раскочегариться* 'сильно развеселиться, чрезмерно возбудиться' и др. под.). Справедливости ради следует сказать, что встречаются и совпадения. Однако не десятки, а сотни (возможно, и тысячи) экспрессивных разговорных слов и выражений русского языка остались за рамками БСЭР. В самом деле, совершенно непонятно, почему, например, *разг. расстараться* дается, а *раскошелиться*, *раскиснуть* ('утомившись, ослабеть') — нет. В целом слов с пометой *разг.* в Словаре сравнительно немного. Напротив, чрезвычайно велики разряды слов и выражений с пометой *разг.-сниж.* ('разговорно-сниженное'), *жарг.* ('жаргонное'), *неценз.* ('нецензурное') и *вульг.* ('вульгарное'). По-видимому, особый интерес к этой лексике и фразеологии вызван тем, что составитель убежден: именно она создает стилистический климат русской разговорной речи в целом.

Бросается в глаза, что помета *разг.-сниж.* нередко сопровождает слова, которые образованный носитель языка в обычной, не экстремальной ситуации вряд ли вообще рискнет употребить или которых просто не знает. Трудно представить, в частности, что человек с

¹ Практически вся эта группа представлена несколькими единицами типа *закачаться*, *красота*, *знатно*, *классно*, *клёво*.

² Впрочем, пометы *прост.(оречное)* в БСЭР нет.

нормальным чувством языка способен назвать рот *хлебалом* или *хрюкальником*, руку — *хапалкой*, а дискуссию — *брехалкой*. Наши информанты — преподаватели вузов — не могли дать даже приблизительного ответа на вопрос, какое разговорно-сниженное значение могут передавать русские глаголы *пузыриться* и *выделяться*, толкуемые в БСЭР соответственно как ‘нервничать, волноваться’³ и ‘совершать что-л. странное, неподобающее’.

Практически бесполезными оказываются в рецензируемом словаре пометы *вульг.* (‘вульгарное’) и *неценз.* (‘нецензурное’). Дело в том, что они используются лишь в словарных статьях, специально посвященных вульгарной (скатологической) и обценной лексике и фразеологии, занимающей весьма значительную часть его пространства. Однако «скверные» слова, подвергавшиеся в русской культурной традиции запрету на открытое употребление, проникают в Словарь не только в качестве объекта описания, в рамках посвященных им словарных статей, но и в составе иллюстративных примеров, документирующих вполне «приличную» лексику, а также в зонах синонимов и отсылок. Встречаются изредка они в толкованиях и семантических комментариях, содержащихся в статьях, посвященных и нецензурным, и «обычным» словам (см., например, *звезда*, *кукиш*, *мат*). По приблизительным подсчетам, нецензурная и вульгарная лексика отражается в нем в нескольких сотнях словарных статей. Симптоматично, что в контекст этой лексикографической работы прочнее всего вписаны единицы, которые начинаются на известные буквы русского алфавита: такие словарные статьи занимают, как правило,

10—15 столбцов текста. (Среди немногих исключений — обширные лексикографические представления слов *бог* и *мать*, что вполне понятно в связи со специфическим происхождением ядерной части русской обценной лексики). В целом Словарь создает такой накал нецензурности, что «сдерживать от употребления лексики, дискредитирующей носителя языка» [БСЭР: 4], вопреки утверждению официального рецензента, его пометы не могут. На наш взгляд, верно противоположное: у читателя, ознакомившегося с этим Словарем, возникнет представление о том, что в русской разговорной речи в тех случаях, когда необходима вербальная реакция на всё, что «задевает за живое», подобная лексика незаменима. Отсутствие каких-либо ограничений при описании «трехэтажных выражений» приводит к тому, что в БСЭР объективно легализуется веками существовавший в качестве преступающего приличия пласт, связанный с «телесным низом» и так называемым матом.

Не хотелось, чтобы у читателя сложилось впечатление, что автор данной рецензии выступает как пурист, отрицающий правомерность изучения и словарного представления указанной части нашего языкового опыта. Напротив: ее рассмотрение возможно и даже необходимо. Но это — предмет специальных исследований и объект особых словарей (подобные словари, думается, не должны издаваться массовыми тиражами). Уместна такая лексика и в словаре-тезаурусе.

Большая группа слов и устойчивых выражений сопровождается в БСЭР пометой *жарг.* (‘жаргонное’). Известно, что жаргон легко взаимодействует с просторечием и повседневной речью образованных носителей литературного языка, поэтому некоторые жаргонизмы не так просто отделить от слов других пластов лексики. Существенно, что

³ В [ТСНЛ 2003] толкуется иначе (‘сердиться, дуться’) и справедливо квалифицируется как просторечное.

сейчас есть основания говорить об общем жаргоне, или сленге, как особой подсистеме русского языка, которую городское население использует в непринужденном общении и в публичной речи [Розина 2005: 15]. Очевидно, что словарь, в котором представляется «общезнакомая» речь, не должен показывать те жаргонные элементы, которые являются принадлежностью отдельных социальных групп и не встречаются (или крайне редко встречаются) в средствах массовой информации, а также в речи подавляющей части жителей больших городов. Удельный вес жаргонной лексики БСЭР превышает все разумные пределы: нельзя отнести к общеупотребительным или общепонятным такие зафиксированные в нем слова, как *бланиш* (даже в [СТЛБЖ 1992] оно имеет помету *устар.*), *порцайка*, *урла*, *хевра* и мн. др. под. В то же время как жаргонные даются элементы просторечные (*сгоношить*⁴) и перешедшие в разговорно-сниженную или разговорную сферу (*баранка*, *продвинутый*, *продвинутость*, *типа* и нек. др.). Таким образом, различий между уже вошедшей в речевой обиход образованного общества сленговой, разговорно-сниженной и характерной только для жаргона лексикой составитель нередко не замечает.

Заслуживает внимания, далее, характер употребления помет *обл.* (*астное*), *трад.* (*иционное*) и *простонар.* (*одное*). Как можно понять из разъяснений автора, совокупность слов с этими пометами должна покрывать ту сферу, которая во многих других словарях маркируется пометой *прост.* (*оречное*)⁵. В. В. Химик, отказываясь от нее, в сфере лексики,

которую обычно называют просторечной, предлагает вычленивать три слоя. Удастся ли с помощью данной новации создать более точное представление об этой части «низкого» пласта лексики? К сожалению, пояснения «Предисловия» к пометам *обл.* и *трад.* отличаются расплывчатостью и неопределенностью. Областным составитель предлагает считать «территориально-диалектные по происхождению» слова, не осознавая, видимо, с каким количеством трудно разрешимых задач должен был столкнуться любой добросовестный лексикограф, всерьез взявшись за решение данной задачи. Впрочем, как «территориально-диалектную по происхождению» составитель квалифицирует и регионально ограниченную городскую лексику. К областным (в указанном смысле) справедливо отнесены чисто ленинградские *скобарь*, *скобари-ха*, первоначально употреблявшиеся на северо-западе России как прозвища псковичей, а также мотивированные словом *скобарь* глаголы *скобарить*, *скобариться* ‘жадничать’, ‘скупиться’. Однако по непонятным причинам региональные *чухна*, *чухонец*, *чухонка*, *чухонский*, *Чухония*, *Чухляндия* определяются как разговорно-сниженные. Столь же непонятно, почему слова *обльжсно*, *обльжсный*, *обтёрханный*, *обтёрхать*, *сверзиться*, используемые ныне в обиходной речи горожан различных регионов (см. соответствующие словарные статьи [ССРГ 2003] и [ТСНЛ 2003]), отнесены к областным.

Помета *трад.* (*иционно-народное*), по мысли составителя, должна указывать на слова, создающие «выразительность... традиционно-культурного содержания». По нашим наблюдениям, данная помета в БСЭР нередко ориентирована на устаревшую разговорную, разговорно-сниженную и просторечную лексику. В самом деле, какое «традиционно-культурное содержание» переда-

⁴ О диалектном по происхождению *сгоношить* см. [ЭССЯ: 1980] и [СРНГ 1972].

⁵ В последнее время она вызывает споры у лексикографов, см. [Скляревская 1992; Девкин 1999].

ют слова *вдругорядь*, *чураться*, *неслух*, *проруха*, *хлепать* 'есть (жидкое), черпая ложкой'? И уж совершенно непонятно, почему получило помету *трад.* слово *гужеваться*, которое в словарях ненормативной лексики квалифицируется как жаргонное (см. [БСМС 2003; ТСНЛ 2003]).

Употребление пометы *простонар.*(*одное*), предназначенной для социально маркированной лексики, свойственной «малообразованным носителям языка (обычно негородского происхождения) или использующейся для шутливой имитации неграмотной речи» [БСЭР: 9]), тоже не отличается последовательностью: непонятно, например, почему *покумекать* квалифицируется как *простонар.*, *кумекать* — *трад.* (и *разг.-сниж.*), *пырять* 'тыкать, колоть ножом' — *простонар.*, а *пырнуть* — *разг.*

В целом же функционально-стилистические пометы БСЭР не помогают отделять допустимое от недопустимого, эстетически и этически неприемлемого.

Не меньше вопросов, чем при рассмотрении принципов отбора и способов представления функционально-стилистического расслоения лексики, возникает при обращении к другим типам сведений, содержащихся в словарных статьях БСЭР. Отметим, в частности, следующее.

1. Грамматический комментарий к словам и толкуемым выражениям, то есть указания на основные формы и грамматические характеристики входной единицы, а также особенности синтаксического управления и «ограниченности», даются относительно традиционно, однако им не всегда можно доверять. В самом деле, *дрянь*, *мразь* — не общего, как утверждает автор Словаря, а женского рода; глаголы *переть* 'проявляться, обнаруживаться' (*Хамство так и перло из него*) и *жарг. молод.* *доехать* 'понять' (*Доехал или тебе помочь сообразить?*) представлены в иллюстративных примерах Словаря только в подлежащно-сказуемых предложениях и поэтому никак не могут быть отнесены к безличным; *двинуть* 'стукнуть', как следует из контекстов, данных в Словаре, управляет не винительным, а дательным падежом. В целом грамматические зоны словарных статей дают мало информации. К тому же, как показывают приведенные примеры, она может быть и ошибочной.

2. Семантические представления многих единиц отличаются нерешливостью или содержат ошибки. Так, например, в словарной статье *раздолбить* толкование ('интенсивно, сильно подвергнуть деструктивному воздействию сильными и расчленяющими ударами') включает явно избыточные компоненты. Непродуманность структуры словарной статьи иногда приводит к абсурдности. Трудно понять, скажем, логику составителя, связывающего с инвариантом 'подвергнуть деструктивному воздействию... сильными расчленяющими ударами' частное значение 'разругать, раскритиковать кого-л.' (см. ту же словарную статью). В толковании слова *бокал* использовано слово 'кружка', что неверно, так как в литературном языке оно служит для обозначения предмета, употребляющегося без блюда. Из примеров БСЭР между тем явствует, что *простонар.*⁶ *бокал* обозначает реалию, которую носитель литературного языка назовет скорее чашкой (в иллюстративных примерах упоминается бокал с блюдцем). Причиной ошибок в некоторых семантических комментариях, которые воспринимаются как попытки охарактеризовать ассоциативные признаки, положенные в основу метафорически мотивированных значений, является отождествление означающего и означаемого слова. Типичный случай — пояснение к переносному значению

⁶ Так в БСЭР.

слова *падаль* ('о презираемом человеке. Сопоставимо с трупом павшего животного'). Аналогичные комментарии даны в словарных статьях *забацать*, *залепить* и нек. др. Толкования многих слов и выражений производят попросту комический эффект (к примеру, сочетание *как жучка* толкуется выражением 'подвергаясь небрежному обращению и эксплуатации', *заклиниться* — 'оказаться в состоянии сосредоточенности на каком-л. предмете, невозможности переклеститься на другой', *загреть* — 'резко изменить статус'). Информация, содержащаяся в подобных толкованиях, часто оказывается почти бесполезной для читателя — не в последнюю очередь потому, что она плохо изложена.

3. В качестве иллюстраций в БСЭР используются записи устной речи и цитаты из письменных источников, в том числе из произведений городского фольклора. Однако вряд ли уместны в словаре, основу которого составляет «язык современной молодежи», извлечения из произведений И. Баркова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и нек. др. авторов.

Подводя итоги, заметим, что Словарь, может быть, и не заслуживал бы подробного разбора, если бы не почти академический характер издания, в «Предисловии» которого к тому же предлагается особая теоретическая концепция современного разговорного языка. Читателя следует предостеречь: в прекрасно оформленном томе Словаря он может столкнуться с лингвистическими ошибками, неточными стилистическими и семантическими характеристиками.

Трудно объяснить, почему солидные официальные рецензенты (известные, авторитетные ученые — доктор филол. наук профессор В. П. Берков, доктор филол. наук профессор А. С. Герд, док-

тор филол. наук профессор В. М. Мокиенко) не заметили очевидных недостатков труда, являющегося образцом того, как **не надо** делать словарь.

Л и т е р а т у р а

БСМС 2003 — С. И. Левикова. Большой словарь молодежного сленга. М., 2003.

Вежбицкая 1996 — А. Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. М., 1996.

Девкин 1999 — В. Д. Девкин (рец.) Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 1998 // ВЯ. 1996. № 6.

Крысин 2004 — Л. П. Крысин. Русское слово, свое и чужое. М., 2004.

Розина 2005 — Р. Н. Розина. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге. М., 2005.

Склярская 1992 — Г. Н. Склярская. Стилистические инновации в новом академическом словаре (о лексикографической несостоятельности пометы *просторечное*) // Актуальные проблемы разработки нового академического словаря русского языка. Л., 1992.

СРНГ 1972 — Словарь русских народных говоров. Вып. 7 / Гл. ред. Ф. П. Филин. Л., 1972.

ССРГ 2003 — Словарь современного русского города / Под ред. Б. И. Осипова. М., 2003.

СТЛБЖ 1992 — Д. С. Балдаев, В. Н. Бело, И. М. Исупов. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. [М.], 1992.

ТСНЛ 2003 — Д. И. Квеселевич. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. М., 2003.

ЭССЯ 1980 — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 7 / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1980.

Э. Г. Шимчук

О. П. Ермакова. Ирония и ее роль в жизни языка.

Калуга: Изд-во КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2005. — 204 с.

Книга представляет собой, как характеризует ее сам автор, — известный исследователь в области словообразования, лексической семантики, социолингвистики — «некоторые размышления и наблюдения над иронией в ее языковом выражении». Одна из главных задач О. П. Ермаковой — рассмотреть типы словесных знаков, наиболее «подверженных иронии».

Ирония занимает достаточно важное место в нашем языковом существовании и представляет собой многоликое и многофункциональное явление. Этим определяется и разнообразие подходов к ее изучению и, соответственно, множество дефиниций. Понимая всю сложность рассматриваемого феномена, автор не стремится дать новое исчерпывающее и всеобъемлющее определение иронии. Опираясь на традиционные, представленные в словарях толкования, исследовательница определяет иронию как «один из видов языковой манипуляции, которая заключается в употреблении слова, выражения или целого высказывания, в том числе и текста большого объема, в смысле, противоречащем буквальному, (чаще всего в противоположном) с целью насмешки» (с. 7). В работе не предлагается и новой классификации типов иронии, поскольку, как справедливо замечает О. П. Ермакова, в силу многогранности и неоднозначно-

сти исследуемого объекта, ни одна из существующих классификаций не может быть наложена на весь языковой материал.

Достоинство настоящего исследования состоит в том, что автор не «подстраивает» под собственную концепцию языковые факты, а сам идет за языковым материалом, проявляя большую осторожность в его интерпретации. Не пытаясь дать всеобъемлющей классификации, О. П. Ермакова выделяет разные типы иронии — по способу выражения, с одной стороны, и по отношению к содержанию высказывания (буквальному смыслу), с другой. Весь многообразный языковой материал дифференцирован с точки зрения объема словесного пространства, на которое распространяется ирония. Выделяются, таким образом, две основные разновидности иронии: 1) вербализованная, т. е. локализованная в слове, и 2) текстовая, не ограниченная словом или словосочетанием. Принятый принцип структурирования материала определил и композицию книги.

В *первой главе* рассматриваются общие вопросы теории: разграничиваются *ирония, ложь, шутка* — казалось бы, похожие, но разные прежде всего по иллокутивному потенциалу явления; рассматривается соотношение таких

понятий, как *ирония* и *насмешка*; уделяется внимание видам иронических *масок*, которые «надевает» на себя говорящий с целью насмешки (ср. маски глупца, невежды, скептика, простака и т. п.); ирония, нередко интерпретируемая как троп, соотносится с другими тропами — *метафорой*, *метонимией*, *сравнением*, *литотой*. Автор отмечает, что ирония совмещается практически со всеми видами тропов: возможны иронические сравнения (*нужен как рыбе зонтик*), иронические метафоры (*он просто Геракл* — о слабом человеке), иронические литоты (например, если огромного человека называют *карликом*) и т. п. О. П. Ермакова приходит к заключению, что ирония — это фигура, которая находится над разными видами тропов; легко сочетаясь с ними, ирония образует «сверхтропное единство». Анализ содержания многих иронических высказываний, где истинный смысл может быть эксплицирован в тексте или извлекаться путем трансформации, позволяет автору выявить *глубинную семантическую структуру иронии*. В первой главе автор предлагает гипотезу, которая находит подтверждение в последующих главах монографии: «в глубинной семантике иронии лежат перевернутые (алогичные, противоестественные, часто абсурдные) причинно-следственные отношения» (с. 41).

Исследованию языковых механизмов иронии посвящены вторая и третья главы книги.

Во **второй главе** рассматриваются разные типы текстовой иронии. Здесь представлено таксономическое описание наиболее распространенных приемов текстовой иронии, многие из которых рассматривались и ранее преимущественно на материале художественной прозы с позиций выявления специфики иронии в системе изобразительных средств языка. Задача О. П. Ермаковой принципиально иная: рассмот-

реть различные языковые средства (синтаксические, лексические), служащие выражением иронии на основе взаимодействия «смыслов» в содержании высказывания (с. 66). Отмечается, что не всегда абсурдность смысловых связей заложена в самом тексте. Часто иронический смысл высказывания может быть извлечен из контекста или ситуации, в противном случае буквальное понимание смысловых связей при иных ситуативных условиях не исключается. Так, замечает исследовательница, известное ироническое высказывание Гоголя «Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни» в устах продавца дынь может звучать действительно как похвала Ивану Ивановичу, часто покупающему их у него (с. 83).

Наиболее объемная и содержательная **третья глава** посвящена исследованию вербализованной иронии, т. е. иронии, локализованной в слове как единице языка. Эту главу можно считать центральной в книге, поскольку именно здесь сосредоточены самые важные для автора идеи работы. Как неоднократно подчеркивается, исследование вербализованной иронии тесно связано с широким кругом проблем лексической семантики, многие из них затрагиваются в этой главе. О семантической направленности третьей главы можно судить и по тематике значительного числа входящих в нее разделов: «Семантические типы иронические употребления слов», «Ирония и интенсификация признака», «О типизированных значениях с ироническим компонентом», «Ирония и антонимия», «Ирония как источник энантиосемии», «Ирония и открытое отрицание при разных типах именных предикатов», «Иронические стереотипы».

В специальном разделе исследуются иронические метафоры в составе предикатов («О синтаксической подвижно-

сти иронической метафоры»). Отмечается, что сочетаемость иронической метафоры, как и прямой, ограничивается лишь в отдельных случаях и обусловлена типом характеризующего значения (ср. ироничное употребление метафоры с различными связками: *Жизнь наша с тех пор стала (сделалась, показала) раем*).

В разделе «Ирония и словообразование» рассматривается ряд вопросов: выражение иронии средствами аффиксального словообразования (ср. *нетленка, подписант, членовоз* и мн. др.); иронический потенциал приставки *не-* (ср. ироническое употребление: *Ты ведь негордый!*; *К этой незлой собаке лучше не подходить*).

Особый раздел главы посвящен ироническим стереотипам. Слова, словосочетания или целые высказывания, в которых ироническое значение обособливается от буквального, становятся расхожими «иронизмами», они возникают и употребляются в разных коммуникативных сферах (современная пресса, разговорная речь, жаргон). Ирония является постоянным источником порождения разных типов клише, которые входят в словарный состав современного русского языка (ср. иронические стереотипы: *гарант, брожение умов, протенько и со вкусом* и мн. др.).

Функционально-речевой аспект проблемы отражен в разделе «Ирония в разных сферах языка». Многообразные типы вербализованной и текстовой иронии встречаются в различных подсистемах и разновидностях современ-

ного русского языка — от литературного языка до просторечия. Однако в наибольшей степени, по мнению автора, она свойственна литературному языку.

Последняя — **четвертая** — глава посвящена особой коммуникативной разновидности иронии, направленной на самого говорящего — самоиронии. Автор отмечает, что при сходстве многих используемых приемов иронии и самоиронии отличаются функционально: если основная функция иронии — насмешка, направленная на адресата или какое-либо третье лицо, то главная цель самоиронии — самозащита от возможных или предполагаемых «нападков» собеседника.

Заключая монографию, О. П. Ермакова еще раз пишет о чрезвычайной сложности исследуемого объекта, роль иронии в жизни языка значительна, особенно велико ее влияние в сфере лексической семантики, коммуникативный потенциал иронии огромен.

К сожалению, тираж новой книги невероятно мал — всего 150 (!) экземпляров, т. е. она практически недоступна даже для специалистов. Именно по этой причине мы представили достаточно подробный обзор книги, чтобы читатель мог получить (пусть даже самое общее) представление о ее содержании. Безусловно, скорейшее переиздание этой замечательной монографии гораздо большим тиражом крайне желательно и даже необходимо.

Н. Н. Розанова

О. О. Потєбня й актуальні питання мови та культури: Зб. наук. праць / Відп. ред. В. Ю. Франчук. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. — 368 с.

Сборник продолжает давнюю и авторитетную традицию исследования научного наследия А. А. Потєбни на Украине и представляет научное творчество А. А. Потєбни с позиций его со-

временного филологического видения. Разносторонность и многоаспектность подходов авторского коллектива (а статей в сборнике 51) обобщена редколлективной сборника в трех его разделах: «Во-

просы философии языка и литературы», «Исследования структуры языка», «Проблемы поэтики и фольклора».

В первом разделе выделим обзор изучения в украинской науке наследия А. А. Потебни за период 1975—2000 гг.¹, сделанный ответственным редактором издания В. Ю. Франчук. В этом временном промежутке, отмечает автор, возникли как своеобразный итог глубоких исследований в этой области и стали уже традицией научные конференции — Потебнянские чтения, в которых на протяжении многих лет принимают участие исследователи разных стран. Особо подчеркивается, что на III Международном конгрессе украинистов (Харьков, 1996) была организована и становится традиционной на этом научном форуме секция «Научное наследие А. А. Потебни и его контекст».

Рассматриваемый сборник представляет материалы Пятых (1991 г.), Шестых (1995 г.) и Седьмых (1998 г.) Потебнянских чтений.

Обзор В. Ю. Франчук своеобразно дополняется статьей И. Эрмен «Олександр Опанасович Потебня і сприйняття його на Заході». К сожалению, этот ученый оказался практически невогребованным в зарубежной филологической традиции прежде всего в силу языкового барьера. Впрочем, интерес к А. А. Потебне выявился опосредованно в западном литературоведении, поскольку русский символизм и русский формализм, оказавшиеся в круге интересов Запада, формировались под непосредственным влиянием литературоведческих концепций А. А. Потебни.

Вероятно, одним из стимулов для пробуждения интереса к непосредственному научному наследию ученого могло бы стать изучение творчества А. А. Потебни в связи с лингвофилологическими взглядами его великого предшественника В. фон Гумбольдта. Этот аспект исследований в сборнике представлен такими статьями, как, например, «Содержательные формы слова в понимании А. А. Потебни» (В. В. Колесов), «Внутрішня форма мовних одиниць і проблема мовного образу світу» (Т. А. Черныш), «Поняття “філософія мови” у В. Гумбольдта і О. О. Потебні» (А. О. Евграфова).

Целый ряд статей посвящен сопоставлению взглядов А. А. Потебни со взглядами других выдающихся исследователей: «Ф. И. Буслаев и А. А. Потебня» (С. В. Смирнов), «О. О. Потебня і К. Твардовський» (Ф. С. Бачевич), «О. О. Потебня і Л. А. Булаховський» (Т. Б. Лукинова). Эту же линию представляет статья И. М. Дзюбы «Поетика О. О. Потебни й українське літературознавство», в которой рассматриваются взгляды А. И. Белецкого как продолжателя некоторых идей А. А. Потебни.

Отдельную группу статей в первом разделе сборника составляют исследования, посвященные социолингвистическим проблемам в связи с учением А. А. Потебни. Статья В. А. Гречко «Роль языка в концепции народности А. А. Потебни» представляет собой изложение и интерпретацию идей самого ученого, а схожие по проблематике работы других авторов сборника можно рассматривать как опыт приложения идей А. А. Потебни к украинскому социолингвистическому пространству. Это, например, статьи О. Б. Ткаченко «О. О. Потебня про мовно-національну асиміляцію», Б. Н. Ажнюка «Етнозахисна функція мови як наукова проблема (від Потебні до сучасності)», В. В. Жайворонка «Національна мовотворчість і мовотворець у працях О. О. Потебні».

¹ Предыдущий период освещен в: Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. (К.: Наук. думка, 1976), а также в рецензиях В. Полека (Мовознавство. К., 1976, № 4) и А. П. Преснякова (Культура слова. К., 1977, № 13).

Во втором разделе, объединяющем исследования структуры языка, доминируют работы, обращенные к синтаксическим вопросам, причем в них представлены практически все важнейшие аспекты синтаксического учения А. А. Потебни. В этой связи упомянем имена таких авторов сборника, как В. П. Чесноков, В. С. Юрченко, С. А. Рылова, В. М. Брицина, А. П. Загнитко и др.

Не менее заметное место занимают в разделе также проблемы морфологии в связи с идеями А. А. Потебни: теория грамматической формы слова (В. И. Дегтярев), происхождение грамматического рода (А. Б. Копелиович), категория одушевленности / неодушевленности в восточнославянских языках (Н. Г. Озерова), категория атрибутивности (В. Кононенко и И. Кононенко), наклонение глагола (К. Г. Городенская) и др. Фонетико-фонологическая проблематика представлена статьями В. А. Глущенко и Л. С. Ковалевой.

Третий раздел посвящен, как отмечено выше, проблемам поэтики и фольклора. В статьях М. К. Дмитренко,

М. А. Карпенко, Е. Широкоград освещаются вопросы фольклорной и художественно-литературной символики, проблематика других статей касается теории литературы: концепция художественного обобщения (Н. М. Шляхова), проблема субъекта художественного дискурса (С. С. Ермоленко), функциональное исследование текста (Н. М. Арват), неизъяснимое в поэзии и философии (М. Я. Гольберг).

Отдельно обратим внимание на статью А. А. Слюсаря «О. О. Потебня і порівняльна міфологія» — единственную статью сборника (оказавшуюся, к сожалению, уже посмертной публикацией этого блестящего ученого-пушкиниста), обращенную к проблематике, которая, как известно, сыграла столь важную роль в научной судьбе А. А. Потебни.

В плане критических пожеланий остается лишь высказать сожаление, что издание вышло из печати с заметным отрывом во времени от тех конференций, материалы которых представляет.

Н. И. Zubov

Л. Л. Касаткин. Современный русский язык. Фонетика:

Учеб. пособие для студентов филол. фак. вузов.

М.: Изд. центр «Академия», 2006. — 256 с.

Учебное пособие построено в соответствии с программой по курсу фонетики современного русского литературного языка для филологических факультетов высших учебных заведений.

Книга состоит из трех больших разделов, посвященных фонетике и фонологии, орфоэпии, теории письма.

В начальных частях первого раздела «Фонетика» вводятся понятия артикуляционной, акустической и перцептивной фонетики, определяется предмет каждой части и рассматриваются собственные им методы исследования; по-

следовательно анализируются все сегментные и суперсегментные единицы фонетической системы языка; объясняются способы фонетической транскрипции на основе русского алфавита; приводятся акустическая и артикуляционная классификации гласных и согласных звуков; отмечаются особенности слога как сегментной и одновременно суперсегментной фонетической единицы, сравниваются различные теории слога и слогораздела. Также в рамках первого раздела обсуждаются проблемы, относящиеся к сфере суперсегментной фо-

нетики: подробно анализируются особенности ударения, в частности предлагается решение достаточно спорного вопроса о фонетической природе русского ударения; описание интонационной системы базируется на раздельном рассмотрении таких ее компонентов, как изменения основного тона в пределах фонетической синтагмы, количественно-динамические и тембровые средства интонации. Завершают первый раздел части, посвященные проблемам фонологии. Автор последовательно излагает концепцию Московской фонологической школы (МФШ), при этом предложено много новых решений, творчески развивающих эту теорию (например, разграничение понятий позиционно обусловленных и позиционно прикрепленных фонетических чередований), вводятся такие новые для МФШ единицы, как архифонема, суперфонема и мн. др.). Концепция МФШ предстает в новой интерпретации. Положив в основу описания взгляды МФШ в их модифицированном варианте, автор представляет и другие фонологические шко-

лы — Петербургскую (Ленинградскую) и Пражскую.

Второй раздел «Орфоэпия» знакомит читателя с орфоэпическими нормами произношения гласных и согласных звуков, а также некоторых грамматических форм и заимствованных слов. Л. Л. Касаткин впервые рассматривает нормы акцентуации не только в фонетическом аспекте, но и в орфоэпическом.

Третий раздел «Теория письма» содержит две части, посвященные описанию устройства русской графики и орфографии. В заключительном параграфе представлены сведения из истории графики и орфографии, здесь же обсуждаются проблемы усовершенствования современного письма.

Учебное пособие предназначено для студентов филологических факультетов, оно также может быть рекомендовано аспирантам, преподавателям русского языка и всем интересующимся проблемами русской фонетики.

О. В. Антонова

В. Матвеев, Л. Щеголева. Книги временные и образные Георгия Монаха. В 2 т. Т. 1. Ч. 1. Интерпретированный текст Троицкой рукописи. — 633 с. Ч. 2. Текстологический комментарий. — 261 с. М.: Наука, 2006. (Памятники религиозно-философской мысли Древней Руси).

Новое лингвистическое издание древнейшего славянского перевода византийской «Хроники» Георгия Амартола в объеме древнейшего Троицкого списка XIV в. — заметное событие в палеославистике. Этому памятнику принадлежит особая роль в истории древнерусской письменности. Фрагменты «Хроники» были включены уже в древнейший русский летописный свод XI в., и вставки из нее обнаруживаются во многих памятниках, возникших на Руси в последующее время: в хронографах, в

переводах «Александрии», «Христианской Топографии» Козьмы Индикоплова, «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия и других произведениях. Происхождение древнейшего славянского перевода «Хроники» загадочно: в языке соседствуют яркие южнославянские и восточнославянские черты, и от того, как удастся объяснить этот феномен, во многом зависит адекватное представление о становлении литературного языка на Руси и понимание конкретных историко-культурных об-

стоятельств, в которых зарождалась восточнославянская книжность XI в. Дискуссии по этому вопросу не стихают со времени первого издания памятника, которое осуществил в 1920 г. В. М. Истрин. За это время издание стало большой редкостью; практически недоступен и древнейший список, положенный В. М. Истриным в основу издания: уникальная рукопись содержит более ста миниатюр и бдительно оберегается от читателей. В силу этого изучение памятника было затруднено, и вот теперь широкий круг читателей получил в свое распоряжение новое издание Троицкого списка, содержащего около 4/5 всего объема текста «Хроники».

Во вводной части В. Матвеевко, кратко описав византийскую «Хронику», приводит обзор греческих списков и изданий греческого текста, а затем излагает историю изучения древнейшего славянского перевода, высказывая и свои ценные наблюдения. Далее приводится перечень сохранившихся восточнославянских списков памятника с необходимыми комментариями, дается описание Троицкого списка и излагаются принципы издания. Главное убеждение издателей, с которым нельзя не солидаризироваться, состоит в том, что в древнем рукописном памятнике каждая мелочь может иметь значение для текстологии и лингвистики и потому так или иначе должна быть воспроизведена в издании. В соответствии с практикой своего времени, В. М. Истрин позволял себе делать исправления явных ошибок писцов, не оговаривая своего вмешательства в текст; В. Матвеевко и Л. Щеголева, понимая, что любая ошибка может быть важна для установления отношений между списками (в том числе теми, которые могут быть открыты в будущем), сохраняют текст, включая пунктуационные знаки, в исходном виде. Однако в случаях явных пропусков (целых фраз, слов или от-

дельных букв) они восполняют их в квадратных скобках, используя варианты других списков, если их поддерживает греческий оригинал. Как всегда бывает при реконструкции, не обошлось без ошибок и гиперкоррекции (например, на с. 202 **къда оумремъ** исправлено на **къда [нѣ] оумремъ**, хотя **къда** само означает 'чтобы не'; на с. 552 восстановлена форма **ко[н]стантинѣ**, хотя во многих других случаях, в том числе и в тексте «Хроники», это имя зафиксировано в древней форме с закономерным выпадением **-н-** перед двумя согласными). Однако оплошности такого рода единичны, и их искупает то преимущество, что читатель, видя текст в квадратных скобках, получает сигнал о порче (по крайней мере, предполагаемой издателями) в основном списке.

Сильной стороной издания является тщательное сопоставление славянского текста с греческим. Все без исключения слова, в том числе служебные, которым нет соответствия в оригинале, выделены курсивом. В результате выделению подверглись самые разнообразные добавления: и глоссы, и слова, введенные переводчиком для того, чтобы сделать текст понятным, и добавления, неизбежные из-за расхождений славянской и греческой грамматики (например, когда греческому беспредложному управлению соответствует предложное управление в славянском). Такой эдичионный эксперимент позволил очень наглядно показать, что вносил в текст переводчик по своей инициативе, и это, безусловно, предоставляет читателю некоторые удобства, хотя разнородность выделенных курсивом элементов не избавляет от необходимости самостоятельно производить их квалификацию.

Второй том содержит разночтения по спискам. За основу взят критический аппарат издания В. М. Истрина, который В. Матвеевко и Л. Щеголева частично перепроверили по рукописям (к

сожалению, не указано точно, что было перепроверено). К этому добавлены разночтения по многим спискам, которые не были известны В. М. Истрину. Ряд разночтений комментируется, часто с привлечением греческих соответствий. Если варианты списков поддерживаются греческим оригиналом, это оговаривается.

В издании можно отметить некоторые неточности. В тексте Троицкого списка на с. 286—287 внутри некоторых слов пропечатаны дефисы. Видимо, опечаткой является форма **вова** на с. 315: если бы здесь имела место описка в рукописи, ожидалось бы **во[к]ва**. Вызывает подозрение сочетание **[си]ни** на с. 290, никак не прокомментированное в аппарате. Во вводной части неверно датируются славянские переводы, близкие в языковом отношении к «Хронике» (с. 30): «Повесть о Варлааме и Иоасафе» переведена не позже середины XII в., а «Житие Артемия» никак

нельзя относить ко времени «не ранее создания Великих миней четых»: во-первых, известен список «Жития» XV в., а во-вторых, в Великие миней четых вошли очень древние переводы, датирующиеся X—XI вв. Русизмы «на уровне морфологических и синтаксических форм», о которых идет речь на с. 29, представляют собой не русизмы, а отклонения от оригинала под давлением норм славянской грамматики.

Разумеется, значение издания, осуществленного В. Матвеевко и Л. Щеголевой, определяется вовсе не этими мелкими недочетами, а скрупулезным вниманием ко всем особенностям текста и привлечением большого рукописного материала, впервые вводимого в научный оборот. Читатели, несомненно, с нетерпением будут ожидать второго тома, в котором предполагается опубликовать справочный аппарат.

А. А. Пичхадзе